

А. Стругацкий Б. Стругацкий

А р к а д и й
Стругацкий

Б о р и с
Стругацкий



Пикник на обочине
Парень из преисподней
За миллиард лет до конца света
Повесть о дружбе и недружбе

7



Аркадий Стругацкий Борис Стругацкий

В этом томе соседствуют совсем непохожие друг на друга повести — четыре горошины из разных стручков.

Первая — знаменитый «Пикник на обочине». Книга жесткая, очень глубокая, философская — лишь на первый взгляд это рассказ о жизни лихого парня, презревшего законы божеские и человеческие.

Вторая — «Парень из преисподней» — действительно о юнце крутом, но до потери разума законопослушном. Он беззаветно предан дурным установлениям своей страны, и в этом его трагедия как личности.

На некоторой внешней похожести героев сходство между двумя повестями кончается: фантастическая нарядность «Парня...» контрастирует с беспощадной реалистикой «Пикника...», и необходимо эмоциональное усилие, чтобы перейти от одной вещи к другой.

«За миллиард лет до конца света» — в сущности, не фантастика, а социальная трагедия, и сюжет ее знаком каждому творческому человеку и в просторечии обозначается «не высовывайся». Не смей свободно мыслить, не погружай пытливый взор во Вселенную — сиди тихо в своей норке, иначе будет плохо...

И совсем уж неожиданна «Повесть о дружбе и недружбе». Милая, добрая сказка — дети, да и многие взрослые прочтут ее с удовольствием.

Будем читать и не будем удивляться: талант всегда многообразен.

А р к а д и й
Стругацкий

Б о р и с
Стругацкий

Пикник на обочине

Парень из преисподней

За миллиард лет до конца света

Повесть о дружбе и недружбе

повести

МОСКВА «ТЕКСТ» 1993

84(2)
С 87

**Издание подготовлено совместно
с литературно-издательской студией «РИФ»**

Художник Владимир Любаров

С 4702010201-022 подп.
93
ISBN 5-85950-021-1

© А. Стругацкий, Б. Стругацкий. 1993
© «Текст» — состав, художественное оформление, 1993

Пикник на обочине

повесть

Ты должен сделать добро из зла,
потому что его больше не из чего
сделать.

Р.П.Уоррен



От авторов

Повесть «Пикник на обочине» издавалась и переиздавалась неоднократно — и в СССР, и за рубежом. Однако ни разу еще она не выходила в своем первоизданном виде — без так называемой редакторской правки. Это издание — первое собственно авторское. Впервые эта наша повесть публикуется именно в том виде, в каком мы закончили ее в ноябре 1971 года.

Авторы рады воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить Юрия Флейшмана за помощь в подготовке «Пикника...» для этой книги.

**Из интервью,
которое специальный корреспондент хармонтского радио
взял у доктора Валентина Пильмана
по случаю присуждения последнему
Нобелевской премии по физике за 19.. год**

— ...Вероятно, вашим первым серьезным открытием, доктор Пильман, следует считать так называемый радиант Пильмана?..

— Полагаю, что нет. Радиант Пильмана — это не первое, не серьезное и, собственно, не открытие. И не совсем мое.

— Вы, вероятно, шутите, доктор. Радиант Пильмана — это понятие известно всякому школьнику.

— Это меня не удивляет. Радиант Пильмана и был открыт впервые именно школьником. К сожалению, я не помню, как его звали. Посмотрите у Стетсона в его «Истории Посещения» — там все это подробно рассказано. Открыл радиант впервые школьник, опубликовал координаты впервые студент, а назвали радиант почему-то моим именем.

— Да, с открытиями происходят иногда удивительные вещи. Не могли бы вы объяснить нашим слушателям, доктор Пильман...

— Послушайте, земляк. Радиант Пильмана — это совсем простая штука. Представьте себе, что вы раскрутили большой глобус и принялись палить в него из револьвера. Дырки на глобусе лягут на некую плавную кривую. Вся суть того, что вы называете моим первым серьезным открытием, заключается в простом факте: все шесть Зон Посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля — Денеб. Денеб — это альфа созвездия Лебедя, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана.

— Благодарю вас, доктор. Дорогие хармонтцы! Наконец-то нам толком объяснили, что такое радиант Пильмана! Кстати, позавчера исполнилось ровно тринадцать лет со дня Посещения. Доктор Пильман, может быть, вы скажете своим землякам несколько слов по этому поводу?

— Что именно их интересует? Имейте в виду, в Хармонте меня тогда не было...

— Тем более интересно узнать, что вы подумали, когда ваш родной город оказался объектом нашествия инопланетной сверхцивилизации...

— Честно говоря, прежде всего я подумал, что это утка. Трудно было себе представить, что в нашем старом маленьком Хармонте может случиться что-нибудь подобное. Восточная Сибирь, Уганда, Южная Атлантика — это еще куда ни шло, но Хармонт!

— Однако в конце концов вам пришлось поверить.

— В конце концов — да.

— И что же?

— Мне вдруг пришло в голову, что Хармонт и остальные пять Зон Посещения... впрочем, виноват, тогда было известно только четыре... что все они ложатся на очень гладкую кривую. Я сосчитал координаты радианта и послал их в «Нэйчур».

— И вас несколько не взволновала судьба родного города?

— Видите ли, в то время я уже верил в Посещение, но я никак не мог заставить себя поверить паническим корреспонденциям о горящих кварталах, о чудовищах, избирательно пожирающих стариков и детей, и о кровопролитных боях между неуязвимыми пришельцами и в высшей степени уязвимыми, но неизменно доблестными королевскими танковыми частями.

— Вы были правы. Помнится, наш брат информатор тогда много напутал... Однако вернемся к науке. Открытие радианта Пильмана было первым, но, вероятно, не последним вашим вкладом в знания о Посещении?

— Первым и последним.

— Но вы, без сомнения, внимательно следили все это время за ходом международных исследований в Зонах Посещения...

— Да... Время от времени я листаю «Доклады».

— Вы имеете в виду «Доклады Международного института внеземных культур»?

— Да.

— И что же, по вашему мнению, является самым важным открытием за все эти тринадцать лет?

— Сам факт Посещения.

— Простите?

— Сам факт Посещения является наиболее важным открытием не только за истекшие тринадцать лет, но и за все время существования человечества. Не так уж важно,

кто были эти пришельцы. Не важно, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно то, что теперь человечество твердо знает: оно не одиноко во Вселенной. Боюсь, что институту внеземных культур уже никогда больше не повезет сделать более фундаментальное открытие.

— Это страшно интересно, доктор Пильман, но я, собственно, имел в виду открытия технологического порядка. Открытия, которые могла бы использовать наша земная наука и техника. Ведь целый ряд очень видных ученых полагает, что находки в Зонах Посещения способны изменить весь ход нашей истории.

— Н-ну, я не принадлежу к сторонникам этой точки зрения. А что касается конкретных находок, то я не специалист.

— Однако вы уже два года являетесь консультантом Комиссии ООН по проблемам Посещения...

— Да. Но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. В КОПРОПО я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации Зон Посещения. Грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в Зонах, распорядился только Международный институт.

— А разве на эти чудеса посягает еще кто-нибудь?

— Да.

— Вы, вероятно, имеете в виду сталкеров?

— Я не знаю, что это такое.

— Так у нас в Хармонте называют отчаянных парней, которые на свой страх и риск проникают в Зону и тащат оттуда все, что им удастся найти. Это настоящая новая профессия.

— Понимаю. Нет, это вне нашей компетенции.

— Еще бы! Этим занимается полиция. Но было бы интересно узнать, что именно входит в вашу компетенцию, доктор Пильман...

— Имеет место постоянная утечка материалов из Зон Посещения в руки безответственных лиц и организаций. Мы занимаемся результатами этой утечки.

— Нельзя ли чуть поконкретней, доктор?

— Давайте лучше поговорим об искусстве. Неужели слушателей не интересует мое мнение о несравненной Гвади Мюллер?

— О, разумеется! Но я хотел бы сначала покончить с

наукой. Вас, как ученого, не тянет самому заняться инопланетными чудесами?

— Как вам сказать... Пожалуй.

— Значит, можно надеяться, что хармонтцы в один прекрасный день увидят своего знаменитого земляка на улицах родного города?

— Не исключено.

1. Рэдрик Шухарт, 23 года, холост, лаборант хармонтского филиала Международного института внеземных культур

Накануне стоим это мы с ним в хранилище — уже вечером, остается только спецовки сбросить и можно закатиться в «Боржч» принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю, свое отработал и уже держу наготове сигаретку, курить хочется дико — два часа не курил, а он все возится со своим добром: один сейф загрузил, запер и опечатал, теперь другой загружает — берет с транспортера «пустышки», каждую со всех сторон осматривает (а она тяжелая, сволочь, шесть с половиной кило, между прочим) и с кряхтением аккуратненько водворяет на полку.

Сколько уже времени он с этими «пустышками» бьет-ся и, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я давным-давно бы уже плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, «пустышка» действительно штука загадочная и какая-то невразумительная, что ли. Сколько я их на себе перетаскал, а все равно, каждый раз как увижу — не могу, поражаюсь. Всего-то в ней два медных диска с чайное блюдце, миллиметров пять толщиной, и расстояние между дисками миллиметров четыреста, и кроме этого расстояния ничего между ними нет. То есть совсем ничего, пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления, — пустота и пустота, один воздух. И при всем при том что-то между ними, конечно, есть, сила какая-то, как я это понимаю, потому что ни прижать их, эти диски, друг к другу, ни растащить их никому еще не удавалось.

Нет, ребята, тяжело эту штуку описать, если кто не видел, очень уж она проста на вид, особенно когда приглядишься и поверишь наконец своим глазам. Это все равно что стакан кому-нибудь описывать или, не дай бог, рюмку: только пальцами шевелишь и чертыхаешься от

полного бессилия. Ладно, будем считать, что вы все поняли, а если кто не понял, возьмите институтские «Доклады» — там в любом выпуске статьи про эти «пустышки» с фотографиями...

В общем, Кирилл бьется с этими «пустышками» уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается, да, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется, вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно: надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь «пустышку» раскурочить, кислотами ее протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи. И вот тогда станет ему все понятно, будет ему честь и хвала, и вся мировая наука аж содрогнется от удовольствия. Но куда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ничего он куда не добился, замучился только вконец, серый какой-то стал, молчаливый, и глаза у него сделались как у больного пса, даже слезятся. Будь на его месте кто еще, напоил бы я его в дым, свел бы к хорошей девке, чтобы расшевелила, а наутро бы снова напоил и снова к девке, к другой, и был бы он у меня через неделю как новенький — уши торчком, хвост пистолетом. Только вот Кириллу это лекарство не подходит, не стоит и предлагать, не та порода.

Стоим, значит, мы с ним в хранилище, смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали, и жалко мне его стало, сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул.

— Слушай, — говорю, — Кирилл...

А он как раз стоит, держит на весу последнюю «пустышку» и с таким видом, словно так бы в нее и залез.

— Слушай, — говорю, — Кирилл. А если бы у тебя была полная «пустышка», а?

— Полная «пустышка»? — переспрашивает он и брови сдвигает, будто я с ним по-тарабарски заговорил.

— Ну да, — говорю. — Эта твоя гидромагнитная ловушка, как ее... объект семьдесят семь бэ. Только с дерьмом каким-то внутри, с синеньким.

Вижу — начало до него доходить. Поднял он на меня глаза, прищурился, и появился у него там за собачьей слезой какой-то проблеск разума, как он сам обожает выражаться.

— Постой, — говорит он. — Полная? Вот такая же штука, только полная?

— Ну да.

— Где?

Вылечился мой Кирилл. Уши торчком, хвост пистолетом.

— Пойдем, — говорю, — покурим.

Он живо сунул «пустышку» в сейф, прихлопнул дверцу, запер на три с половиной оборота, и пошли мы с ним обратно в лабораторию. За пустую «пустышку» Эрнест дает четыреста монет наличными, а за полную я бы из него, сукина сына, всю его поганую кровь выпил, но хотите верьте, хотите нет, а я об этом тогда даже не подумал, потому что Кирилл у меня ну просто ожил, снова стал как струна, аж звенит весь, и по лестнице скачет через четыре ступеньки, закурить человеку не дает. В общем, все я ему рассказал: и какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал и посмотрел на меня, и ясное дело, сразу все про меня понял, да и чего здесь было не понять...

— Ай да ты, — говорит он, а сам улыбается. — Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В девять я закажу пропуска и «галошу», а в десять благословясь выйдем. Давай?

— Давай, — говорю. — А кто третий?

— А зачем нам третий?

— Э, нет, — говорю. — Это тебе не пикник с девочками. А если что-нибудь с тобой случится? Зона, — говорю. — Порядок должен быть.

Он слегка усмехнулся, пожал плечами.

— Как хочешь. Тебе виднее.

Еще бы не виднее! Конечно, это он свеликодушничал, для меня старался: третий лишний, сбегает вдвоем, и все будет шито-крыто, никто про тебя не догадается. Да только я знаю, институтские вдвоем в Зону не ходят. У них такой порядок: двое дело делают, а третий смотрит, и когда его потом спросят — расскажет.

— Лично я бы взял Остина, — говорит Кирилл. — Но ты его, наверное, не захочешь. Или ничего?

— Нет, — говорю. — Только не Остина. Остина ты в другой раз возьмешь.

Остин парень неплохой, смелость и трусость у него в нужной пропорции, но он, по-моему, уже отмеченный. Кириллу этого не объяснишь, но я-то вижу: вообразил человек о себе, будто Зону знает и понимает до конца, и скоро гробанется. И пожалуйста. Только без меня.

— Ну хорошо, — говорит Кирилл. — А Тендер?
Тендер — это его второй лаборант. Ничего мужик, спокойный.

— Староват, — говорю я. — И дети у него...

— Ничего. Он в Зоне уже бывал.

— Ладно, — говорю. — Пусть будет Тендер.

В общем, он остался сидеть над картой, а я поскакал напрямик в «Боржч», потому что жрать хотелось невмоготу и в глотке пересохло.

Ладно. Являюсь я утром как всегда к девяти, предъявляю пропуск, а в проходной дежурит этот дылдоватый сержант, которого я в прошлом году отметелил, когда он по пьяному делу стал приставать к Гуте.

— Здорово, — он мне говорит. — Тебя, — говорит, — Рыжий, по всему институту ищут...

Тут я его так вежливо прерываю:

— Я тебе не Рыжий, — говорю. — Ты мне в приятели не набивайся, шведская оглобля.

— Господи, Рыжий! — говорит он в изумлении. — Да тебя же все так зовут!

Я перед Зоной взвинченный, да еще трезвый вдобавок — взял я его за портупею и во всех подробностях выдал, кто он такой есть и почему от своей родительницы произошел. Он плюнул, вернул мне пропуск и уже без всех этих нежностей:

— Рэдрик Шухарт, — говорит, — вам приказано немедленно явиться к уполномоченному отдела безопасности капитану Херцугу.

— Вот то-то, — говорю я. — Это другое дело. Учись, сержант, в лейтенанты выбьешься.

А сам думаю: это еще что за новости? Какого это для понадобился я капитану Херцугу в служебное время? Ладно, иду являться. У него кабинет на третьем этаже, хороший кабинет, и решетки на окнах, как в полиции. Сам Вилли сидит за своим столом, сипит своей трубкой и разводит себе писанину на машинке, а в углу копается в железном шкафу какой-то сержантик, новый какой-то, не знаю я его. У нас в институте этих сержантов больше чем в дивизии, да все такие дородные, румяные, кровь с молоком, им в Зону ходить не надо и на мировые проблемы им наплевать.

— Здравствуйте, — говорю я. — Вызывали?

Вилли смотрит на меня, как на пустое место, отодвигает машинку, кладет перед собой толстенную папку и принимается ее листать.

— Рэдрик Шухарт? — говорит.

— Он самый, — отвечаю, а самому смешно — сил нет. Нервное такое хихиканье подмывает.

— Сколько времени работаете в институте?

— Два года, третий.

— Состав семьи?

— Один я, — говорю. — Сирота.

Тогда он поворачивается к своему сержантику и строго ему приказывает:

— Сержант Луммер, ступайте в архив и принесите дело номер сто пятьдесят.

Сержантик козырнул и смылся, а Вилли захлопнул папку и сумрачно так спрашивает:

— Опять за старое взялся?

— За какое такое старое?

— Сам знаешь, за какое. Опять на тебя материал пришел.

Так, думаю.

— И откуда материал?

Он нахмурился и стал в раздражении колотить своей трубкой по пепельнице.

— Это тебя не касается, — говорит. — Я тебя по старой дружбе предупреждаю: брось это дело, брось навсегда. Ведь во второй раз сцапают — шестью месяцами не отделаешься. А из института тебя вышибут немедленно и навсегда, понимаешь?

— Понимаю, — говорю. — Это я понимаю. Не понимаю только, какая же это сволочь на меня настучала...

Но он уже опять смотрит на меня оловянными глазами, сипит пустой трубкой и знай себе листает папку. Это, значит, вернулся сержант Луммер с делом номер сто пятьдесят.

— Спасибо, Шухарт, — говорит капитан Вилли Херцог по прозвищу Боров. — Это все, что я хотел выяснить. Вы свободны.

Ну, я пошел в раздевалку, натянул спецовочку, закурил, а сам все время думаю: откуда же это звон идет? Ежели из института, то ведь это все вранье, никто здесь про меня ничего не знает и знать не может. А если телегу из полиции прислали... опять-таки, что они там могут знать, кроме моих старых дел? Может, Стервятник попался, эта сволочь, чтобы себя выгородить, кого хочешь утопит... Но ведь и Стервятник обо мне теперь ничего не знает. Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать. Последний раз ночью я в Зону ходил

три месяца назад, хабар почти весь уже сбыл и деньги почти все растратил. С поличным не поймали, а теперь черт меня возьмешь, я скользкий.

Но тут, когда я уже поднимался по лестнице, меня вдруг осенило, да так осенило, что я вернулся в раздевалку, сел и снова закурил. Получалось, что в Зону-то мне идти сегодня нельзя. И завтра нельзя, и послезавтра. Получалось, что я опять у этих легавых жаб на заметке, не забыли они меня, а если и забыли, то им кто-то напомнил. И теперь уже не важно, кто именно. Никакой же сталкер, если он совсем не свихнулся, на пушечный выстрел к Зоне не подойдет, когда знает, что за ним следят. Мне сейчас в самый темный угол залезть надо. Какая, мол, Зона? Я туда, мол, и по пропускам-то не хожу который месяц! Что вы, понимаешь, привязались к честному лаборанту?

Обдумал я все это и вроде бы даже облегчение почувствовал, что в Зону мне сегодня идти не надо. Только как это все поделикатнее сообщить Кириллу?

Я ему сказал прямо:

— В Зону не иду. Какие будут распоряжения?

Сначала он, конечно, вылупил на меня глаза. Потом, видно, что-то сообразил: взял меня за локоть, отвел к себе в кабинетик, усадил за свой столик, а сам примостился рядом на подоконнике. Закурили. Молчим. Потом он осторожно так меня спрашивает:

— Что-нибудь случилось, Рэд?

Ну что я ему скажу?

— Нет, — говорю, — ничего не случилось. Вчера вот в покер двадцать монет продул — здорово этот Нуан играет, шельма...

— Подожди, -- говорит он. — Ты что, раздумал?

Тут я даже закричал от натуги.

— Нельзя мне, — говорю ему сквозь зубы. — Нельзя мне, понимаешь? Меня сейчас Херцог к себе вызывал.

Он обмяк. Опять у него несчастный вид сделался, и опять у него глаза стали, как у больного пуделя. Передохнул он этак судорожно, закурил новую сигарету от окурка старой и тихо говорит:

— Можешь мне поверить, Рэд, я никому ни слова не сказал.

... Брось, — говорю. — Разве о тебе речь?

— Я даже Тендеру еще ничего не сказал. Пропуск на него выписал, а самого даже не спросил, пойдет он или нет...

Я молчу, курю. Смех и грех, ничего человек не понимает.

— А что тебе Херцог сказал?

— Да ничего особенного, — говорю. — Настучал кто-то на меня, вот и все.

Посмотрел он на меня как-то странно, соскочил с подоконника и стал ходить по своему кабинетику взад-вперед. Он по кабинетику бегаёт, а я сижу, дым пускаю и помалкиваю. Жалко мне его, конечно. и обидно, что так по-дурацки получилось: вылечил, называется, человека от меланхолии. А кто виноват? Сам я и виноват. Поманил дитятю пряником. а пряник-то в заначке, а заначку сердитые дяди стерегут... Тут он перестает бегать, останавливается около меня и, глядя куда-то вбок, неловко спрашивает:

— Слушай, Рэд. — спрашивает. — А сколько она может стоять — полная «пустышка»?

Я сначала его не понял, подумал сначала, что он ее еще где-нибудь купить рассчитывает, да только где ее такую купишь, может быть, она всего одна такая на свете, да и денег у него на это не хватило бы: откуда у него деньги — у иностранного специалиста, да еще русского? А потом меня словно обожгло: что же это он, поганец, думает — я из-за зелененьких эту бодягу развел? Ах ты, думаю, стервец, да за кого же ты меня принимаешь?.. Я уже рот раскрыл, чтобы обложить его в бога, в сердце, в печень. И осекся. Потому что действительно, а за кого ему меня еще принимать? Сталкер — он сталкер и есть, ему бы только зелененьких побольше, он за зелененькие жизнью торгует. Вот и получалось, что вчера я, значит, удочку забросил, а сегодня приманку вожу, цену набиваю.

У меня даже язык отнялся от таких мыслей, а он на меня смотрит пристально, глаз не сводит, и в глазах его я вижу не презрение даже, а понимание, что ли. И тогда я спокойно ему объяснил.

— К гаражу, — говорю, — еще никто никогда с пропуском не ходил. Туда еще трасса не провешена, ты это знаешь. Теперь возвращаемся мы назад, и твой Тендер начинает хвастаться, как махнули мы прямо к гаражу, взяли что надо и сразу обратно. Словно бы на склад сходили. И каждому будет ясно, — говорю, — что заранее мы знали, за чем идем. А это значит, что кто-то нас навел. А уж кто из нас троих навел — здесь комментариёв не нужно. Понимаешь, чем это для меня пахнет?

Кончил я свою речь, смотрим мы друг другу в глаза и молчим. Потом он вдруг хлопнул ладонью о ладонь. руки потер и бодрячком таким объявляет:

— Ну что ж, нет так нет. Я тебя понимаю, Рэд. и осуждать не могу. Пойду сам. Авось обойдется. Не в первый раз...

Расстелил он на подоконнике карту, уперся руками, сгорбился над ней, и вся его бодрость прямо-таки на глазах испарилась. Слышу — бормочет:

— Сто двадцать метров... даже сто двадцать два... и что там еще в самом гараже... Нет, не возьму я Тендера. Как ты думаешь, Рэд, может, не стоит Тендера брать? Все-таки у него двое детей...

— Одного тебя не выпустят, — говорю я.

— Ничего, выпустят... — бормочет он. — У меня все сержанты знакомые... и лейтенанты... Не нравятся мне эти грузовики! Тринадцать лет под открытым небом стоят, а все как новенькие... В двадцати шагах бензовоз — ржавый, как решето, а они будто только что с конвейера... Ох уж эта Зона!

Поднял он голову от карты и уставился в окно. И я тоже уставился в окно. Стекла в наших окнах толстые, свинцовые, а за стеклами — Зона-матушка, вот она, рукой подать, вся как на ладони с тринадцатого этажа...

Так вот посмотришь на нее — земля как земля. Солнце на нее как на всю остальную землю светит, и ничего вроде бы на ней не изменилось, все вроде бы как тринадцать лет назад. Батя, покойник, посмотрел бы и ничего бы особенного не заметил, разве что спросил бы: чего это завод не дымит, забастовка, что ли?.. Желтая порода конусами, кауперы на солнышке отсвечивают, рельсы, рельсы, рельсы, на рельсах паровозик с платформами... Индустриальный пейзаж, одним словом. Только людей нет. Ни живых, ни мертвых. Вон и гараж виден: длинная серая кишка, ворота нараспашку, а на асфальтовой площадке грузовики стоят. Тринадцать лет стоят, и ничего им не делается. Правильно это он насчет машин отметил — соображает. Упаси бог между двумя машинами сунуться, их надо стороной обходить... там одна трещина есть в асфальте, если только с тех пор колючкой не заросла... Сто двадцать два метра — это откуда же он считает? А! Наверное, от крайней вешки считает. Правильно, оттуда больше и не будет. Все-таки продвигаются очкарики... Смотри, до самого отвала дорогу повесили, да как ловко повесили! Вон она, та канавка, где

Слизняк гробанулся, всего в двух метрах от ихней дороги... А ведь говорил Мослатый Слизняку: держись, дурак, от канав подальше, а то ведь и хоронить нечего будет... Как в воду глядел — нечего хоронить... С Зоной ведь так: с хабаром вернулся — чудо; живой вернулся — удача; патрульная пуля — везенье, а все остальное — судьба...

Тут я посмотрел на Кирилла и вижу: он за мной искоса наблюдает. И лицо у него такое, что я в этот момент снова все перерешил. Ну их, думаю, всех к черту, что они в конце концов, жабы, сделать могут? Он бы мог вообще ничего не говорить, но он сказал:

— Лаборант Шухарт, — говорит. — Из официальных — подчеркиваю: из официальных — источников я получил сведения, что осмотр гаража может принести большую пользу науке. Есть предложение осмотреть гараж. Премияльные гарантирую. — И сам улыбается, что твоя майская роза.

— Из каких же это официальных источников? — спрашиваю я и тоже ему улыбаюсь как дурак.

— Это конфиденциальные источники, — отвечает он. — Но вам я могу сказать... — Тут он перестал улыбаться и насупился. — Скажем, от доктора Дугласа.

— А, — говорю, — от доктора Дугласа... От какого же это Дугласа?

— От Сэма Дугласа, — говорит он сухо. — Он погиб в прошлом году.

У меня мурашки по коже пошли. Так и так тебя! Кто же перед выходом говорит о таких вещах? Хоть кол им, очкарикам, на голове теши — ничего не соображают... Ткнул я окурком в пепельницу и говорю:

— Ладно. Где твой Тендер? Долго мы его еще ждать будем?

Словом, больше мы на эту тему не говорили. Кирилл позвонил в ППС, заказал «летучую галошу», а я взял карту и посмотрел, что у них там нарисовано. Ничего себе нарисовано, в норме. Фотографическим путем — сверху и с большим увеличением. Даже рубчики видны на крышке, которая валяется у ворот гаража. Нашему бы брату сталкеру такую карту... а впрочем, черта от нее толку ночью-то, когда задницу звездам показываешь и собственных рук не видно...

А тут и Тендер заявился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Ну, мы ему и поднесли подарочек — в Зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так в

Зону? — говорит. — Почему — я?» Однако, услышав про двойные премиальные и про то, что Рэд Шухарт тоже идет, оправился и задышал снова.

В общем, спустились мы в «будуар», Кирилл смотался за пропусками, предъявили мы их еще одному сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы его из красного в какой-нибудь подходящий цвет — любой сталкер за такой костюм пятьсот монет отвалит, глазом не моргнет. Я уж давно поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. На первый взгляд — ничего особенного, костюм такой вроде водолазного и шлем, как у водолаза, с большим окном впереди. Даже не вроде водолазного, а скорее как у летчика-реактивщика или, скажем, у космонавта. Легкий, удобный, нигде не жмет, и от жары в нем не потеешь. В таком костюмчике и в огонь можно, и газ через него никакой не проникает. Пуля, говорят, и то не берет. Конечно, и огонь, и иприт какой-нибудь, и пуля — это все земное, человеческое. В Зоне ничего этого нет, в Зоне не этого надо опасаться. В общем, чего там говорить, и в спецкостюмах тоже мрут как миленькие. Другое дело, что без них мерли бы, может быть, еще больше. От «жгучего пуха», например, эти костюмы на сто процентов спасают. Или от плевков «чертовой капусты»... Ладно.

Натянули мы спецкостюмы, пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман, и побрели мы через весь институтский двор к выходу в Зону. Так здесь у них это заведено, чтобы все видели: вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и святого духа, аминь. И точно — во все окна аж до пятнадцатого этажа хайла повывставлялись, только что платочками не машут и оркестра нет.

— Шире шаг, — говорю я Тендеру. — Брюхо подбери, слабосильная команда! Благодарное человечество тебя не забудет!

Посмотрел он на меня, и вижу я, что ему не до шуток. И правильно — какие уж тут шутки... Но когда в Зону выходишь, то уж одно из двух: либо плачь, либо шути — а я сроду не плакал. Посмотрел я на Кирилла. Ничего держится, только губами шевелит, вроде молится.

— Молишься? — спрашиваю. — Молись, — говорю, — молись! Дальше в Зону — ближе к небу...

— Что? — спрашивает он.

— Молись! — кричу. — Сталкеров в рай без очереди пропускают!

А он вдруг улыбнулся и похлопал меня ладонью по спине: не бойся, мол, со мной не пропадешь, а если и пропадешь, то умираем, мол, один раз. Нет, смешной он парень, ей-богу.

Сдали мы пропуска последнему сержанту — на этот раз, в порядке исключения, это лейтенант оказался, я его знаю, у него папаша кладбищенскими оградами в Рексополе торгует, — а «летучая галоша» уже тут как тут, подогнали ее ребята из ППС и поставили у самой проходной. Все уже тут как тут: и «скорая помощь», и пожарники, и наша доблестная гвардия, бесстрашные спасатели — куча отъездивших бездельников со своим вертолетом. Глаза б мои на них не глядели.

Поднялись мы на «галошу», Кирилл встал за управление и говорит мне:

— Ну, Рэд, командуй.

Я без всякой торопливости приспустил молнию на груди, достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует, крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в Зону иду, а без этого — нет, не могу. Они оба на меня смотрят и ждут.

— Так, — говорю. — Вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать — буду бить по чему попало, извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин Тендер, прикажу: на руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнять, что тебе сказано. А не выполнишь — дочку свою больную, может, и не увидишь больше. Понятно? Но уж я позабочусь, чтобы ты увидел.

— Ты, Рэд, главное, приказать не забудь, — сипит Тендер, а сам весь красный, уже потеет и губами шлепает. — Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок.

— Вы для меня оба новички, — говорю, — а уж приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты «галошу» водить умеешь?

— Умеет, — говорит Кирилл. — Хорошо водит.

— Хорошо так хорошо, — говорю. — Тогда с богом. Опустить забрала! Малый вперед по вешкам, высота три метра! У двадцать седьмой вешки — остановка.

Кирилл поднял «галошу» на три метра и дал малый вперед, а я незаметно повернул голову и тихонько дунул

через левое плечо. Смотрю — гвардейцы-спасатели в свой вертолет полезли, пожарники встали от почтительности, лейтенант в дверях проходной честь нам, дурак, отдает, а над всеми над ними — здоровенный плакат, уже выцветший: «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацелился было им всем ручкой сделать, но я ему так в бок двинул, что у него сразу эти церемонии из головы вылетели. Я тебе покажу — прощаться, морда твоя толстозадая!..

Поплыли.

Справа у нас был институт, слева — Чумной квартал, а мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы. Ох и давно же по этой улице никто не ходил и не ездил. Асфальт весь потрескался, трещины проросли травой, но это еще была наша трава, человеческая. А вот на тротуаре по левую руку росла уже черная колючка, и по этой колючке было видно, как четко Зона себя обозначает: черные заросли у самой мостовой словно косою срезало. Нет, пришельцы эти все-таки порядочные ребята были. Нагадили, конечно, много, но сами же своему дерьму обозначили ясную границу. Ведь даже «жгучий пух» на нашу сторону из Зоны — ни-ни, хотя, казалось бы, его ветром как попало мотает...

Дома в Чумном квартале облупленные, мертвые, однако стекла в окнах почти везде целы, грязные только и потому как бы слепые. А вот ночью, когда проползаешь мимо, очень хорошо видно, как внутри светится, словно спирт горит, язычками такими голубоватыми. Это «ведьмин студень» из подвалов дышит. А вообще так вот посмотришь — квартал как квартал, дома как дома, ремонта, конечно, требуют, но ничего особенного нет, людей только не видно. Вот в этом кирпичном доме, между прочим, жил наш учитель арифметики по прозвищу Запятая. Зануда он был и неудачник, вторая жена у него ушла перед самым Посещением, а у дочки бельмо на глазу было, так мы ее, помню, до слез задрозивали. Когда паника началась, он со всеми прочими из этого квартала в одном белье до самого моста бежал — все шесть километров без передышки. Потом долго чумкой болел, кожа с него слезла, ногти. Все, кто в этом квартале жил, почти все переболели, поэтому-то и квартал называется Чумным. Некоторые померли, но главным образом старики, да и то не все. Я, например, думаю, что они не от чумки померли, а от страха. Страшно было очень. Кто в этом квартале жил, чумкой болел. А вот в тех трех

кварталах люди слепли. Теперь эти кварталы так и называются: Первый Слепой, Второй Слепой... Не до конца слепли, а так, вроде куриной слепоты. Между прочим, рассказывают, что ослепли они будто бы не от вспышки какой-нибудь там, хотя вспышки, говорят, тоже были, а ослепли они от сильного грохота. Загремело, говорят, с такой силой, что сразу ослепли. Доктора им: да не может этого быть, вспомните хорошенько, — нет, стоят на своем: сильнейший гром, от которого они и ослепли. И при этом никто, кроме них, грома не слышал...

Да, будто здесь ничего не случилось. Вон киоск стоит стеклянный целехонек. Детская коляска в воротах — даже бельишко в ней вроде бы чистое... Антенны вот только подвели — обросли какими-то волосами наподобие мочалы. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат: интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочала — нигде такого больше нет, только в Чумном квартале и только на антеннах. А главное — тут же, рядом ведь, под самыми окнами. В прошлом году догадались: спустили с вертолета якорь на стальном тросе, зацепили одну мочалку. Только он потянул — вдруг «пш-ш-ш!» Смотрим — от антенны дым, от якоря дым, и сам трос уже дымится, да не просто дымится, а с ядовитым таким шипением, вроде как гремучая змея. Ну, пилот, даром что лейтенант, быстро сообразил, что к чему, трос выбросил, а сам деру дал... Вон он этот трос висит, до самой земли почти свисает и весь мочалой оброс...

Так потихоньку-полегоньку доплыли мы до конца улицы, до поворота. Кирилл посмотрел на меня: сворачивать? Я ему махнул: самый малый. Повернула наша «галоша» и пошла самым малым над последними шагами человеческой земли. Тротуар ближе, ближе, вот уже и тень «галоши» на колючки упала... Все, Зона. И сразу такой озноб по коже. Каждый раз у меня этот озноб, и до сих пор я не знаю, то ли это так Зона меня встречает, то ли нервишки у сталкера шалят. Каждый раз думаю: вернусь и спрошу, у других бывает то же самое или нет? — и каждый раз забываю.

Ну ладно, ползем потихоньку над бывшими огородами, двигатель под ногами гудит ровно, спокойно — ему-то что, его не тронут. И тут мой Тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно новички болтают в Зоне: зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. По-моему, это у

них вроде поноса, от человека не зависит, а льет себе и льет. И чего только они не болтают! То начнет пейзажем восхищаться, то примется высказывать свои соображения по поводу пришельцев, а то и вообще к делу не относящиеся — вот как Тендер сейчас: завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы менял...

— Замолчи, — говорю.

Он грустно так на меня посмотрел, губами пошлепал — и опять: сколько шелку на подкладку пошло. А огороды уже кончаются, под нами уже глинистый пустырь, где раньше городская свалка была, и чувствую я — ветерком здесь тянет. Только что никакого ветра не было, а тут вдруг потянуло. пылевые чертики побежали, и вроде бы я что-то слышу.

— Молчи, сволочь, — говорю я Тендеру.

Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну, тогда извини.

— Стой, — говорю Кириллу.

Он немедленно тормозит. Реакция хорошая, молодец. Беру я Тендера за плечо, поворачиваю его к себе и с размаху — ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло, глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал: тр-р-р... тр-р-р... тр-р-р... Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты, рот оскален. Я рукой ему показываю — стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. Но ведь он тоже этот треск слышит, и, как у всех новичков, у него сразу позыв — действовать, делать что-нибудь. «Задний ход?» — шепчет. Я ему отчаянно головой мотаю, кулаком перед самым шлемом трясую — нишкни, мол. Эх, мать честная, с этими новичками — не знаешь, куда смотреть, то ли в поле смотреть, то ли на них. И тут я про все забыл. По-над кучей старого мусора, над битым стеклом и тряпьем разным, поползло этакое дрожание, трепет какой-то, ну как горячий воздух в полдень над железной крышей, перевалило через бугор и пошло, пошло нам наперерез рядом с самой вешкой, над дорогой задержалось, постояло с полсекунды — или это мне показалось только? — и утянулось в поле, за кусты, за гнилые заборы, туда, к кладбищу старых машин.

Мать их, очкариков, в чертову душу, надо же, сообразили, где дорогу провесить: по выемке! Ну и я тоже хорош — куда это мои глаза дурацкие глядели, когда я ихней картой восхищался?

— Давай малый вперед, — говорю я Кириллу.

— А что это было?

— А хрен его знает... Было и нету, и слава богу. И заткнись, пожалуйста. Ты сейчас не человек, понял? Ты сейчас машина, рычаг мой...

Тут я спохватился, что меня, похоже, тоже словесный понос одолевать начинает.

— Все, — говорю. — Ни слова больше.

Хлебнул бы сейчас. Достать из-за пазухи родимую, свинтить колпачок не торопясь, горлышко на нижние зубы положить и голову задрать, чтобы само полилось, в самую глотку полилось, продрало бы, слезу выточило... а потом флягу покачать и еще раз приложиться. Барахло эти скафандры, вот что я вам скажу. Без скафандра я, ей-богу, столько прожил и еще столько же проживу, а без хорошего глотка в такой вот момент... Ну да ладно.

Ветерок вроде бы упал, и ничего дурного вокруг не слышно, только двигатель гудит спокойно так, сонно. А вокруг солнце, а вокруг жара... над гаражом марево... все вроде бы нормально, вешки одна за другой мимо проплывают, Тендер молчит, Кирилл молчит — шлифуются новички. Ничего, ребята, в Зоне тоже дышать можно, если умеючи... А вот и двадцать седьмая вешка — железный шест и красный круг на нем с номером 27. Кирилл на меня посмотрел, кивнул я ему, и наша «галоша» остановилась.

Цветочки кончились, пошли ягодки. Теперь самое главное для нас — полнейшее спокойствие. Торопиться некуда, ветра нет, видимость хорошая, все как на ладони. Вон канава проходит, где Слизняк гробанулся, — пестрое там что-то виднеется, может, тряпье его. Паршивый был парень, упокой господи его душу, жадный, глупый, грязный, только такие вот со Стервятником и связываются, таких Стервятник Барбридж за версту видит и под себя подгребает... а вообще-то Зона не спрашивает, плохой ты или хороший, и спасибо тебе, выходит, Слизняк: дурак ты был, даже имени настоящего твоего никто не помнит, а умным людям показал, куда ступать нельзя... Так. Конечно, лучше всего добраться бы нам теперь до асфальта. Асфальт ровный, на нем все виднее, и трещина там эта знакомая. Только вот не нравятся мне эти бугорочки. Если по прямой к асфальту идти, проходить придется как раз между ними. Ишь, стоят, будто ухмыляются, ожидают. Нет, промежду вами я не пойду. Вторая заповедь сталкера: либо справа, либо слева все должно быть чисто

на сто шагов. А вот через левый бугорочек перевалить можно... Правда, не знаю я, что там за ним. На карте как будто ничего не было, но кто же картам верит?..

— Слушай, Рэд, — шепчет мне Кирилл. — Давай прыгнем, а? На двадцать метров вверх и сразу вниз — вот мы и у гаража, а?

— Молчи, дурак, — говорю я. — Не мешай, молчи.

Вверх ему. А долбанет тебя там на двадцати метрах? Костей ведь не соберешь. Или «комариная плешь» где-нибудь здесь объявится — тут не то что костей, мокрого места не останется. Ох уж эти мне рискованные, не терпится ему, видишь ты: давай прыгнем... В общем, как до бугра идти — ясно, а там постоим посмотрим. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони и говорю:

— Мальчика с пальчик помнишь? Проходил в школе? Так вот сейчас будет все наоборот. Смотри! — И бросил я первую гайку. Недалеко бросил, как положено. Метров на десять. Гайка прошла нормально. — Видел?

— Ну? — говорит.

— Не «ну», а видел, я спрашиваю?

— Видел.

— Теперь самым малым веди «галошу» к этой гайке и в двух шагах от нее остановись. Понял?

— Понял. Гравиконцентраты ищешь?

— Что надо, то и ищу. Подожди, я еще одну брошу. Следи, куда упадет, и глаз с нее больше не спускай.

Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально и легла рядом с первой.

— Давай, — говорю.

Тронул он «галошу». Лицо у него спокойное и ясное сделалось: видно, все понял. Они ведь все, очкарики, такие. Им главное — название придумать. Пока не придумал — смотреть на него жалко, дурак дураком. Ну, а как придумал какой-нибудь гравиконцентрат — тут ему словно все понятно становится, и сразу ему жить легче.

Прошли мы первую гайку, прошли вторую, третью. Тендер вздыхает, с ноги на ногу переминается и то и дело зеваает от нервности с таким собачьим прискуливанием — томно ему, бедняге. Ничего, это ему на пользу. Пяток кило он сегодня скинет, это лучше всякой диеты... Бросил я четвертую гайку. Как-то она не так прошла. Не могу объяснить, в чем дело, но чувствую — не так, и сразу хватать Кирилла за руку.

— Стой, — говорю, — ни с места...

А сам взял пятую и кинул повыше и подальше. Вот она, «плешь комариная»! Гаечка вверх полетела нормально, вниз — тоже вроде нормально было пошла, но на полпути ее словно кто-то вбок дернул, да так дернул, что она в глину ушла и из глаз исчезла.

— Видел? — говорю я шепотом.

— В кино только видал, — говорит, а сам весь вперед подался, того и гляди с «галоши» сверзится. — Брось еще одну, а?

Смех и грех. Одну! Да разве здесь одной обойдешься? Эх, наука!.. Ладно, разбросал я еще восемь гаек, пока «плешь» не обозначил. Честно говоря, и семи хватило бы, но одну я специально для него бросил, в самую середку — пусть полюбуется на свой концентрат. Ахнула она в глину, словно это не гаечка упала, а пятипудовая гиря. Ахнула — и только дырка в глине. Он даже крикнул от удовольствия.

— Ну, ладно, — говорю. — Побаловались, и хватит. Сюда смотри. Кидаю проходную, глаз с нее не спускай.

Короче, обошли мы «комариную плешь» и поднялись на бугорочек. Бугорочек этот — как кот нагадил, я его до сегодняшнего дня вообще не примечал. Да... Ну, зависли мы над бугорочком, до асфальта рукой подать, шагов двадцать. Место чистейшее — каждую травинку видно, каждую трещинку. Казалось бы, ну что? — кидай гайку, и с богом.

Не могу кинуть гайку.

Сам не понимаю, что со мной делается, но гайку кинуть никак не решаюсь.

— Ты что, — говорит Кирилл, — чего мы стоим?

— Подожди, — говорю. — Замолчи ради бога.

Сейчас, думаю, кину гаечку, спокойненько пройдем, как по маслу проплывем, травинка не шелохнется, полминуты, а там и до асфальта... И тут вдруг потом меня как прошибет! Даже глаза залило, и уже знаю я, что гаечку туда кидать не буду. Влево — пожалуйста, хоть две. И дорога туда длиннее, и камушки какие-то я там вижу не шибко приятные, но туда я гаечку кинуть берусь, а прямо — ни за что. И кинул я гаечку влево. Кирилл ничего не сказал, повернул «галошу», подвел к гайке и только тогда на меня посмотрел. И вид у меня, должно быть, был очень нехорош, потому что он тут же отвел глаза.

— Ничего, — я ему говорю. — Кривой дорогой ближе. — И кинул последнюю гаечку на асфальт.

Дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку, чистая она оказалась, милая моя, никакой дрянью не заросла, цвет не переменяла, смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража лучше всяких вешек.

Я приказал Кириллу снизиться до полутора метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала с солнца ничего не было видно — черно и черно, — потом глаза привыкли, и вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменялось. Тот самосвал как стоял на яме, так и стоит, целенький стоит, без дыр, без пятен, и на цементном полу вокруг все как прежде — потому, наверное, что «ведьмина студня» в яме мало скопилось, не выплескивался он с тех пор ни разу. Одно мне только не понравилось: в самой глубине гаража, где канистры стоят, серебрится что-то. Раньше этого не было. Ну ладно, серебрится так серебрится, не возвращаться же теперь из-за этого. Ведь не как-нибудь особенно серебрится, а чуть-чуть, самую малость, и спокойно так, вроде бы даже ласково... Поднялся я, отряхнул брюхо и поглядел по сторонам. Вон грузовики на площадке стоят действительно, как новенькие, с тех пор, как я в последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали, а бензовоз — тот совсем, бедняга, проржавел, скоро разваливаться начнет. Вон и крышка валяется, которая у них на карте...

Не понравилась мне эта крышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце в спину, а тень к нам протянулась. Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего, работать можно. Только что это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Сейчас бы закурить, присесть тихонечко и поразмыслить — почему над канистрами серебрится, почему рядом не серебрится... тень почему такая от крышки... Стервятник Барбридж про тени что-то рассказывал, диковинное что-то, но безопасное... С тенями здесь бывает. А вот что это там все-таки серебрится? Ну прямо как паутина в лесу на деревьях. Какой же это паучок ее там сплел? Ох, ни разу я еще жучков-паучков в Зоне не видел. И хуже всего, что «пустышка» моя как раз там, шагах в двух от канистр валяется. Надо мне было тогда же ее и упереть, никаких бы забот сейчас не было. Но уж больно тяжелая, стерва, полная ведь — поднять-то я ее мог, но на горбу тащить, да еще ночью, да еще на карачках... а кто «пустышек» ни разу не таскал, пусть попробует: это все равно что пуд

воды без ведер нести... Так идти, что ли? Надо идти. Хлебнуть бы сейчас... Повернулся я к Тендеру и говорю:

— Сейчас мы с Кириллом пойдем в гараж. Ты остаешься здесь за водителя. К управлению без моего приказа не притрагивайся, что бы ни случилось. Хоть земля под тобой загорится. Если струсишь — на том свете найду.

Он серьезно мне покивал — не струшу, мол. Нос у него — что твоя слива, здорово я ему врезал... Ну, спустил я тихонечко аварийные блок-тросы, посмотрел еще раз на это серебрение, махнул Кириллу и стал спускаться. Встал на асфальт, жду, пока он спустится по другому тросу.

— Не торопись, — говорю ему. — Не спеши. Меньше пыли.

Стоим мы на асфальте, «галоша» рядом с нами покачивается, тросы под ногами ерзают. Тендер башку через перила выставил, на нас смотрит, и в глазах у него отчаяние. Надо идти. Я говорю Кириллу:

— Иди за мной шаг в шаг, в двух шагах позади, смотри мне в спину, не зевай.

И пошел. На пороге остановился, огляделся. Все-таки до чего же проще работать днем, чем ночью. Помню я, как лежал вот на этом самом пороге. Темно, как у негра в ухе, из ямы «ведьмин студень» языки высовывает, голубые, как спиртовое пламя, и ведь что обидно — ничего, сволочь, не освещает, даже темнее из-за этих языков кажется. А сейчас — что! Глаза к сумраку привыкли, все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно, серебрится там, нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку — очень на паутину похоже. Может, паутина и есть, но лучше от нее подальше. Вот тут-то я и напортачил. Мне бы Кирилла рядом с собой поставить, подождать, пока и у него глаза к полутьме привыкнут, и показать ему эту паутину, пальцем в нее ткнуть. А я привык один работать, у самого глаза пригляделись, а про Кирилла я и не подумал.

Шагнул это я внутрь и прямо к канистрам. Присел над «пустышкой» на корточки, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу:

— Ну, берись, да не урони — тяжелая...

Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило: ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть: стой, мол, замри! — и не могу. Да и не успел бы, наверное, слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через «пустышку», поворачивается задом к канистрам и всей спи-

ной — в это серебрение. Я только глаза закрыл. Все во мне обмерло, ничего не слышу — слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском, словно обыкновенная паутина лопається, но, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами, ни рук, ни ног не чувствую, а Кирилл говорит:

— Ну, что ты? — говорит. — Взяли?

— Взяли, — говорю.

Подняли мы «пустышку» и понесли к выходу, боком идем. Тяжеленная, стерва, даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко, остановились у «галоши», Тендер к нам уже лапы протянул.

— Ну, — говорит Кирилл, — раз, два...

— Нет, — говорю, — погоди. Поставим сначала.

Поставили.

— Повернись, — говорю, — спиной.

Он без единого слова повернулся. Смотрю я — ничего у него на спине нет. Я и так, я и этак — нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет.

— Слушай, — говорю Кириллу, а сам все на канистры смотрю. — Ты паутину видел?

— Какую паутину? Где?

— Ладно, — говорю. — Счастлив наш бог. — А сам про себя думаю: сие, впрочем, пока неизвестно. — Давай, — говорю, — берись.

Взвалили мы «пустышку» на «галошу» и поставили ее на попу, чтобы не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди солнышко играет, и синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не «пустышка» это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на «галошу» сами, и без лишних слов — в обратный путь.

Лафа этим ученым! Во-первых, днем работают. А во-вторых, ходить им тяжело только в Зону, а из Зоны «галоша» сама везет — есть у нее такое устройство, курсограф, что ли, которое ведет «галошу» точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плыдем мы обратно, все маневры повторяем, останавливаемся, повисим немного и дальше, и над всеми моими гайками проходим, хоть собирай их обратно в мешок.

Новички мои, конечно, сразу воспряли духом. Головами вертят всюду, страха у них почти не осталось, одно любопытство да радость, что все благополучно обо-

шлось. Принялись болтать. Тендер руками замахал и грозит, что вот сейчас пообедает и сразу обратно в Зону — дорогу к гаражу провешивать, а Кирилл взял меня за рукав и принялся мне объяснять про этот свой гравиконцентрат, про «комариную плешь» то есть. Ну, я их не сразу, правда, но укоротил. Спокойненько так рассказал им, сколько дураков гробанулись на радостях на обратном пути. Молчите, говорю, и глядите-ка как следует по сторонам, а то будет с вами, как с Линдоном-Коротышкой. Подействовало. Даже не спросили, что случилось с Линдоном-Коротышкой. Плывем в тишине, а я об одном думаю: как буду свинчивать крышечку. Так и этак представляю себе, как первый глоток сделаю, а перед глазами нет-нет да паутина и блеснет.

Короче говоря, выбрались мы из Зоны, загнали нас с «галошей» вместе в «вошебойку», или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в трех кипятках и трех щелочах, облучали какой-то сволочью, обсыпали чем-то и снова мыли, потом высушили и сказали: валяйте, ребята, свободны. Тендер с Кириллом поволокли «пустышку». Народу набежало смотреть — не протолкнешься, и ведь что характерно: все только смотрят и издают приветственные возгласы, а взяться и помочь усталым людям тащить — ни одного смельчака не нашлось... Ладно, меня это все не касается. Меня теперь ничего не касается...

Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол — холуи-сержанты подберут, — а сам двинул в душевую, потому что мокрый я был весь с головы до ног. Заперся в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался к ней, как клоп. Сажу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто, знай себе глотаю крепкое как воду. Живой. Отпустила Зона. Отпустила, поганка. Стерва родимая. Подлая. Живой. Ни хрена новичкам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы — то ли от крепкого, то ли не знаю от чего. Высосал флягу досуха, сам мокрый, фляга сухая. Одно последнее глотка, конечно, не хватило. Ну ладно, это поправимо. Теперь все поправимо. Живой. Закурил сигарету, сажу. Чувствую — отходить начал. Премияльные в голову пришли. Это у нас в институте поставлено отчетливо. Прямо хоть сейчас иди и получай конвертик. А может, и сюда принесут, прямо в душевую.

Стал я потихоньку раздеваться. Снял часы, смотрю —

а в Зоне-то мы пробыли пять часов с минутами, господа мои! Пять часов. Меня аж передернуло. Да, господа мои, в Зоне времени нет. Пять часов... А если разобраться, что такое для сталкера пять часов? Плунуть и растереть. А двенадцать часов не хочешь? А двое суток не хочешь, когда за ночь не успел, целый день в Зоне лежишь рылом в землю и уже не молишься даже, а вроде бы бредишь, и сам не знаешь, живой ты или мертвый... а во вторую ночь дело сделал, подобрался с хабаром к кордону, а там патрули-пулеметчики, жабы, они же тебя ненавидят, им же тебя арестовывать никакого удовольствия нет, они тебя боятся до смерти, что ты заразный, они тебя шлепнуть стремятся, и все козыри у них на руках — иди потом доказывай, что шлепнули тебя незаконно... И значит, снова рылом в землю — молиться до рассвета и опять до темноты, а хабар рядом лежит, и ты даже не знаешь, то ли он просто лежит, то ли он тебя тихо убивает. Или как Мослатый Исхак — застрял на рассвете на открытом месте, сбился с дороги и застрял между двумя канавами, ни вправо, ни влево. Два часа по нему стреляли, попасть не могли. Два часа он мертвым притворялся. Слава богу, поверили, ушли наконец. Я его потом увидел — не узнал, сломали его, как не было человека...

Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячей мылся, холодной мылся, снова горячей. Мыла целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу: барабанят в дверь, и Кирилл весело орет:

— Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!

Зелененькие — это хорошо. Открыл я дверь, стоит Кирилл голый, в одних трусах, веселый, без никакой меланхолии, и конверт мне протягивает.

— Держи, — говорит, — от благодарного человечества.

— Кашлял я на твое человечество. Сколько здесь?

— В виде исключения и за геройское поведение в опасных обстоятельствах — два оклада!

Да. Так жить можно. Если бы мне здесь за каждую «пустышку» по два оклада платили, я бы Эрнеста давным-давно подальше послал.

— Ну как, доволен? — спрашивает Кирилл, а сам сияет, рот до ушей.

— Ничего, — говорю. — А ты?

Он ничего не сказал. Обхватил меня за шею, прижал к потной своей груди, притиснул, оттолкнул и скрылся в соседнюю кабину.

— Эй! — кричу я ему вслед. — А Тендер что? Подштанники небось стирает?

— Что ты! Тендера там корреспонденты окружили, ты бы на него посмотрел, какой он важный... Он им так компетентно излагает...

--- Как, — говорю, — излагает?

Компетентно.

--- Ладно, --- говорю, — сэр. В следующий раз захвачу словарь. сэр. — И тут меня словно током ударило. — Подожди. Кирилл, — говорю. — Ну-ка, выйди сюда.

— Да я уже голый. — говорит.

Выйди, я не баба!

Ну, он вышел. Взял я его за плечи, повернул спиной. Нет. Показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли.

--- Чего тебе моя спина далась? — спрашивает он.

Отвесил я ему пинка под голую задницу, нырнул к себе в душевую и заперся. Нервы, черт бы их подрал. Там мерещилось, здесь мерещится... К дьяволу все это. Напьюсь сегодня, как зюзя. Ричарда бы ободрать, вот что! Надо же, стервец, как играет... Ну ни с какой картой его не возьмешь. Я уж и передергивать пробовал, и карты под столом крестил, и по-всякому...

— Кирилл! — кричу. — В «Боржч» сегодня придешь?

— Не в «Боржч», а в «Борщ», сколько раз тебе говорить...

— Брось! Написано «Боржч». Ты к нам со своими порядками не суйся. Так придешь или нет? Ричарда бы ободрать...

— Ох, не знаю, Рэд. Ты ведь, простая твоя душа, и не понимаешь, какую мы штуку притащили...

— А ты-то понимаешь?

— Я, впрочем, тоже не понимаю. Это верно. Но теперь, во-первых, понятно, для чего эти «пустышки» служили, а во-вторых, если одна моя идейка пройдет... Напишу статью и тебе ее персонально посвящу: Рэдрику Шухарту, почетному сталкеру, с благоговением и благодарностью посвящаю.

— Тут-то меня и упекут на два года, — говорю я.

— Зато в науку войдешь. Так эту штуку и будут называть — «банка Шухарта». Звучит?

Пока мы так трепались, я оделся. Сунул пустую флягу в карман, пересчитал зелененькие и пошел себе.

— Счастливо тебе оставаться, сложная твоя душа...

Он не ответил — вода сильно шумела.

Смотрю — в коридоре господин Тендер собственной

персоной, красный весь и надутый, что твой индюк. Вокруг него толпа — тут и сотрудники, и корреспонденты, и пара сержантов затесалась (только что с обеда, в зубах ковыряют), а он знай себе болбочет: «Та техника, которой мы располагаем, — болбочет, — дает почти стопроцентную гарантию успеха и безопасности...» Тут он меня увидел и сразу несколько усох — улыбается, ручкой делает. Ну, думаю, надо удирать. Рванул я когти, однако не успел. Слышу — топочут позади.

— Господин Шухарт! Господин Шухарт! Два слова о гараже!

— Комментариев не имею, — отвечаю я и перехожу на бег. Но черта с два от них оторвешься: один с микрофоном справа, другой с фотоаппаратом слева.

— Видели вы в гараже что-нибудь необычное? Буквально два слова!

— Нет у меня комментариев! — говорю я, стараясь держаться к объективу затылком. — Гараж как гараж...

— Благодарю вас. Какого вы мнения о турбоплатформах?

— Прекрасного, — говорю я, а сам нацеливаюсь точнехонько в сортир.

— Что вы думаете о целях Посещения?

— Обратитесь к ученым, — говорю. И раз — за дверь.

Слышу — скребутся. Тогда я им через дверь говорю:

— Настоятельно рекомендую, — говорю, — расспросите господина Тендера, почему у него нос, как свекла. Он по скромности замалчивает, а это было наше самое увлекательное приключение.

Как они вдарят по коридору! Как лошади, ей-богу. Я выждал минутку — тихо. Высунулся — никого. И пошел себе, посвистывая. Спустился в проходную, предъявил дылде пропуск, смотрю — он мне честь отдает. Герою дня, значит.

— Вольно, сержант, — говорю. — Я вами доволен.

Он осклабился, как будто я ему бог весть как польстил.

— Ну, ты, Рыжий, молодец, — говорит. — Горжусь, — говорит, — таким знакомством.

— Что, — говорю, — будет тебе в твоей Швеции о чем девкам рассказывать?

— Спрашиваешь! — говорит. — Они ж кипятком писать будут...

Нет, ничего он парень. Я, если честно, таких рослых и

румяных не люблю. Девки от них без памяти, а чего, спрашивается? Не в росте ведь дело... Иду это я по улице и размышляю, в чем же тут дело. Солнышко светит, безлюдно вокруг. И захотелось мне вдруг прямо сейчас же Гуту увидеть. Просто так. Посмотреть на нее, за руку поддержать. После Зоны человеку только одно и остается — за руку девочку поддержать. Особенно когда вспомнишь все эти разговоры про детей сталкеров — какие они получаются... Да уж, какая уж сейчас Гута, мне сейчас для начала бутылку крепкого, не меньше.

Миновал я автомобильную стоянку, а там и кордон. Стоят две патрульные машины во всей своей красе, широкие, желтые, прожекторами и пулеметами, жабы, оцетинились, ну и, конечно, голубые каски — всю улицу загородили, не протолкнешься. Я иду, глаза опустил, лучше мне сейчас на них не смотреть, днем на них мне лучше не смотреть совсем: есть там два-три рыла, так я боюсь их узнать, скандал большой получится, если я их узнаю. Повезло им, ей-богу, что Кирилл меня в институт сманил, я их, гадов, искал тогда, пришел бы и не дрогнул...

Прохожу я через эту толпу плечом вперед, совсем прошел уже, и тут слышу: «Эй, сталкер!» Ну, это меня не касается, иду дальше, волоку из пачки сигаретку. Догоняет сзади кто-то, берет за рукав. Я эту руку с себя стряхнул и вполоборота вежливенько так спрашиваю:

— Какого дьявола цепляешься, мистер?

— Постой, сталкер, — говорит он. — Два вопроса.

Поднял я на него глаза — капитан Квотерблад. Старый знакомый. Совсем сохся, желтый стал какой-то.

— А, — говорю, — здравия желаю, капитан. Как ваша печень?

— Ты, сталкер, мне зубы не заговаривай, — говорит он сердито, а сам так и сверлит меня глазами. — Ты мне лучше скажи, почему сразу не останавливаешься, когда тебя зовут?

И уже тут как тут две голубые каски у него за спиной — лапы на кобурах, глаз не видно, только челюсти под касками шевелятся. И где у них в Канаде таких набирают? На племя их нам прислали, что ли?.. Днем я патрулей вообще-то не боюсь, но вот обыскать, жабы, могут, а это мне в данный момент ни к чему.

— Да разве вы меня звали, капитан? — говорю. — Вы же какого-то сталкера...

— А ты, значит, уже и не сталкер?

— Как по вашей милости отсидел — бросил, — говорю. — Завязал. Спасибо вам, капитан, глаза у меня тогда открылись. Если бы не вы...

— Что в предзоннике делал?

— Как — что? Я там работаю. Два года уже.

И чтобы закончить этот неприятный разговор, вынимаю я свое удостоверение и предъявляю его капитану Квотербладу. Он взял мою книжечку, перелистал, каждую страничку, каждую печать просто-таки обнюхал, чуть ли не облизал. Возвращает мне книжечку, а сам доволен, глаза разгорелись, и даже зарумянился.

— Извини, — говорит, — Шухарт. Не ожидал. Значит, — говорит, — не прошли для тебя мои советы даром. Что ж, это прекрасно. Хочешь верь, хочешь не верь, а я еще тогда предполагал, что из тебя толк должен получиться. Не допускал я, чтобы такой парень...

И пошел, и пошел. Ну, думаю, вылечил я еще одного меланхолика себе на голову, а сам, конечно, слушаю, глаза смущенно опускаю, поддакиваю, руки развожу и даже, помнится, ножкой застенчиво этак панель ковыряю. Эти громы у капитана за спиной послушали-послушали, замутило их, видно, гляжу — потопали прочь, где веселее. А капитан знай мне о перспективах излагает: ученье, мол, свет, неученье — тьма кромешная, господь, мол, честный труд любит и ценит — в общем, несет он эту разнузданную тягомотину, которой нас священник в тюрьме каждое воскресенье травил. А мне выпить хочется — никакого терпезу нет. Ничего, думаю, Рэд, это ты, браток, тоже выдержишь. Надо, Рэд, терпи! Не сможет он долго в таком же темпе, вот уже и задыхаться начал... Тут, на мое счастье, одна из патрульных машин принялась сигналить. Капитан Квотерблад оглянулся, крикнул с досадой и протягивает мне руку.

— Ну что ж, — говорит. — Рад был с тобой познакомиться, честный человек Шухарт. С удовольствием бы опрокинул с тобой стаканчик в честь такого знакомства. Крепкого, правда, мне нельзя, доктора не велют, но пивка бы я с тобой выпил. Да вот видишь — служба! Ну, еще встретимся, — говорит.

Не приведи господь, думаю. Но ручку ему пожимаю и продолжаю краснеть и делать ножкой — все, как ему хочется. Потом он ушел наконец, а я чуть ли не стрелой — в «Боржч».

В «Боржче» в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удиви-

тельная, между прочим, вещь: как ни придешь — вечно эти бармены бокалы протирают, словно у них от этого зависит спасение души. Вот так и будет стоять хоть целый день — возьмет бокал, прищурится, посмотрит на свет, подышит на него и давай тереть, потрет-потрет, опять посмотрит, теперь уже через донышко, и опять тереть...

— Здорово, Эрни, — говорю. — Хватит тебе его мучить, дыру протрешь!

Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пиликанье, Эрнест сопит в очередной бокал — хорошо, спокойно... Я допил, поставил бокал на стойку, и Эрнест без задержки наливает мне еще на четыре пальца прозрачного.

— Ну что, полегче стало? — бурчит. — Оттаял, сталкер?

— Ты знай себе три, — говорю. — Знаешь, один тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие.

— Это кто же такой? — спрашивает Эрни с недоверием.

— Да был такой бармен здесь, — отвечаю. — Еще до тебя.

— Ну и что?

— Да ничего. Ты думаешь, почему Посещение было? Тер он тер... Ты думаешь, кто нас посетил, а?

— Трепло ты, — говорит мне Эрни с одобрением.

Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой — жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам — снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Глаз у него наметанный, сразу видит, что сталкер из Зоны, что хабар будет, и знает Эрни, чего сталкеру после Зоны надо. Свой человек — Эрни. Благодетель.

Доев сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе — я не знаю, но краем уха слышал, что «пустышка», например, идет там чуть ли не за две с половиной тысячи, а Эрни дает нам всего четыреста. «Батарейки» там стоят не меньше ста, а мы получаем от силы по двадцать. Наверное, и все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег

стоит. Тому на лапу, этому на лапу, начальник станции наверняка у них на содержании... В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и заколачивает — процентов пятнадцать — двадцать, не больше, а если попадет — десять лет каторги ему обеспечено...

Тут мои благочестивые размышления прерывает какой-то вежливый тип. Я даже не слышал, как он вошел. Объявляется он возле моего правого локтя и спрашивает:

— Разрешите?

— О чем речь, — говорю. — Прошу.

Маленький такой, худенький, с востреньким носиком и при галстукке бабочкой. Фотокарточка его вроде мне знакома, где-то я его уже видел, но где — не помню. Залез он на табурет рядом и говорит Эрнесту:

— Бурбон, пожалуйста. — И сразу же ко мне: — Простите, кажется, я вас знаю. Вы в Международном институте работаете, так?

— Да, — говорю. — А вы?

Он ловко выхватывает из кармашка визитку и кладет передо мной. Читаю: «Алоиз Макно, полномочный агент Бюро эмиграции». Ну конечно, знаю я его. Пристает к людям, чтобы они из города уезжали. Кому-то очень надо, чтобы мы все из города уехали. Нас, понимаешь, в Хармонте и так едва половина осталась от прежнего, так им нужно совсем место от нас очистить. Отодвинул я карточку ногтем и говорю ему:

— Нет, — говорю, — спасибо. Не интересуюсь. Мечтаю, знаете ли, умереть на родине.

— А почему? — живо спрашивает он. — Простите за нескромность, но что вас здесь удерживает?

Так ему прямо и скажи, что меня здесь держит.

— А как же, — говорю. — Сладкие воспоминания детства. Первый поцелуй в городском саду. Маменька, папенька. Как в первый раз пьян надрался в этом вот баре. Милый сердцу полицейский участок... — Тут я достаю из кармана свой засморканный носовой платок и прикладываю к глазам. — Нет, — говорю. — Ни за что!

Он посмеялся, лизнул своего бурбону и задумчиво так говорит:

— Никак я вас, хармонтцев, не могу понять. Жизнь в городе тяжелая. Власть принадлежит военным организациям. Снабжение неважное. Под боком — Зона, живете как на вулкане. В любой момент может либо эпидемия какая-нибудь разразиться, либо что-нибудь похуже... Я понимаю — старики. Им трудно сняться с насиженного

места. Но вот вы... Сколько вам лет? Года двадцать два—двадцать три, не больше... Вы поймите, наше Бюро — организация благотворительная, никакой корысти мы не извлекаем. Просто хочется, чтобы люди ушли с этого дьявольского места и включились бы в настоящую жизнь. Ведь мы обеспечиваем подъемные, трудоустройство на новом месте... молодым — таким, как вы, — обеспечиваем возможность учиться... Нет, не понимаю!

— А что, — говорю я, — никто не хочет уезжать?

— Да нет, не то чтобы никто... Некоторые соглашались, особенно люди с семьями. Но вот молодежь, старики... Ну что вам в этом городе? Это же дыра, провинция...

И тут я ему выдал.

— Господин Алоиз Макно, — говорю. — Все правильно. Городишко наш — дыра. Всегда дырой был и сейчас дыра. Только сейчас, — говорю, — это дыра в будущее. Через эту дыру мы такое в ваш паршивый мир накачаем, что все переменится. Жизнь будет другая, правильная, у каждого будет все, что надо. Вот вам и дыра. Через эту дыру знания идут. А когда знание будет, мы и богатыми всех сделаем, и к звездам полетим, и куда хочешь доберемся. Вот такая у нас здесь дыра...

На этом месте я оборвал, потому что заметил, что Эрнест смотрит на меня с огромным удивлением, и стало мне неловко. Я вообще не люблю чужие слова повторять, даже если эти слова мне, скажем, нравятся. Тем более что у меня это как-то коряво выходит. Когда Кирилл говорит, заслушаться можно, рот забываешь закрыть. А я вроде бы то же самое излагаю, но получается как-то не так. Может быть, потому, что Кирилл никогда Эрнесту под прилавок хабар не складывал. Ну ладно...

Тут мой Эрни спохватился и торопливо налил мне сразу пальцев на шесть: очухайся, мол, парень, что это с тобой сегодня? А востроносый господин Макно снова лизнул своего бурбону и говорит:

— Да, конечно... Вечные аккумуляторы, «синяя панацея»... Но вы и в самом деле верите, что будет так, как вы сказали?

— Это не ваша забота, во что я там на самом деле верю, — говорю я. — Это я про город говорил. А про себя я так скажу: чего я у вас там в Европе не видел? Скуки вашей не видел? День вкалываешь, вечер телевизор смотришь, ночь пришла — к постылой бабе под одеяло, ублюдков плодить. Стачки ваши, демонстрации, полити-

ка раздолбанная... В гробу я вашу Европу видел, — говорю, — занюханную.

— Ну почему же обязательно Европа?..

— А, — говорю, — везде одно и то же, а в Антарктиде еще вдобавок холодно.

И ведь что удивительно: говорил я ему и всеми печенками верил в то, что говорил. И Зона наша, гадина стервозная, убийца, во сто раз милее мне в этот момент была, чем все ихние Европы и Африки. И ведь пьян еще не был, а просто представилось мне на мгновение, как я весь измочаленный с работы возвращаюсь в стаде таких же кретинов, как меня в ихнем метро давят со всех сторон и как все мне обрыдло и ничего мне не хочется.

— А вы что скажете? — обращается востроносый к Эрнесту.

— У меня дело, — веско отвечает Эрни. — Я вам не сопляк какой-нибудь. Я все свои деньги в это дело вложил. Ко мне иной раз сам комендант заходит, генерал, не хвост собачий. Чего же я отсюда поеду?..

Господин Алоиз Макно принялся ему что-то втолковывать с цифрами, но я его уже не слушал. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка — «Не возвращайся, если не уверен». Очень она на меня хорошо действует после Зоны... Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к «однорукому бандиту» старые счеты сводить. Полетело время, как птичка... Просаживаю это я последний никель, и тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Гуталин уже на бровях — вращает белками и ищет, кому бы дать в рыло, а Ричард Нунан нежно держит его под руку и отвлекает анекдотами. Хороша парочка. Гуталин здоровенный, черный, как офицерский сапог, курчавый, ручищи до колен, а Дик — маленький, кругленький, розовенький весь, благодный, только что не свежится.

— А! — кричит Дик, увидев меня. — Вот и Рэд здесь! Иди к нам, Рэд!

— Пр-равильно! — ревет Гуталин. — Во всем городе есть только два человека — Рэд и я! Все остальные — свиньи, дети сатаны. Рэд! Ты тоже служишь сатане, но ты все-таки человек...

Я подхожу к ним со своим бокалом, Гуталин сгребает меня за куртку, сажает за столик и говорит:

— Садись, Рыжий! Садись, слуга сатаны! Люблю тебя. Поплачем о грехах человеческих. Горько восплачем!

— Восплачем, — говорю. — Глотнем слез греха.

— Ибо грядет день, — возвещает Гуталин. — Ибо взнудан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его. И тщетны молитвы продавшихся сатане. И спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаную прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие, — вам говорю: слепые! Опомнитесь, сволочи, пока не поздно! Растопчите дьявольские бирюльки! — Тут он вдруг замолчал, словно забыл, как будет дальше. — А выпить мне здесь дадут? — спросил он уже другим голосом. — Или где это я?.. Знаешь, Рыжий, опять меня с работы поперли. Агитатор, говорят. Я им объясняю: опомнитесь, сами слепые, в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете! Смеются. Ну, я дал управляющему по харе и ушел. Посадят теперь. А за что?

Подошел Дик, поставил на стол бутылку.

— Сегодня я плачу! — крикнул я Эрнесту.

Дик на меня скопился.

— Все законно, — говорю. — Премию будем пропивать.

— В Зону ходили? — спрашивает Дик. — Что-нибудь вынесли?

— Полную «пустышку», — говорю я. — И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?

— «Пустышку»!.. — горестно гудит Гуталин. — За какую-то «пустышку» жизнью своей рисковал! Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие... А как ты можешь знать, Рыжий, сколько горя и греха...

— Засохни, Гуталин, — говорю я ему строго. — Пей и веселись, что я живой вернулся. За удачу, ребята!

Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис — сидит, плачет, течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая — обливаться слезами и проповедовать, что Зона, мол, есть дьявольский соблазн, выносить из нее ничего нельзя, а что уже вынесли — вернуть обратно и жить так, будто Зоны вовсе нет. Дьяволово, мол, дьяволу. Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него когда деньги есть, он у кого попало хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят, а потом ночью прет этот хабар обратно в Зону и там закапывает... Во ревет-то, господи! Ну, ничего, он еще разоидется.

— А что это такое — полная «пустышка»? — спрашивает Дик. — Просто «пустышку» я знаю, а вот что такое полная? Первый раз слышу.

Я ему объяснил, он головой покачал, губами почмокал.

— Да, — говорит, — это интересно. Это, — говорит, — что-то новенькое. А с кем ты ходил? С русским?

— Да, — отвечаю. — С Кириллом и с Тендером. Знаешь, наш лаборант.

— Намучился с ними, наверное...

— Ничего подобного. Вполне прилично держались ребята. Особенно Кирилл. Прирожденный сталкер, — говорю. — Ему бы опыта побольше, торопливость с него эту ребячью сбить, я бы с ним каждый день в Зону ходил.

— И каждую ночь? — спрашивает он с пьяным смешком.

— Ты это брось, — говорю. — Шутки шутками...

— Знаю, — говорит он. — Шутки шутками, а за такое и по морде можно схлопотать. Считаю, что я тебе должен две плюхи...

— Кому две плюхи? — встрепенулся Гуталин. — Который здесь?

Схватили мы его за руки, еле усадили. Дик ему сигарету в зубы вставил и зажигалку поднес. Успокоили. А народу тем временем все прибавляется. Стойку уже облепили, многие столики заняты. Эрнест своих девок кликнул, бегают они, разносят кому что — кому пива, кому коктейлей, кому чистого. Я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось — все больше какие-то молокососы в пестрых шарфах до полу. Я сказал об этом Дику. Дик кивнул.

— А как же, — говорит. — Начинается большое строительство. Институт три новых здания закладывает, а кроме того, Зону собираются стеной огородить — от кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются...

— А когда они у сталкеров были, — говорю. А сам думаю: вот тебе и на, что еще за новости? Значит, теперь не подработаешь. Ну что ж, может, это и к лучшему — соблазна меньше. Буду ходить в Зону днем, как порядочный, деньги, конечно, не те, но зато куда безопаснее — «галоша», спецкостюм, то-се, и на патрулей наплевать... Прожить можно и на зарплату, а выпивать буду на премиальные. И такая меня тоска взяла! Опять каждый грош считать: это можно себе позволить, это нельзя себе

позволить, Гуте на любую тряпку копи, в бар не ходи, ходи в кино... И серо все, серо. Каждый день серо, и каждый вечер, и каждую ночь.

Сижу я так, думаю, а Дик над ухом гудит:

— Вчера в гостинице, — говорит, — зашел я в бар принять ночной колпачок — сидят какие-то новые. Сразу они мне не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издали, дает понять, что он меня знает, знает кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги...

— Шпик, — говорю я. Не очень мне интересно было это, шпиков я здесь навидался и разговоров насчет услуг наслышался.

— Нет, милый мой, не шпик. Ты послушай. Я немножко с ним побеседовал, осторожно, конечно, дурачка такого состроил. Его интересуют кое-какие предметы в Зоне, и при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, «зуда», «черные брызги» и прочая бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекал.

— Так что же ему нужно? — спрашиваю я.

— «Ведьмин студень», как я понял, — говорит Дик и странно как-то на меня смотрит.

— Ах, «ведьмин студень» ему нужен! — говорю я. — А «смерть-лампа» ему случайно не нужна?

— Я его тоже так спросил.

— Ну?

— Представь себе, нужна.

— Да? — говорю я. — Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть. «Ведьмина студня» вон полные подвалы, бери ведро да зачерпывай. Похороны за свой счет.

Дик молчит, смотрит на меня исподлобья и даже не улыбается. Что за черт, нанять он меня хочет, что ли? И тут до меня дошло.

— Подожди, — говорю. — Кто же это такой был? «Студень» запрещено даже в институте изучать...

— Правильно, — говорит Дик неторопливо, а сам все на меня смотрит. — Исследование, представляющее потенциальную опасность для человечества. Понял теперь, кто это?

Ничего я не понимал.

— Пришельцы, что ли? — говорю.

Он расхохотался, похлопал меня по руке и говорит:

— Давай-ка лучше выпьем, простая ты душа!

— Давай, — говорю, но злюсь. Какого хрена —

нашли себе простую душу, сукины дети! — Эй, — говорю, — Гуталин! Хватит спать, давай выпьем.

Нет, спит Гуталин. Положил свою черную ряшку на черный столик и спит, руки до полу свесил. Выпили мы с Диком без Гуталина.

— Ну ладно, — говорю. — Простая я там душа или сложная, а про этого типа я бы тут же донес куда следует. Уж на что я не люблю полицию, а сам бы пошел и донес.

— Угу, — говорит Дик. — А тебя бы в полиции спросили: а почему, собственно, оный тип именно к вам обратился? А?

Я помотал головой.

— Все равно. Ты, толстый боров, в городе третий год, а в Зоне ни разу не был, «ведьмин студень» только в кино видел, а посмотрел бы ты его в натуре, да что он с человеком делает — ты бы тут же и обгадился. Это, милоч, страшная штука, ее из Зоны выносить нельзя... Сам знаешь, сталкеры — люди грубые, им только капусту подавай, да побольше, но на такое даже покойный Слизняк не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет... Я даже представить себе боюсь, кому и для чего «ведьмин студень» может понадобиться...

— Что ж, — говорит Дик, — все это правильно. Только мне, понимаешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке покончившим жизнь самоубийством. Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой и жить, понимаешь, люблю. Давно живу, привык уже...

Тут Эрнест вдруг заорал из-за стойки:

— Господин Нунан! Вас к телефону!

— Вот дьявол, — говорит Дик злобно. — Опять, наверное, рекламация. Везде найдут. Извини, — говорит, — Рэд.

Встает он и уходит к телефону. А я остаюсь с Гуталином и с бутылкой, и поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку вплотную. Черт бы побрал эту Зону, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь — Зона, Зона, Зона... Хорошо, конечно, Кириллу рассуждать, что из Зоны протечет вечный мир и благорастворение воздушных масс. Кирилл — хороший парень, никто его дураком не назовет, наоборот — умница, но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой сволочи крутится вокруг Зоны. Вот теперь, пожалуйста: «ведьмин студень» кому-то понадобился. Нет, Гуталин

хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь-подумаешь, да и скажешь: может, действительно оставить дьявола дьяволу? Не тронь дерьмо...

Тут усаживается на место Дика какой-то сопляк в пестром шарфе.

— Господин Шухарт? — спрашивает.

— Ну? — говорю.

— Меня зовут Креон, — говорит. — Я с Мальты.

— Ну, — говорю, — и как там у вас на Мальте?

— У нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.

Так, думаю. Сволочь все-таки этот Эрнест. Ни жалости в нем нет, ничего. Вот сидит парнишка — смугленький, чистенький, красавчик, не брился, поди, еще ни разу и девку еще ни разу не целовал, а Эрнесту все равно, ему бы только побольше народу в Зону загнать, один из трех с хабаром вернется — уже капуста...

— Ну и как поживает старина Эрнест? — спрашиваю.

Он оглянулся на стойку и говорит:

— По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся.

— А я бы нет, — говорю. — Выпить хочешь?

— Спасибо, я не пью.

— Ну закури, — говорю.

— Извините, но я и не курю тоже.

— Черт тебя подери, — говорю я ему. — Так зачем тебе тогда деньги?

Он покраснел, перестал улыбаться и негромко так говорит:

— Наверное, — говорит, — это только меня касается, господин Шухарт, правда ведь?

— Что правда, то правда, — говорю я и наливаю себе на четыре пальца. В голове, надо сказать, уже немного шумит, и в теле этакая приятная расслабленность: совсем отпустила Зона. — Сейчас я пьян, — говорю. — Гуляю, как видишь. Ходил в Зону, вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой, и уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что давай отложим серьезный разговор...

Тут он вскакивает, говорит «извините», и я вижу, что вернулся Дик. Стоит рядом со своим стулом, и по лицу его я понимаю — что-то случилось.

— Ну, — спрашиваю, — опять твои баллоны вакуум не держат?

— Да, — говорит он. — Опять.

Садится, наливает себе, подливает мне, и вижу я, что не в рекламации дело. На рекламации он, надо сказать, поплевывает — тот еще рабочийчек.

— Давай, — говорит, — выпьем, Рэд. — И, не дожидаясь меня, опрокидывает залпом всю свою порцию и наливает новую. — Ты знаешь, — говорит он, — Кирилл Панов умер.

Сквозь хмель я его не сразу понял. Умер там кто-то и умер.

— Что ж, — говорю, — выпьем за упокой души...

Он глянул на меня круглыми глазами, и только тогда я почувствовал, словно все у меня внутри оборвалось. Помнится, я встал, уперся в столешницу и смотрю на него сверху вниз.

— Кирилл?! — а у самого перед глазами серебряная паутина, и снова я слышу, как она потрескивает, разрываясь. И через это жуткое потрескивание голос Дика доходит до меня, как из другой комнаты.

— Разрыв сердца. В душевой его нашли, голого. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали, я сказал, что ты в полном порядке...

— А чего тут не понимать? — говорю. — Зона...

— Ты сядь, — говорит мне Дик. — Сядь и выпей.

— Зона... — повторяю я и не могу остановиться. — Зона... Зона...

Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине, люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтиец стоит, лицо у него удивленное, детское, ничего не понимает.

— Малыш, — говорю я ему ласково. — Сколько тебе денег надо? Тысячи хватит? На! Бери, бери! — Сую я ему деньги и уже кричу: — Иди к Эрнесту и скажи ему, что он сволочь и подонок, не бойся, скажи! Он же трус!.. Скажи и сейчас же иди на станцию, купи себе билет и напрямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!..

Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой, Эрнест поставил передо мной бокал освежающего и спрашивает:

— Ты сегодня вроде при деньгах?

— Да, — говорю, — при деньгах...

— Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.

И тут я вижу — в кулаке у меня пачка денег. Смотрю я на эту капусту зеленую и бормочу:

— Надо же, не взял, значит, Креон Мальтийский... Гордый, значит... Ну, все остальное — судьба.

— Что это с тобой? — спрашивает друг Эрни. — Перебрал малость?

— Нет, — говорю. — Я, — говорю, — в полном порядке. Хоть сейчас в душ.

— Шел бы ты домой, — говорит друг Эрни. — Перебрал ты малость.

— Кирилл умер, — говорю я ему.

— Это который Кирилл? Шелудивый, что ли?

— Сам ты шелудивый, сволочь, — говорю я ему. — Из тысячи таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Паскуда ты, — говорю. — Торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Купил нас всех за зелененькие... Хочешь, сейчас всю твою лавочку разнесу?

И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору чего-то, отбиваюсь, ногами кого-то бью, потом опомнился — сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю, и тик мне какой-то щеку сводит, никогда этого раньше не было. А из зала — шум, трещит что-то, посуда бьется, девки визжат, и слышу — Гуталин ревет, как белый медведь во время случки: «Покайтесь, паразиты! Где Рыжий? Куда Рыжего дели, чертово семя?..» И полицейская сирена завывает.

Как она завывала, тут у меня в мозгу все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет — одна ледяная злоба. Так, думаю, я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер, торгаш вонючий. Вытащил я из часового карманчика «зуду», новенькую, ни разу не пользованную, пару раз сжал ее между пальцами для разгона, дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонько в плевательницу. А сам окно в сортире распахнул и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится, но надо было рвать когти. Я эту «зуду» переносу плохо, у меня от нее кровь из носа идет.

Перебежал я через двор и слышу: заработала моя «зуда» на всю катушку. Сначала завывали и залаяли собаки по всему кварталу — они первыми «зуду» чувят. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался — кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться...

Страшная штука — «зуда». Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, сволочь, конечно, догадается про меня, да только мне плевать. Все. Нет больше сталкера Рэда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл, дружок мой милый. Прости, да только, выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в Зоне добра.

Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Впереди пустота, ничего нет. Тоска, будни. Кирилл, дружок мой единственный, как же это мы с тобой? Как же я теперь без тебя? Перспективы мне рисовал, про новый мир, про измененный мир... а теперь что? Заплачет по тебе кто-то в далекой России, а я вот и заплакать не могу. И ведь я во всем виноват, паразит, не кто-нибудь, а я! Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к темноте не привыкли? Всю жизнь волком жил, всю жизнь об одном себе думал... И вот в кои-то веки вздумал облагодетельствовать, подарочек поднести. На кой черт я вообще ему про эту «пустышку» сказал? И как вспомнил я об этом — взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл — люди от меня что-то шарaxаться стали, а потом вдруг словно бы полегчало — смотрю: Гута идет.

Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя, идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на нее глазуют, а она идет, как по струночке, ни на кого не глядит, и почему-то я сразу понял, что это она меня ищет.

— Здравствуй, — говорю, — Гута. Куда это ты, — говорю, — направилась?

Она окинула меня взглядом, в момент все увидела — и морду у меня разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах, — но ничего про это не сказала, а говорит только:

— Здравствуй, Рэд. А я как раз тебя ищу.

— Знаю, — говорю. — Пойдем ко мне.

Она молчит, отвернулась и в сторону смотрит. Ах, как у нее головка-то посажена, шейка какая — как у кобылки молоденькой, гордой, но покорной уже своему хозяину. Потом она говорит:

— Не знаю, Рэд. Может, ты со мной больше встречаться не хочешь.

У меня сердце сразу сжалось — что еще? Но я спокойно ей так говорю:

— Что-то я тебя не понимаю, Гута. Ты меня извини, я сегодня маленько того, может, поэтому плохо соображаю... Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться?

Беру я ее под руку, и идем мы не спеша к моему дому, и все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо рыла прячут. Я на этой улице всю жизнь живу, Рэда Рыжего здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро узнает, и он это чувствует.

— Мать велит аборт делать, — говорит вдруг Гута. — А я не хочу.

Я еще несколько шагов прошел, прежде чем понял, а Гута продолжает:

— Не хочу я никаких абортов, я ребенка хочу от тебя. А ты — как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.

Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит, слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится: одним человеком меньше — одним человеком больше.

— Она мне толкует, — говорит Гута, — ребенок, мол, от сталкера, чего тебе уродов плодить... проходимец он, говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле — завтра в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. Я и сама могу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи — на порог не пушу...

— Гута, — говорю, — девочка моя! Да подожди ты... — а сам не могу — смех меня разбирает какой-то нервный, идиотский. — Ласточка моя, — говорю, — чего же ты меня гонишь, в самом деле?

Я хохочу, как последний дурак, а она остановилась, уткнулась мне в грудь и ревет.

— Как же мы теперь будем, Рэд? — говорит она сквозь слезы. — Как же мы теперь будем?

2. Рэдрик Шухарт, 28 лет, женат, без определенных занятий

Рэдрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Проектора патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам, и тогда он зажмуривался и задерживал дыхание.

Прошло уже два часа, а на дороге все оставалось

по-прежнему. Машина, мерно kloкоча двигателем, работающим вхолостую, стояла на месте и все шарила и шарила своими тремя прожекторами по запущенным могилам, по покосившимся ржавым крестам и плитам, по неряшливо разросшимся кустам рябины, по гребню трехметровой стены, обрывавшейся слева. Патрульные боялись Зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Рэдрика доносились приглушенные голоса, иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро, недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Рэдрик ощущал влажный холод.

Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же на кладбище был кто-то еще. Там снова прошуршала листва и вроде бы посыпалась земля, а потом с негромким стуком упало тяжелое и твердое. Рэдрик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч Рэдрика замер, следя за его бесшумным движением, и ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, обернув в сторону Рэдрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Рэдрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам.

В ограде был пролом, и у самого пролома, на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж. Он по-прежнему лежал на спине, оттягивая обеими руками воротник свитера, и тихонько мучительно кряхтел, то и дело срываясь на стоны. Рэдрик сел рядом с ним и отвинтил колпачок у фляги. Потом он осторожно запустил руку под голову Барбриджа, всей ладонью ощущая липкую от пота, горячую лысину, и приложил горлышко фляги к губам старика. Было темно, но в слабых отсветах прожекторов Рэдрик видел широко раскрытые и словно бы остекленевшие глаза Барбриджа, черную щетину, по-

крывающую его щеки. Барбридж жадно глотнул несколько раз, а затем беспокойно задвигался, ощупывая мешок с хабаром.

— Вернулся... — проговорил он. — Хороший парень... Рыжий... Не бросишь старика... подыхать...

Рэдрик, запрокинув голову, сделал хороший глоток.

— Стоит, жаба, — сказал он. — Как приклеенная.

— Это... неспроста... — проговорил Барбридж. Говорил он отрывисто, на выдохе. — Настучал кто-то. Ждут.

— Может быть, — сказал Рэдрик. — Дать еще глоток?

— Нет. Хватит пока. Ты меня не бросай. Не бросишь — не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, Рыжий?

Рэдрик не ответил. Он смотрел в сторону шоссе, на голубые сполохи прожекторов. Мраморный обелиск был виден отсюда, но непонятно было, сидит там этот или сгинул.

— Слушай, Рыжий. Я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив? Знаешь? Боб Горилла сгинул. Фараон Банкер погиб. Как не было. Какой был сталкер. А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик. Каллаген. Пит Болячка. Все. Один я остался. Почему? Знаешь?

— Подлец ты всегда был, — сказал Рэдрик, не отрывая глаз от шоссе. — Стервятник.

— Подлец. Это верно. Без этого нельзя. Но ведь и все так. Фараон. Слизняк. А остался один я. Знаешь, почему?

— Знаю, — сказал Рэдрик, чтобы отвязаться.

— Врешь. Не знаешь. Про Золотой шар слышал?

— Слышал.

— Думаешь — сказка?

— Ты бы молчал лучше, — посоветовал Рэдрик. — Силы ведь теряешь.

— Ничего. Ты меня вынесешь. Мы с тобой стрелко ходили. Неужели бросишь? Я тебя вот такого. Маленького знал. Отца твоего.

Рэдрик молчал. Очень хотелось курить, он вытащил сигарету, выкрошил табак на ладонь и стал нюхать. Не помогало.

— Ты меня должен вытащить, — проговорил Барбридж. — Это из-за тебя я погорел. Это ты Мальтийца не взял.

Мальтиец очень набивался пойти с ними. Целый вечер угощал, предлагал хороший залог, клялся, что достанет спецкостюм, и Барбридж, сидевший рядом с Мальтий-

цем, загоротившись от него тяжелой морщинистой ладонью, яростно подмигивал Рэдрику: соглашайся, мол, не прогадаем. Может быть, именно поэтому Рэдрик сказал тогда «нет».

— Из-за жадности своей ты погорел, — холодно сказал Рэдрик. — Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.

Некоторое время Барбридж только кричал. Он снова запустил пальцы за воротник и совсем запрокинул голову.

— Пусть весь хабар твой будет, — прокричал он, — только не бросай.

Рэдрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного, а патрульная машина все не уходила. Проектора ее продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный «лендровер», и каждую минуту его могли обнаружить.

— Золотой шар, — сказал Барбридж. — Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели. Я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Хрена — любое. Если б любое, меня б здесь давно не было. Жил бы в Европе. В деньгах бы купался.

Рэдрик посмотрел на него сверху вниз. В бегучих голубых отсветах запрокинутое лицо Барбриджа казалось мертвым. Но стеклянные глаза его выкатились и пристально, не отрываясь, следили за Рэдриком.

— Вечную молодость хрен я получил, — бормотал он. — Денег — хрен. А вот здоровье — да. И дети у меня хорошие. И жив. Ты такого во сне не видел, где я был. И все равно — жив. — Он облизал губы. — Я его только об этом прошу. Жить, мол, дай. И здоровья. И чтобы дети.

— Да заткнись ты, — сказал наконец Рэдрик. — Что ты как баба? Если смогу — вытащу. Дину мне твою жалко — на панель ведь пойдет девка...

— Дина... — прохрипел Барбридж. — Деточка моя. Красавица. Они ж у меня балованные, Рыжий. Отказа не знали. Пропадут. Артур. Арчи мой. Ты ж его знаешь, Рыжий. Где ты еще таких видел?

— Сказано тебе: смогу — вытащу.

— Нет, — упрямо сказал Барбридж. — Ты меня в любом случае вытащишь. Золотой шар. Хочешь — скажу где.

— Ну, скажи.

Барбридж застонал и пошевелился.

— Ноги мои... — прокричал он. — Пощупай, как там.

Рэдрик протянул руку и, ощупывая, провел по его ноге ладонью от колена и ниже.

— Кости... — хрипел Барбридж. — Кости есть еще?

— Есть, есть, — соврал Рэдрик. — Не суетись.

На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка, ее можно было узлом завязать.

— Врешь ведь, — сказал Барбридж. — Зачем врешь? Что я — не знаю, не видал никогда?

— Колени целы, — сказал Рэдрик.

— Врешь ведь, наверное, — сказал Барбридж с тоской. — Ну ладно. Ты только меня вытащи. Я тебе все. Золотой шар. Карту нарисую. Все ловушки укажу. Все расскажу...

Он говорил и обещал еще что-то, но Рэдрик уже не слушал его. Он смотрел в сторону шоссе. Проектора больше не метались по кустам, они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске, и в ярком голубом тумане Рэдрик отчетливо увидел согнутую черную фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожектора. Рэдрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю, и через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нелепым, нечеловеческим упорством, как заведенный механизм.

И вдруг прожектора погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной. Рэдрик судорожно глотнул и распустил молнию на комбинезоне.

— Никак уехали... — лихорадочно бормотал Барбридж. — Рыжий, давай... Давай по-быстрому! — Он заерзал, зашарил вокруг себя руками, схватил мешок с хабаром и попытался подняться. — Ну давай, чего сидишь!

Рэдрик все смотрел в сторону шоссе. Теперь там было темно, и ничего не было видно, но где-то там был э т о т — вышагивал, словно заводная кукла, оступаясь, падая, налетая на кресты, путаясь в кустарнике.

— Ладно, — сказал Рэдрик вслух. — Пойдем.

Он поднял Барбриджа. Старик как клещами обхватил

его левой рукой за шею, и Рэдрик, не в силах выпрямиться, на четвереньках поволок его через дыру в ограде, хватаясь руками за мокрую траву. «Давай, давай... — хрипел Барбридж. — Не беспокойся, хабар я держу, не выпущу... Давай!»

Тропа была знакомая, но мокрая трава скользила, ветки рябины хлестали по лицу, грузный старик был неимоверно тяжел, словно мертвец, да еще мешок с хабаром, позвякивая и постукивая, все время цеплялся за что-то, и еще страшно было наткнуться на этого, который, может быть, все еще блуждал здесь в потемках.

Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно, но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями ночной мрак уже засинел, и потянуло оттуда знобким влажным ветерком. Рэдрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел «лендровер», сбросил с капота и с кузова маскирующие ветки, сел за руль и осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги.

— Быстро! — прохрипел он. — Быстро давай! Колени, целы еще у меня колени... Колени бы спасти!

Рэдрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж со стуком рухнул на заднее сиденье и застонал. Мешок он так и не выпустил. Рэдрик подобрал с земли и бросил на него сверху просвинцованный плащ. Барбридж ухитрился притащить с собой и плащ.

Рэдрик достал фонарик и прошелся взад-вперед по обочине, высматривая следы. Следов, в общем, не было. Выкатываясь на шоссе, «лендровер» примял высокую густую траву, но трава эта должна была через несколько часов подняться. Вокруг места, где стоял патрульный автомобиль, валялось огромное количество окурков. Рэдрик вспомнил, что давно хочет курить, вытащил сигарету и закурил, хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать, гнать, гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.

— Что же ты? — плачущим голосом сказал из машины Барбридж. — Воду не вылил, снасти все сухие... Чего стоишь? Прячь хабар!

— Заткнись, — сказал Рэдрик. — Не мешай. — Он затынулся. — На южную окраину свернем, — сказал он.

— Как — на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник! Колени!

Рэдрик затынулся в последний раз и сунул окурок в спичечный коробок.

— Не пыли, Стервятник, — сказал он. — Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной, да остановят.

— Ну и что?

— Посмотрят твои копыта — и конец.

— А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор!

— А если кто-нибудь пощупает?

— Пощупает... Я так заору, что вперед забудет, как щупать.

Но Рэдрик уже все решил. Он поднял водительское сиденье, подсвечивая фонариком, открыл потайную крышку и сказал:

— Давай сюда хабар.

Бензобак под сиденьем был фальшивый. Рэдрик принял мешок и затолкал его внутрь, слыша, как в мешке звякает и перекатывается.

— Мне рисковать нельзя, — пробормотал он. — Не имею права.

Он поставил на место крышку, присыпал мусором, навалил поверх тряпок и опустил сиденье. Барбридж кричал, постанывал, жалобно требовал поторопиться, опять принялся обещать Золотой шар, а сам все вертелся на своем сиденье, встревоженно вглядываясь в редящую тьму. Рэдрик не обращал на него внимания. Он вспорол налитый водой пластиковый пузырь с рыбой, воду вылил на рыболовные снасти, уложенные на дне кузова, а бьющуюся рыбу пересыпал в брезентовый мешок. Пластиковый пузырь он сложил и сунул в карман комбинезона. Теперь все было в порядке: рыбаки возвращались с не слишком удачного лова. Он сел за руль и тронул машину.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая Зону, а справа были кусты, реденькие рощицы, иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Рэдрик хорошо видел в темноте, да и темнота уже не была такой плотной, и кроме того, он знал, что сейчас будет, поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура,

он даже не сбавил хода. Он только пригнулся пониже к рулю. Этот вышагивал прямо посередине шоссе — как и все они, он шел в город. Рэдрик обогнал его, прижав машину к левой обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

— Матерь божия! — пробормотал сзади Барбридж. — Рыжий, ты видел?

— Да, — сказал Рэдрик.

— Господи... этого нам еще не хватало... — бормотал Барбридж и вдруг принялся громко читать молитву.

— Заткнись! — прикрикнул на него Рэдрик.

Поворот должен был быть где-то здесь. Рэдрик замедлил ход, всматриваясь в линию покосившихся домиков и заборов, потянувшуюся справа. Старая трансформаторная будка... столб с подпоркой... подгнивший мостик через кювет. Рэдрик повернул руль. Машину подбросило на колдобине.

— Ты куда?! — дико заорал Барбридж. — Ноги мне загубишь, сволочь!

Рэдрик на секунду повернулся и наотмашь ударил старика по лицу, ощутив тыльной стороной ладони колючую щеку. Барбридж поперхнулся и замолк. Машину подбрасывало, колеса то и дело пробуксовывали в свежей после ночного дождя грязи. Рэдрик включил фары. Белый прыгающий свет озарил заросшие травой старые колеи, огромные лужи, гнилые покосившиеся заборы по сторонам. Барбридж плакал, всхлипывая и сморкаясь. Он больше ничего не обещал, он жаловался и грозился, но очень негромко и неразборчиво, так что Рэдрику были слышны только отдельные слова. Что-то о ногах, о коленях, о красавчике Арчи... Потом он затих.

Поселок тянулся вдоль западной окраины города. Когда-то здесь были дачи, огороды, фруктовые сады, летние резиденции городского начальства и заводской администрации. Зеленые веселые места, маленькие озера с чистыми песчаными берегами, прозрачные березовые рощи, пруды, в которых разводили карпов. Заводская вонь и заводские едкие дымы сюда никогда не доходили, так же, впрочем, как и городская канализация. Теперь все здесь было покинуто и заброшено, и за все время им попался всего один жилой дом — желто светилось задернутое занавеской окошко, висело на веревках промокшее от дождя белье, и огромный пес, заходясь от ярости, вылетел сбоку и некоторое время гнался за машиной в вихре комьев грязи, летевшей из-под колес.

Рэдрик осторожно переехал еще через один старый перекосившийся мостик и, когда впереди завиднелся поворот на Западное шоссе, остановил машину и заглушил двигатель. Потом он вылез на дорогу, не обернувшись на Барбриджа, и пошел вперед, зябко засунув руки в сырые карманы комбинезона. Было уже совсем светло. Все вокруг было мокрое, тихое, сонное. Он дошел до шоссе и осторожно выглянул из-за кустов. Полицейская застава хорошо была видна отсюда: маленький домик на колесах, три светящихся окошка, патрульная машина стояла у обочины, в ней никого не было. Некоторое время Рэдрик стоял и смотрел. На заставе не было никакого движения, видимо, патрульные озябли и измотались за ночь и теперь грелись в домике — дремали с сигареткой, прилипшей к нижней губе. «Жабы», — негромко сказал Рэдрик. Он нащупал в кармане кастет, просунул пальцы в овальные отверстия, зажал в кулаке холодный металл и, все так же зябко сутулясь, не вынимая рук из карманов, пошел обратно. «Лендровер», слегка накренившись, стоял между кустами. Место было глухое, заброшенное, никто сюда, наверное, не заглядывал вот уже лет десять.

Когда Рэдрик подошел к машине, Барбридж приподнялся и посмотрел на него, приоткрыв рот. Сейчас он выглядел даже старше, чем обычно, — морщинистый, лысый, обросший нечистой щетиной, гнилозубый. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, и вдруг Барбридж сказал невнятно:

— Карту дам... все ловушки, все... Сам найдешь, не пожалеешь...

Рэдрик слушал его, не двигаясь, потом разжал пальцы, выпуская в кармане кастет, и сказал:

— Ладно. Твое дело — лежать в обмороке, понял? Стои и не давай прикасаться.

Он сел за руль, включил двигатель и тронул машину.

И все обошлось. Никто не вышел из домика, когда «лендровер» в аккуратном соответствии со знаками и указателями медленно прокатил мимо, а затем, все наращивая и наращивая скорость, помчался в город через южную окраину. Было шесть часов утра, улицы были пусты, асфальт мокрый и черный, автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках. Они миновали пекарню с высокими, ярко освещенными окнами, и Рэдрика обдало волной теплого, необыкновенно вкусного запаха.

— Жрать охота, — сказал Рэдрик и, разминая затек-

шие от напряжения мышцы, потянулся, упираясь руками в руль.

— Что? — испуганно спросил Барбридж.

— Жрать, говорю, охота... Тебя куда? Домой или прямо к Мяснику?

— К Мяснику, к Мяснику гони! — торопливо забормотал Барбридж, весь подавшись вперед, лихорадочно и горячо дыша Рэдрику в затылок. — Прямо к нему! Прямо давай! Он мне еще семьсот монет должен... Да гони ты, гони, что ты ползешь, как вошь по мокрому месту? — и вдруг принялся ругаться бессильно и злобно, черными грязными словами, брызгая слюной, задыхаясь и заходясь в приступах кашля.

Рэдрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомиривать расходившегося Стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в «Метрополе». Он вывернул на Шестнадцатую улицу, проехал два квартала и остановил машину перед серым двухэтажным особняком.

Мясник открыл ему сам — видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке — стакан со вставной челюстью. Волосы на голове были взлохмачены, под мутными глазами набрякли темные мешочки.

— А! — сказал он. — Рыший? Што скажешь?

— Надевай зубы и пойдем, — сказал Рэдрик.

— Угу, — отозвался Мясник, приглашающе мотнул головой в глубину холла, а сам, шаркая персидскими туфлями и двигаясь с удивительной быстротой, направился в ванную.

— Кто? — спросил он оттуда.

— Барбридж, — ответил Рэдрик.

— Что?

— Ноги.

В ванной полилась вода, раздалось фыркание, плеск, что-то упало и покатилося по кафельному полу. Рэдрик устало присел в кресло, вынул сигарету и закурил, озираясь. Да, холл был ничего себе. Мясник денег не жалел. Он был очень опытным и очень модным хирургом, светилом медицины не только города, но и штата, и со сталкерами он связался, конечно, не из-за денег. Он тоже брал свою долю с Зоны: брал натурой, разным хабаром, который применял в своей медицине; брал знаниями, изучая на покалеченных сталкерах не известные ранее болезни, уродства и повреждения человеческого организма; брал

славой — славой первого на планете врача — специалиста по нечеловеческим заболеваниям человека. Деньгами он, впрочем, тоже брал с охотой.

— Что именно с ногами? — спросил он, появляясь из ванной с огромным полотенцем на плече. Краем полотенца он осторожно вытирал длинные нервные пальцы.

— Вляпался в «студень», — сказал Рэдрик.

Мясник свистнул.

— Значит, конец Барбриджу, — пробормотал он. — Жалко, знаменитый был сталкер.

— Ничего, — сказал Рэдрик, откидываясь в кресле. — Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по Зоне попрыгает.

— Ну хорошо, — сказал Мясник. Лицо у него сделалось совсем деловое. — Подожди, я сейчас оденусь.

Пока он одевался, пока звонил куда-то — вероятно, в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, — Рэдрик неподвижно полулежал в кресле и курил. Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу. Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на доньшке, и старался ни о чем не думать. Он просто ждал.

Потом они вместе вышли к машине, Рэдрик сел за руль, Мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, принялся ощупывать ноги Барбриджа. Барбридж, притихший, съездившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, Мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Рэдрик снова закурил, а Барбридж вдруг сказал ясно и отдельно, словно совсем успокоившись:

— Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.

— Не убил ведь, — равнодушно сказал Рэдрик.

— Да, не убил... — Барбридж помолчал. — Это я тоже запомню.

— Запомни, запомни, — сказал Рэдрик. — Ты бы, конечно, меня убивать не стал... — Он обернулся и посмотрел на Барбриджа. Старик неуверенно кривил рот, подергивая пересохшими губами. — Ты бы меня просто бросил, — сказал Рэдрик. — Оставил бы меня в Зоне, и концы в воду. Как Очкарика.

— Очкарик сам помер, — угрюмо возразил Барбридж. — Я тут ни при чем. Приковало его.

— Сволочь ты, — равнодушно сказал Рэдрик, отворачиваясь. — Стервятник.

Из подъезда выскочили сонные встрепанные санитары и, на ходу разворачивая носилки, подбежали к машине. Рэдрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди, и отрешенно глядел в небо. Огромные ступни его, жестоко объединенные «студнем», были странно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после Посещения, когда Зона еще не называлась Зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Рэдрику было тогда десять лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной — он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали, а мелкой сволочью он уже был, потому что, напившись, с каким-то гнусным наслаждением избивал свою жену, шумно, всем напоказ... Так и забил до смерти.

Рэдрик развернул «лендровер» и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рвякая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой.

Он остановился перед гаражом, а когда вылез из машины, увидел управляющего, который шел к нему со стороны скверика. Как всегда, управляющий был не в духе, помятое его личико с запухшими глазами выражало крайнюю брезгливость, словно не по земле он шел, а по навозной жиже.

— Доброе утро, — сказал ему Рэдрик вежливо.

Управляющий, остановившись в двух шагах, ткнул большим пальцем себе через плечо.

— Это ваша работа? — невнятно спросил он. Видно было, что это первые его слова со вчерашнего дня.

— Вы о чем?

— Качели эти... Вы поставили?

— Я.

— Для чего?

Рэдрик, не отвечая, подошел к воротам гаража и принялся отпирать замок. Управляющий последовал за ним и остановился за спиной.

— Я спрашиваю, для чего вы эти качели поставили? Кто вас просил?

— Дочка попросила, — сказал Рэдрик очень спокойно. Он откатил ворота.

— Я вас не про дочку спрашиваю! — Управляющий повысил голос. — О дочке разговор особый. Я вас спрашиваю, кто вам разрешил? Кто вам, собственно говоря, позволил в сквере распоряжаться?

Рэдрик повернулся к нему и некоторое время неподвижно стоял, пристально глядя в бледную, с прожилочками переносицу. Управляющий отступил на шаг и произнес тоном ниже:

— И балкон вы не перекрашиваете. Сколько раз я вам...

— Напрасно стараетесь, — сказал Рэдрик. — Все равно я отсюда не съеду.

Он вернулся в машину и включил двигатель. Положив руки на рулевое колесо, он мельком заметил, как побелели костяшки пальцев. И тогда он высунулся из машины и, уже больше не сдерживаясь, сказал:

— Но уж если мне придется все-таки съехать, сволочь, тогда молись.

Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок с хабаром, привел машину в порядок, всунул мешок в старую плетеную корзину, сверху положил снасти, еще влажные, с прилипшими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. Потом он еще раз осмотрел машину со всех сторон, просто по привычке. К заднему правому протектору прилипла расплюснутая сигарета. Рэдрик отодрал ее — сигарета оказалась шведская. Рэдрик подумал и сунул ее в спичечный коробок. В коробке уже было три окурка.

На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома, а Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей — терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.

— Ну ладно... — проговорила она наконец низким

хрипловатым голосом, отпустила его и включила в прихожей свет, а сама, не оборачиваясь, пошла на кухню. — Сейчас я тебе кофе... — сказала она оттуда.

— Я тут рыбу приволок, — сказал он нарочито бодрым голосом. — Зажарь, да все сразу жарь, жрать охота — сил нет!

Она вернулась, пряча лицо в распущенных волосах, он поставил корзину на пол, помог ей вынуть сетку с рыбой, и они вместе отнесли сетку на кухню и вывалили рыбу в мойку.

— Иди мойся, — сказала она. — Пока помоешься, все будет готово.

— Как Мартышка? — спросил Рэдрик, усаживаясь и стягивая с ног сапоги.

— Да болтала весь вечер, — отозвалась Гута. — Еле-еле я ее уложила. Пристаёт все время: где папа, где папа? Вынь да положи ей папу...

Она ловко и бесшумно двигалась по кухне, крепкая, ладная, и уже закипала вода в котелке на плите, и летела чешуя из-под ножа, и скворчало масло на самой большой сковороде, и восхитительно запахло свежим кофе.

Рэдрик поднялся, ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Мартышка безмятежно дрыхла, сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони — маленький сопящий зверек. Рэдрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой, и в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять Мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить, да и грязен он был, как черт, весь пропитан Зоной и смертью. Он вернулся на кухню, снова сел за стол и сказал:

— Налей чашечку кофе. Мыться потом пойду.

На столе лежала пачка вечерней корреспонденции: «Хармонтская газета», журнал «Атлет», журнал «Плейбой» — целая куча журналов подвалила — и толстенские, в серой обложке «Доклады Международного института внеземных культур», выпуск 56-й. Рэдрик принял от Гуты кружку дымящегося кофе и потянул к себе «Доклады». Кривульки, значки какие-то, чертежи... на фотографиях — знакомые предметы в странных ракурсах. Еще одна посмертная статья Кирилла вышла: «Об одном неожиданном свойстве магнитных ловушек типа 77-б». Фамилия «Панов» обведена черной рамкой, внизу мел-

ким шрифтом примечание: «Доктор Кирилл А. Панов, СССР, трагически погиб в процессе проведения эксперимента в апреле 19.. года». Рэдрик отбросил журнал, обжигаясь, хлебнул кофе и спросил:

— Заходил кто-нибудь?

— Гуталин заходил, — сказала Гута, чуточку помедлив. Она стояла у плиты и смотрела на него. — Пьяный был в стельку, я его выводила.

— А Мартышка как же?

— Не хотела, конечно, его отпускать. Реветь наладилась. Но я ей сказала, что дядя Гуталин плохо себя чувствует. А она мне так понимающе отвечает: «Опять засосал Гуталин!»

Рэдрик усмехнулся и сделал еще глоток. Потом спросил:

— Соседи как?

И снова Гута чуть помедлила, прежде чем ответить.

— Да как всегда, — сказала она наконец.

— Ладно, не рассказывай.

— А! — сказала она, с отвращением махнув рукой. — Сегодня ночью стучится эта баба снизу. Глаза вот такие, пена так и брызжет. Чего это мы среди ночи пилим в ванной!..

— Зараза, — сказал Рэдрик сквозь зубы. — Слушай, может быть, уедем все-таки? Купим где-нибудь дом на окраине, где никто не живет, дачу какую-нибудь заброшенную...

— А Мартышка?

— Господи, — сказал Рэдрик. — Ну неужели мы вдвоем с тобой не сделаем, чтобы ей было хорошо?

Гута помотала головой.

— Она детишек любит. И они ее любят. Они же не виноваты, что...

— Да, — проговорил Рэдрик. — Они, конечно, не виноваты.

— Что там говорить, — сказала Гута. — Тебе звонил кто-то. Себя не назвал, я сказала, что ты на рыбалке.

Рэдрик поставил кружку и поднялся.

— Ладно, — сказал он. — Пойду все-таки помоюсь. Куча дел еще у меня.

Он заперся в ванной, бросил одежду в бак, а кастет, оставшиеся гайки, сигареты и прочую мелочь положил на полочку. Он долго крутился под горячим, как кипятком, душем, кряхтя, растирая тело варежкой из жесткой губки, пока кожа не стала багровой, потом выключил душ, сел на край ванны и закурил. Урчала вода в трубах, Гута на

кухне позвякивала посудой, запахло жареной рыбой, потом Гута постучала в дверь и просунула ему чистое белье.

— Давай побыстрее, — приказала она. — Рыба остынет.

Она уже совсем отошла и снова принялась командовать. Усмехаясь, Рэдрик оделся, то есть натянул майку и трусы, и прямо в таком виде вернулся на кухню.

— Вот теперь и поесть можно, — сказал он, усаживаясь.

— Шмотки в бак положил? — спросила Гута.

— Угу, — проговорил он с набитым ртом. — Хороша рыбка!

— Водой залил?

— Не-а... Виноват, сэр, больше не повторится, сэр... Да брось ты, успеешь, посиди! — Он поймал ее за руку и попытался посадить к себе на колени, но она вывернулась и села за стол напротив.

— Пренебрегаешь, значит, мужем, — сказал Рэдрик, снова набивая полный рот. — Брезгуешь, значит.

— Да какой ты сейчас муж, — сказала Гута. — Пустой мешок ты сейчас, а не муж. Тебя сначала набить надо.

— А вдруг? — сказал Рэдрик. — Бывают же на свете чудеса.

— Что-то я таких чудес от тебя еще не видела. Выпьешь, может быть?

Рэдрик нерешительно поиграл вилкой.

— Н-нет, пожалуй, — проговорил он. Он взглянул на часы и поднялся. — Я сейчас пойду. Приготовь мне выходной костюм. По классу «А». Рубашечку там, галстук...

С наслаждением шлепая чистыми босыми ногами по прохладному полу, он прошел в чулан и запер дверь на щеколду. Потом он надел резиновый фартук, натянул резиновые перчатки до локтей и принялся выгружать на стол то, что было в мешке. Две «пустышки». Коробка с «булавками». Девять «батареек». Три «браслета». И один какой-то обруч — тоже вроде браслета, но из белого металла, полегче и диаметром побольше, миллиметров на тридцать. Шестнадцать штук «черных брызг» в полиэтиленовом пакете. Две великолепной сохранности «губки» с кулак величиной. Три «зуды». Банка «газированной глины»... В мешке еще оставался тяжелый фарфоровый контейнер, тщательно упакованный в стекловату, но Рэдрик не стал его трогать. Он достал сигареты и закурил, рассматривая добро, разложенное на столе.

Потом он выдвинул ящик, вынул листок бумаги, огрызок карандаша и счеты. Зажав сигарету в углу рта и щурясь от дыма, он писал цифру за цифрой, выстраивая все в три столбика, а потом просуммировал первые два. Суммы получились внушительные. Он задавил окурок в пепельнице, осторожно открыл коробку и высыпал «булавки» на бумагу. В электрическом свете «булавки» отливали синевой и только изредка вдруг брызгали чистыми спектральными красками — желтым, красным, зеленым. Он взял одну «булавку» и осторожно, чтобы не уколоться, зажал между большим и указательным пальцами. Потом он выключил свет и подождал немного, привыкая к темноте. Но «булавка» молчала. Он отложил ее в сторону, нашарил другую и тоже зажал между пальцами. Ничего. Он нажал посильнее, рискуя уколоться, и «булавка» заговорила: слабые красноватые вспышки побежали по ней и вдруг сменились более редкими зелеными. Несколько секунд Рэдрик любовался этой странной игрой огоньков, которая, как он узнал из «Докладов», должна была что-то означать, может быть, что-то очень важное, очень значительное, а потом положил «булавку» отдельно от первой и взял новую...

Всего «булавок» оказалось семьдесят три, из них говорили двенадцать, остальные молчали. На самом деле они тоже должны были разговаривать, но для этого пальцев было мало, а нужна была специальная машина величиной со стол. Рэдрик снова зажег свет и к уже написанным цифрам добавил еще две. И только после этого он решился.

Он засунул обе руки в мешок и, затаив дыхание, извлек и положил на стол мягкий сверток. Некоторое время он смотрел на этот сверток, задумчиво почесывая подбородок тыльной стороной ладони. Потом все-таки взял карандаш, повертел его в неуклюжих резиновых пальцах и снова отбросил. Достал еще одну сигарету и, не отрывая глаз от свертка, выкурил ее всю.

— Кой черт! — сказал он громко, решительно взял сверток и сунул его обратно в мешок. — И все. И хватит.

Он быстро ссыпал булавки обратно в коробку и поднялся. Пора было идти. Наверное, с полчаса можно было еще поспать, чтобы голова сделалась яснее, но, с другой стороны, гораздо полезней прийти на место пораньше и посмотреть, как и что. Он сбросил рукавицы, повесил фартук и, не выключив света, вышел из чулана.

Костюм уже был разложен на кровати, и Рэдрик при-

нялся одеваться. Он завязывал галстук перед зеркалом, когда за его спиной тихонько скрипнули половицы, раздалось азартное сопение, и он сделал хмурое лицо, чтобы не рассмеяться.

— У! — крикнул вдруг рядом с ним тонкий голосок, и его схватили за ногу.

— Ах! — воскликнул Рэдрик, падая в обморок на кровать.

Мартышка, хохоча и взвизгивая, немедленно вскарабкалась на него. Его топтали, дергали за волосы и окатывали потоками разных сведений. Соседский Вилли оторвал у куклы ногу. На третьем этаже завелся котенок, весь белый и с красными глазами, наверное, не слушался маму и ходил в Зону. На ужин была каша с вареньем. Дядя Гуталин опять засосал и был больной, он даже плакал. Почему рыбы не тонут, если они в воде? Почему мама ночью не спала? Почему пальцев пять, а рук две, а нос один?.. Рэдрик осторожно обнимал теплое существо, ползающее по нему, вглядывался в огромные, сплошь темные, без белков, глаза, прижимался щекой к пухлой, заросшей золотым шелковым пушком щечке и повторял:

— Мартышка... Ах ты, Мартышка... Мартышка ты этакая...

Потом над ухом резко зазвонил телефон. Он протянул руку и взял трубку.

— Слушаю.

Трубка молчала.

— Алло! — сказал Рэдрик. — Алло!

Никто не отзывался. Потом в трубке щелкнуло и раздались короткие гудки. Тогда Рэдрик поднялся, опустил Мартышку на пол и, уже больше не слушая ее, натянул брюки и пиджак. Мартышка тарахтела, не умолкая, но он только рассеянно улыбался одним ртом, так что наконец ему было объявлено, что папа язык проглотил, зубами закусил, и он был оставлен в покое.

Он вернулся в чулан, сложил в портфель то, что лежало на столе, сбегал в ванную за кастетом, снова вернулся в чулан, взял портфель в одну руку, корзину с мешком в другую, вышел, тщательно запер дверь чулана и крикнул Гуте: «Я пошел!»

— Когда вернешься? — спросила Гута, выйдя из кухни. Она уже причесалась и подкрасилась, и на ней был не халат, а домашнее платье, самое его любимое, ярко-синее с большим вырезом.

— Я позвоню, — сказал он, глядя на нее, потом подошел, наклонился и поцеловал в вырез.

— Иди уж, — тихо сказала Гута.

— А я? А меня? — заверещала Мартышка, пролезая между ними.

Пришлось наклониться еще ниже. Гута смотрела на него неподвижными глазами.

— Чепуха, — сказал он. — Не беспокойся. Я позвоню.

На лестничной площадке этажом ниже Рэдрик увидел грузного человека в полосатой пижаме, который возился с дверным замком у своей двери. Из темных недр квартиры тянуло теплой кислятиной. Рэдрик остановился и сказал:

— Добрый день.

Грузный человек опасливо посмотрел на него через могучее плечо и что-то буркнул.

— Ваша супруга ночью к нам заходила, — сказал Рэдрик. — Будто мы что-то пилим. Это какое-то недоразумение.

— А мне-то что, — проворчал человек в пижаме.

— Жена вчера стирала, — продолжал Рэдрик. — Если мы вас побеспокоили, прошу прощения.

— А я ничего не говорил, — сказал человек в пижаме. — Пожалуйста...

— Ну, я очень рад, — сказал Рэдрик.

Он спустился вниз, зашел в гараж, поставил корзину с мешком в угол, навалил на нее старое сиденье, оглядел все напоследок и вышел на улицу.

Идти было недалеко — два квартала до площади, потом через парк и еще один квартал до Центрального проспекта. Перед «Метрополем», как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин, лакеи в малиновых куртках тащили в подъезд чемоданы, какие-то иностранного вида солидные люди группками по двое, по трое беседовали, дымя сигарами, на мраморной лестнице. Рэдрик решил пока не заходить туда. Он устроился под тентом маленького кафе на другой стороне улицы, спросил кофе и закурил. В двух шагах от него сидели за столиком трое чинов международной полиции в штатском, они молча и торопливо насыщались жареными сосисками по-хармонтски и пили темное пиво из высоких стеклянных кружек. По другую сторону, шагах в десяти, какой-то сержант мрачно пожирал жареный картофель, зажав вилку в кулаке. Голубая каска стояла вверх дном

на полу рядом с его стулом, ремень с кобурой висел на спинке. Больше в кафе посетителей не было. Официантка, незнакомая пожилая женщина, стояла в сторонке и время от времени зевала, деликатно прикрывая ладонью раскрашенный рот. Было без двадцати девять.

Рэдрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, жуя на ходу и нахлобучивая на голову мягкую шляпу. Он бодро ссыпался по лестнице — маленький, толстенький, розовый, весь такой благополучный, благоустроенный, свежевывымытый, решительно уверенный, что день не принесет ему никаких неприятностей. Он помахал кому-то рукой, перебросил свернутый плащ через правое плечо и подошел к своему «пежо». «Пежо» у Дика был тоже округлый, коротенький, свежевывымытый и тоже как бы уверенный, что никакие неприятности ему не грозят.

Прикрывшись ладонью, Рэдрик смотрел, как Нунан хлопотливо и деловито устраивался на переднем сиденье за рулем, что-то перекладывает с переднего сиденья на заднее, нагибается за чем-то, поправляет зеркальце заднего вида. Потом «пежо» фыркнул голубоватым дымком, бибикнул на какого-то африканца в бурнуса и бодренько выкатился на улицу. Судя по всему, Нунан направлялся в институт, а значит, должен был обогнуть фонтан и проехать мимо кафе. Вставать и уходить было уже поздно, поэтому Рэдрик только совсем закрыл лицо ладонью и сгорбился над своей чашкой. Однако это не помогло. «Пежо» пробибикал над самым ухом, скрипнули тормоза, и бодрый голос Нунана позвал:

— Э! Шухарт! Рэд!

Выругавшись про себя, Рэдрик поднял голову. Нунан уже шел к нему, на ходу протягивая руку. Нунан приветливо сиял.

— Ты что здесь делаешь в такую рань? — спросил он, подойдя. — Спасибо, мамаша, — бросил он официантке. — Ничего не надо... — И снова Рэдрику: — Сто лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?

— Да так... — неохотно сказал Рэдрик. — Больше по мелочам.

Он смотрел, как Нунан с обычной хлопотливостью и основательностью устраивается на стуле напротив, отодвигает пухлыми ручками стакан с салфетками в одну сторону, тарелку из-под сэндвичей — в другую, и слушал, как Нунан дружелюбно болтает.

— Вид у тебя какой-то дохлый — недосыпаешь, что

ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой, но спать — нет, брат, сон для меня первое дело, провались она, эта автоматика... — Он вдруг огляделся. — Пардон, может, ты ждешь кого-нибудь? Я не помешал?

— Да нет... — вяло сказал Рэдрик. — Просто время есть, дай, думаю, кофе хоть попью.

— Ну, я тебя надолго не задержу, — сказал Дик и посмотрел на часы. — Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи, возвращайся в институт. Ты же знаешь, там тебя в любой момент возьмут. Хочешь, опять к русскому, при- был недавно.

Рэдрик покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Второй Кирилл на свет еще не родился... Да и нечего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика, роботы в Зону ходят, премиальные, надо понимать, тоже роботы получают... А лаборантские гроши — мне их и на табак не хватит.

— Брось, все это можно было бы устроить, — возразил Нунан.

— А я не люблю, когда для меня устраивают, — сказал Рэдрик. — Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.

— Гордый ты стал, — произнес Нунан с осуждением.

— Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.

— Ну что ж, ты прав, — сказал Нунан рассеянно. Он равнодушно поглядел на портфель Рэдрика на стуле рядом, потер пальцем серебряную пластинку с выгравированными на ней славянскими буквами. — Все правильно: деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать... Кирилл подарил? — спросил он, кивая на портфель.

— В наследство досталось, — сказал Рэдрик. — Что это тебя в «Боржче» не видно последнее время?

— Положим, это тебя не видно, — возразил Нунан. — Я-то там почти каждый день обедаю, у меня здесь в «Метрополе» за каждую котлету так дерут... Слушай, сказал он вдруг. — А как у тебя сейчас с деньгами?

— Занять хочешь? — спросил Рэдрик.

— Нет, наоборот.

— Одолжить, значит...

— Есть работа, — сказал Нунан.

— О господи, — сказал Рэдрик. — И ты туда же!

— А кто еще? — сейчас же спросил Нунан.

— Да много вас таких... работодателей.

Нунан, словно бы только сейчас поняв его, рассмеялся.

— Да нет, это не по твоей основной специальности.

— А по чьей?

Нунан снова посмотрел на часы.

— Вот что, — сказал он, поднимаясь. — Приходи сегодня в «Боржч» к обеду, часам к двум. Поговорим.

— К двум я могу не успеть, — сказал Рэдрик.

— Тогда вечером, часам к шести. Идет?

— Посмотрим, — сказал Рэдрик и тоже взглянул на часы. Было без пяти девять.

Нунан сделал ручкой и покатился к своему «пежо». Рэдрик проводил его глазами, подозвал официантку, спросил пачку «Лаки страйк», расплатился и, взяв портфель, неторопливо пошел через улицу к отелю. Солнце уже изрядно припекало, улица быстро наполнялась влажной духотой, и Рэдрик ощутил жжение под веками. Он сильно зажмурился, жалея, что не хватило времени поспать хотя бы часок перед важным делом. И тут на него накатило.

Такого с ним еще никогда не было вне Зоны, да и в Зоне случалось всего два или три. Он вдруг словно попал в другой мир. Миллионы запахов разом обрушились на него — резких, сладких, металлических, ласковых, опасных, тревожных, огромных, как дома, крошечных, как пылинки, грубых, как булыжники, тонких и сложных, как часовые механизмы. Воздух сделался твердым, в нем объявились грани, поверхности, углы, словно пространство заполнилось огромными шершавыми шарами, скользкими пирамидами, гигантскими колючими кристаллами, и через все это приходилось протискиваться, как во сне, через темную лавку старьевщика, забитую старинной уродливой мебелью... Это длилось какой-то миг. Он открыл глаза, и все пропало. Это был не другой мир — это прежний знакомый мир повернулся к нему другой, неизвестной стороной, сторона эта открылась ему на мгновение и снова закрылась наглухо, прежде чем он успел разобраться...

Над ухом рывкнул раздраженный сигнал, Рэдрик ускорил шаги, потом побежал и остановился только у стены «Метрополя». Сердце стучало бешено, он поставил портфель на асфальт, торопливо разорвал пачку сигарет, закурил. Он глубоко затягивался, отдыхая, как после

драки, и дежурный полисмен остановился рядом и спросил его озабоченно:

— Вам помочь, мистер?

— Н-нет, — выдавил из себя Рэдрик и прокашлялся. — Душно...

— Может быть, проводить вас?

Рэдрик наклонился и поднял портфель.

— Все, — сказал он. — Все в порядке, приятель.

Спасибо.

Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отойти, отдышаться, но он уже и без того опаздывал. Он позволил себе только докурить до конца сигарету, разглядывая из-под полуопущенных век людей, которые толклись в вестибюле. Костлявый был уже тут как тут — с раздраженным видом копался в журналах у газетной стойки. Рэдрик бросил окурочек в урну и вошел в кабину лифта. Он не успел закрыть дверь, и вместе с ним втиснулся какой-то плотный толстяк с астматическим дыханием, крепко надушенная дамочка при мрачном мальчике, жующем шоколад, и обширная старуха с плохо выбритым подбородком. Рэдрика затиснули в угол. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мальчика, у которого по подбородку текли шоколадные слюни, но личико было свежее, чистое, без единого волоска, и не видеть его мамашу, скудный бюст которой украшало ожерелье из крупных «черных брызг», оправленных в серебро, и не видеть выкаченных склеротических белков толстяка и устрашающих бородавок на вздутом рыле старухи. Толстяк попытался закурить, но старуха его осадила и продолжала осаживать до пятого этажа, где она выкатилась, а как только она выкатилась, толстяк все-таки закурил с таким видом, словно отстоял свои гражданские свободы, и тут же принялся кашлять и задыхаться, сипя и хрипя, по-верблюжьи вытягивая губы и толкая Рэдрика в бок мучительно оттопыренным локтем... На восьмом этаже Рэдрик вышел и, чтобы хоть немного разрядиться, громко старательно произнес:

— В душу твою небритую, карга, старая лягва, кашлюном вонючим, полудохлым в бога трахнутая. вместе с сопляком слюнявым, шоколадным...

Потом он двинулся по мягкому ковру вдоль коридора, озаренного уютным светом скрытых ламп. Здесь пахло дорогим табаком, парижскими духами, сверкающей

натуральной кожей туго набитых бумажников, дорогими дамочками по пятьсот монет за ночь, массивными золотыми портсигарами — всей этой дешевкой, всей этой гнусной плесенью, которая выросла на Зоне, пила от Зоны, жрала, совокуплялась, жирела от Зоны, и на все ей было наплевать, и в особенности ей было наплевать на то, что будет после, когда она нажрется, напьется, насовокупляется властью, а все, что было в Зоне, окажется снаружи и осядет в мире. Рэдрик без стука толкнул дверь номера восемьсот семьдесят четыре.

Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор, нездоровое одутловатое лицо его было гладко выбрито.

— Ага, — произнес он, не поднимая глаз. — Точность — вежливость королей. Здравствуйте, мой мальчик.

Он кончил отстригать у сигары кончик, взял ее двумя руками, поднес к усам и поводил носом вдоль нее взад и вперед.

— А где же наш старый добрый Барбридж? — спросил он и поднял глаза. Глаза у него были прозрачные, голубые, ангельские.

Рэдрик поставил портфель на диван, сел и достал сигареты.

— Барбридж не придет, — сказал он.

— Старый добрый Барбридж, — проговорил Хрипатый, взял сигару в два пальца и осторожно поднес ее ко рту. — У старого Барбриджа разыгрались нервы...

Он все смотрел на Рэдрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся Костлявый.

— Кто был этот человек, с которым вы разговаривали? — спросил он прямо с порога.

— А, здравствуйте, — приветливо сказал ему Рэдрик, стряхивая пепел на пол.

Костлявый засунул руки в карманы, приблизился, широко переступая огромными, скошенными внутрь ступнями, и остановился перед Рэдриком.

— Мы же вам сто раз говорили, — укоризненно произнес он. — Никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?

— Я здороваюсь, — сказал Рэдрик. — А вы?

Хрипатый рассмеялся, а Костлявый раздраженно сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте... — Он перестал сверлить Рэдрика укоряющим взглядом и грохнулся рядом на диван. — Нельзя так делать, — сказал он. — Понимаете? Нельзя!

— Тогда назначайте мне свидания, где у меня нет знакомых, — сказал Рэдрик.

— Мальчик прав, — заметил Хрипатый. — Наша промашка... Так кто был этот человек?

— Это Ричард Нунан, — сказал Рэдрик. — Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь, в отеле.

— Вот видишь, как просто! — сказал Хрипатый Костлявому, взял со стола колоссальную зажигалку, оформленную под статую Свободы, с сомнением посмотрел на нее и поставил обратно.

— А Барбридж где? — спросил Костлявый уже совсем дружелюбно.

— Накрылся Барбридж, — сказал Рэдрик.

Эти двое быстро переглянулись.

— Мир праху его, — сказал Хрипатый настороженно. — Или, может быть, он арестован?

Некоторое время Рэдрик не отвечал, медленными затяжками докуривая сигарету. Потом он бросил окурочек на пол и сказал:

— Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.

— Ничего себе — чисто! — сказал Костлявый нервно, вскочил и прошел к окну. — В какой больнице?

— Не бойтесь, — повторил Рэдрик. — В какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.

— В какой именно больнице? — уже раздраженно спросил Костлявый.

— Так я вам и сказал, — отозвался Рэдрик. Он взял портфель. — Будем мы сегодня делом заниматься или нет?

— Будем, будем, мой мальчик, — бодро сказал Хрипатый.

С неожиданной легкостью он соскочил на пол, быстро придвинул к Рэдрику журнальный столик, одним движением смахнул на ковер кипу журналов и газет и сел напротив, уперев в колени розовые волосатые руки.

— Предъявляйте, — сказал он.

Рэдрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.

— Это счет, — сказал Рэдрик.

— Вижу, — отозвался Хрипатый. — Предъявляйте, предъявляйте!

— Деньги, — сказал Рэдрик.

— Что это за «кольцо»? — подозрительно осведомился Костлявый, тыча пальцем в список через плечо Хрипатого.

Рэдрик молчал. Он держал раскрытый портфель на коленях и, не отрываясь, смотрел в голубые ангельские глазки. Хрипатый наконец усмехнулся.

— И за что это я вас так люблю, мой мальчик? — проворковал он. — А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает! — Он театрально вздохнул. — Фил, дружище, как у них здесь выражаются? — отвесь ему капусты, отслюни зелененьких... и дай мне, наконец, спичку! Ты же видишь... — И он потряс сигарой, все еще зажатой в двух пальцах.

Костлявый Фил проворчал что-то неразборчивое, бросил ему коробок, а сам вышел в соседнюю комнату через дверь, задернутую портьерой. Было слышно, как он с кем-то там разговаривает, раздраженно и невнятно, что-то насчет кота в мешке, а Хрипатый, раскуривая наконец свою сигару, все разглядывал Рэдрика в упор с застывшей улыбкой на тонких бледных губах и словно бы размышлял о чем-то, а Рэдрик, положив подбородок на портфель, тоже смотрел ему в лицо и тоже старался не мигать, хотя веки жгло как огнем и на глаза набегали слезы. Потом Костлявый вернулся, бросил на столик две обандероленных пачки банкнот и, надувшись, сел рядом с Рэдриком. Рэдрик лениво потянулся за деньгами, но Хрипатый жестом остановил его, ободрал с пачек бандероли и сунул их себе в карман пижамы.

— Теперь прошу, — сказал он.

Рэдрик взял деньги и, не считая, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар. Он делал это медленно, давая возможность им обоим рассмотреть и сверить со списком каждый предмет в отдельности. В комнате было тихо, только тяжело дышал Хрипатый, и еще из-за портьеры доносилось слабое звяканье — вроде бы ложечки о край стакана.

Когда Рэдрик наконец закрыл портфель и защелкнул замки, Хрипатый поднял на него глаза и спросил:

— Ну, а как насчет главного?

— Никак, — ответил Рэдрик. Он помолчал и добавил: — Пока.

— Мне нравится это «пока», — ласково сказал Хрипатый. — А тебе, Фил?

— Темните, Шухарт, — сказал брюзгливо Костлявый Фил. — А чего темнить, спрашивается?

— Специальность такая: темные делишки, — сказал Рэд. — Тяжелая у нас с вами специальность.

— Ну хорошо, — сказал Хрипатый. — А где фотоаппарат?

— А, черт, — проговорил Рэдрик. Он потер пальцами щеку, чувствуя, как краска заливает ему лицо. — Виноват, — сказал он. — Начисто забыл.

— Там? — спросил Хрипатый, делая неопределенное движение сигарой.

— Не помню... Наверное, там... — Рэдрик закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. — Нет. Начисто не помню.

— Жаль, — сказал Хрипатый. — Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?

— Да нет же, — с досадой сказал Рэдрик. — В том-то все и дело. Мы же не дошли до кауперов. Барбридж вляпался в «студень», и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли... Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл...

— Слушай-ка, Хью, посмотри! — испуганным шепотом произнес вдруг Костлявый. — Что это, а?

Он сидел, напряженно вытянув перед собой указательный палец правой руки. Вокруг пальца крутился тот самый белый металлический обруч, и Костлявый глядел на этот обруч, вытаращив глаза.

— Он не останавливается! — громко сказал Костлявый, переводя круглые глаза с обруча на Хрипатога и обратно.

— Что значит — не останавливается? — осторожно спросил Хрипатый и чуть отодвинулся.

— Я надел его на палец и крутанул разок — просто так... и он уже целую минуту не останавливается!

Костлявый вдруг вскочил и, держа вытянутый палец перед собой, побежал за портьеру. Обруч, серебристо поблескивая, мерно крутился перед ним, как самолетный пропеллер.

— Что это вы нам принесли? — спросил Хрипатый.

— Черт его знает, — сказал Рэдрик. — Я и не знал... Знал бы — содрал побольше.

Хрипатый некоторое время смотрел на него, затем поднялся и тоже исчез за портьерой. Там сейчас же

забубнили голоса. Рэдрик вытащил сигарету, закурил, подобрал с пола какой-то журнал и принялся его рассеянно перелистывать. В журнале было полным-полно крепкозрых красоток, но почему-то было сейчас тошно смотреть на них, Рэдрик отшвырнул журнал и пошарил глазами по номеру, ища что-нибудь выпить. Потом он извлек из внутреннего кармана пачку и пересчитал бумажки. Все было правильно, но чтобы не заснуть, он пересчитал и вторую пачку. Когда он прятал ее в карман, вернулся Хрипатый.

— Вам везет, мой мальчик, — объявил он, снова усаживаясь напротив Рэдрика. — Знаете, что такое перпетуум мобиле?

— Нет, — сказал Рэдрик. — У нас этого не проходили.

— И не надо, — сказал Хрипатый. Он вытащил еще одну пачку банкнот. — Это цена первого экземпляра, — произнес он, обдирая с пачки бандероль. — За каждый новый экземпляр этого вашего «кольца» вы будете получать по две таких пачки. Запомнили, мой мальчик? По две. Но при условии, что кроме нас с вами никто об этих кольцах никогда ничего не узнает. Договорились?

Рэдрик молча засунул пачку в карман и поднялся.

— Я пошел, — сказал он. — Когда и где в следующий раз?

Хрипатый тоже поднялся.

— Вам позвонят, — сказал он. — Ждите звонка каждую пятницу с девяти до девяти тридцати утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание.

Рэдрик кивнул и направился к двери. Хрипатый последовал за ним, положив руку ему на плечо.

— Я хотел бы, чтобы вы поняли, — продолжал он. — Все это хорошо, очень мило и так далее, а «кольцо» — так это просто чудесно, но прежде всего нам нужны две вещи: фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат, но с заснятой пленкой, и наш фарфоровый контейнер, но не пустой, а полный, и вам больше никогда не придется ходить в Зону...

Рэдрик, шевельнув плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Он не стал ждать лифта и спустился с восьмого этажа пешком.

Выйдя из «Метрополя», он взял такси и поехал на другой конец города. Шофер попался незнакомый, из

новичков, носатый прыщавый малец, один из тех, кто валом валил в Хармонт в последние годы в поисках зубодробительных приключений, несметных богатств, всемирной славы, новой философии, какой-то особенной религии, валили валом, да так и осели шоферами такси, официантами, строительными рабочими, вышибалами в бардаках — алчущие, бесталанные, замученные неясными желаниями, всем на свете недовольные, ужасно разочарованные и убежденные, что здесь их снова обманули. Половина из них, промыкавшись месяц-другой, с проклятиями возвращалась по домам, разнося великое свое разочарование чуть ли не во все страны света, считанные единицы становились сталкерами и быстро погибали, так и не успев ни в чем разобраться, и посмертно превращались в легендарных героев, некоторым удавалось поступить в институт, самым толковым и грамотным, годным хотя бы на должность препаратора, а остальные насоздавали политических партий, религиозных сект, каких-то кружков взаимопомощи, вечера напролет просиживали в кабаках, дрались из-за расхождений во взглядах, из-за девчонок и просто так, по пьянке. Время от времени они устраивали шествия с какими-то петициями, какие-то демонстрации протеста, какие-то забастовки — сидячие, стоячие и даже лежачие, — совершенно остервенили городскую полицию, комендатуру и старожилов, но чем дальше, тем основательнее успокаивались, смирялись и все меньше и меньше интересовались знать, для чего они здесь.

От прыщавого шофера на версту несло перегаром, глаза у него были красные, как у кролика, но он был страшно возбужден и с ходу принялся рассказывать Рэдрику, как нынче утром на их улицу заявился покойник с кладбища. Пришел, значит, в свой дом, а дом-то уже сколько лет заколочен, все оттуда уехали — и вдова его, старуха, и дочка с мужем, и внуки. Сам-то он, соседи говорят, помер лет тридцать назад, еще до Посещения, а теперь вот — привет! — приперся. Походил-походил вокруг дома, поскребся, потом уселся у забора и сидит. Народу набежало — со всего квартала, смотрят, а подойти, конечно, боятся. Потом кто-то догадался: взломали дверь в его доме, открыли, значит, ему вход. И что вы думаете? Встал и вошел, и дверь за собой прикрыл. Мне на работу надо было бежать, не знаю, чем там дело кончилось, знаю только, что собирались в институт звонить, чтобы забрали его от нас к чертовой бабушке.

Знаете, чего говорят? Говорят, комендатура готовит приказ, чтобы этих покойников, если родственники у них выехали, посылали к ним по новому месту жительства. То-то радость у родственников будет! А уж смердит от него... ну, на то он и покойник.

— Стоп, — сказал Рэдрик. — Останови вот здесь.

Он пошарил в кармане. Мелочи не оказалось, пришлось разменять новую банкноту. Потом он постоял у ворот, подождал, пока такси уедет. Коттеджик у Стервятника был неплохой: два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь. И вокруг всего этого — узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Рэдрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Рэдрик неторопливо двинулся по песчаной дорожке, обсаженной розовыми кустами, а на крыльце коттеджа уже стоял Суслик — скрюченный, черно-багровый, весь азартно трясущийся от желания услужить. В нетерпении он повернулся боком, спустил со ступеньки одну судорожно нащупывающую опору ногу, утвердился, стал тянуть к нижней ступеньке вторую ногу и при этом все дергал, дергал в сторону Рэдрика здоровой рукой: сейчас, мол, сейчас...

— Эй, Рыжий! — позвал из сада женский голос.

Рэдрик повернул голову и увидел среди зелени рядом с белой ажурной крышей беседки голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. Он кивнул Суслику, свернул с дорожки и напролом через розовые кусты, по мягкой зеленой траве направился к беседке.

На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж в почти невидимом купальном костюме, рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же, в тени под кустом, стояло блестящее ведро со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.

— Здорово, Рыжий! — сказала Дина Барбридж, делая приветственное движение стаканом. — А где же папахен? Неужели опять засыпался?

Рэдрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе Стервятник у кого-то в Зоне выпросил на славу. Вся она была атласная, пышно-плотная, без единого изъяна, без единой лишней складки, полтораста фунтов двадцатилетней лакомой плоти, и еще изумрудные глаза, светящиеся изнутри, и еще большой влажный рот и ровные белые

зубы, и еще вороные волосы, блестящие под солнцем, небрежно брошенные на одно плечо, и солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее, а она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехаясь, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.

— Хочешь? — сказала она, облизывая губы, и подождав ровно столько, чтобы двусмысленность дошла до него, протянула ему стакан.

Он отвернулся, поискал глазами и, обнаружив в тени шезлонг, уселся и вытянул ноги.

— Барбридж в больнице, — сказал он. — Ноги ему отрежут.

По-прежнему улыбаясь, она смотрела на него одним глазом, другой скрывала плотная волна волос, упавшая на плечо, только улыбка ее сделалась неподвижной — сахарный оскал на смуглом лице. Потом она машинально покачала стакан, словно бы прислушиваясь к звяканью льдинок о стенки, и спросила:

— Обе ноги?

— Обе. Может быть, до колен, а может быть, и выше.

Она поставила стакан и отвела с лица волосы. Она больше не улыбалась.

— Жаль, — проговорила она. — А ты, значит...

Именно ей, Дине Барбридж, он мог бы подробно рассказать, как все это случилось и как все это было. Наверное, он мог бы ей рассказать даже, как возвращался к машине, держа наготове кастет, и как Барбридж просил — не за себя просил даже, за детей, за нее и за Арчи, и сулил Золотой шар. Но он не стал рассказывать. Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил ее на красный мат, прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером, Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась.

— Последняя получка, значит, — проговорила она.

Рэдрик перегнулся с шезлонга, дотянулся до ведерка и, вытащив бутылку, взглянул на ярлык. По темному стеклу стекала вода, и Рэдрик отвел бутылку в сторону, чтобы не капало на брюки. Он не любил дорогих виски, но сейчас можно было хлебнуть и этого. И он уже нацелился хлебнуть прямо из горлышка, но его остановили невнятные протестующие звуки за спиной. Он огля-

нулся и увидел, что через лужайку, мучительно переставляя кривые ноги, изо всех сил спешит Суслик, держа перед собой в обеих руках высокий стакан с прозрачной смесью. От усердия пот градом катился по его чернобагровому лицу, налитые кровью глаза совсем вылезли из орбит, и, увидев, что Рэдрик смотрит на него, он чуть ли не с отчаянием протянул перед собой стакан и снова не то замычал, не то заскулил, широко и бессильно раскрывая беззубый рот.

— Жду, жду, — сказал ему Рэдрик и сунул бутылку обратно в лед.

Суслик подковылял наконец, подал Рэдрику стакан и с робкой фамильярностью потрепал его по плечу клешнятой рукой.

— Спасибо, Диксон, — серьезно сказал Рэдрик. — Это как раз то самое, чего мне сейчас не хватало. Ты, как всегда, на высоте, Диксон.

И пока Суслик в смущении и восторге тряс головой и судорожно бил себя здоровой рукой по бедру, Рэдрик торжественно поднял стакан, кивнул ему и залпом отпил половину. Потом он посмотрел на Дину.

— Хочешь? — сказал он, показывая ей стакан.

Она не ответила. Она складывала ассигнацию пополам, и еще раз пополам, и еще раз пополам.

— Брось, — сказал он. — Не пропадете. У твоего папаша...

Она перебила его:

— А ты его, значит, тащил, — сказала она. Она его не спрашивала, она утверждала. — Пер его, дурак, через всю Зону, кретин рыжий, пер на хребте эту сволочь, слюняй, такой случай упустил...

Он смотрел на нее, забыв о стакане, а она поднялась, подошла, ступая по разбросанным банкнотам, и остановилась перед ним, уперев сжатые кулаки в гладкие бока, загородив от него весь мир своим великолепным телом, пахнущим духами и сладким потом.

— Вот так он всех вас, идиотиков, вокруг пальца... по костям вашим, по вашим башкам безмозглым... погоди, погоди, он еще на костылях по вашим черепушкам ходит, он вам еще покажет братскую любовь и милосердие! — Она уже почти кричала. — Золотой шар небось тебе обещал, да? Карту, ловушки, да? Болван! Кретин! По роже твоей конопатой вижу, что обещал... погоди, он тебе еще даст карту, упокой, господи, глупую душу рыжего дурака Рэдрика Шухарта...

Тогда Рэдрик неторопливо поднялся и с размаху залепил ей пощечину, и она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная, на траву, и уткнула лицо в ладони.

— Дурак... рыжий... — невнятно проговорила она. — Такой случай упустил... такой случай...

Рэдрик, глядя на нее сверху вниз, допил стакан и, не оборачиваясь, ткнул его Суслику. Говорить здесь было больше не о чем. Хороших деток вымолил себе Стервятник Барбридж в Зоне. Любящих и почтительных.

Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать к «Боржчу». Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо, перед глазами все плыло, и он таки заснул, навалившись на портфель всем телом, и проснулся только, когда шофер потряс его за плечо.

— Приехали, мистер...

— Где это мы? — проговорил он, спросонья озираясь. — Я же тебе велел в банк...

— Никак нет, мистер, — осклабился шофер. — Велели к «Боржчу». Вот вам «Боржч».

— Ладно, — проворчал Рэдрик. — Приснилось что-то...

Он расплатился и вылез, с трудом шевеля затекшими ногами. Асфальт уже раскалился под солнцем, стало очень жарко. Рэдрик почувствовал, что он весь мокрый, во рту было гадко, глаза слезились. Прежде чем войти, он огляделся. Улица перед «Боржчом», как всегда в этот час, была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам «Боржч» был, собственно, закрыт, но Эрнест был уже на посту — протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то хмырей, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья, незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй, и еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Рэдрик подошел к стойке, положил на стойку портфель и поздоровался. Эрнест пробурчал в ответ что-то неприветливое.

— Пива налей, — сказал Рэдрик и судорожно зевнул.

Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Рэдрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Горлышко бутылки несколько раз звякнуло о край кружки. Рэдрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены, маленький рот искривлен, толстые щеки обвисли. Негр шаркал шва-

брой под самыми ногами у Рэдрика, хмыри в углу азартно и злобно спорили о бегах, негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачнулся. Негр принялся бормотать извинения. Эрнест сдавленным голосом спросил:

-- Принес?

— Что — принес? — Рэдрик оглянулся через плечо.

Один из хмырей лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.

— Пойдем потолкуем, — сказал Эрнест.

Негр со шваброй теперь тоже стоял между Рэдриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.

— Пойдем, — сказал Рэдрик и взял портфель. Сна у него уже не было ни в одном глазу.

Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Негр прищемил, видно, себе палец — облизывал ноготь, исподлобья разглядывая Рэдрика. Тоже очень крепкий негр с проломленным носом и расплюснутыми ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Рэдрик последовал за ним, потому что теперь уже все трое хмырей стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад.

В задней комнате Эрнест отступил в сторону и сгорбившись сел на стул у стены, а из-за стола поднялся капитан Квотерблад, желтый и скорбный, а откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Рэдрика за бока и провел огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Рэдрика к капитану. Рэдрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.

— Что же ты, зараза, — сказал он Эрнесту.

Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой.

Капитан Квотерблад, с отвращением кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол: «пустышки» малые — две штуки; «батарейки» — девять штук; «черные брызги» разных размеров — шестнадцать штук в полиэтиленовом пакете; «губки» прекрасной сохранности — две штуки; «газированной глины» — одна банка...

— В карманах есть что-нибудь? — тихо произнес капитан Квотерблад. — Выкладывайте...

— Гады, — сказал Рэдрик. — Зар-разы.

Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнот. Банкноты полетели во все стороны.

— Ого! — произнес капитан Квотерблад. — Еще?

— Жабы вонючие! — заорал Рэдрик, выхватил из кармана вторую пачку и с размаху швырнул ее себе под ноги. — Жрите! Подавитесь!

— Очень интересно, — произнес капитан Квотерблад спокойно. — А теперь подбери все это.

— Редьку в глаз! — сказал ему Рэдрик, закладывая руки за спину. — Холуи твои подберут. Сам подберешь!

— Подбери деньги, сталкер, — не поднимая голоса, сказал капитан Квотерблад, упираясь кулаками в стол и весь подавшись вперед.

Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза, потом Рэдрик, бормоча ругательства, опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Негры за спиной захихикали, а ооновец довольно фыркнул.

— Не фыркай, ты! — сказал ему Рэдрик. — Сопля вылетит!

Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно, он все выкрикивал и выкрикивал грязные ругательства, все, какие мог вспомнить, и еще те, которые придумывал на ходу, а когда настал момент, он замолчал, напрягся, ухватился за кольцо, изо всех сил рванул его вверх, и распахнувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться об пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки, в сырую холодную тьму винного погреба.

Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него, оскальзываясь, взбежал по невидимым ступенькам, всем телом вышиб обитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Он весь трясся и тяжело дышал, перед глазами плыли кровавые пятна, сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло, но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама,

под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком, как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. На бегу он прислушался, но воя патрульных сирен слышно пока не было, и он побежал еще быстрее, распугивая шарахающихся ребятшек, ныряя под развешанное белье, пролезая в дыры в сгнивших заборах, стараясь поскорее выбраться из этого квартала, пока капитан Квотерблад не успел вызвать оцепление. Он прекрасно знал эти места. Во всех этих дворах, подвалах, в заброшенных прачечных, в угольных складах он играл еще мальчишкой, везде у него здесь были знакомые и даже друзья, и при других обстоятельствах ему ничего не стоило бы спрятаться здесь и отсиживаться хоть целую неделю, но не для того он «совершил дерзкий побег из-под ареста» из-под носа у капитана Квотерבלада, разом заработав себе лишних двенадцать месяцев.

Ему здорово повезло. По Седьмой улице валило, горланя и пыля, очередное шествие какой-то лиги — человек двести длинноволосых дураков и стриженных дур, размахивающих дурацкими транспарантами, таких же растерзанных и неопрятных, как он сам, и даже хуже, будто все они тоже только что продирались через лазы в заборах, опрокидывали на себя мусорные баки, да еще предварительно провели бурную ночь на угольном складе вдобавок. Он вынырнул из подворотни, с ходу врзался в эту толпу и наискосок, толкаясь, наступая на ноги, получая по уху и давая сдачи, продрался на другую сторону улицы и снова нырнул в подворотню — как раз в тот момент, когда впереди раздался знакомый отвратительный вой патрульных машин, и шествие остановилось, сжимаясь гармошкой. Но теперь он был уже в другом квартале, и капитан Квотерблад не мог знать, в каком именно.

Он вышел на свой гараж со стороны склада радиотваров, и ему пришлось прождать некоторое время, пока рабочие загружали автокар огромными картонными коробками с телевизорами. Он устроился в чахлах кустах сирени перед глухой стеной соседнего дома, отдышался немного и выкурил сигарету. Он жадно курил, присев на

корточки, прислонившись спиной к жесткой штукатурке брандмауэра, время от времени прикладывая руку к щеке, чтобы унять нервный тик, и думал, думал, думал, а когда автокар с рабочими гудя укатил в подворотню, он засмеялся и негромко сказал ему вслед: «Спасибо вам, ребята, задержали дурака... дали подумать». С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости, ловко, продуманно, словно работал в Зоне.

Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленное кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. Сквозь щели ворот в полутьму гаража падали узкие полосы солнечного света, полные сверкающих пылинок, во дворе весело и азартно визжали ребятишки, и, уже собираясь уходить, он вдруг узнал голос дочки. Тогда он прикинул глазом к самой широкой щели и некоторое время смотрел, как Мартышка, размахивая двумя воздушными шариками, бегают вокруг новых качелей, а три старухи соседки с вязанием на коленях сидят тут же на скамейке и смотрят на нее, неприязненно поджав губы. Обмениваются своими вонючими мнениями, старые кочерыжки. А ребятишки — ничего, играют с ней как ни в чем не бывало, не зря же он к ним подлизывался, как умел, — и горку деревянную сделал для них, и кукольный домик, и качели... и скамейку эту, на которой расселись старые кочерыжки, тоже он сделал. Ладно, сказал он одними губами, оторвался от щели, последний раз оглядел гараж и нырнул в лаз.

На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто теперь здесь ею пользовался — вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Рэдрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу, оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с «браслетами», и старый бумажник с поддельными документами — тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минуту он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова задергало щеку.

— Шухарт, — пробормотал он, не слыша своего голоса. — Что же ты, зараза, делаешь? Падаль ты, они же этой штукой всех нас передуют... — Он прижал пальцами дергающуюся щеку, но это не помогло. — Гады, — сказал он про рабочих, грузивших телевизоры на автокар. — Попались же вы мне на дороге... Кинул бы ее, стерву, обратно в Зону, и концы в воду...

Он с тоской огляделся. Над потрескавшимся асфальтом дрожал горячий воздух, угрюмо глядели заколоченные окна, по пустырю бродили пылевые чертики. Он был один.

— Ладно, — сказал он решительно. — Каждый за себя, один бог за всех. На наш век хватит...

Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на колени и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони.

— И все, — сказал он. — И никаких.

Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.

— Гута, — сказал он. — Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался. — Ему было слышно, как она судорожно вздохнула, и он торопливо проговорил: — Да ерундистика это все, месяцев шесть-восемь... и со свиданиями... Переживем. А без денег ты не будешь, деньги тебе пришлют... — Она все молчала. — Завтра утром тебя вызовут в комендатуру, там увидимся. Мартышку приведи.

— Обыска не будет? — спросила она глухо.

— А хоть бы и был. Дома чисто. Ничего, держи хвост трубой... уши торчком, хвост пистолетом. Взяла в мужья сталкера, теперь не жалуйся. Ну, до завтра... Имей в виду, я тебе не звонил. Целую в попку.

Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, стиснув зубы так, что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

— Слушаю вас, — сказал Хрипатый.

— Говорит Шухарт, — сказал Рэдрик. — Слушайте внимательно и не перебивайте...

— Шухарт? — очень натурально удивился Хрипатый. — Какой Шухарт?

— Не перебивайте, я говорю! Я попался, бежал и

сейчас иду сдаваться. Мне дадут года два с половиной или три. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Понятно, я вас спрашиваю?

— Продолжайте, — сказал Хрипатый.

— Недалеко от того места, где мы с вами в первый раз встретились, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите — берите, хотите — нет, но жена моя чтобы ни в чем не нуждалась. Нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто... Я вам не советую играть нечисто. Понятно?

— Я все понял, — сказал Хрипатый. — Спасибо. — Потом, помедлив немного, спросил: — Может быть, адвоката?

— Нет, — сказал Рэдрик. — Все деньги до последнего медяка — жене. С приветом.

Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми заколоченными домами.

3. Ричард Г. Нунан, 51 год, представитель поставщиков электронного оборудования при хармонтском филиале МИВК

Ричард Г. Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. При этом он сочувственно улыбался, кивал лысой головой и не слушал посетителя. Он просто ждал телефонного звонка, а посетитель, доктор Пильман, лениво делал ему втык. Или воображал, что делает ему втык. Или хотел заставить себя поверить, будто делает ему втык.

— Мы все это учтем, Валентин, — сказал наконец Нунан, дорисовав десятого для ровного счета чертика и захлопнув блокнот. — В самом деле — безобразие...

Валентин протянул тонкую руку и аккуратно стряхнул пепел в пепельницу.

— И что же именно вы учтете? — вежливо осведомился он.

— А все, что вы сказали, — весело ответил Нунан, откидываясь в кресле. — До последнего слова.

— А что я сказал?

— Это несущественно, — произнес Нунан. — Что бы вы ни сказали, все будет учтено.

Валентин (доктор Валентин Пильман, лауреат Нобелевской премии и все такое прочее) сидел перед ним в глубоком кресле, маленький, изящный, аккуратный, на замшевой курточке — ни пятнышка, на поддернутых брюках — ни морщинки; ослепительная рубашка, строгий одноцветный галстук, сияющие ботинки, на тонких бледных губах — ехидная улыбочка, огромные черные очки скрывают глаза, над широким низким лбом — черные волосы жестким ежиком.

— По-моему, вам зря платят ваше фантастическое жалованье, — сказал он. — Мало того, по-моему, вы еще и саботажник, Дик.

— Чш-ш-ш! — произнес Нунан шепотом. — Ради бога, не так громко.

— В самом деле, — продолжал Валентин. — Я доволен давно слежу за вами: по-моему, вы совсем не работаете...

— Одну минутку! — прервал его Нунан и помахал розовым толстым пальцем. — Как это — не работаю? Разве хоть одна рекламация осталась без последствий?

— Не знаю, — сказал Валентин и снова стряхнул пепел. — Приходит хорошее оборудование, приходит плохое оборудование. Хорошее приходит чаще, а при чем здесь вы — не знаю.

— А вот если бы не я, — возразил Нунан, — хорошее бы приходило реже. Кроме того, вы, ученые, все время портите хорошее оборудование, а потом заявляете рекламации, и кто вас тогда покрывает? Вот, например...

Зазвонил телефон, и Нунан, сразу забыв о Валентине, схватил трубку.

— Мистер Нунан? — спросила секретарша. — Вас снова господин Лемхен.

— Соединяйте.

Валентин поднялся, положил потухший окурочок в пепельницу, в знак прощания пошевелил у виска двумя пальцами и вышел — маленький, прямой, складной.

— Мистер Нунан? — раздался в трубке знакомый медлительный голос.

— Слушаю вас.

— Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.

— Пришла новая партия...

— Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго, есть несколько вопросов, которые необходимо об-

судить при личной встрече. Имеются в виду последние контракты «Мицубиси дэнси». Юридическая сторона.

— К вашим услугам.

— Тогда, если вы не возражаете, минут через тридцать в конторе нашего отделения. Вас устраивает?

— Вполне. Через тридцать минут.

Ричард Нунан положил трубку, поднялся и, потирая пухлые руки, прошелся по кабинету. Он даже запел какой-то модный шлягер, но тут же дал петуха и добродушно засмеялся над собой. Затем он взял шляпу, перекинул через руку плащ и вышел в приемную.

— Детка, — сказал он секретарше, — меня понесло по клиентам. Оставайтесь командовать гарнизоном, удерживайте, как говорится, крепость, а я вам принесу шоколадку.

Секретарша расцвела, Нунан послал ей воздушный поцелуй и покатился по коридорам института. Несколько раз его пытались поймать за полу — он увертывался, отшучивался, просил удерживать без него позиции, беречь почки, не напрягаться, и в конце концов, так никем и не уловленный, выкатился из здания, привычно взмахнув нераскрытым пропуском перед носом дежурного сержанта.

Над городом висели низкие тучи, парило, первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой побежал вдоль шеренги машин к своему «пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. Из бокового кармана пиджака он извлек черную круглую палочку «этака», вставил ее в аккумуляторное гнездо и задвинул большим пальцем до щелчка. Потом, поерзав задом, он поудобнее устроился за рулем и нажал педаль. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника.

Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость. Итак, рапорт получен, думал он. Сейчас нас будут хвалить. Что ж, я — за. Я люблю, когда меня хвалят. Особенно когда хвалит сам господин Лемхен, через силу. Странное дело, почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? «Он прославился: теперь о нем знали трое». Ну, скажем, четверо, если считать Бейлиса. Забавное существо человек... Похоже, мы лю-

бим похвалу как таковую. Как детишки — мороженое. Комплекс неполноценности это, вот что. Похвала тешит наши комплексы. И очень глупо. Как я могу подняться в собственных глазах? Что я — сам себя не знаю? Старого толстого Ричарда Г. Нунана? А кстати, что такое это «Г»? Вот тебе и на! И спросить не у кого... Не у господина же Лемхена спрашивать... А, вспомнил! Герберт. Ричард Герберт Нунан. Ну и льет...

Он вывернул на Центральный проспект и вдруг подумал: до чего сильно вырос городишко за последние годы. Экие небоскребы отгрохали... Вон еще один строят. Это что же у нас будет? А, луна-комплекс — лучшие в мире джазы и публичный дом на тысячу станков, все для нашего доблестного гарнизона, и для наших храбрых туристов, особенно пожилых, и для благородных рыцарей науки... А окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойникам.

— Восставшим из могил пути домой закрыты, поэтому они печальны и сердиты, — произнес он вслух.

Да, хотел бы я знать, чем все это кончится. Между прочим, десять лет назад я совершенно точно знал, чем это все должно кончиться. Непреодолимые кордоны. Пояс пустоты шириной в пятьдесят километров. Ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво... И ведь надо же, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты... А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. «С одной стороны, нельзя не признать, а с другой стороны, нельзя не согласиться». А началось это, кажется, когда сталкеры вынесли из Зоны первые «этаки». Батарейки... Да, кажется, с этого и началось. Особенно когда открылось, что они размножаются. Язва оказалась не такой уж и язвой, и даже не язвой вовсе, а вроде бы сокровищницей... А теперь уже никто и не знает, что это такое — язва ли, сокровищница, адский соблазн, шкатулка Пандоры, черт, дьявол... Пользуются помаленьку. Двадцать лет корячатся, миллиарды ухлопали, а организованного грабежа наладить так и не смогли. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают: с одной стороны, нельзя не признать, а с другой стороны, нельзя не согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом восемнадцать градусов, испускает квазитепловые электроны под

углом двадцать два градуса... К дьяволу! Все равно до самого конца мне не дожить...

Машина катилась мимо особняка Стервятника Барбриджа. Во всех окнах по случаю проливного дождя горел свет, видно было, как в окнах второго этажа, в комнатах красотики Дины движутся танцующие пары. Не то спозаранку начали, не то со вчерашнего никак кончить не могут. мода такая пошла по городу — сутками напролет. Крепкую мы вырастили молодежь, выносливую и упорную в своих намерениях...

Нунан остановил машину перед невзрачным зданием с неприметной вывеской «Юридическая контора Корш, Корш и Саймак». Он вынул и спрятал в карман «этак», снова натянул на голову плащ, подхватил шляпу и опрометью бросился в парадное — мимо швейцара, углубленного в газету, по лестнице, покрытой потертым ковром, застучал каблуками по темному коридору второго этажа, пропитанному специфическим запахом, природу которого он в свое время напрасно тщился выяснить, распахнул дверь в конце коридора и вошел в приемную. На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах какого-то сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет.

Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоявшего у завешенного портьерой окна. Прямоугольное генеральское лицо его собралось в складки, означающие не то приветливую улыбку, не то скорбь по поводу дурной погоды, а может быть — с трудом обуздываемое желание чихнуть.

— Ну вот и вы, — медлительно проговорил он. — Входите, располагайтесь.

Нунан поискал взглядом, где бы расположиться, и не обнаружил ничего, кроме жесткого стула с прямой спинкой, упрятанного за стол. Тогда он присел на край стола. Веселое настроение его начало почему-то улетучиваться — он и сам не понимал еще, почему. Вдруг ему стало ясно, что хвалить его не будут. Скорее, наоборот. День втыков, философски подумал он и приготовился к худшему.

— Закуривайте, — предложил господин Лемхен, снова опускаясь в кресло.

— Спасибо, не курю.

Господин Лемхен покивал головой с таким видом, словно подтвердились самые дурные его предположения, соединил перед лицом кончики пальцев обеих рук и некоторое время внимательно разглядывал образовавшуюся фигуру.

— Полагаю, юридические дела фирмы «Мицубиси дэнси» мы обсуждать с вами не будем, — проговорил он наконец.

Это была шутка. Ричард Нунан с готовностью улыбнулся и сказал:

— Как вам будет угодно.

Сидеть на столе было чертовски неудобно, ноги не доставали до полу, резало зад.

— С сожалением должен сообщить вам, Ричард, — сказал господин Лемхен, — что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление.

— Гм... — произнес Нунан. Начинается, подумал он.

— Вас даже собирались представить к ордену, — продолжал господин Лемхен, — однако я предложил повременить. И правильно сделал. — Он наконец оторвался от созерцания фигуры из десяти пальцев и посмотрел исподлобья на Нунана. — Вы спросите меня, почему я проявил такую, казалось бы, чрезмерную осторожность.

— Наверное, у вас были к тому основания, — скучным голосом сказал Нунан.

— Да, были. Что получалось из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована. Вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с полным составом. Блестящая работа. Тоже ваша. Группы «Варр», «Квазимодо», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня завтра их накроют. Это все на самом деле так и было, все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понес большие потери. Я верно изложил ситуацию?

— Во всяком случае, — осторожно сказал Нунан, — последние три месяца утечка материалов из Зоны через Хармонт прекратилась... По крайней мере, по моим сведениям, — добавил он.

— Противник отступил, не так ли?

— Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении... Так.

— Не так! — сказал господин Лемхен. — Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил воздержаться от немедленного представления вас к награде.

Растак и растуда твои награды, думал Нунан, раскачивая ногой и угрюмо глядя на мелькающий носок ботинка. В сортир я твои растакие ордена вешал. Тоже мне моралист, воспитатель молодежи, я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело, нечего мне морали читать, какой растакой и перетакой у меня противник. Скажи просто и ясно: где, как и что я прошлепал... что эти сволочи откололи еще... где, как и какие нашли щели... и без предисловия, я тебе не приговоришка сопливый, мне уже за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих перетаких орденов сижу...

— Что вы слышали о Золотом шаре? — спросил вдруг господин Лемхен.

Господи, с раздражением подумал Нунан, Золотой-то шар здесь при чем? Растак тебя и растуда с твоей манерой разговаривать...

— Золотой шар есть легенда, — скучным голосом доложил он. — Мифическое сооружение в Зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.

— Любых?

— В соответствии с каноническим текстом легенды — любых. Существуют, однако, варианты...

— Так, — произнес господин Лемхен. — А что вы слышали о «смерть-лампе»?

— Восемь лет назад, — скучным голосом затянул Нунан, — сталкер по имени Стефан Норман и по кличке Очкарик вынес из Зоны некое устройство, представляющее собою, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат институту. В цене они не сошлись, Очкарик ушел в Зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время — неизвестно. В институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из «Метрополя» предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки.

— Все? — спросил господин Лемхен.

— Все, — ответил Нунан. Он демонстративно огля-

дывал комнату. Комната была скучная, смотреть было не на что.

— Так, — сказал Лемхен. — А что вы слышали о «рачьем глазе»?

— О каком глазе?

— О рачьем. Рак. Знаете? — Господин Лемхен постриг воздух двумя пальцами. — С клешнями.

— В первый раз слышу, — сказал Нунан нахмурившись.

— Ну, а что вы знаете о «гремучих салфетках»?

Нунан слез со стола и встал перед Лемхеном, засунув руки в карманы.

— Ничего не знаю, — сказал он. — А вы?

— К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о «рачьем глазе», ни о «гремучих салфетках». А между тем они существуют.

— Из моей Зоны? — спросил Нунан.

— Вы сядьте, сядьте, — сказал господин Лемхен, помахивая ладонью. — Наш разговор только начинается. Сядьте.

Нунан обогнул стол и уселся на жесткий стул с высокой спинкой. Куда гнет? — лихорадочно думал он. Что еще за новости? Наверное, нашли что-нибудь в других Зонах, а он меня разыгрывает, скотина, так его и не так. Всегда он меня не любил, старый черт, не может забыть того стишка...

— Продолжим наш маленький экзамен, — объявил Лемхен, отогнул портьеру и выглянул в окно. — Льет, — сообщил он. — Люблю. — Он отпустил портьеру, откинулся в кресле и, глядя в потолок, спросил: — Как поживает старый Барбридж?

— Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. Калека, в средствах не нуждается. С Зоной не связан. Содержит четыре бара, веселый дом и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь, Дина, ведет рассеянный образ жизни. Сын, Артур, только что окончил юридический колледж.

Господин Лемхен удовлетворенно покивал.

— Отчетливо, — похвалил он. — А что подельывает Креон-Мальтиец?

— Один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой «Квазимодо», теперь сбывает хабар институту, через меня. Я держу его на свободе: когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Правда, последнее время он сильно пьет и, боюсь, долго не протянет.

— Контакты с Барбриджем?

— Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.

— Очень хорошо, — сказал господин Лемхен. — А что слышно о Рыжем Шухарте?

— Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался эмигрировать, но у него... — Нунан помолчал. — Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до Зоны.

— Все?

— Все.

— Немного, — сказал господин Лемхен. — А как обстоят дела у Счастливого Картера?

— Он уже много лет не сталкер. Торгует подержанными автомобилями, и потом у него мастерская по переоборудованию автомашин на питание от «этаков». Четверо детей, жена умерла год назад. Теща.

Лемхен покивал.

— Ну кого из стариков я еще забыл? — добродушно осведомился он.

— Вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице, умирает от рака. И вы забыли Гуталина...

— Да-да, что Гуталин?

— Гуталин все тот же, — сказал Нунан. — У него группа из трех человек. Неделями пропадают в Зоне. Все, что находят, уничтожают на месте. А его общество Воинствующих Ангелов распалось.

— Почему?

— Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в Зону. Дьяволово дьяволу. Теперь скупать стало нечего, а кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.

— Понимаю, — сказал господин Лемхен. — Ну, а молодые?

— Что ж — молодые... Приходят и уходят. Есть человек пять-шесть с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар, и они растерялись. Я их понемножку приручаю... Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей Зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы.

— Да-да, я слышал об этом, — сказал господин Лемхен. — Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют. Или я ошибаюсь?

— Это вопрос времени. Скоро начнут оправдывать.

— Как скоро?

— Лет через пять-шесть...

Господин Лемхен снова покивал.

— Между прочим, вы, наверное, еще не знаете, противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.

— В моей Зоне? — спросил Нунан, насторожившись.

— И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис, перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиное ущелье, на Черное озеро, к подножию Болдерпика...

— Так ведь это же периферия, — сказал Нунан недоверчиво. — Там пусто, что они там могут найти?

— Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это для справки, это вас не касается... Резюмируем. Сталкеро-профессионалов в Хармонте почти не осталось. Те, что остались, к Зоне больше отношения не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит, отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет, а когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из Хармонтской Зоны уже три месяца как прекратилась. Так?

Нунан молчал. Сейчас, думал он. Сейчас он мне врежет. Но где же у меня дыра? И здоровенная, видно, пробоина. Ну давай, давай, старая морковка! Не тяни душу...

— Не слышу ответа, — произнес господин Лемхен и приложил ладонь к морщинистому волосатому уху.

— Ладно, шеф, — мрачно сказал Нунан. — Хватит. Вы меня уже сварили и изжарили, подавайте на стол.

Господин Лемхен неопределенно хмыкнул.

— Вам даже нечего мне сказать, — проговорил он с неожиданной горечью. — Если уж вы, работники на местах, хлопаете ушами перед начальством, то представляете, каково было мне, когда позавчера... — Он вдруг оборвал себя, поднялся и побрел по кабинету к сейфу. — Короче говоря, за последние два месяца только по имеющимся сведениям комплексы противника получили свыше шести тысяч единиц материала из различных Зон. — Он остановился около сейфа, погладил его по крашеному боку и резко повернулся к Нунану. — Не тешьте себя иллюзиями! — заорал он. — Отпечатки пальцев Барбриджа! Отпечатки пальцев Мальтийца! Отпечатки пальцев Носатого Бен-Галеви, о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть! Отпечатки пальцев Гундосого Гере-

ша и Карлика Цмыга! Так-то вы приручаете вашу молодежь? «Браслеты»! «Иголки»! «Белые вертячки»! И мало того — какие-то «рачьи глаза», какие-то «сучьи погрешности», «гремучие салфетки», черт бы их подрал! — Он снова оборвал себя, вернулся в кресло, опять соединил пальцы и вежливо спросил: — Что вы об этом думаете, Ричард?

Нунан вытащил носовой платок и вытер шею и затылок.

— Ничего не думаю, — просипел он честно. — Простите, шеф, я сейчас вообще... Дайте отдышаться... Барбридж! Можете подтереться моим послужным списком, но Барбридж не имеет никакого отношения к Зоне! Я знаю каждый его шаг! Он устраивает попойки и пикники на озерах, он зашибает хорошие деньги, и ему просто не нужно... Простите, я чепуху, конечно, говорю, но уверяю вас, я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы...

— Я вас больше не задерживаю, — сказал господин Лемхен. — Даю неделю сроку. Представьте соображения, каким образом материалы из вашей Зоны попадают в руки Барбриджа... и всей прочей сволочи. До свидания.

Нунан поднялся, неловко кивнул профилю господина Лемхена и, продолжая вытирать платком обильно потеющую шею, выбрался в приемную. Смуглый молодой человек курил, задумчиво глядя в недра развороченной электроники. Он мельком посмотрел в сторону Нунана — глаза у него были пустые, обращенные внутрь.

Ричард Нунан кое-как нахлобучил шляпу, схватил плащ под мышку и пошел вон. Такого со мной, пожалуй, еще не бывало, беспорядочно думал он. Надо же — Носатый Бен-Галеви! Кличку уже успел заработать... Когда? Этаким шибздик, соплей перешибить можно... мальчишка... Нет, все это не то... Ах ты сволочь безногая, Стервятник! Как же ты меня уел! Без штанов ведь пустил, грязными носками накормил... Как же это могло случиться? Это же просто не могло случиться! Прямо как тогда, в Сингапуре, — мордой об стол, затылком об стену...

Он сел в автомобиль и некоторое время, ничего не соображая, шарил по щитку в поисках ключа зажигания. Со шляпы текло на колени, он снял ее и, не глядя, швырнул за спину. Дождь заливал переднее стекло, и Ричарду Нунану представлялось почему-то, что именно из-за этого он никак не может понять, что же делать

дальше. Осознав это, он с размаху стукнул себя кулаком в лысый лоб. Полегчало. Сразу вспомнилось, что ключа зажигания нет и быть не может, а есть в кармане «этак». Вечный аккумулятор. И надо его вытащить из кармана, мать его сучью за ногу, и вставить в приемное гнездо, и тогда можно будет по крайней мере куда-нибудь поехать — подальше от этого дома, где из окна за ним наверняка наблюдает эта старая брюква...

Рука Нунана с «этаком» замерла на полпути. Так. С кого начать — я по крайней мере знаю. Вот с него и начну. Ох, как я с него начну! Никто ни с кого никогда так не начинал, как начну с него я сейчас. И с таким удовольствием. Он включил дворники и погнал машину вдоль бульвара, почти ничего не видя перед собой, но уже понемногу успокаиваясь. Ничего. Пусть как в Сингапуре. В конце концов в Сингапуре ведь все кончилось благополучно... Подумаешь, разок мордой об стол! Могло быть и хуже. Могло быть не мордой и не об стол, а об что-нибудь с гвоздями... Господи, как просто все это можно было бы сделать! Сгрести в одну кучу всю эту сволочь, засадить лет на пятнадцать... или выслать к чертовой матери! В России вот о сталкерах и не слышали. Там вокруг Зоны действительно пустота, никого лишнего, ни туристов этих вонючих, ни Барбриджей... Проще надо поступать, господа, проще! Никаких сложностей тут, ей-богу же, не нужно. Нечего тебе делать в Зоне — до свидания, на сто первый километр... Ладно, не будем отвлекаться. Где тут мой бардак? Не видно ни черта... Ага, вот он.

Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой «Метрополь». Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нунан вступил в ярко освещенный холл, провонявший кабаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Старый Бенни, еще без ливреи, сидел за стойкой наискосок от входа и что-то жрал, держа вилку в кулаке. Перед ним, расположив среди пустых бокалов чудовищный бюст, возвышалась Мадам — пригорюнясь, смотрела, как он ест. В холле еще даже не убрали после вчерашнего. Когда Нунан вошел, Мадам сейчас же повернула в его сторону широкое наштукатуренное лицо, сначала недовольное, но тут же расплывшееся в профессиональной улыбке.

— Хо! — пробасила она. — Никак сам господин Нунан! По девочкам соскучились?

Бенни продолжал жрать, он был глух, как пень.

— Привет, старушка! — отозвался Нунан, подходя. — Зачем мне девочки, когда передо мной настоящая женщина?

Бенни наконец заметил его. Страшная маска, вся в синих и багровых шрамах, с натугой перекосилась в приветливой улыбке.

— Здравствуйте, хозяин, — прохрипел он. — Обсудиться зашли?

Нунан улыбнулся в ответ и сделал ручкой. Он не любил разговаривать с Бенни: все время приходилось орать.

— Где мой управляющий, ребята? — спросил он.

— У себя, — ответила Мадам. — Завтра налоги платить.

— Ох уж эти налоги, — сказал Нунан. — Ладно. Мадам, попрошу приготовить мне любимое, я скоро вернусь.

Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору мимо задернутых портьерами стойл — на стене возле каждого стойла красовалось изображение какого-нибудь цветка, — свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь.

Мосол Катюша восседал за столом и рассматривал в зеркальце зловещую болячку на носу. Плевать ему было, что завтра налоги платить. На совершенно пустом столе перед ним стояла баночка с ртутной мазью и стакан с прозрачной жидкостью. Мосол Катюша поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустилсЯ в кресло напротив и некоторое время молча рассматривал прохвоста и слушал, как тот невнятно бормочет что-то насчет проклятого дождя и ревматизма. Потом он сказал:

— Закрой-ка дверь на ключ, голубчик.

Мосол, плоскостопо бухая ножищами, подбежал к двери, щелкнул ключом и вернулся к столу. Он волосатой горой возвышался над Нунаном, преданно глядя ему в рот. Нунан все рассматривал его через прищуренные веки. Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя Мосла Катюша — Рафаэль. Мослом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные и голые, торчащие из густой шерсти, покрывающей его руки, словно из манжет. Катюшей же он называл себя сам в полной уверенности, что это традиционное имя великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.

— Как дела? — спросил он ласково.

— В полном порядке, босс, — поспешно отвечивал Рафаэль-Мосол.

— Тот скандал уладил в комендатуре?

— Сто пятьдесят монет выложил. Все довольны.

— Сто пятьдесят с тебя, — сказал Нунан. — Твоя вина, голубчик. Надо было следить.

Мосол сделал несчастное лицо и с покорностью развел огромные ладони.

— Паркет в холле надо бы перестелить, — сказал Нунан.

— Будет сделано.

Нунан помолчал, топорща губы.

— Хабар? — спросил он, понизив голос.

— Есть немножко, — тоже понизив голос, произнес

Мосол.

— Покажи.

Мосол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке «черных брызг», взял «браслет», оглядел его со всех сторон и положил обратно.

— Это все? — спросил он.

— Не несут, — виновато сказал Мосол.

— Не несут... — повторил Нунан.

Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка Мослу в голень. Мосол охнул, пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули в зад, схватил Мосла за воротник сорочки и пошел на него, лягаясь, вращая глазами и шепча ругательства. Мосол, ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.

— На две стороны работаешь, стерва? — шипел Нунан прямо в его белые от ужаса глаза. — Стервятник в хабаре купается, а ты мне дерьмо в бумажечке подносишь?.. — Он развернулся и ударил Мосла по лицу, стараясь зацепить нос с болячкой. — В тюрьме сгною! В навозе у меня жить будешь... Навоз жрать будешь... Жалеть будешь, что на свет родился! — Он снова с размаху ткнул кулаком в болячку. — Откуда у Барбриджа хабар? Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь, свинья волосатая? Говори!

Мосол беззвучно открывал и закрывал рот. Нунан отпустил его, вернулся в кресло и задрал ноги на стол.

— Ну? — сказал он.

Мосол с хлюпаньем втянул носом кровь и сказал:

— Ей-богу, босс... Чего вы? Какой у Стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нету...

— Ты что — спорить со мной будешь? — ласково спросил Нунан, снимая ноги со стола.

— Да нет, босс... Ей-богу... — заторопился Мосол. — Мать-перемать! Какое там спорить! И в мыслях этого нету...

— Вышвырну я тебя, — мрачно произнес Нунан. — Потому что либо ты скурвился, либо работать не умеешь. На кой черт ты мне такой-сякой сдался? Я таких, как ты, на четвертак десяток наберу. Мне настоящий человек нужен при деле. А ты ведь мне здесь только девчонок портишь да пиво жрешь.

— Погодите, босс, — рассудительно сказал Мосол, размазывая кровь по морде. — Что это вы сразу, с налету... Давайте все-таки разберемся... — Он осторожно потрогал болячку кончиками пальцев. — Хабару, говорите, много у Барбриджа? Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то залил. Ни у кого сейчас хабару нет. В Зону ведь одни сопляки ходят, так они же не возвращаются. Нет, босс, это вам кто-то заливает...

Нунан искоса следил за ним. Было похоже, что Мосол действительно ничего не знает. Да ему и невыгодно было врать — на Стервятнике много не зарабатываешь.

— Эти пикники — выгодное дело? — спросил он.

— Пикники? Да не так чтобы очень. Лопатой не загребешь... Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось...

— Где эти пикники устраиваются?

— Устраиваются где? Так в разных местах. У Белой Горы, на Горячих источниках бывают, на Радужных озерах...

— А какая клиентура?

— Клиентура какая? — Мосол снова потрогал болячку, посмотрел на пальцы и сказал доверительно: — Если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против Стервятника вам здесь не посветит.

— Это почему же?

— У Стервятника клиентура: голубые каски — раз, — Мосол принялся загибать пальцы. — Офицеры из комендатуры — два, туристы из «Метрополя», из «Белой Лилии», из «Пришельца»... это три. Потом у него уже

реклама поставлена, местные ребята тоже к нему ходят... Ей-богу, босс, не стоит с этим связываться. За девочек он нам платит — не то чтобы богато...

— Местные тоже к нему ходят?

— Молодежь в основном.

— Ну и что там на пикниках делается?

— Делается что? Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточки, буфетик, музыка... Ну и каждый развлекается, как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на Зону смотреть — ежели у Горячих источников, то до Зоны там рукой подать, прямо за Серной расщелиной... Стервятник туда им лошадиных костей накидал, вот они и смотрят в бинокли...

— А местные?

— Местные? Местным это, конечно, не интересно...

Так, развлекаются, кто как умеет...

— А Барбридж?

— Так а что Барбридж? Как все, так и Барбридж...

— А ты?

— А что — я? Как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали, и... это... ну, там... Ну, как все в общем.

— И сколько это все продолжается?

— Когда как. Когда трое суток, а когда и вся неделя.

— И сколько это удовольствие стоит? — спросил Нунан, думая совсем о другом. Мосол ответил что-то, Нунан его не слышал. Вот она, прореха, думал он. Несколько суток... несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью, а не валяешься с девками и не сосешь пиво, как мой монгольский царь... И все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина... Нет, тут что-то не то...

— Кто из местных ездит постоянно?

— Из местных? Так я ж говорю — больше молодежь. Самые оторвы, какие есть в городе. Ну там Галеви, Ражба... Куренок Цапфа... этот... Цмыг... Ну Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют «воскресная школа». Что, говорят, посетим «воскресную школу»? Они там в основном насчет пожилых баб, неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы...

— «Воскресная школа», — повторил Нунан.

Какая-то странная мысль появилась вдруг у него. Школа. Он поднялся.

— Ладно, — сказал он. — Бог с ними, с пикниками. Это не для нас. Но чтоб ты знал: у Стервятника есть хабар, а это уже наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Мосол, ищи, а то выгоню я тебя к чертовой матери. Откуда он берет хабар, кто ему доставляет — выясни все и давай на двадцать процентов больше, чем он. Понял?

— Понял, босс. — Мосол уже тоже стоял, руки по швам, на измазанной морде — преданность.

— И перестань портить мне девок, животное! — зарорал вдруг Нунан и вышел.

В холле у стойки он неспешно распил свой аперитив, побеседовал с Мадам насчет падения нравов, намекнул, что в ближайшем будущем намерен расширить заведение, и, понизив голос для значительности, посоветовался, как быть с Бенни — стар становится мужик, слуха нет, реакция уже не та — не поспекает, как раньше... Было уже шесть часов, хотелось есть, а в мозгу все сверлила, все крутилась неожиданная мыслишка, ни с чем не сообразная и в то же время многое объясняющая. Впрочем, и так уже кое-что объяснилось, исчез с этого дела раздражающий и пугающий налет мистики, осталась только досада на себя, что раньше не подумал о такой возможности, но главное-то было не в этом, главное было в этой мыслишке, которая все крутилась и крутилась и не давала покоя.

Попрощавшись с Мадам и пожав руку Бенни, Нунан поехал напрямик в «Боржч». Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы, думал он. Плевать на годы — мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, что все меняется, нас с детства учат, что все меняется, мы много раз видели своими глазами, как все меняется, и в то же время мы совершенно неспособны заметить тот момент, когда происходит изменение, или ищем изменение не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры — оснащенные кибернетикой. Старый сталкер был грязным угрюмым человеком, который со звериным упорством, миллиметр за миллиметром полз на брюхе по Зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер — это франт при галстукке, инженер, сидит где-нибудь в километре от Зоны, в зубах сигаретка, возле локтя стакан с бодрящей смесью, сидит себе и смотрит за экранами. Джентльмен на жалованье. Очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. А ведь есть и другие возможности — «воскресная школа», например.

И вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря. Боже мой, подумал он. Ведь ничего же у нас не получится. Не удержать, не остановить. Никаких сил не хватит удержать в горшке эту квашню, подумал он с ужасом. Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее и ловчее нас. Просто мир такой. Человек такой. Не было бы Посещения — было бы что-нибудь другое. Свинья грязь найдет...

В «Боржче» было много света и очень вкусно пахло. «Боржч» тоже изменился — ни тебе пьянки, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует, и Рэдрик Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, pokrивился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме, заправляет делами его старуха, дорвалась: солидная постоянная клиентура, весь институт сюда ходит обедать, да и старшие офицеры — уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня.

В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел над чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел.

— Разрешите соседствовать? — спросил он.

Валентин поднял на него черные окуляры.

— А, — сказал он. — Прощу.

— Сейчас, только руки помою, — сказал Нунан, вспомнив вдруг болячку.

Здесь его хорошо знали. Когда он вернулся и сел напротив Валентина, на столе уже стояла маленькая жаровня с дымящимся шураско и высокая кружка пива — не холодного и не теплого, как он любил. Валентин отложил журнал и пригубил кофе.

— Слушайте, Валентин, — сказал Нунан, отрезая кусочек мяса. — Как вы думаете, чем все это кончится?

— Вы о чем?

— Посещение, Зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы — вся эта куча... Чем все это может кончиться?

Валентин долго смотрел на него слепыми черными стеклами. Потом он закурил сигарету и сказал:

— Для кого? Конкретизируйте.

— Ну, скажем, для человечества в целом.

— Это зависит от того, повезет нам или нет, — сказал Валентин. — Мы теперь знаем, что для человечества в целом Посещение прошло в общем бесследно. Для человечества все проходит бесследно. Но, конечно, не ис-

ключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы в конце концов вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на планете станет просто невозможной. Это будет невезенье. Однако, согласитесь, это всегда грозило человечеству. — Он разогнал дым сигареты ладонью и усмехнулся. — Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом — слишком стационарная система, ее ничем не проймешь.

— Вы так думаете? — разочарованно произнес Нунан. — Что ж, может быть, и так...

— Скажите по чести, Ричард, — явно развлекаясь, сказал Валентин. — Вот для вас, дельца, что изменилось с Посещением? Вот вы узнали, что во Вселенной есть еще по крайней мере один разум помимо человеческого. Ну и что?

— Да как вам сказать? — промямлил Нунан. Он уже жалел, что затеял этот разговор. Не о чем здесь было разговаривать. — Что для меня изменилось... Например, вот уже много лет я ощущаю некоторое неудобство, неуютность какую-то. Хорошо, они пришли и сразу ушли. А если они придут снова, и им взбредет в голову остаться? Для меня, для дельца, это, знаете ли, не праздный вопрос: кто они, как они живут, что им нужно... В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе? — Он оживился. — А если мы все окажемся ненужными? Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Кто они, что им было нужно, вернутся или нет...

— Ответы существуют, — сказал Валентин, усмехась. — Их даже очень много, выбирайте любой.

— А сами вы что считаете?

— Откровенно говоря, я никогда не позволял себе размышлять об этом серьезно. Для меня Посещение — это прежде всего уникальное событие, чреватое возможностью перепрыгнуть сразу через несколько ступенек в процессе познания. Что-то вроде путешествия в будущее технологии. Н-ну, как если бы Исааку Ньютону попал бы в лабораторию современный квантовый генератор...

— Ньютон бы ничего не понял.

— Напрасно вы так думаете. Ньютон был очень проницательный человек.

— Да? Ну ладно, бог с ним, с Ньютоном. А как вы все-таки толкуете Посещение? Пусть даже несерьезно...

— Хорошо, я вам скажу. Только я должен предупредить вас, Ричард, что ваш вопрос находится в компетенции псевдонауки под названием ксенология. Ксенология — это некая неестественная помесь научной фантастики с формальной логикой. Основой ее метода является порочный прием — навязывание инопланетному разуму человеческой психологии.

— Почему порочный? — сказал Нунан.

— А потому, что биологи в свое время уже обожглись, когда пытались перенести психологию человека на животных. Земных животных, заметьте.

— Позвольте, — сказал Нунан. — Это совсем другое дело. Ведь мы говорим о психологии разумных существ...

— Да. И все было бы очень хорошо, если бы мы знали, что такое разум.

— А разве мы не знаем? — удивился Нунан.

— Представьте себе, нет. Обычно исходят из очень плоского определения: разум есть такое свойство человека, которое отличает его деятельность от деятельности животных. Этакая, знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который все понимает, только сказать не может. Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Они базируются на горестных наблюдениях за упомянутой деятельностью человека. Например: разум есть способность живого существа совершать нецелесообразные или неестественные поступки.

— Да, это про нас, — согласился Нунан.

— К сожалению. Или, скажем, определение-гипотеза. Разум есть сложный инстинкт, не успевший еще сформироваться. Имеется в виду, что инстинктивная деятельность всегда целесообразна и естественна. Пройдет миллион лет, инстинкт сформируется, и мы перестанем совершать ошибки, которые, вероятно, являются неотъемлемым свойством разума. И тогда, если во Вселенной что-нибудь изменится, мы благополучно вымрем — опять же именно потому, что разучились совершать ошибки, то есть пробовать разные, не предусмотренные жесткой программой варианты.

— Как-то это все у вас получается... унижительно.

— Пожалуйста, тогда еще одно определение — очень возвышенное и благородное. Разум есть способность использовать силы окружающего мира без разрушения этого мира.

Нунан сморщился и замотал головой.

— Нет, — сказал он. — Это уж слишком... Ну, а как насчет того, что человек — это, в отличие от животных, существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях? Я где-то об этом читал.

— Я тоже, — сказал Валентин. — Но вся беда в том, что человек — во всяком случае массовый человек — с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая... Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний. Несколько заученных формул плюс так называемая интуиция, так называемая практическая сметка и так называемый здравый смысл.

— Погодите, — сказал Нунан. Он допил пиво и со стуком поставил пустую кружку на стол. — Не отвлекайтесь. Давайте все-таки так. Человек встретился с инопланетным существом. Как они узнают друг о друге, что они оба разумны?

— Представления не имею, — сказал Валентин веселясь. — Все, что я читал по этому поводу, сводится к порочному кругу. Если они способны к контакту, значит, они разумны. И наоборот: если они разумны, они способны к контакту. И вообще: если инопланетное существо имеет честь обладать психологией человека, то оно разумно. Вот так.

— Вот тебе и на, — сказал Нунан. — А я-то думал, что у вас все уже разложено по полочкам...

— Разложить по полочкам и обезьяна может, — заметил Валентин.

— Нет, погодите, — сказал Нунан. Почему-то он чувствовал себя обманутым. — Но если вы таких простых вещей не знаете... Ладно, бог с ним, с разумом. Видно, здесь сам черт ногу сломит. Но насчет Посещения? Что вы все-таки думаете насчет Посещения?

— Пожалуйста, — сказал Валентин. — Представьте себе пикник...

Нунан вздрогнул.

— Как вы сказали?

— Пикник. Представьте себе: лес, проселок, лужайка. С проселка на лужайку съезжает машина, из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с прови-

зией, девушки, транзисторы, фотокиноаппараты... Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка. А утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи и масляные фильтры. Валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов осталась грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте... ну и, сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые драные газеты, монетки, увядшие цветы с других полян...

— Я понял, — сказал Нунан. — Пикник на обочине.

— Именно. Пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете: вернутся они или нет?

— Дайте-ка мне закурить, — сказал Нунан. — Черт бы побрал вашу псевдонауку. Как-то я все это не так себе представлял.

— Это ваше право, — заметил Валентин.

— Значит, что же — они нас даже и не заметили?

— Почему?

— Ну во всяком случае, не обратили на нас внимания...

— Знаете, я бы на вашем месте не огорчился, — посоветовал Валентин.

Нунан затаился, закашлялся, бросил сигарету.

— Все равно, — сказал он упрямо. — Не может быть... Черт бы вас, ученых, подрал! Откуда это у вас такое пренебрежение к человеку? Что вы его все время стремитесь принизить?..

— Подождите, — сказал Валентин. — Послушайте. «Вы спросите меня: чем велик человек? — процитировал он. — Что создал вторую природу? Что привел в движение силы, почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, что несмотря на все это уцелел и намерен уцелеть и далее».

Наступило молчание. Нунан думал.

— Может быть... — сказал он неуверенно. — Конечно, если с этой точки зрения...

— Да вы не огорчайтесь, — благодушно сказал Валентин. — Пикник — это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картина... Так называемые серьезные ксенологи пытаются обосновать гораз-

до более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого Посещения не было, что Посещение еще только будет. Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который и будет означать реальную готовность к контакту. Как вам это?

— Это уже значительно лучше, — сказал Нунан. — Я вижу, среди ученых тоже попадаются порядочные люди.

— Или вот. Посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не окончилось. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в Зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к «жестоким чудесам грядущего».

— Вот это я понимаю! — сказал Нунан. — По крайней мере, тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода. Между прочим, ваш пикник эту возню не объясняет.

— Почему же не объясняет? — возразил Валентин. — Могла ведь какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка...

— Ну, это вы бросьте, — решительно сказал Нунан. — Ничего себе медвежонок — земля трясется... Впрочем, конечно, может быть и медвежонок. Пиво будете? Розалия! Эй, старуха! Два пива господам ксенологам!.. А все-таки приятно с вами побеседовать, — сказал он Валентину. — Этакое прочищение мозгов, словно английской соли насыпали под черепушку. А то вот работаешь-работаешь, а зачем, для чего, что будет, что случится, чем сердце успокоится...

Принесли пива. Нунан отхлебнул, глядя поверх пены, как Валентин с выражением брезгливого сомнения рассматривает свою кружку.

— Что, не нравится? — спросил он, облизывая губы.

— Да я, собственно, не пью, — сказал Валентин.

— Ну да? — поразился Нунан.

— Черт возьми! — сказал Валентин. — Должен же в этом мире быть хоть один непьющий... — Он решительно отодвинул кружку. — Закажите мне лучше коньяку, раз так, — сказал он.

— Розалия! — немедленно рявкнул вконец развеселившийся Нунан.

Когда принесли коньяк, он сказал:

— И все-таки так нельзя. Я уж не говорю про ваш пикник — это вообще свинство, — но если даже принять версию, что это, скажем, прелюдия к контакту, все равно нехорошо. Я понимаю — «браслеты», «пустышки»... Но «ведьмин»-то «студень» зачем? «Комариные плещи», пух этот отвратительный...

— Простите, — сказал Валентин, выбирая ломтик лимона. — Я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плещи?

Нунан засмеялся.

— Это фольклор, — пояснил он. — Рабочий жаргон сталкеров. «Комариные плещи» — это области повышенной гравитации.

— А, гравиконцентраты... Направленная гравитация. Вот об этом я бы поговорил с удовольствием, но вы ничего не поймете.

— Почему же это я ничего не пойму? Я все-таки инженер...

— Потому что я сам не понимаю, — сказал Валентин. — У меня есть система уравнений, но как их истолковать — я представления не имею... А «ведьмин студень» — это, вероятно, коллоидный газ?

— Он самый. Слыхали о катастрофе в Карригановских лабораториях?

— Слыхал кое-что, — неохотно отозвался Валентин.

— Эти идиоты поместили фарфоровый контейнер со «студнем» в специальную камеру, предельно изолированную... то есть это они думали, что камера предельно изолирована... а когда они открыли контейнер манипуляторами, «студень» пошел через металл и пластик, как вода через промокашку, вырвался наружу, и все, с чем он соприкасался, превращалось опять же в «студень».

Погибло тридцать пять человек, больше ста изувечено, а все здание лаборатории приведено в полную негодность. Вы там бывали когда-нибудь? Великолепное сооружение! А теперь «студень» стек в подвалы и в нижние этажи... Вот вам и прелюдия к контакту.

Валентин весь сморщился.

— Да, я знаю все это, — сказал он. — Однако согласитесь, Ричард, пришельцы здесь ни при чем. Откуда они могли знать о существовании военно-промышленных комплексов?

— А следовало бы знать, — назидательно ответил Нунан.

— А они сказали бы вам на это: следовало бы дав-

ным-давно уничтожить военно-промышленные комплексы.

— И то верно, — согласился Нунан. — Вот бы они и занялись, раз такие могучие.

— То есть вы предлагаете вмешательство во внутренние дела человечества?

— Гм, — сказал Нунан. — Так мы, конечно, можем зайти очень далеко. Не будем об этом. Вернемся лучше к началу разговора. Чем же все это кончится? Ну вот, например, вы, ученые. Надеетесь вы получить из Зоны что-нибудь фундаментальное, что-нибудь такое, что действительно способно перевернуть науку, технологию, образ жизни?..

Валентин допил рюмку и пожал плечами.

— Вы обращаетесь не по адресу, Ричард. Я не люблю фантазировать впустую. Когда речь идет о таких серьезных вещах, я предпочитаю осторожный скепсис. Если исходить из того, что мы уже получили, впереди целый спектр возможностей, и ничего определенного сказать нельзя.

— Розалия, еще коньяку! — крикнул Нунан. — Ну хорошо, попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили?

— Как это ни забавно, довольно мало. Мы обнаружили много чудес. В некоторых случаях мы научились даже использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним... Обезьяна нажимает красную кнопку — получает банан, нажимает белую — апельсин, но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает. Возьмем, скажем, «этаки». Мы научились ими пользоваться. Мы открыли даже условия, при которых они размножаются делением. Но мы до сих пор не сумели сделать ни одного «этака», не понимаем, как они устроены, и, судя по всему, разберемся во всем этом не скоро... Я бы сказал так. Есть объекты, которым мы нашли применение. Мы используем их, хотя почти наверняка не так, как их используют пришельцы. Я совершенно уверен, что в подавляющем большинстве случаев мы забиваем микроскопами гвозди. Но все-таки кое-что мы применяем: «этаки», «браслеты», стимулирующие жизненные процессы... различные типы квазибиологических масс, которые произвели такой переворот в медицине... В общем, что я их вам перечисляю! Вы знаете все это не хуже меня — «браслетик», я вижу, вы сами носите...

Назовем эту группу объектов полезными. Можно сказать, что в какой-то степени человечество ими облагодетельствовано, хотя никогда не следует забывать, что в нашем евклидовом мире всякая палка имеет два конца...

— Минеральные удобрения! — вставил Нунан.

Валентин отхлебнул из рюмки, покивал.

— Вот именно. Срам этот с присадками к минеральным удобрениям. Или, скажем, применение «этаков» в военной промышленности... Я не об этом. Действие каждого полезного объекта нами более или менее изучено, более или менее объяснено. Сейчас остановка за технологией, но лет через пятьдесят мы сами научимся изготавливать эти королевские печати и тогда вволю будем колотить ими орехи. Сложнее обстоит дело с другой группой объектов — сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших нынешних представлений решительно необъяснимы. Например, магнитные ловушки разных типов. Мы понимаем, что это магнитная ловушка, Панов это очень остроумно доказал. Но мы не понимаем, где источник такого мощного магнитного поля, в чем причина его сверхустойчивости... ничего не понимаем. Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых раньше даже не подозревали. Или К-23... Как вы их называете, эти черные красивые шарики, которые идут на украшения?

— «Черные брызги», — сказал Нунан.

— Вот-вот, «черные брызги»... Хорошее название... Ну, вы знаете про их свойства. Если пустить луч света в такой шарик, то свет выйдет из него с задержкой, причем эта задержка зависит от веса шарика, от размера, еще от некоторых параметров, и частота выходящего света всегда меньше частоты входящего... Что это такое? Почему? Есть безумная идея, будто эти ваши «черные брызги» — суть гигантские области пространства, обладающего иными свойствами, нежели наше, и принявшего такую свернутую форму под воздействием нашего пространства... — Валентин вытащил сигарету и закурил. — Короче говоря, объекты этой группы для нынешней человеческой практики совершенно бесполезны, хотя с чисто научной точки зрения они имеют фундаментальное значение. Это свалившиеся с неба ответы на вопросы, которые мы еще не умеем задать. Упомянутый выше сэр Исаак, может быть, и не разобрался бы в лазере, но он во

всяком случае понял бы, что такая вещь возможна, и это очень сильно повлияло бы на его научное мировоззрение. Я не буду вдаваться в подробности, но существование таких объектов, как магнитные ловушки, К-23, «белое кольцо», разом зачеркнуло целое поле недавно процветавших теорий и вызвало к жизни совершенно новые идеи. А ведь есть еще третья группа...

— Да, — сказал Нунан. — «Ведьмин студень» и прочее дерьмо...

— Нет-нет. Все это следует отнести либо к первой, либо ко второй группе. Я имею в виду объекты, о которых мы знаем только понаслышке, которые мы никогда не держали в руках. Машина желаний, «Бродяга Дик», «веселые призраки»...

— Минуточку, минуточку, — сказал Нунан. — Это еще что такое? Машина желаний — понимаю...

Валентин засмеялся.

— Видите, у нас тоже есть свой рабочий жаргон. «Бродяга Дик» — это тот самый гипотетический заводной медвежонок, который бесчинствует в развалинах завода. А «веселые призраки» — это некая опасная турбуленция, имеющая место в некоторых районах Зоны.

— Первый раз слышу, — сказал Нунан.

— Вы понимаете, Ричард, — сказал Валентин, — мы ковыряемся в Зоне два десятка лет, но мы не знаем и тысячной доли того, что она содержит. А если уж говорить о воздействии Зоны на человека... Вот, кстати, тут нам придется ввести в классификацию еще одну, четвертую группу. Уже не объектов, а воздействий. Эта группа изучена безобразно плохо, хотя фактов накопилось, на мой взгляд, более чем достаточно. Вы знаете, Ричард, я — физик и, следовательно, скептик. Но и меня иногда мороз продирает по коже, когда я думаю об этих фактах.

— Живые покойники, — пробормотал Нунан.

— Да нет. Живые покойники — это загадочно, но не более того. Как бы это сказать... Это вообразимо, что ли. А вот когда вокруг человека вдруг ни с того, ни с сего начинают происходить внефизические, внебиологические явления...

— А, вы имеете в виду эмигрантов...

— Вот именно. Математическая статистика, знаете ли, это очень точная наука, хотя она и имеет дело со случайностями. И кроме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная...

Валентин, по-видимому, слегка охмелел. Он стал го-

ворить громче, щеки его порозовели, а брови над черными окулярами высоко задрались, сминая лоб в гармошку.

— Розалия! — гаркнул вдруг он. — Еще коньяку! Большую рюмку!

— Люблю непьющих, — с уважением сказал Нунан.

— Не отвлекайтесь! — сказал Валентин строго. — Слушайте, что вам рассказывают. Это очень странно. — Он принял рюмку, разом отхлебнул половину и продолжал: — Мы не знаем, что произошло с бедными хармонцами в самый момент Посещения. Но вот один из них решил эмигрировать. Какой-нибудь обыкновеннейший обыватель. Парикмахер. Сын парикмахера и внук парикмахера. Он переезжает, скажем, в Детройт. Открывает парикмахерскую, и начинается чертов бред. Более девяноста процентов его клиентуры погибает на протяжении года: гибнут в автомобильных катастрофах, вываливаются из окон, вырезаются гангстерами и хулиганами, тонут на мелких местах и так далее, и так далее. Мало того. Число коммунальных катастроф в Детройте резко возрастает. В два раза чаще взрываются газовые колонки. В три с половиной раза чаще возникают пожары от неисправности электросети. В три раза увеличивается количество автомобильных аварий. В два раза возрастает смертность от эпидемий гриппа. Мало того. Возрастает количество стихийных бедствий в Детройте и его окрестностях. Откуда-то берутся смерчи и тайфуны, которых в этих местах не видывали с тысяча семьсот затертого года. Разверзаются хляби небесные, и озеро Онтарио или Мичиган, или где там стоит Детройт, выходит из берегов... Ну и все в таком же роде. И такие катаклизмы происходят в любом городе, в любой местности, где селится эмигрант из района Посещения, и количество этих катаклизмов прямо пропорционально числу эмигрантов, поселившихся в данном месте. И заметьте, подобное действие оказывают только те эмигранты, которые пережили само Посещение. Родившиеся после Посещения на статистику несчастных случаев никакого влияния не оказывают. Вы прожили здесь десять лет, но вы приехали после Посещения, и вас без опаски можно сесть хоть в Ватикане. Как объяснить такое? От чего нужно отказаться — от статистики? Или от здравого смысла? — Валентин схватил рюмку и залпом допил ее.

Ричард Нунан почесал за ухом.

— М-да, — сказал он. — Я вообще-то наслышан о

таких вещах, но я, честно говоря, всегда полагал, что все это, мягко выражаясь, несколько преувеличено. Просто понадобился предлог, чтобы запретить эмиграцию.

Валентин горько усмехнулся.

— Ничего себе предлог! Кто же такому бреду поверит? Ну могли бы придумать какие-нибудь эпидемии... опасность распространения ненужных слухов... мало ли что!

Он оперся локтями в стол и пригорюнился, опустив лицо в ладони.

— Я вам сочувствую, — сказал Нунан. — Действительно, с точки зрения нашей могучей позитивистской науки...

— Или, скажем, мутагенное воздействие Зоны, — прервал его Валентин. Он снял очки и уставился на Нунана черными подслеповатыми глазами. — Все люди, которые достаточно долго общаются с Зоной, подвергаются изменениям — как фенотипическим, так и генотипическим. Вы знаете, какие дети бывают у сталкеров, вы знаете, что бывает с самими сталкерами. Почему? Где мутагенный фактор? Радиации в Зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в Зоне хотя и обладает своей спецификой, но никакой мутагенной опасности не представляет. Что же мне в таких условиях — в колдовство начать верить? В дурной глаз?.. Слушайте, Ричард, давайте еще по рюмке. Я что-то разошелся, будь оно все неладно...

Ричард Нунан, ухмыляясь, потребовал еще рюмку коньяку для лауреата и кружку пива для себя. Потом он сказал:

— Так вот. Я вам, конечно, сочувствую в ваших метаниях. Но откровенно говоря, лично мне ожившие покойники бьют по мозгам гораздо сильнее, чем даже данные статистики. Тем более что данных статистики я никогда не видел, а покойников и видел, и обонял предостаточно...

Валентин легкомысленно махнул рукой.

— А, покойники ваши... — сказал он. — Уверю вас, что, с точки зрения фундаментальных принципов, эти живые покойники и не более, и не менее удивительная вещь, чем вечные аккумуляторы. Просто «этаки» нарушают первый принцип термодинамики, а покойники — второй, вот и вся разница. Все мы в каком-то смысле пещерные люди — ничего страшнее призрака или вурдалака представить себе не можем. А между тем нарушение принципа причинности — гораздо более страшная вещь,

чем целые стада привидений... и всяких там чудовищ Рубинштейна... или Валленштейна?

— Франкенштейна.

— Да, конечно, Франкенштейна. Мадам Шелли. Супруга поэта. Или дочь. — Он вдруг засмеялся. — У этих ваших покойников есть одно любопытное свойство — автономная жизнеспособность. Можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить... то есть не ходить, конечно... в общем, жить. Отдельно. Без всяких физиологических растворов... Так вот, недавно доставили в институт одного не востребовавшего покойника. Н-н-ну, препарировали его... Это мне лаборант Бойда рассказывал. Отделили правую руку для каких-то там надобностей, приходят на другое утро, а она дулю показывает... — Валентин захохотал. — А? И так до сих пор! То разожмет пальцы, то опять сложит. Как вы полагаете, что она этим хочет сказать?

— По-моему, символ довольно прозрачный, — сказал Нунан, глядя на часы. — А не пора ли нам по домам, Валентин? У меня есть еще одно важное дело.

— Пойдемте, — сказал Валентин, тщетно пытаюсь попасть лицом в оправу очков. — Ф-фу, напоили вы меня, Ричард... — Он взял очки в обе руки и старательно водрузил их на место. — У вас машина?

— Да, я вас завезу.

Они расплатились и направились к выходу. Валентин держался еще более прямо чем обычно и то и дело с размаху прикладывал палец к виску, приветствуя знакомых лаборантов, которые с любопытством и изумлением наблюдали за светилом мировой физики. У самого выхода, приветствуя расплывшегося в улыбке швейцара, он сшиб с себя очки, и все трое кинулись их ловить.

— Ф-фу, Ричард... — приговаривал Валентин, влезая в «пежо». — Вы меня без-бож-но напоили. Нельзя же так, черт возьми... Неудобно. У меня завтра эксперимент. Вы знаете, любопытная вещь...

И он принялся рассказывать о завтрашнем эксперименте, то и дело отвлекаясь в анекдоты и повторяя: «Напоили... К чертовой матери...» Нунан отвез его в научный городок, решительно пресек неожиданно вспыхнувшее у лауреата желание добавить («...и не рюмками, черт возьми, а стаканами... и какой там к дьяволу эксперимент? Знаете, что я с этим вашим экспериментом сделаю? Я его отложу!...») и сдал с рук на руки жене, которая пришла при виде супруга в веселое негодование.

— Г-гости? Кто? А, профессор Бойд? Очень приятно! Сейчас мы с ним дернем! Ричард! Где вы, Ричард?..

Это Нунан слышал, уже сбегая по лестнице. А ведь они тоже боятся, думал он, снова усаживаясь в «пежо». Боятся, боятся, высоколобые... Да так и должно быть. Они должны бояться даже больше, чем все мы, простые обыватели, вместе взятые. Ведь мы — просто ничего не понимаем, а они по крайней мере понимают, до какой степени ничего не понимают. Смотрят в эту бездонную пропасть и знают, что неизбежно им туда спускаться, — сердце заходится, но спускаться надо, а как спускаться, что там на дне и, главное, можно ли будет потом выбраться... А мы, грешные, смотрим, так сказать, в другую сторону. Слушай, а может быть, так и надо? Пусть оно идет все своим чередом, а мы уж проживем как-нибудь. Правильно он сказал: самый героический поступок человечества — это то, что оно выжило и намерено выжить дальше... А все-таки черт бы вас подрал, сказал он пришельцам. Не могли устроить свой пикник в другом месте. На Луне, например. Или на Марсе. Такая же вы равнодушная сволочь, как и все, хоть и научились сворачивать пространство. Пикник, видите ли, устроили. Пикник...

Как же мне получше обойтись с моими пикниками, думал он, медленно ведя «пежо» по ярко освещенным мокрым улицам. Как бы половчее все это повернуть? По принципу наименьшего действия. Как в механике. На кой черт мне мой такой-сякой инженерный диплом, если я не могу придумать, как мне половчее ущучить эту безногую сволочь...

Он остановил машину перед домом, где жил Рэдрик Шухарт, и немного посидел за рулем, прикидывая, как вести разговор. Потом он вынул «этак», вылез из машины и только тут обратил внимание, что дом выглядит нежилым. Почти все окна были темные, в скверике никого не было, и даже фонари там не горели. Это напомнило ему, что он сейчас увидит, и он зябко поежился. Ему даже пришло в голову, что, может быть, имеет смысл вызвать Рэдрика по телефону и побеседовать с ним в машине или в какой-нибудь тихой пивнушке, но он отогнал эту мысль. По целому ряду причин. И кроме всего прочего, сказал он себе, давай-ка не будем уподобляться всем этим жалким сволочам, которые разбежались отсюда, как тараканы, ошпаренные кипятком.

Он вошел в подъезд, неторопливо поднялся по давно не метенной лестнице. Вокруг стояла нежилая тишина,

многие двери, выходящие на лестничные площадки, были приотворены или даже распахнуты настежь — из темных прихожих тянуло затхлыми запахами сырости и пыли. Он остановился перед дверью квартиры Рэдрика, пригладил волосы за ушами, глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка. Некоторое время за дверью было тихо, потом там скрипнули половицы, щелкнул замок, и дверь тихонько приоткрылась. Шагов он так и не услышал.

На пороге стояла Мартышка, дочь Рэдрика Шухарта. Из прихожей на полутемную лестничную площадку падал яркий свет, и в первую секунду Нунан увидел только темный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев, но потом она отступила в глубь прихожей, и он увидел ее лицо. В горле у него мгновенно пересохло.

— Здравствуй, Мария, — сказал он, стараясь говорить как можно ласковее. — Как поживаешь, Мартышка?

Она не ответила. Она молча и совершенно бесшумно пятилась к дверям в гостиную, глядя на него исподлобья. Похоже, она не узнавала его. Да и он, честно говоря, не узнавал ее. Зона, подумал он. Дрянь...

— Кто там? — спросила Гута, выглядывая из кухни. — Господи, Дик! Где вы пропадали? Вы знаете, Рэдрик вернулся!

Она поспешила к нему, на ходу вытирая руки полотенцем, переброшенным через плечо, — все такая же красивая, энергичная, сильная, только вот подтянуло ее как-то: лицо осунулось, и глаза были какие-то... лихорадочные, что ли?

Он поцеловал ее в щеку, отдал ей плащ и шляпу и сказал:

— Наслышаны, наслышаны... Все времени никак не мог выбрать — забежать. Дома он?

— Дома, — сказала Гута. — У него там один... Скоро уйдет, наверное, они давно уже сидят. Проходите, Дик...

Он сделал несколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом. Один. Неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый от абажура свет падал на широкое темное лицо, словно вырезанное из старого дерева, ввалившийся безгубый рот, остановившиеся, без блеска глаза. И сейчас же Нунан почувствовал запах. Он знал, что это игра воображения, запах бывал только первые дни, а потом исчезал напрочь, но Ричард Нунан чувствовал его как бы памятью — душный тяжелый запах разрытой земли.

— А то пойдёмте на кухню, — поспешно сказала Гута. — Я там ужин готовлю, заодно поболтаем.

— Да, конечно, — сказал Нунан бодро. — Столько не виделись... Вы ещё не забыли, что я люблю выпить перед ужином?

Они прошли на кухню, Гута сразу же открыла холодильник, а Нунан уселся за стол и огляделся. Как всегда, здесь все было чисто, все блестело, над кастрюльками поднимался пар. Плита была новая, полуавтомат, значит, деньги в доме были.

— Ну как он? — спросил Нунан.

— Да все такой же, — ответила Гута. — Похудел в тюрьме, но сейчас уже отъелся.

— Рыжий?

— Ещё бы!

— Злой?

— А как же! Это у него уж до самой смерти.

Гута поставила перед ним стакан «красной Мэри» — прозрачный слой русской водки словно бы висел над слоем томатного сока.

— Не много? — спросила она.

— В самый раз. — Нунан набрал в грудь воздуха и, зажмурившись, медленно влил в себя смесь. Это было хорошо. Он вспомнил, что по сути дела за весь день впервые выпил нечто существенное. — Вот это другое дело, — сказал он. — Теперь можно жить.

— У вас все хорошо? — спросила Гута. — Что вы так долго не заходили?

— Проклятые дела, — сказал Нунан. — Каждую неделю собирался зайти или хотя бы позвонить, но сначала пришлось ехать в Рексополис, потом скандал один начался, потом мне говорят: «Рэдрик вернулся», ладно, думаю, зачем мешать... В общем, завертелся я, Гута. Я иногда спрашиваю себя: какого черта мы так крутимся? Чтобы заработать деньги? Но на кой черт нам деньги, если мы только и делаем, что крутимся?..

Гута звякнула крышками кастрюлек, взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить, и снова, второй раз в жизни, увидел, что у нее дрожат пальцы, как тогда, когда Рэдрика только что осудили, и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег — первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна сволочь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились и, судя по всему, нема-

лые, и Нунан догадывался — откуда, но он продолжал приходить, приносил Мартышке лакомства и игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую благополучную жизнь Рэдрика, а потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их, объяснял, уговаривал, наконец, выйдя из терпения, грозил: «Ведь Рыжий вернется, он вам все кости переломает...» — ничего не помогало.

— А как поживает ваша девушка? — спросила Гута.

— Которая?

— Ну, с которой вы заходили тогда... беленькая такая...

— Какая же это моя девушка? Это моя стенографистка. Вышла замуж и уволилась.

— Жениться вам надо, Дик, — сказала Гута. — Хотите, невесту найду?

Нунан хотел было ответить, как обычно: «Мартышка вот подрастет...» — но вовремя остановился. Сейчас это бы уже не прозвучало.

— Стенографистка мне нужна, а не жена, — проворчал он. — Бросайте вы своего рыжего дьявола и идите ко мне в стенографистки. Вы же были отличной стенографисткой. Старый Гаррис вас до сих пор вспоминает.

— Еще бы, — сказала она. — Всю руку тогда об него отбила.

— Ах, даже так? — Нунан сделал вид, что удивлен. — Ай да Гаррис!

— Господи, — сказала Гута. — Да он мне проходу не давал. Я только одного боялась, как бы Рэд не узнал.

Бесшумно вошла Мартышка — возникла в дверях, посмотрела на кастрюли, на Ричарда, потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо.

— Ну что, Мартышка, — сказал бодро Ричард Нунан. — Шоколадку хочешь?

Он полез в жилетный карман, вытащил шоколадный автомобильчик в прозрачном пакетики и протянул девочке. Она не пошевелилась. Гута взяла у него шоколадку и положила на стол. У нее вдруг побелели губы.

— Да, Гута, — бодро сказал Нунан. — А я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице. Во-первых, от института все-таки далеко...

— Она уже почти ничего не понимает, — тихо сказала Гута, и он оборвал себя, взял в обе руки стакан и принялся бессмысленно вертеть его в пальцах.

— Вы вот не спрашиваете, как мы живем, — продол-

жала она, — и правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг, Дик, нам от вас скрывать нечего. Да и не скроешь.

— У врача были? — спросил Нунан, не поднимая глаз.

— Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал... — она замолчала.

Он тоже молчал. Не о чем тут было говорить, и не хотелось об этом думать, но его вдруг ударила жуткая мысль: это вторжение. Не пикник на обочине, не призыв к контакту — вторжение. Они не могут изменить нас, но они проникают в тела наших детей и изменяют их по своему образу и подобию. Ему стало зябко, но он тут же вспомнил, что уже читал о чем-то подобном, какой-то покетбук в яркой глянцевиной обложке, и от этого воспоминания ему полегчало. Придумать можно все, что угодно. На самом деле никогда не бывает так, как придумывают.

— А один сказал, что она уже не человек, — проговорила Гута.

— Вздор, — глухо сказал Нунан. — Обратитесь к настоящему специалисту. Обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Устрою вам прием...

— Это к Мяснику? — Она нервно засмеялась. — Не надо, Дик, спасибо. Это он и сказал. Видно, судьба.

Когда Нунан снова осмелился поднять глаза, Мартышки уже не было, а Гута сидела неподвижно, рот у нее был приоткрыт, глаза пустые, и на сигарете в ее пальцах вырос длинный кривой столбик серого пепла. Тогда он толкнул к ней по столу стакан и проговорил:

— Сделайте-ка мне еще одну порцию, детка... и себе сделайте. И выпьем.

Она уронила пепел, поискала глазами, куда бросить окурочек, и бросила в мойку.

— За что? — проговорила она. — Вот я чего не понимаю. Что мы такое сделали? Мы же не самые плохие все-таки в этом городе...

Нунан подумал, что она сейчас заплачет, но она не заплакала — открыла холодильник, достала водку и сок и сняла с полки второй стакан.

— Вы все-таки не отчаивайтесь, — сказал Нунан. — Нет на свете ничего такого, что нельзя исправить. И вы мне поверьте, Гута, у меня очень большие связи. Все, что смогу, я сделаю...

Сейчас он сам верил в то, что говорил, и уже перебирал в уме имена, связи и города, и ему уже казалось,

будто о подобных случаях он что-то где-то слышал, и вроде бы все кончилось благополучно, надо только сообщить, где это было и кто лечил, но тут он вспомнил, зачем он сюда пришел, и вспомнил господина Лемхена, и вспомнил, для чего он подружился с Гутой, и ему больше не захотелось думать ни о чем, и он отогнал от себя все связанные мысли, сел поудобнее, расслабился и стал ждать, пока ему поднесут выпивку.

В это время в прихожей послышались шаркающие шаги, постукивание, и отвратительный, особенно сейчас, голос Стервятника Барбриджа прогундосил:

— Э, Рыжий! А к твоей бабе, видать, кто-то заглянул — шляпа... Я б на твоём месте это дело так бы не оставил...

И голос Рэдрика:

— Береги протезы, Стервятник. Прикуси язык. Вон двери, уйти не забудь, мне ужинать пора.

И Барбридж:

— Тьфу ты, господи, пошутить уже нельзя!

И Рэдик:

— Мы с тобой уже все отшутили. И точка. Мотай, мотай, не задерживай.

Щелкнул замок, и голоса стали тише — очевидно, оба вышли на лестничную площадку. Барбридж что-то сказал вполголоса, и Рэдик ему ответил: «Все, все, поговорили!» Снова ворчание Барбриджа и резкий голос Рэдрика: «Сказал — все!» Ахнула дверь, простучали быстрые шаги в прихожей, и на пороге кухни появился Рэдик Шухарт. Нунан поднялся ему навстречу, и они крепко пожали друг другу руки.

— Я так и знал, что это ты, — сказал Рэдик, оглядывая Нунана быстрыми зеленоватыми глазами. — У-у, растолстел, толстяк! Все задницу в барах нагуливаешь... Эге! Да вы тут, я вижу, весело время проводите! Гута, старушка, сделай мне порцию, надо догонять...

— Да мы еще и не начали, — сказал Нунан. — Мы только собирались. От тебя разве убежишь!

Рэдик резко засмеялся, ткнул Нунана кулаком в плечо.

— А вот мы сейчас посмотрим, кто кого догонит, кто кого перегонит! Я, брат, два года постился, мне чтоб тебя догнать, цистерну выпить надо... Пошли, пошли, что мы здесь на кухне! Гута, тащи ужин...

Он нырнул в холодильник и снова выпрямился, держа в каждой руке по две бутылки с разными наклейками.

— Гулять будем! — объявил он. — В честь лучшего друга Ричарда Нунана, который не покидает своих в беде! Хотя пользы ему от этого никакой. Эх, Гуталина нет, жалко...

— А ты позвони ему, — предложил Нунан.

Рэдрик помотал ярко-рыжей головой.

— Туда еще телефон не провели, куда ему сейчас звонить. Ну, пошли, пошли...

Он первым вошел в гостиную и грохнул бутылки на стол.

— Гулять будем, папаня! — сказал он неподвижному старику. — Это вот Ричард Нунан, наш друг! Дик, а это папаня мой, Шухарт-старший...

Ричард Нунан, собравшись мысленно в непроницаемый комок, раздвинул рот до ушей, потряс в воздухе ладонью и сказал покойнику:

— Очень рад, мистер Шухарт. Как поживаете?.. Мы ведь знакомы, Рэд, — сказал он Шухарту-младшему, который копался в баре. — Мы один раз уже виделись, мельком, правда...

— Садись, — сказал ему Рэдрик, кивая на стул напротив старика. — Ты, если будешь с ним говорить, говори громче — он не слышит ни хрена.

Он расставил бокалы, быстро откупорил бутылки и сказал Нунану:

— Разливай. Папане немного, на самое доньшко...

Нунан неторопливо принялся разливать. Старик сидел в прежней позе, глядя в стену. И он никак не реагировал, когда Нунан придвинул к нему бокал. А Нунан уже переключился на новую ситуацию. Это была игра, страшная и жалкая, игру разыгрывал Рэдрик, и он включился в эту игру, как всю жизнь включался в чужие игры, и страшные, и жалкие, и стыдные, и дикие, и гораздо более опасные, чем эта. Рэдрик, подняв свой бокал, произнес: «Ну что, поехали?» — и Нунан совершенно естественным образом взглянул на старика, а Рэдрик нетерпеливо позвякал своим бокалом о бокал Нунана и сказал: «Поехали, поехали, ты за него не беспокойся, он своего не упустит...» — и тогда Нунан тоже совершенно естественно кивнул, и они выпили.

Рэдрик крикнул и, блестя глазами, заговорил все в том же возбужденном, немного искусственном тоне:

— Все, браток! Больше меня тюрьма не увидит. Если бы ты знал, милый мой, до чего же дома хорошо! Деньги есть, я себе хороший коттеджик присмотрел, с садом

будем, не хуже чем у Стервятника... Ты знаешь, я ведь эмигрировать хотел, еще в тюрьме решил. Ради какой стервы я в этом вшивом городишке сижу? Да провались, думаю, все пропадом. Возвращаюсь — привет, запретили эмиграцию! Да что мы — чумные какие-нибудь сделались за эти два года?

Он говорил и говорил, а Нунан кивал, прихлебывая виски, вставлял сочувственные ругательства, риторические вопросы, потом принялся расспрашивать про коттедж — что за коттедж, где, за какую цену, — и они с Рэдриком поспорили. Нунан доказывал, что коттедж дорогой и в неудобном месте, он вытащил записную книжку, принялся листать ее и называть адреса заброшенных коттеджей, которые отдадут за бесценок, а ремонт обойдется всего ничего, если подать заявление об эмиграции, получить от властей отказ и потребовать компенсацию.

— Ты, я вижу, уже и недвижимостью занялся, — сказал Рэдрик.

— А я всем понемножку занимаюсь, — ответил Нунан и подмигнул.

— Знаю, знаю, наслышан о твоих бардачных аферах!

Нунан сделал большие глаза, приложил палец к губам и кивнул в сторону кухни.

— Да ладно, все это знают, — сказал Рэдрик. — Деньги не пахнут. Теперь-то я это точно понял... Но Мосла ты себе подобрал в управляющие — я животики надорвал, когда услышал! Пустил, понимаешь, козла в огород... Он же псих, я его с детства знаю!

Тут старик медленно, деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с деревянным стуком уронил ее на стол рядом со своим бокалом. Рука была темная, с синеватым отливом, сведенные пальцы делали ее похожей на куриную лапу. Рэдрик замолчал и посмотрел на него. В лице его что-то дрогнуло, и Нунан с изумлением увидел на этой конопатой хищной физиономии самую настоящую, самую неподдельную любовь и нежность.

— Пейте, папаня, пейте, — ласково сказал Рэдрик. — Немножко можно, пейте на здоровье... Ничего, — вполголоса сказал он Нунану, заговорщически подмигивая. — Он до этого стаканчика доберется, будь покоен...

Глядя на него, Нунан вспомнил, что было, когда лаборанты Бойда явились сюда за этим покойником. Лаборантов было двое, оба крепкие современные парни,

спортсмены и все такое, и еще был врач из городской больницы и при нем двое санитаров, людей грубых и здоровенных, приспособленных таскать носилки и утихомиривать буйных. Потом один из лаборантов рассказывал, что «этот рыжий» сначала вроде не понял, о чем идет речь, впустил в квартиру, дал осмотреть отца, и, наверное, старика так бы и увезли, потому что Рэдрик, похоже, вообразил, будто папаню кладут в больницу на профилактику. Но эти болваны-санитары, которые в ходе предварительных переговоров торчали в прихожей и подглядывали за Гуттой, как она моет в кухне окна, взялись, когда их позвали, за старика, как за бревно — поволокли, уронили на пол. Рэдрик взбесился, и тут вылез вперед болван-врач и стал обстоятельно разъяснять, что, куда и зачем. Рэдрик послушал его минуту или две, а потом вдруг без всякого предупреждения взорвался, как водородная бомба. Рассказывавший все это лаборант и сам не помнит, как он очутился на улице. Рыжий дьявол спустил с лестницы всех пятерых, причем ни одному из них не дал уйти самостоятельно, на своих ногах. Все они, по словам лаборанта, вылетали из парадного, как ядра из пушки. Двое остались валяться на панели в беспамятстве, а троих остальных Рэдрик гнал по улице четыре квартала, после чего вернулся к институтской машине и выбил в ней все стекла — шофера в машине уже не было, он удрал по улице в противоположном направлении...

— Мне тут в одном баре новый коктейль показали, — говорил Рэдрик, разливая виски. — «Ведьмин студень» называется, я тебе потом сделаю, когда поедем. Это, брат, такая вещь, что на пустое брюхо принимать опасно для жизни: руки-ноги отнимаются с одной порции... Ты как хочешь, Дик, а я тебя сегодня укачаю. И тебя укачаю, и сам укачаюсь. Старые добрые времена вспомним, «Боржч» вспомним... Бедняга-то Эрни до сих пор сидит, знаешь? — Он выпил, вытер губы тыльной стороной ладони и спросил небрежно: — А что там в институте — за «ведьмин студень» еще не взялись? Я, знаешь ли, от науки слегка поотстал...

Нунан сразу понял, почему Рэдрик заводит разговор на эту тему. Он всплеснул руками и сказал:

— Что ты, дружище! С этим «студнем» знаешь какая штука случилась? Про Карригановские лаборатории слышал? Есть такая частная лавочка... Так вот, раздобыли они порцию «студня»...

Он рассказал про катастрофу, про скандал, что концов так и не нашли, откуда взялся «студень» — так и не выяснили, а Рэдрик слушал вроде бы рассеянно, цокал языком, качал головой, а потом решительно плеснул еще виски по бокалам и сказал:

— Так им и надо, паразитам, чтоб они сдохли...

Они выпили, Рэдрик посмотрел на папаню, снова в его лице что-то дрогнуло, он протянул руку и придвинул бокал поближе к сведенным пальцам, и пальцы вдруг разжались и снова сжались, обхватив бокал за донышко.

— Вот так оно дело быстрее пойдет, — сказал Рэдрик. — Гута! — заорал он. — Долго ты нас будешь голодом морить?.. Это она для тебя старается, — объяснил он Нунану. — Обязательно твой любимый салат готовит, с моллюсками, она их давно припасла, я видел... Ну, а как вообще в институте дела? Нашли что-нибудь новенькое? У вас там, говорят, теперь всю автоматы работают, да мало вырабатывают...

Нунан принялся рассказывать про институтские дела, и пока он говорил, у стола рядом со стариком неслышно возникла Мартышка, постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к покойнику и положила голову ему на плечо. И Нунан, продолжая болтать, подумал, глядя на эти два чудовищных порождения Зоны: господи, да что же еще? Что же еще нужно сделать с человечеством, чтобы его наконец проняло? Неужели этого вот — мало?.. Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать, а если и узнают, то поужасаются десять минут и снова вернутся на круги своя. Напьюсь, подумал он с остервенением. К черту Барбриджа, к черту Лемхена... семью эту, богом проклятую, к черту. Напьюсь.

— Ты чего на них уставился? — негромко спросил Рэдрик. — Ты не беспокойся, это ей не вредно. Даже наоборот, говорят — от них здоровье исходит.

— Да, я знаю, — сказал Нунан и залпом осушил бокал.

Вошла Гута, деловито приказала Рэдрику расставлять тарелки и поставила на стол большую серебряную миску с любимым салатом Нунана. И тут старик, словно кто-то спохватился и дернул за ниточки, одним движением вскинул бокал к открывшемуся рту.

— Ну, ребята, — сказал Рэдрик восхищенным голосом, — теперь у нас пойдет гулянка на славу!

4. Рэдрик Шухарт, 31 год

За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами, и Рэдрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, которые они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, переживая поток «зеленки», обтекавшей холм и исчезающей в овраге.

По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он напал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно кроме тумана, но Рэдрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной во мгле скрываются горы. И еще он знал, что, когда взойдет солнце и туман осядет росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолета, а впереди — состав вагонеток, и вот тогда начнется самое дело.

Рэдрик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет. Тяжелый, паразит, как я с ним поползу? Полтора километра на карачках... Ладно, не гунди, сталкер, знал, на что идешь. Пятьсот тысяч монет дожидаются в конце дороги, можно и попотеть. Пятьсот тысяч, лакомый ломоть, а? Хрен я им отдам меньше чем за пятьсот тысяч. И хрен я дам Стервятнику больше тридцати. А сопляку... а сопляку — ничего. Если старый гад хоть полправды сказал, то сопляку — ничего.

Он снова взглянул в спину Артуру и некоторое время прищурясь смотрел, как тот легко шагает через две шпалы разом, широкоплечий, узкобедрый, и длинные вороные, как у сестры, волосы вздрагивают в такт шагам. Сам напросился, угрюмо подумал Рэдрик. Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Прямо дрожал весь, слезы на глазах... «Возьмите меня, мистер Шухарт! Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами, они ведь все никуда не годятся! Отец... но ведь он теперь не может». Рэдрик усилием воли оборвал это воспоминание. Думать об этом было противно, и, может быть,

поэтому он стал думать о сестре Артура, о том, как он с этой Диной спал — и трезвый спал, и пьяный спал, и какое это каждый раз было разочарование. Просто уму не постижимо: такая роскошная баба, век бы с нею любился, а на самом деле — пустышка, обман, кукла неживая, а не женщина. Как, помнится, пуговицы на кофте у матери — янтарные такие, полупрозрачные, золотистые, так и хочется сунуть в рот и сосать в ожидании какой-то необычайной сладости, и он брал их в рот и сосал, и каждый раз страшно разочаровывался, и каждый раз забывал об этом разочаровании — даже не то чтобы забывал, а просто отказывался верить собственной памяти, стоило ему их снова увидеть.

А может быть, папахен его ко мне подослал, подумал он об Артуре. Вон у него какая пушка в заднем кармане... Нет, вряд ли. Стервятник меня знает. Стервятник знает, что со мной шутки плохи. И знает, какой я в Зоне. Нет, чепуха все это. Не первый он меня просил, не первый он слезы лил, другие и на колени становились... А пушки они все с собой таскают по первому разу. По первому и последнему. Неужели по последнему? Ох, по последнему, парень! Вот ведь что получается, Стервятник: по последнему. Да, папахен, узнал бы ты про эту его затею — так бы ты его костылями отделал, сыночка своего, в Зоне вымоленного... Он вдруг почувствовал, что впереди что-то есть — недалеко уже, метрах в тридцати-сорока.

— Стой, — сказал он Артуру.

Парень послушно замер на месте. Реакция у него была хорошая — он так и застыл с приподнятой ногой, а затем медленно и осторожно опустил ее на землю. Рэдрик остановился рядом с ним. Колея здесь заметно уходила вниз и совершенно скрывалась в тумане. И там, в тумане, что-то было. Что-то большое и неподвижное. Безопасное. Рэдрик осторожно потянул ноздрями воздух. Да. Безопасное.

— Вперед, — сказал он негромко, подождал, пока Артур сделает шаг, и двинулся за ним. Краем глаза он видел лицо Артура, точеный его профиль, чистую кожу щеки и решительно поджатые губы под тончайшими усиками.

Они погрузились в туман по пояс, потом по шею, а еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки.

— Все, — сказал Рэдрик и стал стягивать рюкзак. — Садись где стоишь. Перекур.

Артур помог ему стянуть рюкзак, а потом они сели рядышком на ржавый рельс, Рэдрик отстегнул один из клапанов, достал сверток с едой и термос с кофе, и пока Артур разворачивал сверток и устраивал бутерброды на рюкзаке, вытащил из-за пазухи флягу, отвинтил крышку и, прикрыв глаза, сделал несколько медленных глотков.

— Глотнешь? — предложил он, обтирая ладонью горлышко фляги. — Для храбрости...

Артур обиженно помотал головой.

— Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт, — сказал он. — Я лучше кофе, если разрешите. Сыро здесь очень, правда?

— Сыро, — согласился Рэдрик. Он спрятал флягу, выбрал бутерброд и принялся жевать. — Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья было — страшное дело...

Он замолчал и налил себе кофе. Кофе был горячий, густой, сладкий, пить его сейчас было даже приятнее, чем спиртное. От него пахло домом. Гутой. И не просто Гутой, а Гутой в халатике, прямо со сна, с еще сохранившимся рубцом от подушки на щеке. Зря я в это дело впутался, подумал он. Пятьсот тысяч... А на кой ляд мне эти пятьсот тысяч? Бар я на них покупать собираюсь, что ли? Деньги нужны, чтобы о них не думать. Это правильно. Это Дик верно сказал. Но я ведь о них и так не думаю последнее время. На кой мне ляд эти деньги? Дом есть, сад есть, без работы в Хармонте не останешься... Завел меня Стервятник, гнида вонючая, завел, как молоденького...

— Мистер Шухарт, — сказал вдруг Артур, глядя в сторону. — А вы серьезно верите, что эта штука выполняет желания?

— Чепуха, — рассеянно произнес Рэдрик и замер с поднесенным ко рту стаканчиком. — А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идем?

Артур смущенно засмеялся, запустил пятерню в воронные волосы, подергал и сказал:

— Да вот догадался... Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль... Ну, во-первых, раньше отец все время бубнил про этот Золотой шар, а последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам, я ведь знаю — никакие вы не друзья, что бы там отец ни говорил... Потом он странный какой-то стал последнее время... — Артур снова засмеялся и покрутил головой, что-то вспоминая. — А окончательно я все понял, когда

вы с ним на пустыре испытывали этот дирижаблик... — Он похлопал ладонью по рюкзаку, где лежала туго свернутая оболочка воздушного шара. — Честно говоря, я вас тогда выследил, и когда увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведете над землей, тут уж мне все стало окончательно ясно. По-моему, в Зоне, кроме Золотого шара, ничего тяжелого больше не осталось. — Он откусил от бутерброда, пожевал и задумчиво проговорил с набитым ртом: — Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять, он же, наверное, гладкий...

Рэдрик все смотрел на него поверх стаканчика и думал, до чего же они не похожи друг на друга — отец и сын. Ничего общего между ними не было. Ни лица, ни голоса, ни души. У Стервятника голос хриплый, заискивающий, подлый какой-то, но когда он об этом говорил, то говорил здорово. Нельзя его было не слушать. «Рыжий, — говорил он тогда, перегнувшись через стол. — Нас ведь двое осталось всего, да на двоих две ноги и обе твои... Кому же как не тебе? Это же, может, самое ценное, что в Зоне есть! Кому ж достанется, а? Неужто этим чистоплюям достанется, с ихними машинами? Ведь я его нашел, я! Сколько там наших по дороге полегло! А нашел я! Себе берег. И сейчас бы никому не отдал, да руки, видишь, коротки стали... Кроме тебя — некому. Сколько я разных молокососов натаскивал, целую школу, понимаешь, для них открыл — не могут, кость не та... Ну ладно, ты не веришь. Не веришь — не надо. Тебе — деньги. Дашь мне, сколько сам захочешь, я знаю, ты не обидишь... А я, может, ноги себе верну. Ноги верну, понимаешь ты? Зона ведь ноги у меня отобрала, так, может, Зона и отдаст?..»

— Что? — спросил Рэдрик, очнувшись.

— Я спросил, закурить можно, мистер Шухарт?

— Да, — сказал Рэдрик. — Кури, кури... Я тоже закурю.

Он залпом допил остаток кофе, вытащил сигарету и, разминая ее, уставился в редяющий туман. Псих, подумал он. Сумасшедший же. Ноги ему... стервецу... гниде вшивой...

От всех этих разговоров копился в душе какой-то осадок, непонятно какой. И он не растворялся со временем, а наоборот, все копился и копился. И непонятно было, что это такое, но оно мешало, словно он чем-то заразился от Стервятника, но не гадостью какой-нибудь, а наоборот... силой, что ли? Нет, не силой. А чем же

тогда? Ну ладно, сказал он себе. Давай так: предположим, не дошел я сюда. Совсем уже собрался, рюкзак уложил, и тут что-нибудь случилось... сцапали меня, например. Плохо было бы? Определенно плохо. Почему плохо? Деньги пропали? Да нет, не в деньгах дело... Что добро это гадам достанется, Хрипатым да Костлявым? Правда, в этом что-то есть. Обидно. Но мне-то что? Все равно в конце концов все им достанется...

— Бр-р-р... — Артур передернул плечами. — До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок?

Рэдрик молча достал флягу и протянул ему. А ведь я не сразу согласился, подумал он вдруг. Двадцать раз я посылал Стервятника куда подальше, а на двадцать первый все-таки согласился. Как-то мне неведомо стало совсем. И последний разговор у нас получился короткий и вполне деловой. «Здорово, Рыжий. Я вот карту принес. Может, все-таки посмотришь?» А я посмотрел ему в глаза, а глаза у него, как нарывы — желтые с черной точкой, и я сказал: «Давай». И все. Помню, что пьяный был тогда, целую неделю пил, на душе было гадостно... А ч-черт, не все ли равно! Пошел и пошел. Что я в этом копаюсь, как в дерьме прутиком! Боюсь я, что ли...

Он вздрогнул. Длинный тоскливый скрип донесся вдруг из тумана. Рэдрик вскочил, как подброшенный, и сейчас же, как подброшенный, вскочил Артур. Но уже снова было тихо, только шуршала, струясь по насыпи у них из-под ног, мелкая галька.

— Это, наверное, порода просела, — неуверенно, с трудом выговаривая слова, прошептал Артур. — Вагонетки — с породой... стоят давно...

Рэдрик смотрел прямо перед собой и ничего не видел. Он вспомнил. Это было ночью. Он проснулся от такого же звука, тоскливого и длинного, обмирая, как во сне. Только это был не сон. Это кричала Мартышка, сидя на своей постели у окна, а с другого конца дома откликался батя, очень похоже, так же длинно и скрипуче, только с каким-то клокотанием. И так они перекликались и перекликались в темноте — сто лет и еще сто лет. Гута проснулась тоже и взяла Рэдрика за руку, он чувствовал ее мгновенно покрывшееся испариной плечо, и так они лежали все эти сто лет и еще сто лет и слушали, а когда Мартышка замолчала и улеглась, он подождал еще немного, потом встал, спустился на кухню и жадно выпил полбутылки коньяку. С этой ночи он запил.

— Порода, — говорил Артур. — Она, знаете, проседает со временем. От сырости, от эрозии, от всяких таких причин...

Рэдрик посмотрел на его побледневшее лицо и снова сел. Сигарета его куда-то пропала из пальцев, он закурил новую. Артур постоял еще немного, опасливо вертя головой, потом тоже сел и сказал негромко:

— Я знаю, рассказывают, что в Зоне будто бы кто-то живет. Какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто Посещение застигло их тут, и они мутировали... приспособились к новым условиям. Вы слышали об этом, мистер Шухарт?

— Да, — сказал Рэдрик. — Только это не здесь. Это в горах, на северо-западе. Пастухи какие-то.

Вот он чем меня заразил, думал он. Сумасшествием своим он меня заразил. Вот, значит, почему я сюда пошел. Вот что мне здесь надо... Какое-то странное и очень новое ощущение медленно заполнило его. Он сознавал, что ощущение это на самом деле совсем не новое, что оно давно уже сидело где-то у него в печенках, но только сейчас он о нем догадался, и все встало на свои места. И то, что раньше казалось глупостью, сумасшедшим бредом выжившего из ума старика, обернулось теперь единственной надеждой, единственным смыслом жизни, потому что только сейчас он понял: единственное на всем свете, что у него еще осталось, единственное, ради чего он жил последние месяцы, была надежда на чудо. Он, дурак, болван, отталкивал эту надежду, затапывал ее, издевался над нею, пропивал ее, потому что он так привык, потому что никогда в жизни, с самого детства, он не рассчитывал ни на кого, кроме себя, и потому что с самого детства этот расчет на себя выражался у него в количестве зелененьких, которые ему удавалось вырвать, выдрать, выгрызть из окружающего его равнодушного хаоса. Так было всегда, и так было бы и дальше, если бы он в конце концов не оказался в такой яме, из которой его не вызволят никакие зелененькие, в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда, уже не надежда, а уверенность в чуде заполнила его до самой макушки, и он уже удивлялся, как мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке... Он засмеялся и толкнул Артура в плечо.

— Ну что, сталкер, — сказал он. — Замарал подштанники? Привыкай, браток, не стесняйся, дома отстирают.

Артур удивленно посмотрел на него, неуверенно улы-

баясь. А Рэдрик смял промасленную бумагу от бутербродов, зашвырнул ее под вагонетку и прилег на рюкзак, упершись локтем.

— Ну хорошо, — сказал он. — А предположим, например, что этот самый Золотой шар действительно... Что б ты тогда пожелал?

— Значит, вы все-таки верите? — быстро спросил Артур.

— Это не важно — верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь.

Ему вдруг на самом деле стало интересно узнать, что может попросить у Золотого шара такой вот парень, молокосос еще, вчерашний школьник, и он с веселым любопытством следил, как Артур хмурится, тревожит усики, вскидывает на него и снова прячет глаза.

— Ну, конечно, ноги отцу... — проговорил Артур наконец. — Чтобы дома было все хорошо...

— Врешь, врешь, — добродушно сказал Рэдрик. — Ты, браток, учти: Золотой шар только сокровенные желания выполняет, только такие, что если не исполнятся, то хоть в петлю!

Артур Барбридж покраснел, снова вскинул на Рэдрика и тотчас же опустил глаза и совсем залился краской, даже слезы выступили. Рэдрик ухмыльнулся, глядя на него.

— Все понятно, — сказал он почти ласково. — Ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе... — И тут он вдруг вспомнил про пистолет и подумал, что, пока есть время, надо учесть все, что можно учесть. — Что это у тебя в заднем кармане? — спросил он небрежно.

— Пистолет, — буркнул Артур и закусил губу.

— Зачем он тебе?

— Стрелять! — сказал Артур с вызовом.

— Брось, брось, — строго проговорил Рэдрик и сел прямо. — Давай его сюда. В Зоне стрелять не в кого. Давай.

Артур хотел что-то сказать, но промолчал, сунул руку за спину, вытащил армейский кольт и протянул Рэдрику, держа за ствол. Рэдрик взял пистолет за теплую рубчатую рукоятку, подбросил его, поймал и спросил:

— Платок у тебя есть какой-нибудь? Давай, я заверну...

Он взял у Артура носовой платок, чистенький, пахнущий одеколоном, завернул пистолет и положил сверток на шпалу.

— Пусть пока здесь полежит, — объяснил он. — Даст

бог, вернемся сюда — возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется... Хотя от патрульных отстреливаться, браток...

Артур решительно помотал головой.

— Да мне не для этого, — сказал он с досадой. — Там только один патрон. Чтобы, если как с отцом...

— Во-он что... — протянул Рэдрик, рассматривая его в упор. — Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Обещаю... Гляди, рассвело!

Туман исчезал на глазах. На насыпи его уже не было вовсе, а внизу и вдали молочная мгла проседала и протавила, сквозь нее прорастали округлые щетинистые вершины холмов, и между холмами кое-где виднелась уже рябая поверхность прокисшего болота, покрытая реденьким заморенным лозняком, а на горизонте, за холмами, ярко-желтым вспыхнули вершины гор, и небо над горами было ясное и голубое. Артур оглянулся через плечо и восхищенно вскрикнул. Рэдрик тоже оглянулся. На востоке горы казались черными, а над ними полыхало и переливалось знакомое изумрудное зарево — зеленая заря Зоны. Рэдрик поднялся и, расстегивая ремень, сказал:

— Облегчиться не собираешься? Смотри, потом негде будет и некогда...

Он зашел за вагонетку, присел на насыпи и покрхтывая смотрел, как быстро гаснет, затапливается розовым зеленое зарево, и оранжевая краюха солнца выползает из-за хребта, и сразу от холмов потянулись лиловые тени, все стало резким, рельефным, все стало видно, как на ладони, и прямо перед собой, метрах в двухстах, Рэдрик увидел вертолет. Вертолет упал, видно, в самый центр «комариной плешки», и весь фюзеляж его расплющило в жестяной блин, только хвост остался цел, его слегка изогнуло, и он черным крючком торчал над прогалиной между холмами, и стабилизирующий винт остался цел — отчетливо поскрипывал, покачиваясь на легком ветерке. «Плешь», видимо, попалась мощная, даже пожара настоящего не получилось, и на расплющенной жестянке отчетливо выделялась красно-синяя эмблема королевских военно-воздушных сил, которую Рэдрик вот уже сколько лет и в глаза не видел и вроде бы даже позабыл, как она выглядит.

Справив нужду, Рэдрик вернулся к рюкзаку, достал карту и разложил ее на спекшейся гряде породы в вагонетке. Самого карьера видно отсюда не было, его засло-

нял холм с почерневшим обгорелым деревом на вершине. Этот холм предстояло обойти справа, по ложине между ним и другим холмом, который тоже был виден отсюда, совсем голый, с бурой каменной осыпью по всему склону.

Все ориентиры совпадали, но Рэдрик не испытывал удовлетворения. Многолетний инстинкт сталкера категорически протестовал против самой мысли, несуразной и противоестественной, — прокладывать тропу между двумя близкими возвышенностями. Ладно, подумал Рэдрик, это мы еще посмотрим. На месте будет виднее. Тропа до этой ложины вела по болоту, по открытому ровному месту, которое казалось отсюда безопасным, но, приглядевшись, Рэдрик различил между сухими кочками какое-то темно-серое пятно. Он взглянул на карту. Там стоял крестик, и корявыми буквами было написано: «Хлюст». Красный пунктир тропы шел правее крестика. Кличка была вроде бы знакомая, но кто такой этот Хлюст, как он выглядел и когда он был, Рэдрик вспомнить не мог. Вспомнилось ему почему-то только: дымный зал в «Боржче», какие-то пьяные свирепые хари, огромные красные лапы, сжимающие стаканы, громовой хохот, разинутые желтозубые пасти — фантастическое стадо титанов и гигантов, собравшееся на водопой, одно из самых ярких воспоминаний детства — первое посещение «Боржча». Что я тогда принес? «Пустьшку», кажется. Прямо из Зоны, мокрый, голодный, ошалелый, с мешком через плечо, ввалился в этот кабак, грохнул мешок на стойку перед Эрнестом, злобно щерясь и озираясь, выдержал грохочущий залп издевательств, дождался, пока Эрнест — тогда еще молодой, всегда при галстукке бабочкой, — отсчитал сколько-то там зелененьких... нет, тогда были еще не зелененькие, тогда были квадратные, королевские, с какой-то полуголой бабой в плаще и в венке... дождался, спрятал деньги в карман и неожиданно для себя самого цапнул со стойки тяжелую пивную кружку и с размаху хватил ею по ближайшей хохочущей пасти... Рэдрик ухмыльнулся и подумал: может, это и был Хлюст?

— Разве между холмами можно, господин Шухарт? — вполголоса спросил над ухом Артур. Он стоял рядом и тоже разглядывал карту.

— Там посмотрим, — сказал Рэдрик. Он все смотрел на карту. На карте было еще два крестика — один на склоне холма с деревом, другой — на каменной осыпи. Пудель и Очкарик. Тропа проходила понизу между ни-

ми. — Там посмотрим, — повторил он, сложил карту и сунул ее в карман.

Он оглядел Артура и спросил:

— Как стул? — и, не дожидаясь ответа, приказал: — Поддай мне рюкзак. Пойдем, как раньше, — сказал он, встряхивая рюкзак и прилаживая лямки поудобнее. — Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся, а уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имей в виду, придется много ползти, грязи не вздумай бояться, если прикажу — мордой в грязь без разговоров... Да курточку свою застегни. Готов?

— Готов, — сказал Артур глухо. Он здорово нервничал. Румянца на щеках у него как не бывало.

— Первое направление — вот. — Рэдрик резко махнул ладонью в сторону ближайшего холма в сотне шагов от насыпи. — Ясно? Пошел.

Артур судорожно вздохнул и, перешагнув через рельс, стал боком спускаться с насыпи. Галька с шумом сыпалась за ним.

— Легче, легче, — сказал Рэдрик. — Спешить некуда.

Он стал осторожно спускаться следом, привычно регулируя инерцию тяжеленного рюкзака мускулами ног. Краем глаза он все время следил за Артуром. Бойтся парень, думал он. Правильно бойтся. Предчувствует, наверное. Если у него чутье, как у папаши, то должен предчувствовать... Знал бы ты, Стервятник, как обернулось дело. Знал бы ты, Стервятник, что я тебя на этот раз послушаюсь. «А вот здесь, Рыжий, тебе одному не пройти. Хочешь не хочешь, а придется тебе кого-нибудь с собой взять. Могу кого-нибудь из своих сопляков отдать, кого не жалко...» Уговорил. Первый раз в жизни согласился я на такое дело. Ну, ничего, подумал он. Может быть, все-таки я не Стервятник, может быть, словчим что-нибудь...

— Стоп! — приказал он Артуру.

Парнишка остановился по щиколотку в ржавой воде. Пока Рэдрик спускался, трясина затянула его по колено.

— Камень видишь? — спросил Рэдрик. — Вон, под холмом лежит. Давай на него.

Артур двинулся вперед. Рэдрик отпустил его на десять шагов и пошел следом. Трясина под ногами чавкала и воняла. Это была мертвая трясина — ни мошкары, ни лягушек, даже лозняк здесь высох и сгнил. Рэдрик привычно посматривал по сторонам, но пока все было вроде бы спокойно. Холм медленно приближался, напозл на низ-

кое еще солнце, потом закрыл всю восточную часть неба. У камня Рэдрик оглянулся в сторону насыпи. Насыпь была ярко озарена солнцем, на ней стоял поезд из десятка вагонеток, часть вагонеток сорвалась с рельс и лежала на боку, насыпь под ними была покрыта рыжими потеками высыпавшейся породы. А дальше, в сторону карьера, к северу от поезда воздух над рельсами мутно дрожал и переливался, и время от времени в нем мгновенно вспыхивали и гасли маленькие радуги. Рэдрик посмотрел на это дрожание, сплюнул почти всухую и отвернулся.

— Дальше, — сказал он, и Артур повернул к нему напряженное лицо. — Вон тряпье, видишь? Да не туда смотришь. Вон там, правее...

— Да, — сказал Артур.

— Так вот это был некий Хлюст. Давно был. Он не слушался старших и теперь лежит там специально для того, чтобы показывать умным людям дорогу. Возьми два пальца вправо от этого Хлюста... Взял? Засек точку? Ну примерно там, где лозняк чуть погуще... Двигай туда.

Теперь они шли параллельно насыпи. С каждым шагом воды под ногами становилось все меньше, и скоро они шагали уже по сухим пружинистым кочкам. А на карте здесь везде сплошное болото, подумал Рэдрик. Устарела карта. Давненько Барбридж здесь не бывал, вот она и устарела. Плохо. Оно, конечно, по сухому идти легче, но лучше уж чтобы здесь было это болото... Ишь вышагивает, подумал он про Артура. Как по Центральному проспекту. Артур, видимо, приободрился и шел теперь полным шагом. Одну руку он засунул в карман, а другой весело отмахивал, словно на прогулке. Тогда Рэдрик пошарил в кармане, выбрал гайку граммов на двадцать и, прицелившись, запустил ему в голову. Гайка попала Артуру прямо в затылок. Парень ахнул, обхватил голову руками и скорчившись рухнул на сухую траву. Рэдрик остановился над ним.

— Вот так оно здесь и бывает, Арчи, — сказал он назидательно. — Это тебе не бульвар, ты здесь со мной не на шпацир вышел.

Артур медленно поднялся. Лицо у него было совершенно белое.

— Все понятно? — спросил Рэдрик.

Артур глотнул и покивал.

— Вот и хорошо. А в следующий раз надаю по зубам. Если жив останешься. Пошел!

А из паренька мог бы получиться сталкер, думал

Рэдрик. Звали бы его, наверное, Красавчик. Красавчик Арчи. У нас был уже один Красавчик, звали его Диксон, а теперь его зовут Суслик. Единственный сталкер, который попал в «мясорубку» и все-таки выжил. Повезло. Он-то, чудак, до сих пор думает, что это его Барбридж из «мясорубки» вытащил. Черта с два. Из «мясорубки» не вытащишь... Из Зоны он его выволок, это верно. Совершил Барбридж такой геройский поступок. Только попробовал бы он не выволочь. Эти его штучки тогда уже всем надоели, и ребята ему сказали в тот раз прямо: один лучше не возвращайся. А ведь тогда Барбриджа и прозвали Стервятником, до этого он у нас в Битюгах ходил...

Рэдрик вдруг ощутил на левой щеке едва заметный ток воздуха и, еще не успев ни о чем подумать, крикнул:
— Стой!

Он вытянул руку влево. Ток воздуха чувствовался там сильнее. Где-то между ними и насыпью разлеглась «комариная плешь», а может быть, она шла и по самой насыпи — не зря же свалились вагонетки. Артур стоял как вкопанный, он даже не обернулся.

— Возьми правее, — приказал Рэдрик. — Пошел.

Да, неплохой был бы сталкер... Кой черт, жалею я его, что ли? Этого еще не хватало. А меня кто-нибудь когда-нибудь жалел?.. Вообще-то да, жалели. Кирилл меня жалел. Дик Нунан меня жалеет. Правда, он, может быть, не столько меня жалеет, сколько к Гуте прислоняется, но, может быть, и жалеет, одно другому не помеха у порядочных людей... Только мне жалеть никого не приходится. У меня выбор: или — или... Он впервые с полной отчетливостью представил себе этот выбор: или этот паренек, или моя Мартышка. Тут и выбирать нечего, все ясно. Если только чудо возможно, сказал голос изнутри, и он с ужасом и ожесточением задавил в себе этот голос.

Они миновали груды серого тряпья. От Хлюста ничего не осталось, только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка — миноискатель. Тогда многие пользовались миноискателями, покупали втихаря у армейских интендантов, надеялись на эти штуки, как на самого господ бога, а потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами. И как отрезало... Кто же все-таки был этот Хлюст? Стервятник его сюда привел, или он сам сюда пришел? И почему их всех тянуло к этому карьеру? Почему я об этом ничего не слышал?.. Дьявол, припекает-то как! И это с утра, а что будет потом?

Артур, который шел шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Рэдрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы скрипит, как картофельная мука, и она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая — она рассыпалась под сапогом, словно лохмотья копоти. И он увидел четко выдавленные следы Артура, и бросился на землю, крикнув: «Ложись!»

Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой, и он закричал зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет, хотя и понимал, что они попались. Жар усиливался, наваливался, обволакивал все тело, как простыня, смоченная кипятком, глаза залило потом, и Рэдрик запоздало крикнул Артуру: «Не шевелись! Терпи!» И стал терпеть сам. И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо-благородно, пропотели бы только, но не выдержал Артур. То ли он не расслышал, что ему крикнули, то ли перепугался сверх всякой меры, а может быть, разом припекло его еще сильнее, чем Рэдрика, — во всяком случае, управлять собой он перестал и слепо, с каким-то горловым воплем кинулся, пригнувшись, куда погнало его бессмысленный инстинкт — назад, как раз туда, куда бежать уж никак было нельзя. Рэдрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, лягнув Рэдрика свободной ногой в лицо, забился и задержался, но Рэдрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю, обеими руками держа за длинные волосы дергающуюся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по заду. Он смутно слышал стоны и мычание, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, жаба, лежи, убью...» — а сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля, и уже полыхала на нем одежда, и трещала, вздуваясь пузырями и лопаясь, кожа на ногах и боках, и он, уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил...

Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать, что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку, и

сообразил, что надо спешить, что надо как можно скорее убраться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них. Он сполз с Артура, который лежал совершенно неподвижно, зажал обе его ноги под мышкой и, помогая себе свободной рукой, пополз вперед, не спуская глаз с черты, за которой снова начиналась трава, мертвая, сухая, колючая, но настоящая — она казалась ему сейчас величайшим обиталищем жизни. Пепел скрипел на зубах, обожженное лицо то и дело обдавало остатками жара, пот лил прямо в глаза — наверное, потому, что ни бровей, ни ресниц у него больше не было. Артур волочился следом, словно нарочно цепляясь своей проклятой курточкой, горела обваренная задница, а рюкзак при каждом движении поддавал в обгорелый затылок. От боли и духоты Рэдрик с ужасом подумал, что совсем обварился и теперь ему не дойти. От этого страха он сильнее заработал свободным локтем и коленками, выталкивая через пересохшую глотку самые гнусные ругательства, какие приходили ему в голову, а потом вдруг с какой-то сумасшедшей радостью вспомнил, что за пазухой у него лежит почти полная фляга, подружечка, милая моя, не выдаст, только бы доползти, ну еще немного, давай, Рэд, давай, вот так, ну еще, ну еще немного, в бога, в ангелов, под тридцатью одеялами, на Северном полюсе, в пришельцев и в Стервятника душу...

Потом он долго лежал, погрузив лицо и руки в холодную ржавую воду, с наслаждением вдыхая провонявшую гнилью прохладу. Век бы так лежал, но он заставил себя подняться, стоя на коленях, сбросил рюкзак, на четвереньках подобрался к Артуру, который все еще неподвижно лежал шагах в тридцати от болота, и перевернул его на спину. Н-да, красивый был мальчик. Теперь эта смазливая мордашка казалась черно-серой маской из смеси запекшейся крови и пепла, и несколько секунд Рэдрик с тупым интересом разглядывал продольные борозды на этой маске — следы от кочек и камней. Потом он поднялся на ноги, взял Артура под мышки и потащил к воде. Артур хрипло дышал, время от времени постанывая. Рэдрик бросил его лицом в самую большую лужу и повалился рядом, снова переживая наслаждение от мокрой ледяной ласки. Артур забулькал, завозился, подтянул под себя руки и поднял голову. Глаза его были вытаращены, он ничего не соображал и жадно хватал ртом воздух, отплевываясь и кашляя. Потом взгляд его сделался осмысленным и остановился на Рэдрике.

— Ф-фу-у... — сказал он и помотал лицом, разбрызгивая грязную воду. — Что это было, мистер Шухарт?

— Смерть это была, — невнятно произнес Рэдрик и закашлялся. Он ощупал лицо. Было больно. Нос распух, но брови и ресницы, как это ни странно, были на месте. И кожа на руках тоже оказалась цела, только покраснела малость. Надо думать, и задницу не до кости прожгло... Он пощупал — нет, явно не до кости, даже штаны целы. Просто как кипятком ошпарило...

Артур тоже осторожно трогал пальцами свое лицо. Теперь, когда страшную маску смыло водой, физиономия у него оказалась — тоже противу ожиданий — почти в порядке. Несколько царапин, ссадина на лбу, рассечена нижняя губа, а так в общем ничего.

— Никогда о таком не слышал, — проговорил Артур и посмотрел назад.

Рэдрик тоже оглянулся. На сероватой испепеленной траве осталось много следов, и Рэдрик поразился, как, оказывается, короток был тот страшный бесконечный путь, который он прополз, спасаясь от гибели. Каких-нибудь метров двадцать — тридцать, не больше, было всего от края выжженной проплешины, но он сослепу и от страха полз по ней каким-то диким зигзагом, как таракан по раскаленной сковородке, и спасибо еще, что полз, в общем, туда, куда надо, а ведь мог бы заползти на «комариную плешь» слева, а мог бы и повернуть обратно... Нет, не мог бы, подумал он с ожесточением. Это молокосос какой-нибудь мог бы, а я тебе не молокосос, и если бы не этот дурак, то вообще бы ничего не случилось, обварил бы себе зад — вот и все неприятности...

Он посмотрел на Артура. Артур с фырканьем умывался, покряхтывал, задевая больные места. Рэдрик поднялся и, морщась от прикосновений задубевшей от жара одежды к обожженной коже, вышел на сухое место и нагнулся над рюкзаком. Вот рюкзаку досталось по-настоящему. Верхние клапаны просто-напросто обгорели, пузырьки в аптечке все полопались от жара к чертовой матери, и от жухлого пятна несло невыносимой медицинской. Рэдрик отстегнул клапан, принялся выгребать осколки, и тут Артур у него за спиной сказал:

— Спасибо вам, мистер Шухарт. Вытащили вы меня.

Рэдрик промолчал. Кой еще черт — спасибо! Сдался ты мне — спасать тебя.

— Я сам виноват, — сказал Артур. — Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать, но я здорово перепугался,

а когда припекло — совсем голову потерял. Я очень боли боюсь, мистер Шухарт...

— Давай вставай, — сказал Рэдрик, не оборачиваясь. — Это все были цветочки... Вставай, чего разлегся!

Зашипев от боли в обожженных плечах, он вскинул на спину рюкзак, продел руки в лямки. Ощущение было такое, будто кожа на обожженных местах съежилась и покрылась болезненными морщинами. Боли он боится... С дерьмом тебя пополам вместе с твоей болью... Он огляделся. Ничего, с тропы не сошли. Теперь эти холмики с покойниками. Поганые холмики — стоят, гниды, торчат как стервьячи ягоды, а эта лощинка между ними... Он невольно ухмыльнулся. Ах, сволочная лощинка, вот она-то самая погань и есть. Жаба.

— Лощину между холмами видишь? — спросил он.

— Вижу.

— Прямо на нее. Марш!

Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед, шлепая по лужам. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше, согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской. Вот и еще одного я вытащил, подумал Рэдрик. Который же это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спрашивается: зачем? Что он мне — родной? Поручился я за него? Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнулся... Теперь-то на ясную голову я знаю: правильно я его тащил, мне без него не обойтись, он у меня как заложник за Мартышку. Я не человека вытащил, я миноискатель свой вытащил. Тральщик свой. Отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его, как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить, хотя про все забыл — и про отмычку забыл, и про Мартышку забыл... Что же это получается? Получается, что я и в самом деле добрый парень. Это мне и Гута твердит, и Кирилл-покойник внушал, и Ричард все время насчет этого долдонит... Тоже мне, нашли добряка. Ты это брось, сказал он себе. Тебе здесь эта доброта ни к чему. Думать надо, а потом уже руками-ногами шевелить. Чтoб в первый и в последний раз, понятно? Добряк... Мне его надо сберечь для «мясорубки», холодно и ясно подумал он. Здесь все можно пройти, кроме «мясорубки».

— Стой, — сказал он Артуру.

Лощина была перед ними, и Артур уже стоял, растерянно глядя на Рэдрика. Дно лощины было покрыто

гноино-зеленой, жирно отсвечивающей на солнце жижей, над поверхностью ее курился легкий парок, между холмами он становился гуще, и в тридцати шагах уже ничего не было видно. И смрад. Черт знает что гнило в этом месиве, но Рэдрику показалось, что сто тысяч разбитых тухлых яиц, вылитых на кучу из ста тысяч тухлых рыбьих голов и дохлых кошек, не могут смердеть так. «Запашок там будет, Рыжий, так ты не того... не дрейф».

Артур издал горловой звук и попятился. Тогда Рэдрик стряхнул с себя оцепенение, торопливо вытащил из кармана сверток с ватой, пропитанной дезодоратором, заткнул ноздри тампоном и протянул вату Артуру.

— Спасибо, мистер Шухарт, — слабым голосом сказал Артур. — А как-нибудь верхом нельзя?..

Рэдрик молча взял его за волосы и повернул его голову в сторону кучи тряпья на каменной осыпи.

— Это был Очкарик, — сказал он. — А на левом холме — отсюда не видно — лежит Пудель. В том же виде. Понял? Вперед.

Жижа была теплая, липкая, как гной. Сначала они шли в рост, погрузившись по пояс, дно под ногами, к счастью, было каменистое и довольно ровное, но вскоре Рэдрик услышал знакомое жужжание. На левом холме, освещенном солнцем, ничего не было видно, а на склоне справа, в тени, запрыгали бледные лиловатые огоньки.

— Пригнись, — скомандовал он сквозь зубы и пригнулся сам. — Ниже, дурак! — крикнул он.

Артур испуганно пригнулся, и в ту же секунду громовой разряд расколол воздух. Над самыми головами у них затряслась в бешеной пляске разветвленная молния, едва заметная на фоне неба. Артур присел и окунулся по плечи. Рэдрик, чувствуя, что уши ему заложило от грохота, повернул голову и увидел в тени ярко-алое, быстро тающее пятно среди каменного крошева, и сейчас же ударила вторая молния.

— Вперед! Вперед! — заорал он, не слыша себя.

Теперь они двигались на корточках, гусиным шагом, выставив наружу только головы, и при каждом разряде Рэдрик видел, как длинные волосы Артура встают дыбом, и чувствовал, как тысячи иголок вонзаются в кожу лица. «Вперед! — монотонно повторял он. — Вперед!..» Он уже ничего не слышал. Один раз Артур повернулся к нему в профиль, и он увидел вытаращенный ужасом глаз, скошенный на него, и белые прыгающие губы, и замазанную зеленью потную щеку. Потом молнии стали бить так

низко, что им пришлось окунуться с головой. Зеленая слизь заклеивала рот, стало трудно дышать. Хватая ртом воздух, Рэдрик вырвал из носа тампоны и обнаружил вдруг, что смрад исчез, что воздух наполнен свежим пронзительным запахом озона, а пар вокруг становился все гуще, или, может быть, это потемнело в глазах, и уже не видно было холмов ни справа, ни слева — ничего не было видно, кроме облепленной зеленой грязью головы Артура и желтого клубящегося пара вокруг.

Пройду, пройду, думал Рэдрик. Не в первый раз, всю жизнь так, сам в дерьме, а над головой молнии, иначе никогда и не было... И откуда здесь это дерьмо? Сколько дерьма... с ума сойти, сколько дерьма в одном месте, здесь дерьмо со всего света... Это Стервятник, подумал он яростно. Это Стервятник здесь прошел, это за ним осталось... Очкарик лег справа, Пудель лег слева, и все для того, чтобы Стервятник прошел между ними и оставил за собой все свое дерьмо... Так тебе и надо, сказал он себе. Кто идет следом за Стервятником, тот всегда глотает дерьмо. Ты что, этого раньше не знал? Во всем мире так. Их слишком много, Стервятников, почему и не осталось ни одного места, все загажено... Нунан — дурак: ты, мол, Рыжий, нарушитель равновесия, разрушитель порядка, тебе, мол, Рыжий, при любом порядке плохо, и при плохом плохо, и при хорошем плохо, из-за таких, как ты, никогда не будет царствия небесного на земле... Да что ты в этом понимаешь, толстяк? Когда это я видел хороший порядок? Когда это ты видел меня при хорошем порядке? Я всю свою жизнь только и вижу, как умирают Кириллы и Очкарики, а Стервятники проползают между ихними трупами, как черви, и гадят, и гадят, и гадят...

Он поскользнулся на повернувшемся под ногой камне, окунулся с головой, вынырнул, увидел совсем рядом перекошенное, с вытаращенными глазами лицо Артура и вдруг на мгновение похолодел: ему показалось, что он потерял направление. Но он не потерял направление. Он сейчас же понял, что идти надо вон туда, где из жижи торчит черная верхушка камня, понял, хотя кроме этой верхушки ничего не было видно в желтом тумане.

— Стой! — заорал он. — Правее! Правее камня!

Он опять не услышал своего голоса и тогда догнал Артура, поймал его за плечо и стал показывать рукой: держи правее камня, голову вниз. Вы мне за это заплатите, подумал он. У камня Артур нырнул, и сейчас же молния с треском ударила в черную верхушку, только

раскаленные крошки полетели. Вы мне за это заплатите, повторял он, погружаясь с головой и изо всех сил работая руками и ногами. В ушах гулко раскатился новый удар молнии. Я из вас всю душу вытрясу за это. Он мимолетно подумал: о ком это я? Не знаю. Но кто-то за это должен заплатить, кто-то мне за это заплатит! Подождите, дайте только добраться до шара, до шара мне дайте добраться, я это дерьмо вам в глотку вобью, я вам не Стервятник, я с вас спрошу по-своему...

Когда они выбрались на сухое место, на уже раскаленное солнцем каменное крошево, оглушенные, вывернутые наизнанку, шатаясь и цепляясь друг за друга, чтобы не упасть, Рэдрик увидел облупленный автофургон, просевший на осях, и смутно вспомнил, что здесь, возле этого фургона, можно отдышаться в тени. Они забрались в тень. Артур лег на спину и принялся вялыми пальцами расстегивать на себе куртку, а Рэдрик привалился рюкзаком к стенке фургона, кое-как вытер ладони о щебень и полез за пазуху.

— И мне... — проговорил Артур. — И мне тоже.

Рэдрик поразился, какой у этого мальчишки громкий голос, хлебнул, закрыл глаза, прислушиваясь, как горячая, всеочищающая струя проливается в глотку и растекается по груди, глотнул еще раз и протянул флягу Артуру. Все, подумал он вяло. Прошли. И это прошли. Теперь — сумму прописью. Вы думаете, я забыл? Нет, я все помню. Думаете, я вам спасибо скажу, что вы меня живым оставили, не утопили в этом дерьме? Кол вам, а не спасибо. Теперь вам всем конец, понятно? Я ничего этого не оставлю. Теперь я решаю. Я, Рэдрик Шухарт, в здравом уме и трезвой памяти буду решать все и за всех. А вы все прочие, стервятники, жабы, пришельцы, костлявые, квотерблады, паразиты, зелененькие, хрипатые, в галстучках, в мундирчиках, чистенькие, с портфелями, с речами, с благодеяниями, с работодателем, с вечными аккумуляторами, с вечными двигателями, с «комариными плешами», со светлыми обещаниями — хватит, поводили меня за нос, через всю мою жизнь волокли меня за нос, я все, дурак, хвастался, что, мол, как хочу, так и сделаю, а вы только поддакивали, а сами, гады, перемигивались и волокли меня за нос, тянули, тащили, через дерьмо, через тюрьмы, через кабаки... Хватит! Он отстегнул ремни рюкзака и принял из рук Артура флягу.

— Никогда я не думал. — говорил Артур с кротким недоумением в голосе, — даже представить себе не мог...

Я, конечно, знал — смерть, огонь... но вот такое!.. Как же мы с вами обратно-то пойдём?

Рэдрик не слушал его. То, что говорит этот человек, теперь не имеет никакого значения. Это и раньше не имело никакого значения, но раньше он все-таки был человеком. А теперь это... так, говорящая отмычка. Пусть говорит.

— Помыться бы... — Артур озабоченно озирался. — Хоть бы лицо сполоснуть.

Рэдрик рассеянно взглянул на него, увидел слипшиеся, свалывшиеся войлоком волосы, измазанное подсохшей слизью лицо со следами пальцев, и всего его, покрытого коркой растрескавшейся грязи, и не ощутил ни жалости, ни раздражения, ничего. Говорящая отмычка. Он отвернулся. Впереди расстилалось унылое, как заброшенная строительная площадка, пространство, засыпанное острой щебенкой, запорошенное белой пылью, залитое слепящим солнцем, нестерпимо белое, горячее, злое, мертвое. Дальний край карьера был уже виден отсюда — тоже ослепительно белый и кажущийся с этого расстояния совершенно ровным и отвесным, а ближний край отмечала россыпь крупных обломков, и спуск в карьер был там, где среди обломков красным пятном выделялась кабина экскаватора. Это был единственный ориентир. Надо было идти прямо на него, положившись на самое обыкновенное везенье.

Артур вдруг приподнялся, сунул руку под фургон и вытащил оттуда ржавую консервную банку.

— Взгляните-ка, мистер Шухарт, — сказал он, оживившись. — Ведь это, наверное, отец оставил... Там и еще есть.

Рэдрик не ответил. Это ты зря, подумал он равнодушно. Лучше бы тебе сейчас про отца не вспоминать, лучше бы тебе сейчас помалкивать. А впрочем, все равно... Он поднялся и зашипел от боли, потому что вся одежда приклеилась к телу, к обожженной коже, и теперь что-то там внутри мучительно рвалось, отдиралось, как засохший бинт от раны. Артур тоже поднялся и тоже зашипел, и закричал, и страдальчески посмотрел на Рэдрика — видно было, что ему очень хочется пожаловаться, но он не решается. Он только сказал сдавленным голосом:

— А нельзя мне сейчас еще разок глотнуть, мистер Шухарт?

Рэдрик спрятал за пазуху флягу, которую держал в руке, и сказал:

— Красное видишь между камнями?

— Вижу, — сказал Артур и судорожно перевел дух.

— Прямо на него. Пошел.

Артур со стоном потянулся, расправляя плечи, весь скривился и, озираясь, проговорил:

— Помыться бы хоть немножко... Приклеилось все.

Рэдрик молча ждал. Артур безнадежно посмотрел на него, покивал и двинулся было, но тут же остановился.

— Рюкзак, — сказал он. — Рюкзак забыли, мистер Шухарт.

— Марш! — приказал Рэдрик.

Ему не хотелось ни объяснять, ни лгать, да и ни к чему все это было. И так пойдет. Деваться ему некуда. Пойдет. И Артур пошел. Побрел, ссутулившись, волоча ноги, пытаясь отодрать с лица прочно присохшую дрянь, сделавшись маленьким, жалким, тощим, как мокрый бродячий котенок. Рэдрик двинулся следом, и как только он вышел из тени, солнце опалило и ослепило его, и он прикрылся ладонью, жалея, что не прихватил темные очки.

От каждого шага взлетало облачко белой пыли, пыль садилась на ботинки, она воняла, вернее, это от Артура воняло, идти за ним следом было невозможно, и не сразу Рэдрик понял, что воняет-то больше всего от него самого. Запах был мерзкий, но какой-то знакомый — это в городе так воняло в те дни, когда северный ветер нес по улицам дымы от завода. И от отца так же воняло, когда он возвращался домой, огромный, мрачный, с красными бешеными глазами, и Рэдрик торопился забраться куда-нибудь в дальний угол и оттуда смотрел боязливо, как отец сдирает с себя и швыряет в руки матери рабочую куртку, стаскивает с огромных ног огромные стоптанные башмаки, пихает их под вешалку, а сам в одних носках липко шлепает в ванную под душ и долго ухает там, с треском хлопая себя по мокрым телесам, гремит тазами, что-то ворчит себе под нос, а потом ревет на весь дом: «Мария! Заснула?» Нужно было дожждаться, пока он помоеется, сядет за стол, где уже стоит четвертинка, глубокая тарелка с густым супом и банка с кетчупом, дожждаться, пока он опустошит четвертинку, дохлебает суп, рыгнет и примется за мясо с бобами, и вот тогда можно было выбираться на свет, залезать к нему на колени и спрашивать, какого мастера и какого инженера он утопил сегодня в купоросном масле...

Все вокруг было раскалено добела, и его мутило от сухой жестокой жары, от вони, от усталости, и неистово

саднила обожженная полопавшаяся на сгибах кожа, и ему казалось, что сквозь горячую муть, обволакивающую сознание, она пытается докричаться до него, умоляя о покое, о воде, о прохладе. Затертые до незнакомости воспоминания громоздились в отеком мозгу, опрокидывали друг друга, заслоняли друг друга, смешивались друг с другом, вплетаясь в белый знойный мир, пляшущий перед полузакрытыми глазами, и все они были горькими, и все они смердели, и все они вызывали царапающую жалость или ненависть. Он пытался вмешаться в этот хаос, силился вызвать из прошлого какой-нибудь сладкий мираж, ощущение нежности или бодрости, он выдавливал из глубин памяти свежее смеющееся личико Гуты, еще девчонки, желанной и неприкосновенной, и оно появлялось было, но сразу же затекало ржавчиной, искажалось и превращалось в угрюмую, заросшую грубой бурой шерстью мордочку Мартышки; он силился вспомнить Кирилла, святого человека, его быстрые уверенные движения, его смех, его голос, обещающий небывалые и прекрасные места и времена, и Кирилл появлялся перед ним, а потом ярко вспыхивала на солнце серебряная паутина, и вот уже нет Кирилла, а уставляются в лицо Рэдрику немигающие ангельские глазки Хрипатого Хью, и большая белая рука его взвешивает на ладони фарфоровый контейнер... Какие-то темные силы, ворочающиеся в его сознании, мгновенно снимали волевой барьер и гасили то небольшое хорошее, что еще хранила его память, и уже казалось, что ничего хорошего не было вовсе, а только рыла, рыла, рыла...

И все это время он оставался сталкером. Не думая, не осознавая, не запоминая даже, он фиксировал словно бы спинным мозгом, что вот слева, на безопасном расстоянии, над грудой старых досок стоит «веселый призрак» — спокойный, выдохшийся, и плевать на него; а справа подул невнятный ветерок, и через несколько шагов обнаружилась ровная, как зеркало, «комариная плешь», многохвостая, будто морская звезда, — далеко, не страшно, — а в центре ее — расплющенная в тень птица, редкая штука, птицы над Зоной почти не летают; а вон рядом с тропой две брошенных «пустышки», видно, Стервятник бросил на обратном пути, страх сильнее жадности... Он все это видел и все учитывал, и стоило скрюченному Артуру хоть на шаг уклониться от направления, как рот Рэдрика сам собой раскрывался, и хриплый предостерегающий оклик сам собой вылетал из глотки. Машину,

думал он. Машину вы из меня сделали... А каменные обломки на краю карьера все приближались, и уже можно было разглядеть прихотливые узоры ржавчины на красной крыше кабины экскаватора.

Дурак ты, Барбридж, думал Рэдрик. Хитер, а дурак. Как же ты мне поверил, а? Ты же меня с таких вот пор знаешь, ты же меня лучше меня самого знать должен. Старый ты стал, вот что. Поглупел. Да и то сказать — всю жизнь с дураками дело имел... И тут он представил себе, какое рыло сделалось у Стервятника, когда тот узнал, что Артур-то, Арчи, красавчик, кровинушка... что в Зону с Рыжим за его, Стервятниковыми, ногами ушел не сопляк бесполезный, а родной сын, жизнь, гордость... И, представив себе это рыло, Рэдрик захохотал, а когда Артур испуганно оглянулся на него, он, продолжая хохотать, махнул ему рукой: марш, марш! И опять поползли по сознанию, как по экрану, рыла, рыла, рыла... Надо было менять все. Не одну жизнь и не две жизни, не одну судьбу и не две судьбы — каждый винтик этого смрадного мира надо было менять...

Артур остановился перед крутым съездом в карьер, остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Рэдрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур.

Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога, еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос, а слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял, накренившись, экскаватор, ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как и следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно, только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые литые свечи, и множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось, даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса — это один человек, одно желание Стервятника. Вон та — это Стервятник живым и невредимым вернулся из подвала седьмого корпуса. Вон та, побольше, — это Стервятник без помех вытащил из Зоны «шевелиющийся магнит». А вон та сосулька — это роскошная, не похожая ни на мать, ни на отца, всеми вожаемая шлюха Дина Барбридж. А вот это пятно — не похожий ни на мать, ни на отца Арчи, красавчик, гордость...

— Дошли! — иступленно прохрипел Артур. — Мистер Шухарт, дошли ведь все-таки, а?

Он засмеялся счастливым смехом, присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Колтун волос у него на макушке трясся и раскачивался смешно и нелепо, летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Рэдрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно. С опаской. С затаенным страхом, что он окажется каким-нибудь не таким — разочарует, вызовет сомнение, сбросит с неба, на которое удалось вскарабкаться, купаясь в дерьме...

Он был не золотой, он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий, и он мутно отсвечивал на солнце. Он лежал под дальней стеной карьера, уютно устроившись среди куч слежавшейся породы, и даже отсюда было видно, какой он массивный, и как тяжело придавил он свое ложе.

В нем не было ничего разочарывающего или вызывающего сомнение, но не было ничего и внушающего надежду. Почему-то сразу в голову приходила мысль, что он, вероятно, полый и что на ощупь он должен быть очень горячим — солнце раскалило. Он явно не светился своим светом, и он явно был не способен взлетать на воздух и плясать, как это часто случалось в легендах о нем. Он лежал там, где он упал. Может быть, вывалился из какого-нибудь огромного кармана или затерялся, закатился во время игры каких-то гигантов — он не был установлен здесь, он валялся, валялся точно так же, как все эти «пустышки», «браслеты», «батарейки» и прочий мусор, оставшийся от Посещения.

Но в то же время что-то в нем все-таки было, и чем дольше Рэдрик глядел на него, тем яснее он понимал, что смотреть на него приятно, что к нему хочется подойти, его хочется потрогать, погладить, и откуда-то вдруг всплыла мысль, что хорошо, наверное, сесть рядом с ним, а еще лучше — прислониться к нему спиной, откинуть голову и, закрыв глаза, поразмыслить, повспоминать, а может быть, и просто подремать, отдыхая...

Артур вскочил, раздернул все молнии на своей куртке, сорвал ее с себя и с размаху швырнул под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая и размахивая руками, а потом заложил руки за спину и, приплясывая и выделывая ногами замысловатые па, вприпрыжку двинулся вниз по спуску. Он больше не глядел на Рэдрика, он забыл о Рэдрике, он забыл обо всем — он

шел выполнять свои желания, маленькие сокровенные желания краснеющего колледжера, мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных, молокососа сопливого, которого нещадно пороли, если по возвращении домой от него хоть чуть-чуть пахло спиртным, из которого растили известного адвоката, а в перспективе — министра, а в самой далекой перспективе — сами понимаете, президента... Рэдрик, прищутив воспаленные глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен, он знал, что сейчас произойдет, и он знал, что не будет смотреть на это, но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочался вдруг беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой.

А мальчишка все спускался, приплясывая, по крутому спуску, отбивая немислимую чечетку, и белая пыль взлетала у него из-под каблучков, и он что-то кричал во весь голос, очень звонко, и очень весело, и очень торжественно — как песню или как заклинание, — и Рэдрик подумал, что впервые за все время существования карьера по этой дороге спускались так — словно на праздник. И сначала он не слушал, что там выкрикивает эта говорящая отмычка, а потом как будто что-то включилось в нем, и он услышал:

— Счастье для всех!.. Даром!.. Сколько угодно счастья!.. Все собирайтесь сюда!.. Хватит всем!.. Никто не уйдет обиженный!.. Даром! Счастье! Даром!..

А потом он вдруг замолчал, словно огромная рука с размаху загнала ему кляп в рот. И Рэдрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно, с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Рэдрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове, и он как-то перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге — без обычной радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками, и впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода... Прошло некоторое время, и в голове стали появляться более или менее связные мысли.

Ну вот и все, думал он нехотя. Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти, но лучше, конечно, подождать еще немножко. «Мясорубки» бывают с фокусами. Все равно ведь подумать надо. Дело непривычное — думать, вот в чем беда. Что такое «думать»? Думать — это значит: изгильнуться, сфинтить, сблефовать, обвести вокруг пальца, но ведь здесь все это не годится...

Ну ладно. Мартышка, отец... Расплатиться за все, душу из гадов вынуть, пусть дерьма пожрут, как я жрал... Не то, не то это, Рыжий... То есть то, конечно, но что все это значит? Чего мне надо-то? Это же ругань, а не мысли. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия и, сразу перешагнув через множество разных рассуждений, которые еще предстояли, свирепо приказал себе: ты вот что, рыжая сволочь, ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела, сдохнешь здесь рядом с этим шариком, сжаришься, сгниешь, падаль, но не уйдешь...

Господи, да где же слова-то, мысли мои где? Он с размаху ударил себя полураскрытым кулаком по лицу. Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было! Подожди, Кирилл ведь что-то говорил такое... Кирилл! Он лихорадочно копался в воспоминаниях, всплывали какие-то слова, знакомые и полужнакомые, но все это было не то, потому что не слова остались от Кирилла, остались какие-то смутные картины, очень добрые, но ведь совершенно неправдоподобные...

Подлость, подлость... И здесь они меня обвели, без языка оставили, гады... Шпана... Как был шпаной, так шпаной и состарился... Вот этого не должно быть! Ты, слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено! Человек рожден, чтобы мыслить (вот он, Кирилл, наконец-то!)... Только ведь я в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю, и для чего человек рожден — не знаю. Родился — вот и рожден. Кормятся кто во что горазд. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это — мы? Кто — они? Ничего же не понять. Мне хорошо — Барбриджу плохо, Барбриджу хорошо — Очкарику плохо, Хрипатому хорошо — всем плохо, и самому Хрипатому плохо, только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя изгильнуться... Господи, это ж каша, каша! Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю, а он всю жизнь с хрипатыми воевал и от меня, обалдуя, только одного лишь хотел — чтобы я сталкерство бросил. Но как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо?

Работать идти? А не хочу я на вас работать, тошнит меня от вашей работы, можете вы это понять? Если человек работает, он всегда на кого-то работает, раб он и больше ничего, а я всегда хотел сам, сам хотел быть, чтобы на всех поплевывать, на тоску ихнюю и скуку...

Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то — он сразу же забыл о ней. Теперь он сидел, закрыв глаза руками, и пытался уже не понять, не придумать, а хотя бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть, но он опять видел только рыла, рыла, рыла... зелененькие, бутылки, кучи тряпья, которые когда-то были людьми, столбики цифр... Он знал, что все это надо уничтожить, и он хотел это уничтожить, но он догадывался, что если все это будет уничтожено, то не останется ничего — только ровная голая земля. От бессилия и отчаяния ему снова захотелось прислониться спиной и откинуть голову, он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер.

Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера, и в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его, он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву: «Я — животное, ты же видишь, я — животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой... всемогущий, всеильный, всепонимающий... разберись! Загляни в мою душу, я знаю — там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов — СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!»

Парень из преисподней

повесть



Другой раз встретишь такого и подумаешь: вроде парень ничего. А он, глядишь, разинет рот да и пойдет сыпать трескучими словесами: господствующая раса, безоговорочная преданность, фанатическая воля, ну, в общем, крутит шарманку...

Я по профессии учитель, таких ребят, как вы, я готовлю к выпускным экзаменам и хочу делать это и впредь. Что же мне, преподавать в пустых классах? Постарайтесь продержаться! Когда с войной будет покончено, тогда-то и начнется тяжелая борьба...

Д. Нолль

«Приключения Вернера Хольта»

Глава первая

Ну и деревня! Сроду я таких деревень не видел и не знал даже, что такие деревни бывают. Дома круглые, бурые, без окон, торчат на сваях, как сторожевые вышки, а под ними чего только не навалено — горшки какие-то здоровенные, корыта, ржавые котлы, деревянные грабли, лопаты... Земля между домами — глина, и до того она выжжена и вытоптана, что даже блестит. И везде, куда ни поглядишь, — сети. Сухие. Что они здесь этими сетями ловят — я не знаю: справа болото, слева болото, воняет, как на помойке... Жуткая дыра. Тысячу лет они здесь гнили и, если бы не герцог, гнили бы еще тысячу лет. Север. Дичь. И жителей, конечно, никого не видать. То ли удрали, то ли угнали их, то ли они попрятались.

На площади около фактории дымил полевая кухня, снятая с колес. Здоровенный дикобраз — поперек себя шире — в грязном белом фартуке поверх грязной серой формы ворочал в котле черпаком на длинной ручке. По-моему, от этого котла главным образом и воняло по деревне. Мы подошли, и Гепард, задержавшись, спросил, где командир. Это животное даже не обернулось — буркнул что-то в свое варево и ткнул черпаком куда-то вдоль улицы. Поддал я ему носком сапога под крестец, он живо повернулся, увидел нашу форму и сразу встал как положено. Морда у него, у дикобраза, оказалась под стать окорокам, да еще не бритая целую неделю.

— Так где у вас тут командир? — снова спраши-

вает Гепард, упершись тросточкой ему в жирную шею под двойным подбородком.

Дикобраз выкатил глаза, пошлепал губами и просипел:

— Виноват, господин старший наставник... Господин штаб-майор на позициях... Извольте вот по этой улице... прямо на окраине... Примите извинения, господин старший наставник...

Он еще что-то там сипел и булькал, а из-за угла фактории выволоклись два новых дикобраза — еще страшнее этого, совсем уже чучела огородные, без оружия, без головных уборов, — увидели нас и обомлели по стойке «смирно». Гепард только посмотрел на них, вздохнул да и зашагал дальше, постукивая тросточкой по голенищу.

Да, вовремя мы сюда подоспели. Эти дикобразы, они бы нам тут навоевали. Всего-то я только троих пока еще видел, но уже меня от них тошнит, и уже мне ясно, что такая вот, извините за выражение, воинская часть, из тыловой вши сколоченная, да еще наспех, да еще кое-как, все эти полковые пекари, бригадные сапожники, писаря, интенданты — ходячее удобрение, смазка для штыка. Имперские бронеходы прошли бы сквозь них и даже не заметили бы, что тут кто-то есть. Гуляючи.

Тут нас окликнули. Слева, между двумя домами, был натянут маскировочный тент и висела бело-зеленая тряпка на шесте. Медпункт. Еще двое дикобразов неторопливо копались в зеленых вьюках с медикаментами, а на циновках, брошенных прямо на землю, лежали раненые. Всего раненых было трое; один, с забинтованной головой, приподнявшись на локте, смотрел на нас. Когда мы обернулись, он снова позвал:

— Господин наставник! На минуточку, прошу вас!..

Мы подошли. Гепард опустил на корточки, а я остался стоять за его спиной. На раненом не было видно никаких знаков различия, был он в драном, обгоревшем маскировочном комбинезоне, расстегнутом на голой волосатой груди, но по лицу его, по бешеным глазам с опаленными ресницами я сразу понял, что уж это-то не дикобраз, ребята, нет, этот — из настоящих. И точно.

— Бригад-егерь барон Трэгг, — представился он. Будто гусеницы лязгнули. — Командир отдельного восемнадцатого отряда лесных егерей.

— Старший наставник Дигга, — сказал Гепард. — Слушаю тебя, брат-храбрец.

— Сигарету... — попросил барон каким-то сразу севшим голосом.

Пока Гепард доставал портсигар, он торопливо продолжал:

— Попал под огнем, опалило, как свинью... Слава богу, болото рядом, забрался по самые брови... Но сигареты — в кашу... Спасибо...

Он затаился, прикрыв глаза, и сейчас же надсадно закашлялся, весь посинел, задергался, из-под повязки на щеку выползла капля крови и застыла. Как смола. Гепард, не оборачиваясь, протянул ко мне через плечо руку и щелкнул пальцами. Я сорвал с пояса флягу, подал. Барон сделал несколько глотков, и ему вроде бы полегчало. Двое других раненых лежали неподвижно — то ли они спали, то ли уже отошли. Санитары глядели на нас боязливо. Не глядели даже, а так, поглядывали.

— Славно... — произнес барон Трэгг, возвращая флягу. — Сколько у тебя людей?

— Четыре десятка, — ответил Гепард. — Флягу оставь... Оставь себе.

— Сорок... Сорок Бойцовых Котов...

— Котят, — сказал Гепард. — К сожалению... Но мы сделаем все, что сумеем.

Барон смотрел на него из-под сторевших бровей. В глазах у него была мука.

— Слушай, брат-храбрец, — сказал он. — У меня никого не осталось. Я отступаю от самого перевала, трое суток. Непрерывные бои. Крысоеды прут на бронеходах. Я сжег штук двадцать. Последние два — вчера... здесь, у самой околицы... увидишь. Этот штаб-майор... дурак и трус... старая рухлядь... Я его застрелить хотел, но ведь ни одного патрона не осталось. Представляешь? Ни одного патрона! Прятался в деревне со своими дикобразами и смотрел, как нас выжигают одного за другим... О чем это я? Где бригада Гагрида? Рация вдребезги... Последнее: «Держись, бригада Гагрида на подходе...» Слушай, сигарету... И сообщи в штаб, что восемнадцатого отдельного больше нет.

Он уже бредил. Бешеные глаза его затянулись мутью, язык едва ворочался. Он повалился на спину и все говорил, говорил, бормотал, хрипел, а скрюченные пальцы его беспокойно шарили вокруг, вцепляясь то в края цинковки, то в комбинезон. Потом он вдруг затих на полуслове, и Гепард поднялся. Он медленно вытащил сигарету, не сводя глаз с запрокинутого лица, щелкнул зажигал-

кой, потом наклонился и положил портсигар вместе с зажигалкой рядом с черными пальцами, и пальцы жадно вцепились в портсигар и сжали его, а Гепард, не говоря ни слова, повернулся, и мы двинулись дальше.

Я подумал, что это, пожалуй, милосердно — бригадир потерял сознание как раз вовремя. А то пришлось бы услышать ему, что бригады Гагрида тоже уже нет. Накрыли ее этой ночью на рокаде бомбовым ковром — два часа мы расчищали шоссе от обломков машин, отгоняя сумасшедших, лезущих под грузовики, чтобы спрятаться. От самого Гагрида мы нашли только генеральскую фуражку, заскорузлую от крови... Меня холодом продрало, когда я все это вспомнил, и я невольно взглянул на небо и порадовался, какое оно низкое, серое и беспросветное.

Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялсядохлый крысоед — все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронеходы да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.

— Как тебе нравится эта позиция, Гаг? — спросил Гепард.

Я огляделся. Ну и позиция! Я прямо глазам своим не поверил. Дикобразы отрыли себе окопы по обе стороны от дороги, посередине поляны между околицей и джунглями. Джунгли стеной стояли перед окопами шагах ну в пятидесяти, никак не больше. Можешь там накопить полк, можешь — бригаду, что хочешь, в окопах об этом не узнают, а когда узнают, то сделать уже все равно ничего не смогут. Окопы на левом фланге имели позади себя трясину. Окопы на правом фланге имели позади себя ровное поле, на котором раньше было что-то посеяно, а теперь все сгорело. Да-а-а...

— Не нравится мне эта позиция, — сказал я.

— Мне тоже, — сказал Гепард.

Еще бы! Здесь ведь была не только эта позиция. Здесь вдобавок еще были дикобразы. Было их тут штук сто, не меньше, и они бродили по этой своей позиции, как по базару. Одни, значит, собравшись кружками, палили костры. Другие просто стояли, засунув руки в рукава. А

третьи бродили. Возле окопов валялись винтовки, торчали пулеметы, бессмысленно задрав хоботы в низкое небо. Посередине дороги, увязнув в грязи по ступицы, ни к селу ни к городу пребывал ракетомет. На лафете сидел пожилой дикобраз — то ли часовой, то ли просто так присел, устав бродить. Впрочем, вреда от него не было: сидел себе и ковырял щечкой в ухе.

Кисло мне стало от всего этого. Эх, будь моя воля — полоснул бы я по всему этому базару из пулемета... Я с надеждой посмотрел на Гепарда, но Гепард молчал и только водил своим горбатым носом слева направо и справа налево.

Позади раздались рассерженные голоса, и я оглянулся. Под лестницей крайнего дома ссорились два дикобраза. Не поделили они между собой деревянное корыто — каждый тянул к себе, каждый изрыгал черную брань, и вот по этим я бы полоснул с особенным удовольствием. Гепард сказал мне:

— Приведи.

Я мигом подскочил к этим охламонам, стволом автомата дал по рукам одному, дал другому и, когда они устались на меня, выронивши свое корыто, мотнул им головой в сторону Гепарда. Не пикнули даже. Их обоих сразу потом прошибло, как в бане. Утираясь на ходу рукавами, они трусцой подбежали к Гепарду и застыли в двух шагах перед ним.

Гепард неторопливо поднял трость, примерился, словно в бильярд играл, и врезал — прямо по мордам, одному раз и другому раз, а потом посмотрел на них, на скотов, и только сказал:

— Командира ко мне. Быстро.

Нет, ребята. Все-таки Гепард явно не ожидал, что здесь будет до такой степени плохо. Конечно, хорошего ждать не приходилось. Уж если Бойцовых Котов бросают затыкать прорыв, то всякому ясно: дело дрянь. Но такое!.. У Гепарда даже кончик носа побелел.

Наконец появился ихний командир. Выбралась из-за домов, застегивая на ходу китель, длинная заspanная жердь в серых бакенбардах. Лет ему пятьдесят, не меньше. Нос красный, весь в прожилках, захватанное пальцами пенсне, как носили штабные в ту войну, на длинном подбородке — мокрые крошки жевательного табака. Представился он нам штаб-майором и попытался перейти с Гепардом на «ты». Куда там! Гепард такого морозу на него напустил, что он как-то даже ростом приумень-

шился: сначала был на полголовы длиннее, а через минуту смотрю — змеиное молоко! — он уже снизу вверх на Гепарда смотрит, седенький такой старикашка.

В общем, выяснилось такое дело. Где противник и сколько его, штаб-майору не известно; задачей своей имеет штаб-майор удержать деревню до подхода подкреплений; боевая сила его состоит из ста шестнадцати солдат при восьми пулеметах и двух ракетометах; почти все солдаты — ограниченно годные, а после вчерашнего марш-броска двадцать семь из них лежат вон в тех домах кто с потеростями, кто с грыжей, кто с чем...

— Послушайте, — сказал вдруг Гепард. — Что это у вас там делается?

Штаб-майор оборвал себя на середине фразы и посмотрел, куда указывала полированная тросточка. Ну и глазницы все-таки у нашего Гепарда! Только сейчас я заметил: в самом большом кружке около одного из костров среди серых курток наших дикобразов гнусно маячат полосатые комбинезоны имперской бронепехоты. Змеиное молоко! Раз, два, три... Четыре крысоеда у нашего костра, и эти свиньи с ними чуть ли не в обнимку. Курят. И еще гогочут чего-то...

— Это? — произнес штаб-майор и кроличьими своими глазами посмотрел на Гепарда. — Вы о пленных, господин старший наставник?

Гепард не ответил. Штаб-дикобраз снова нацепил пенсне и пустился в объяснения. Это, видите ли, пленные, но к нам они, видите ли, никакого отношения не имеют. Захвачены во вчерашнем бою егерями. Не имея средств транспорта, а также за недостатком личного состава для надлежащей охраны...

— Гаг, — произнес Гепард. — Отведи их и сдай Клещу. Только сначала пусть допросит...

Я щелкнул затвором и пошел к костру.

Дикобразы заметили меня еще издали, разом замолчали и принялись потихоньку расползаться кто куда. А у некоторых, видно, ноги отнялись со страху: как сидели, так и сидят, выпучив глаза. А полосатые — так те аж серые сделались, знают нашу эмблему, крысоеды, наслышаны!

Я приказал им встать. Они встали. Нехотя. Я приказал им построиться. Построились, деваться некуда. Белобрысый принялся было что-то лопотать по-нашему — я ткнул ему стволом между ребер, и он замолчал. Так они у меня и пошли — гуськом, понурившись, заложив руки

за спину. Крысы. И запах-то от них какой-то крысиный... Двое — крепкие мужики, плечистые, а двое, видно, из последнего набора, хлипкие сопляки, чуть, может, постарше меня.

— Бегом марш! — гаркнул я по-ихнему.

Побежали. Медленно бегут, плохо. Белобрысый этот хромает. Тяжело раненный, значит, ногу в бане подвернул. Ничего, дохромаешь.

Добежали мы до того края деревни, а там и грузовики — ребята увидели нас, заорали, засвистели. Я выбрал лужу побольше, положил пленных в грязь и пошел к переднему грузовику, где Клещ. А Клещ уже мне навстречу выскакивает — морда веселая, усики под носом торчком, в зубах костяной мундштук по моде старшего курса.

— Ну, что скажешь, брат-смертник? — говорит он мне.

Я ему докладываю: так, мол, и так, такое, мол, положение, а пленных обязательно сначала допросить. И уже от себя:

— Про меня не забудь, Клещ, — говорю. — Все-таки я их сюда привел...

А он на меня посмотрел, и у меня сердце сразу упало.

— Котенок... — говорит. — Ты здесь развлекаться будешь, а Гепард там один? А ну, бери три двойки и дуй к Гепарду! Быстро!

Делать было нечего. Не судьба, значит, не повезло. Посмотрел я на моих полосатиков в последний раз, закинул автомат за плечо да и гаркнул что было силы:

— Пер-вая, вторая, третья двойки — ко мне!

Котятя горохом посыпались с грузовика: Заяц с Петухом, Носатый с Крокодилем, Снайпер с этим... как его... не привык я еще к нему, его только-только из Пигганской школы к нам перевели — убил он там кого-то не того, вот его и к нам.

Я уж давно заметил, да никому не говорю: шлепнет Кот под горячую руку какого-нибудь штатского, сейчас — приказ по части. Такого-то и такого-то по кличке такой-то за совершение уголовного преступления расстрелять. И ведь выведут на плац, поставят перед строем лучших друзей, дадут по нему залп, тело в грузовик забросят на предмет бесчестного захоронения, а потом слышишь — видели его ребята либо на операции, либо в другой части... И правильно, по-моему.

Ну, скомандовал я «бегом», и поскакали мы обратно к Гепарду. А Гепард там времени зря не теряет. Смот-

рю — навстречу нам жердина эта, штаб-майор, рысью пылит, а за ним колонна, штук пятьдесят дикобразов с лопатами и киркомотыгами, бухают сапожищами, потные, только пар от них идет. Это, значит, погнал их Гепард новую позицию копать, настоящую, для нас. Под домом напротив медчасти, смотрю, лопаты уже мелькают, и стоит ракетомет, и вообще движение в деревне, как на главном проспекте в день тезоименитства, — дикобразы так и мельтешат, и ни одного не видно, чтобы был с пустыми руками: либо с оружием, но таких мало, а большинство волочат на себе ящики с боеприпасами и станки для пулеметов.

Гепард увидел нас — выразил удовольствие. Двойки Зайца и Снайпера с ходу послал в джунгли в передовой дозор. Носатого с Крокодиллом оставил при себе для связи, а мне сказал:

— Гаг. Ты — лучший в отряде ракетометчик, и я на тебя надеюсь. Видишь этих тараканов? Бери их себе. Установишь ракетомет на той окраине, выбери позицию примерно там, где сейчас грузовики. Хорошенько замаскируйся, откроешь огонь, когда я зажгу деревню. Действуй, Кот.

Когда я все это услышал, я не то что поскакал, я прямо-таки полетел к своим тараканам. Эти тараканы мои вместе с ракетометом увязли в грязном ухабе посередине дороги и намеревались, видно, всю войну там провозиться. Ну, я одному по уху, другому пинком, третьего прикладом между лопаток, заорал так, что у самого в ушах зазвенело, — заработали мои тараканы по-настоящему, почти как люди. Ракетомет из ухаба на руках вынесли и — марш-марш — покатали по дороге, только колеса завизжали, только грязь полетела, и — в другой ухаб. Тут уж пришлось и мне впрячься. Нет, ребята, дикобразов тоже можно заставить работать, нужно только знать — как.

Значит, положение у меня было такое. Позицию я уже выбрал — вспомнились мне неподалеку от грузовиков густые такие рыжие кустики и плоская низинка за ними, где можно было легко врыться в землю так, что ни один дьявол со стороны джунглей не увидит. А я оттуда все буду видеть: и дорогу до самых джунглей, и всю деревенскую окраину, если попрут прямо через дома, и болото слева, если бронепехота оттуда сунется... И подумал я еще, что надо бы не забыть попросить у Клеща несколько доек для прикрытия с этой стороны. Ракет у меня в

лотках двадцать штук, если только эти писаря по дороге сюда их не повыбрасывали для облегчения ноши... ну, это мы сейчас посмотрим, а в любом случае, как только окопаемся, надо будет послать тараканов за пополнением. Страсть не люблю, когда в бою приходится экономить. Это уже тогда не бой, а я не знаю что... Времени хватит до сумерек, а когда они в сумерках попрут, вспыхнет эта дикая деревня, и будут они все у меня как на ладони — бей на выбор. Не пожалеешь, Гепард, что на меня понадеялся!..

Вот эту последнюю мысль я машинально додумал, уже лежа на спине, а в сером небе надо мной, как странные птицы, летели какие-то горящие клочья. Ни выстрела, ни взрыва я не услышал, а сейчас и вообще ничего не слышал. Оглох. Не знаю, сколько времени прошло, а потом я сел.

Из джунглей по четыре в ряд выползают бронеходы, плюют огнем и расходятся в боевой веер, а за ними выползает следующая четверка. Деревня горит. Над окопами дым, ни души не видно. Походная кухня рядом с факторией перевернута, варево из нее разлилось бурым месивом, идет пар. Ракетомет мой тоже перевернут, а тараканы лежат в кювете кучей друг на друге. Одним словом, занял я удобную позицию, змеиное молоко!

Тут накрыло нас второй очередью. Снесло меня в кювет, перевернуло через голову, полон рот глины, глаза забило землей. Только на ноги поднялся — третья очередь. И пошло, и пошло...

Ракетомет мы все-таки на колеса поставили, скатили в кювет, и один бронеход я сжег. Тараканов стало уже двое, куда третий делся — неизвестно.

Потом — сразу, без перехода — я оказался на дороге. Впереди целая куча полосатиков — близко, совсем близко, рядом. На клинках у них кроваво отсвечивал огонь. Над ухом у меня оглушительно грохотал пулемет, в руке был нож, а у ног моих кто-то дергался, поддавая мне под коленки...

Потом я старательно, как на полигоне, наводил ракетомет в стальной щит, который надвигался на меня из дыма. Мне даже слышалась команда инструктора: «По бронепехоте... броневой...» И я никак не мог нажать на спуск, потому что в руке у меня опять был нож...

Потом вдруг наступила передышка. Были уже сумерки. Оказалось, что ракетомет мой цел, и сам я тоже цел, вокруг меня собралась целая куча дикобразов, человек десять. Все они курили, и кто-то сунул мне в руку флягу.

Кто? Заяц? Не знаю... Помню, что на фоне пылающего дома шагах в тридцати чернела странная фигура: все сидели или лежали, а этот стоял, и было такое впечатление, будто он черный, но голый... Не было на нем одежды — ни шинели, ни куртки. Или не голый все-таки?.. «Заяц, кто это там торчит?» — «Не знаю, я не Заяц». — «А где Заяц?» — «Не знаю, ты пей, пей...»

Потом мы копали, торопились изо всех сил. Это было уже какое-то другое место. Деревня была уже теперь не сбоку, а впереди. То есть деревни больше не было вообще — груды головешек, зато на дороге горели бронеходы. Много. Несколько. Под ногами хлюпала болотная жижа... «Объявляю тебе благодарность, молодец, Кот...» — «Извините, Гепард, я что-то плохо соображаю. Где все наши? Почему только дикобразы?...» — «Все в порядке, Гаг, работай, работай, брат-храбрец, все целы, все восхищены тобой...»

...И вдруг из черно-алой мути прямо в лицо ливень жидкого огня. Все сразу вспыхивает — и трупы, и земля, и ракетомет. И кусты какие-то. И я. Больно. Адская боль. Как барон Трэгг. Лужу мне, лужу! Тут ведь лужа была! Они в ней лежали! Я их туда положил, змеиное молоко, а их в огонь надо было положить, в огонь! Нет лужи... Земля горела, земля дымилась, и кто-то вдруг с нечеловеческой силой вышиб ее у меня из-под ног...

Глава вторая

Возле койки Гага сидели двое. Один — сухопарый, с широкими костлявыми плечами, с большими костлявыми лапами. Он сидел, закинув ногу на ногу, обхватив колено мосластыми пальцами. Был на нем серый свитер со свободным воротом, узкие синие брюки непонятного покроя, не форменные, и красные с серым плетеные сандалии. Лицо было острое, загорелое, с ласкающей сердце твердостью в чертах, светлые глаза с прищуром, седые волосы — беспорядочной, но в то же время какой-то аккуратной копной. Из угла в угол большого тонкогубого рта передвигалась соломинка.

Другой был добряк в белом халате. Лицо у него было румяное, молодое, без единой морщинки. Странное какое-то лицо. То есть не самое лицо, а выражение. Как у святых на древних иконах. Он глядел на Гага из-под светлого чуба и улыбался как именинник. Очень был чем-то доволен. Он и заговорил первым.

— Как мы себя чувствуем? — осведомился он.

Гаг уперся ладонями в постель, согнул ноги в коленях и легко перенес зад в изголовье.

— Нормально... — сказал он с удивлением.

Ничего на нем не было, даже простыни. Он посмотрел на свои ноги, на знакомый шрам выше колена, потрогал грудь и сразу же нащупал пальцами то, чего раньше не было: два углубления под правым соском.

— Ого! — сказал он, не удержавшись.

— И еще одна в боку, — заметил добряк. — Выше, выше...

Гаг нащупал шрам в правом боку. Потом он быстро оглядел голые руки.

— Погодите... — пробормотал он. — Я же горел...

— Еще как! — вскричал румяный и руками показал — как. Получалось, что Гаг горел, как бочка с бензином.

Сухопарый в свитере молчал, разглядывая Гага, и было в его взгляде что-то такое, отчего Гаг подтянулся и произнес:

— Благодарю вас. Долго я был без памяти?

Румяный добряк почему-то перестал улыбаться.

— А что ты помнишь последнее? — спросил он почти вкрадчиво.

Гаг наморщился.

— Я подбил... Нет! Я горел. Огнемёт, наверное. И я побежал искать воду... — Он замолчал и снова ощупал шрамы на груди. — В этот момент меня, наверное, подстрелили... — сказал он неуверенно. — Потом... — Он замолчал и посмотрел на сухопарого. — Мы их задержали? Да?.. Где я? В каком госпитале?

Однако сухопарый не ответил, и снова заговорил добряк. Как бы в затруднении он с силой погладил себя по круглым коленям.

— А ты сам как думаешь?

— Виноват... — сказал Гаг и спустил ноги с койки. — Неужели так много времени прошло? Полгода? Или год?.. Скажите мне прямо, — потребовал он.

— Да что время... — сказал румяный. — Времени-то прошло всего пять суток.

— Сколько?

— Пять суток, — повторил румяный. — Верно? — спросил он, обращаясь к сухопарому.

Тот молча кивнул. Гаг улыбнулся снисходительно.

— Ну хорошо, — сказал он. — Ну ладно. Вам, врачам, виднее. В конце концов, какая разница... Я бы хотел

только знать, господин... — Он специально сделал паузу, глядя на сухопарого, но сухопарый никак не отреагировал. — Я бы хотел только знать положение на фронте и когда я смогу вернуться в строй...

Сухопарый молча передвигал соломинку из одного угла рта в другой.

— Я ведь могу надеяться снова попасть в свою группу... в столичную школу.

— Вряд ли, — сказал румяный.

Гаг только глянул на него и снова стал смотреть на сухопарого.

— Ведь я — Бойцовый Кот, — сказал он. — Третий курс... Имею благодарности. Имею одну личную благодарность его высочества...

Румяный замотал головой.

— Это несущественно, — сказал он. — Не в этом дело.

— Как это — не в этом дело? — сказал Гаг. — Я — Бойцовый Кот! Вы что, не знаете? Вот! — Он поднял правую руку и показал — опять-таки сухопарому — татуировку под мышкой. — Мне пожимал руку его высочество, лично! Его высочество пожаловал мне...

— Да нет, мы верим, верим, знаем! — замахал на него руками румяный, но Гаг оборвал его:

— Господин врач, я разговариваю не с вами! Я обращаюсь к господину офицеру!

Тут румяный почему-то вдруг фыркнул, закрыл лицо ладонями и захохотал тонким противным смехом. Гаг ошеломленно смотрел на него, потом перевел взгляд на сухопарого. Тот наконец заговорил:

— Не обращай внимания, Гаг. — Голос у него был глубокий, значительный, под стать лицу. — Однако ты действительно не представляешь своего положения. Мы не можем отправить тебя сейчас в столичную школу. Скорее всего, ты вообще никогда больше не попадешь в школу Бойцовых Котов...

Гаг открыл и снова закрыл рот. Румяный перестал хихикать.

— Но я же чувствую себя... — прошептал Гаг. — Я совершенно здоров. Или я калека? Скажите мне сразу, господин врач: я не калека?

— Нет-нет, — быстро сказал румяный. — Руки-ноги у тебя в полном порядке, а что касается психики... Кто такой был Ганг Гнук, ты помнишь?

— Так точно... Это был ученый. Утверждал множест-

венность обитаемых миров... Имперские фанатики повесили его за ноги и расстреляли из арбалетов... — Гаг замялся. — Вот точной даты я не помню, виноват. Но это было до первого алайского восстания...

— Очень хорошо! — похвалил румяный. — А как относится к учению Ганга современная наука?

Гаг опять замялся.

— Не могу сказать точно... Причин отрицать нет. У нас в школе на занятиях практической астрономией прямо об этом не говорилось. Говорилось только, что Айгон... Да, правильно! На Айгоне есть атмосфера, открытая великим основоположником алайской науки Гриддом, так что там вполне может существовать жизнь...

Он перевел дух и с тревогой взглянул на сухопарого.

— Очень хорошо, — снова сказал румяный. — Ну, а как на других звездах?

— Что — на других звездах, прошу прощения?

— Вблизи других звезд может существовать жизнь?

Гага прошибла испарина.

— Н-нет... — произнес он. — Нет, поскольку там безвоздушное пространство. Не может.

— А если около какой-нибудь звезды есть планеты? — неумолимо налегал доктор.

— А! Тогда может, конечно. Если около звезды имеется планета с атмосферой, на ней вполне может быть жизнь.

Румяный с удовлетворением откинулся на спинку кресла и посмотрел на сухопарого. Тогда сухопарый вынул соломинку изо рта и поглядел Гагу прямо в душу.

— Ты ведь Бойцовый Кот, Гаг? — сказал он.

— Так точно! — Гаг приосанился.

— А Бойцовый Кот есть боевая единица сама в себе, — в голосе сухопарого зазвенел уставной металл, — способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью, так?

— И обратить ее, — подхватил Гаг, — к чести и славе его высочества герцога и его дома!

Сухопарый кивнул.

— Созвездие Жука знаешь?

— Так точно! Эклиптикальное созвездие из двенадцати ярких звезд, видимое в летнее время года. Первая Жука является...

— Стоп. Седьмую Жука знаешь?

— Так точно. Оранжевая звезда...

— ... около которой, — прервал его сухопарый, под-

няв мосластый палец, — имеется планетная система, неизвестная пока алайской астрономии. На одной из этих планет существует цивилизация разумных существ, значительно опередившая цивилизацию Гиганды. Ты на этой планете, Гаг.

Воцарилось молчание. Гаг, весь подобрившись, ждал продолжения. Сухопарый и врач пристально глядели на него. Молчание затягивалось. Наконец Гаг не выдержал.

— Я понял, господин офицер, — доложил он. — Продолжайте, пожалуйста.

Врач крикнул, а сухопарый мигнул несколько раз подряд.

— А, — сказал он спокойно. — Он решил, что мы продолжаем испытание психики и теперь даем ему вводную, — пояснил он врачу. — Это не вводная, Гаг. Это на самом деле так и есть. Я работал на вашей планете, на Гиганде, в северных джунглях герцогства. Случайно я оказался около тебя во время боя. Ты лежал на земле и горел, к тому же ты был смертельно ранен. Я перенес тебя на свой звездолет... это такой специальный аппарат для путешествия между звезд... и доставил сюда. Здесь мы тебя вылечили. Это все не вводная, Гаг. Я не офицер и, конечно, не алаец. Я — землянин.

Гаг в задумчивости пригладил волосы.

— Предполагается, господин офицер, что я знаю ваш язык и условия жизни на этой планете. Или нет?

Снова наступило молчание. Потом сухопарый сказал, усмехнувшись:

— Ты, кажется, вообразил себя на занятиях по диверсионно-разведывательной подготовке...

Гаг тоже позволил себе улыбнуться.

— Не совсем так, господин офицер.

— А как же?

— Я полагаю... я надеюсь, что командование удостоивает меня пройти спецпроверку для того, чтобы принять новое, весьма ответственное назначение. Я горжусь, господин офицер. Приложу все усилия, чтобы оправдать...

— Послушай, — сказал вдруг румяный врач, поворачиваясь к сухопарому. — А может быть, так и оставить? Создать условия ничего не стоит. Ты ведь говоришь, что понадобится всего три-четыре месяца!

Сухопарый помотал головой и принялся что-то говорить румянному на непонятном языке. Гаг с нарочито рассеянным видом осматривался. Помещение было необычайное. Прямоугольная комната, гладкие кремовые

стены, потолок расчерчен в шахматную клетку, причем каждая клетка светится изнутри красным, оранжевым, голубым, зеленым. Окон нет. Дверей тоже что-то не заметно. У изголовья постели в стене какие-то кнопки, над кнопками — длинные прозрачные окошечки, которые светятся ровным, очень чистым зеленым светом. Пол черный, матовый... и кресла, в которых сидят эти двое, словно бы растут из пола, а может быть, составляют с ним одно целое. Гаг незаметно погладил пол босой ступней. Прикосновение было приятное, словно к мягкому теплому животному...

— Ладно, — сказал наконец сухопарый. — Одевайся, Гаг. Я тебе кое-что покажу... Где его одежда?

Румяный, поколебавшись еще секунду, наклонился куда-то вбок и вытащил словно бы из стены плоский прозрачный пакет. Держа его в опущенной руке, он снова заговорил с сухопарым и говорил довольно долго, а сухопарый только все энергичнее крутил головой и в конце концов отобрал пакет у румяного и бросил его Гагу на колени.

— Одевайся, — приказал он снова.

Гаг осторожно осмотрел пакет со всех сторон. Пакет был из какого-то прозрачного материала, бархатистого на ощупь, а внутри было что-то очень чистое, мягкое, легкое, белое с голубым. И вдруг пакет сам собой распался, рассыпался тающими в воздухе серебристыми искрами, и на постель упали, разворачиваясь, короткие голубые штаны, белая с голубым куртка и еще что-то.

Гаг с каменным лицом принялся одеваться. Румяный вдруг сказал громко:

— Но может быть, мне все-таки пойти с вами?

— Не надо, — сказал сухопарый.

Румяный всплеснул белыми руками.

— Ну что у тебя за манера, Корней! Что это за порывы интуиции! Ведь, казалось бы, все расписали, обо всем договорились...

— Как видишь, не обо всем.

Гаг натянул совершенно невесомые сандалии, удивительно ладно пришедшиеся по ногам. Он встал, сдвинул пятки и наклонил голову.

— Я готов, господин офицер.

Сухопарый оглядел его.

— Как, нравится тебе это? — спросил он.

Гаг дернул плечом.

— Конечно, я предпочел бы форму...

— Обойдешься без формы, — проворчал сухопарый, поднимаясь.

— Слушаюсь, — сказал Гаг.

— Поблагодари врача, — сказал сухопарый.

Гаг отчетливым движением повернулся к румяному с лицом святого, снова сдвинул пятки и снова наклонил голову.

— Позвольте поблагодарить вас, господин врач, — сказал он.

Тот вяло махнул рукой.

— Иди уж... Кот...

Сухопарый уже уходил, прямо в глухую стену.

— До свидания, господин врач, — сказал Гаг весело. — Надеюсь, здесь мы больше не увидимся, а услышите вы обо мне только хорошее.

— Ох, надеюсь... — откликнулся румяный с явным сомнением.

Но Гаг больше не стал с ним разговаривать. Он догнал сухопарого как раз в тот момент, когда в стене перед ними не распахнулась, а как-то просто вдруг появилась прямоугольная дверь, и они ступили в коридор, тоже кремовый, тоже пустой, тоже без окон и дверей и тоже непонятно как освещенный.

— Что ты сейчас рассчитываешь увидеть? — спросил сухопарый.

Он шагал широко, вымахивая голенастыми ногами, но ступни ставил с какой-то особой мягкостью, живо напомнившей Гагу неподражаемую походку Гепарда.

— Не могу знать, господин офицер, — ответил Гаг.

— Зови меня Корней, — сказал сухопарый.

— Понял, господин Корней.

— Просто — Корней...

— Так точно... Корней.

Коридор незаметно превратился в лестницу, которая вела вниз по плавной широкой спирали.

— Значит, ты не против того, чтобы оказаться на другой планете?

— Постараюсь справиться, Корней.

Они почти бежали вниз по ступенькам.

— Сейчас мы находимся в госпитале, — говорил Корней. — За его стенами ты увидишь много неожиданного, даже пугающего. Но учти, здесь ты в полной безопасности. Какие бы странные вещи ты не увидел, они не могут угрожать и не могут причинить вреда. Ты меня понимаешь?

— Да, Корней, — сказал Гаг и снова позволил себе улыбнуться.

— Постарайся сам разобраться, что к чему, — продолжал Корней. — Если чего-нибудь не понимаешь — обязательно спрашивай. Ответам можешь верить. Здесь не врут.

— Слушаюсь... — отвечивал Гаг с самым серьезным видом.

Тут бесконечная лестница кончилась, и они вылетели в обширный светлый зал с прозрачной передней стеной, за которой было полно зелени, желтел песок дорожек, поблескивали на солнце непонятные металлические конструкции. Несколько человек в ярких и, прямо скажем, легкомысленных нарядах беседовали о чем-то посреди зала. И голоса у них были под стать нарядам — развязные, громкие до неприличия. И вдруг они разом замолчали, как будто их кто-то выключил. Гаг обнаружил, что все они смотрят на него... Нет, не на него. На Корнея. Улыбки сползали с лиц, лица застывали, взгляды опускались — и вот уже никто больше не смотрит на Корнея, вообще никто больше не смотрит в их сторону, а Корней знай себе вышагивает мимо них в полной тишине, словно ничего этого не заметив.

Он остановился перед прозрачной стеной и положил Гагу руку на плечо.

— Как тебе это нравится? — спросил он.

Огромные, во много обхватов, морщинистые стволы, клубы, облака, целые тучи ослепительной, пронзительной зелени над ними, желтые ровные дорожки, а вдоль них — темно-зеленый кустарник, непроницаемо густой, пестрящий яркими, неправдоподобно лиловыми цветами, и вдруг из пятнистой от солнца тени на песчаную площадку выступил поразительный, совершенно невозможный зверь, состоящий как бы только из ног и шеи, остановился, повернул маленькую голову и взглянул на Гага огромными бархатистыми глазами.

— Колоссально... — прошептал Гаг. Голос у него сорвался. — Великолепно сделано!

— Зеброжираф, — непонятно и в то же время вроде бы и понятно пояснил Корней.

— Для человека опасен? — деловито осведомился Гаг.

— Я же тебе сказал: здесь нет ничего ни опасного, ни угрожающего...

— Я понимаю: здесь — нет. А там?

Корней покусал губу.

— Здесь — это и есть там, — сказал он.

Но Гаг уже не слышал его. Он потрясенно смотрел, как по песчаной дорожке мимо зеброжирафа, совсем рядом с ним, идет человек. Он увидел, как зеброжираф склонил бесконечную шею, будто пестрый шлагбаум опустился, а человек, не останавливаясь, потрепал животное по холке и пошел дальше, мимо сооружения из скрученного шипастого металла, мимо радужных перьев, повисших прямо в воздухе, поднялся по нескольким плоским ступеням и сквозь прозрачную стену вошел в зал.

— Между прочим, это тоже инопланетянин, — сказал Корней вполголоса. — Его здесь вылечили, и скоро он вернется на свою планету.

Гаг сглотнул всухую, провожая выздоровевшего инопланетянина глазами. У того были странные уши. То есть, строго говоря, ушей почти не было, а голый череп неприятно поражал обилием каких-то бугров и узловатых гребенчатых выступов. Гаг снова глотнул и посмотрел на зеброжирафа.

— Разве... — начал он и замолчал.

— Да?

— Прошу прощения, Корней... Я думал... это все... Ну, вот это все, за стеной...

— Нет, это не кино, — с оттенком нетерпения в голосе сказал Корней. — И не вольера. Это все на самом деле, и так здесь везде. Хочешь погладить его? — спросил он вдруг.

Гаг весь напрягся.

— Слушаюсь, — сказал он осипшим голосом.

— Да нет, если не хочешь — не надо. Просто ты должен понять...

Корней вдруг оборвал себя. Гаг поднял на него глаза. Корней смотрел поверх его головы в глубь зала, где снова уже раздавались голоса и смех, и лицо его неожиданно и странно изменилось. Новое выражение появилось на нем — смесь тоски, боли и ожидания. Гагу уже приходилось видеть такие лица, но он не успел вспомнить, где и когда. Он обернулся.

На той стороне зала у самой стены стояла женщина. Гаг даже не успел ее толком рассмотреть — через мгновение она исчезла. Но она была в красном, у нее были угольно-черные волосы и яркие, кажется синие, глаза на белом лице. Неподвижный язык красного пламени на

кремовом фоне стены. И сразу — ничего. А Корней сказал спокойно:

— Ну что ж, пошли...

Лицо у него было прежнее, как будто ничего не произошло. Они шли вдоль прозрачной стены, и Корней говорил:

— Сейчас мы очутимся совсем в другом месте. Очутимся, понимаешь? Не перелетим, не переедем в другое место, а просто очутимся там, имей в виду...

Позади громко захохотали в несколько голосов. Гаг вспыхнул, оглянулся. Нет, смеялись не над ним. На них вообще никто не смотрел.

— Заходи, — сказал Корней.

Это была круглая будка вроде телефонной, только стенки у нее были не прозрачные, а матовые. В будку вела дверь, и оттуда тянуло запахом, какой бывает после сильной грозы. Гаг несмело шагнул внутрь, Корней втиснулся следом, и дверной проем исчез.

— Я потом объясню тебе, как это делается, — говорил Корней. Он неторопливо нажимал клавиши на небольшом пульте, встроенном в стену. Такие пульты Гаг видел на арифметических машинах в бухгалтерии школы. — Вот я набираю шифр, — продолжал Корней. — Набрал... Видишь зеленый огонек? Это означает, что шифр имеет смысл, а финиш свободен. Теперь отправляемся... Вот эта красная кнопка...

Корней нажал на красную кнопку. Чтобы не упасть, Гаг вцепился в его свитер. Пол словно исчез на мгновение, а потом появился снова, и за матовыми стенками вдруг стало светлее.

— Все, — сказал Корней. — Выходи.

Зала не было. Был широкий, ярко освещенный коридор. Пожилая женщина в блестящей, как ртуть, накидке посторонилась, давая им дорогу, сурово смерила взглядом Гага, глянула на Корнея — лицо ее вдруг дрогнуло, она торопливо нырнула в будку, и дверь за нею исчезла.

— Прямо, — сказал Корней.

Гаг пошел прямо. Только сделав несколько шагов, он тихонько перевел дух.

— Один миг — и мы в двадцати километрах, — сказал Корней у него за спиной.

— Потрясающе... — отозвался Гаг. — Я не знал, что мы умеем такие вещи...

— Ну, положим, вы еще не умеете... — возразил Корней. — Сюда, направо.

— Нет, я имел в виду — в принципе... Я понимаю, все засекречено, но для армии...

— Проходи, проходи. — Корней подтолкнул его в спину.

— Для армии такая штука незаменима... Для армии, для разведки...

— Так, — произнес Корней. — Сейчас мы находимся в гостинице. Это мой номер. Я тут жил, пока тебя лечили.

Гаг осмотрелся. Комната была велика и совершенно пуста. Никаких следов мебели. Вместо передней стены — голубое небо, остальные стены разноцветные, пол белый, потолок, как и в госпитале, в разноцветную клетку.

— Давай побеседуем, — сказал Корней и сел.

Он должен был упасть своим сухопарым задом на этот белый пол. Но пол вспучился навстречу его падающему телу, как бы обтек его и превратился в кресло. Этого кресла только что не было. Оно просто мгновенно выросло. Прямо из пола. Прямо на глазах. Корней закинул ногу на ногу, привычно обхватил мосластыми пальцами колено.

— Мы тут много спорили, Гаг, — проговорил он, — как с тобой быть. Что тебе рассказать, что от тебя скрыть. Как сделать, чтобы ты, упаси бог, не свихнулся...

Гаг облизал пересохшие губы.

— Я...

— Предлагалось, например, оставить тебя на эти три-четыре месяца в бессознательном состоянии. Предлагалось загипнотизировать тебя. Много разной чепухи предлагалось. Я был против. И вот почему. Во-первых, я верю в тебя. Ты — сильный, тренированный мальчик, я видел тебя в бою и знаю, что ты можешь выдержать многое. Во-вторых, для всех будет лучше, если ты увидишь наш мир... пусть даже только кусочек нашего мира. Ну, а в-третьих, я тебе честно скажу: ты мне можешь понадобиться.

Гаг молчал. Ноги у него одеревенели, заложенные за спину руки он стиснул изо всей силы, до боли. Корней вдруг подался вперед и сказал, словно заклиная:

— Ничего страшного с тобой не произошло. Ничего страшного с тобой не случится. Ты в полной безопасности. Ты просто совершаешь путешествие, Гаг. Ты в гостях, понимаешь?

— Нет, — сказал Гаг хрипло.

Он повернулся и пошел прямо в голубое небо. Остановился. Глянул. Стиснутые кулаки его побелели. Он

сделал шаг назад, другой, третий и пятился до тех пор, пока не уперся лопатками.

— Значит... я уже там? — сказал он хрипло.

— Значит, ты уже здесь, — сказал Корней.

— Какое же у меня задание?.. — сказал Гаг.

Глава третья

Одним словом, ребята, влип я, как ни один еще Бойцовый Кот, наверное, до меня не влипал. Вот сижу я сейчас на роскошной лужайке по шею в мягкой травке-муравке. Вокруг меня — благодать, чистый курорт на озере Заггута, только самого озера нет. Деревья — никогда таких не видел: листья зеленые-зеленые, мягкие, шелковистые, а на ветвях висят здоровенные плоды — груши называются — объеденье, и ешь сколько влезет. Слева от меня роща, а прямо передо мной дом. Корней говорит, что сам его своими руками построил. Может быть, не знаю. Знаю только, что когда меня назначали в караул у охотничьего домика его высочества, так там тоже был дом — роскошный дом, и строили его большие головы, но куда ему до этого. Перед домом бассейн, вода чистая, как увидишь — пить хочется, купаться страшно. А вокруг — степь. Там я еще не был. И пока неохота. Не до степи мне сейчас. Мне бы сейчас понять, на каком языке я думаю, змеинное молоко! Ведь сроду я никаких языков, кроме родного алайского, не знал. Военный разговорник — это, натурально, не в счет: всякие там «руки вверх», «ложись», «кто командир» и прочее. А теперь вот никак не могу понять, какой же язык мне родной — этот самый ихний русский или алайский. Корней говорит, что этот русский в количестве двадцати пяти тысяч слов и разных там идиом в меня запихнули за одну ночь, пока я спал после операции. Не знаю. Идиома... Как это по-алайски-то будет? Не знаю.

Нет, я ведь сначала что подумал? Спецлаборатория. Такие у нас есть, я знаю. Корней — офицер нашей разведки. И готовят они меня для какого-то особой важности задания. Может быть, интересы его высочества распространились на другой материк. А может быть, черт подери, и на другую планету. Почему бы и нет? Что я знаю?

Я даже, дурак, сначала думал, что вокруг все — декорация. А потом день здесь живу, другой — нет, ребята, не получается. Город этот — декорация? Синие

эти громады, что на горизонте время от времени появляются, — декорация? А жратва? Показать ребятам эту жратву — не поверят, не бывает такой жратвы. Берешь тюбик, вроде бы с зубной пастой, выдавливаешь на тарелку, и на тебе — запузырилось, зашипело, и тут надо схватить другой тюбик, его давить, и ахнуть ты не успел, как на тарелке перед тобой — здоровенный ломоть поджаренного мяса, весь золотистый, дух от него... э, что там говорить. Это, ребята, не декорация. Это мясо. Или, скажем, ночное небо: все созвездия перекошены. И Луна. Тоже декорация? Честно говоря, она-то на декорацию как раз очень похожа. Особенно когда высоко. Но на восходе — смотреть же страшно! Огромная, разбухшая, красная, лезет из-за деревьев... Который я уже здесь день, пятый, что ли, а до сих пор меня от этого зрелища просто в дрожь бросает.

Вот и получается, что дело дрянь. Могучие они здесь, могучие, простым глазом видно. И против них, против всей их мощи я здесь один. И ведь никто же у нас про них ничего не знает, вот что самое страшное. Ходят они по нашей Гиганде, как у себя дома, знают про нас все, а мы про них — ничего. С чем они к нам пришли, что им у нас надо? Страшно... Как представишь себе всю ихнюю чертовщину — все эти мгновенные скачки на сотни километров без самолетов, без машин, без железных дорог... эти их здания выше облаков, невозможные, невероятные, как дурной сон... комнаты-самобранки, еда прямо из воздуха, врачи-чудодеи... А сегодня утром — приснилось мне, что ли? — Корней прямо из бассейна без ничего в одних плавках взмыл в небо, как птица, развернулся над садом и пропал за деревьями...

Я как это вспомнил, продрало меня до самых печенок. Вскочил, пробежался по лужайке, грушу сожрал, чтобы успокоиться. А ведь я здесь всего-то-навсего пятый день! Что я за пять дней мог здесь увидеть? Вот хоть эта лужайка. У меня окно прямо на нее выходит. И вот давеча просыпаюсь ночью от какого-то хриплого мяуканья. Кошки дерутся, что ли? Но уже знаю, что не кошки. Подкрался к окну, выглянул. Стоит. Прямо посреди лужайки. Что — не понимаю. Вроде треугольное, огромное, белое. Пока я глаза протираю, смотрю — тает в воздухе. Как привидение, честное слово. Они у них так и называются: «призраки». Я наутро у Корнея спросил, а он говорит: это, говорит, наши звездолеты класса «призрак» для перелетов средней дальности, двадцать свето-

вых лет и ближе. Представляете? Двадцать световых лет — это у них средняя дальность! А до Гиганды, между прочим, всего восемнадцать...

Не-ет, от нас им только одно может понадобиться: рабы. Кто-то же у них здесь должен работать, кто-то же эту ихнюю благодать обеспечивает... Вот Корней мне все твердит: учись, присматривайся, читай, через три-четыре месяца, мол, домой вернешься, начнешь строить новую жизнь, то-се, войне, говорит, через три-четыре месяца конец, мы, говорит, этой войной занялись и в самое ближайшее время с ней покончим. Тут-то я его и поймал. Кто же, говорю, в этой войне победит? А никто не победит, отвечает. Будет мир, и всё. Та-ак... Все понятно. Это, значит, чтобы мы материал зря не переводили. Чтобы все было тихо-мирно, без всяких там возмущений, восстаний, кровопролития. Вроде как пастухи не дают быкам драться и калечиться. Кто у нас им опасен — тех уберут, кто нужен — тех купят, и пойдут они набивать трюмы своих «призраков» алайцами и крысоедами вперемешку...

Корней вот, правда... Ничего не могу с собой поделать: нравится он мне. Башкой понимаю, что иначе быть не может, что только такого человека они и могли ко мне приставить. Башкой понимаю, а ненавидеть его не могу. Наваждение какое-то. Верю ему, как дурак. Слушаю его, уши развесив. А сам ведь знаю, что вот-вот начнет он мне внушать и доказывать, как ихний мир прекрасен, а наш — плох, и что наш мир надо бы переделать по образцу ихнего, и что я им в этом деле должен помочь, как парень умный, волевой, сильный, вполне пригодный для настоящей жизни...

Да чего там, он уже и начал понемногу. Ведь всех великих людей, на кого мы молимся, он уже обгадить успел. И фельдмаршала Брагга, и Одноглазого Лиса, великого шефа разведки, и про его высочество намекнул было, но тут я его, конечно, враз оборвал... Всем от него досталось. Даже имперцам — это, значит, чтобы показать, какие они здесь беспристрастные. И только про одного он говорил хорошо — про Гепарда. Похоже, он его знал лично. И ценил. В этом человеке, говорит, погиб великий педагог...

Хотел я остановиться, но не успел — стал думать о Гепарде. Эх, Гепард... Ну ладно, ребята погибли, Заяц, Носатый... Клещ с ракетой под мышкой под бронеход бросился... пусть. На то нас родили на свет. А вот

Гепард... Отца ведь я почти не помню, мать — ну что мать? А вот тебя я никогда не забуду. Я ведь слабый в школу пришел — голод, кошатину жрал, самого чуть не съели, отец с фронта пришел без рук, без ног, пользы от него никакой, все на водку променивал... А в казарме что? В казарме тоже не сахар, пайки сами знаете какие. И кто мне свои консервы отдавал? Стоишь ночью дневальным, жрать хочется — аж зубы скрипят; вдруг появится, как из-под земли, рапорт выслушает, буркнет что-то, сунет в руку ломоть хлеба с кониной — свой ведь ломоть, по тыловой норме — и нет его... А как в марш-броске он меня двадцать километров на загривке тащил, когда я от слабости свалился? Ребята ведь должны были тащить, и они бы и рады, да сами падали через каждые десять шагов. А по инструкции как? Не может идти — не может служить. Валяй домой, под вонючую лестницу, за кошками охотиться... Да, не забуду я тебя. Погиб ты, как нас учил погибать, так и сам погиб. Ну, а раз уж я уцелел, значит, и жить я теперь должен, твоей памяти не посрамив. А как жить? Влип я, Гепард. Ох и влип же я! Где ты там сейчас? Вразуми, подскажи...

Ведь они меня здесь купить хотят. Перво-наперво спасли мне жизнь. Вылечили, как новенького сделали, даже ни одного зуба дырявого не осталось — новые выросли, что ли? Дальше. Кормят на убой, знают, бродяги, как у нас со жратвой туго. Ласковые слова говорят, симпатичного человека приставили...

Тут он меня позвал: обедать пора.

Уселись мы за столом в гостиной, взяли эти самые тюбики, наvertsели себе еды. Корней что-то странное соорудил — целый клубок прозрачных желтоватых нитей — что-то вроде дохлого болотного ежа, — все это залил коричневым соусом, сверху лежат кусочки и ломтики то ли мяса, то ли рыбы, и пахнет... не знаю даже — чем, но крепко пахнет. Ел он почему-то палочками. Зажал две палочки между пальцами, тарелку к самому подбородку поднес и пошел кидать все это в рот. Кидает, а сам мне подмигивает. Хорошее у него, значит, настроение. Ну, а у меня от всех моих мыслей, да и от груш, наверное, аппетита почти не осталось. Сделал себе мяса. Вареного. Хотел тушеного, а получилось вареное. Ладно, есть можно, и на том спасибо.

— Хорошо я сегодня поработал, — сообщил Корней, уплетая своего ежа. — А ты что подделывал?

— Да так. Ничего особенного. Купался. В траве сидел.

— В степь ходил?

— Нет.

— Зря. Я же тебе говорю: там для тебя много интересного.

— Я схожу. Потом.

Корней доел ежа и снова взялся за тюбики.

— Придумал, где бы тебе хотелось побывать?

— Нет. То есть да.

— Ну?

Что бы мне ему такое-этакое соврать? Никуда мне сейчас не хотелось, мне бы здесь, с этим домом разобраться, и я ляпнул:

— На Луне...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— А за чем же дело стало? Нуль-кабина — в саду, справочник по шифрам я тебе дал... Набирай номер и отправляйся.

Нужна мне эта Луна...

— И отправлюсь, — сказал я. — Галоши вот только надену...

Сам не знаю, откуда эта присловка у меня взялась. Идиома, наверное, какая-нибудь. Засадили они мне ее в мозг, и теперь она время от времени у меня выскакивает.

— Что-что? — спросил Корней, подняв брови.

Я промолчал. Теперь вот на Луну надо. Раз сказал, значит, придется. А чего я там не видел? Вообще-то, конечно, не мешает посмотреть... Подумал я, сколько мне еще здесь надо посмотреть, и в глазах у меня потемнело. И ведь это только посмотреть! А надо еще запомнить, уложить в башке все это кирпичик к кирпичику, а в башке и так все перемешалось, будто я сто лет уже здесь болтаюсь, и все эти сто лет днем и ночью мне показывают какое-то сумасшедшее кино без начала и конца. Он ведь ничего от меня не скрывает. Нуль-транспортировка? Пожалуйста! Объясняет про нуль-транспортировку. И вроде бы понятно объясняет, модели показывает. Модели понимаю, а как работает нуль-кабина — нет, хоть кол на голове теши. Изгибание пространства, понял? Или, скажем, про эту пищу из тюбиков. Три часа он мне объяснял, а что осталось в голове? Субмолекулярное сжатие. Ну, еще расширение. Субмолекулярное сжатие — это, конечно, хорошо и даже прекрасно. Химия. А вот откуда кусок жареного мяса берется?

— Ну, что загрустил? — спросил Корней, утираясь салфеткой. — Трудно?

— Башка болит, — сказал я со злостью.

Он хмыкнул и принялся прибирать со стола. Я, конечно, как положено, сунулся ему помогать, только тут у них и одному делать нечего. Всего и приборки-то: в середине стола лючок открыть и все туда спихнуть, а уж закрывать и не надо, само закроется.

— Пойдем кино посмотрим, — сказал он. — Один мой знакомый отличную ленту сделал. В старинном стиле, плоскую, черно-белую. Тебе понравится.

Короче, пришлось мне тут же сесть и смотреть это кино. Куролесица какая-то. Про любовь. Любят там друг друга двое аристократов, а родители против. Есть там, конечно, пара мест, где дерутся, но все на мечях. Снято, правда, здорово, у нас так не умеют. Один там другого ткнул мечом, так уж без обману: лезвие из спины на три пальца вылезло и даже вроде дымится... Вот им еще, например, зачем рабы нужны. Замутило меня от этой мысли, еле я дотерпел до конца. Вдобавок курить хотелось дико. Корней, как и Гепард, курение не одобряет. Предложил даже излечить от этой привычки, да я не согласился: всего-то от меня изначального одно это, может быть, и осталось... В общем, попросил я разрешения пойти к себе. Почитать, говорю. Про Луну. Поверил. Отпустил.

И вошел я в свою комнату, будто домой вернулся. Я ее сразу, как приехал, для себя переоборудовал. Тоже, между прочим, намучился. Корней мне, конечно, все объяснил, но я, конечно, ничего толком не понял. Стою посреди комнаты и ору, как псих: «Стул! Хочу стул!» Только потом понемногу приспособился. Здесь, оказывается, орать не надо, а надо только тихонечко представить себе этот стул во всех подробностях. Вот я и представил. Даже кожаная обшивка на сиденье продрана, а потом аккуратно заштопана. Это когда Заяц, помню, после похода сразу сел, а потом встал и зацепился за обшивку крючком от кошки. Ну и все остальное я устроил, как у Гепарда в его комнатушке: койка железная с зеленым шерстяным покрывалом, тумбочка, железный ящик для оружия, столик с лампой, два стула и шкаф для одежды. Дверь сделал, как у людей, стены — в два цвета, оранжевый и белый, цвета его высочества. Вместо прозрачной стены сделал одно окно. Лампу подвесил с жестяным абажуром...

Конечно, все это декорация: ни жести, ни железа, ни дерева — ничего этого на самом деле здесь нет. И оружия

у меня, конечно, никакого в железном ящике нет — лежит там один мой единственный автоматный патрон, который у меня в кармане куртки завалился. И на тумбочке ничего нет. У Гепарда стояла фотография женщины с ребенком — рассказывали, что жены с дочерью, сам он об этом никогда не говорил. Я тоже хотел поставить фотографию. Гепарда. Каким я его в последний раз видел. Но ничего у меня из этого не вышло. Наверное, Корней правильно объяснил, что для этого надо быть художником или там скульптором.

Но в общем мне моя конурка нравится. Я здесь отдыхаю душой, а то в других комнатах как в чистом поле, все насквозь простреливается. Правда, нравится она здесь только мне. Корней посмотрел, ничего не сказал, но, по-моему, он остался недоволен. Да это еще полбеды. Хотите верьте, хотите нет, но эта моя комната сама себе не нравится. Или самому дому. Или, змеиное молоко, той невидимой силе, которая всем здесь управляет. Чуть отвлечешься, глядь — стула нет. Или лампы под потолком. Или железный ящик в такую нишу превратится, в которой они свои микрокнижки держат.

Вот и сейчас. Смотрю — нет тумбочки. То есть тумбочка есть, но не моя тумбочка, не Гепарда, да и не тумбочка вовсе. Шут знает что — какое-то полупрозрачное сооружение. Слава богу, хоть сигареты в нем остались как были. Родимые мои, самодельные. Ну, сел я на свой любимый стул, закурил сигаретку и это самое сооружение изничтожил. Честно скажу — с удовольствием. А тумбочку вернул на место. И даже номер вспомнил: 0064. Не знаю уж, что этот номер значит.

Ну, сижу я, курю, смотрю на свою тумбочку. На душе стало поспокойнее, в комнате моей приятный полумрак, окно узкое, отстреливаться из него хорошо в случае чего. Было бы чем. И стал я думать: что бы это мне на тумбочку положить? Думал-думал и надумал. Снял я с шеи медальон, открыл крышечку и вынул портрет ее высочества. Обрастил я его рамкой, как сумел, пристроил посередине, закурил новую сигаретку, сижу и смотрю на прекрасное лицо Девы Тысячи Сердец. Все мы, Бойцовые Коты, до самой нашей смерти ее рыцари и защитники. Все, что есть в нас хорошего, принадлежит ей. Нежность наша, доброта наша, жалость наша — все это у нас от нее, для нее и во имя ее.

Сидел я так, сидел и вдруг спохватился: да в каком же это виде я перед нею нахожусь? Рубашка, штанишки,

голоручка-голоножка... Тьфу! Я подскочил так, что даже стул упал, распахнул шкаф, сдернул с себя всю эту белосинюю дрянь и натянул свое родимое — боевую маскировочную куртку и маскировочные штаны. Сандалии долой, на ноги — тяжелые рыжие сапоги с короткими голенищами. Подпоясался ремнем, аж дыхание сперло. Жалко, берета нет — видимо, совсем берет сгорел, в пыль, даже не сумели восстановить. А может, я его сам потерял в той суматохе... Погляделся я в зеркало. Вот это другое дело: не мальчишка сопливый, а Бойцовый Кот — пуговицы горят, Черный Зверь на эмблеме зубы скалит в вечной ярости, пряжка ремня точно на пупе, как влитая. Эх, берета нет!..

И тут я вдруг заметил, что ору я Марш Боевых Котят, ору во весь голос, до хрипа, и на глазах у меня слезы. Допел до конца, глаза вытер и начал сначала, уже вполголоса, просто для удовольствия, от самой первой строчки, от которой всегда сердце щемит: «Багровым заревом затянут горизонт», и до самой последней, развеселой: «Бойцовый Кот нигде не пропадет». Мы там еще один куплет сочинили сами, но такой куплет в трезвом виде, да еще имея перед глазами портрет Девы, исполнять никак невозможно. Гепард, помню, Крокодила за уши при всех оттащил за этот куплет...

Змеиное молоко! Опять! Опять эта лампа в какой-то дурацкий светильник превратилась. Ну что ты будешь с ней делать... Попробовал я этот светильник обратно в лампу превратить, а потом плюнул и изничтожил совсем. Отчаяние меня взяло. Ну где мне с ними справиться, когда я с собственной комнатой справиться не могу! С домом этим проклятушим... Поднял я стул и снова уселся. Дом. Как хотите, ребята, а с домом этим все неладно. Казалось бы, проще простого: стоит двухэтажный дом, рядом роща, вокруг на двадцать пять километров голая степь, как доска, в доме двое — я и Корней. Всё. Так вот, ребята, оказывается, не всё.

Во-первых — голоса. Говорит кто-то, и не один, и не радио какое-нибудь. По всему дому голоса. И не то чтобы ночью — среди бела дня. Кто говорит, с кем говорит, о чем говорит — ничего не понятно. Причем, заметьте, Корней в доме в это время нет. Тоже, между прочим, вопрос: куда он девается... Хотя, кажется, на этот вопрос я ответ нашел. Страху набрался, но нашел. А было так. Позавчера сижу я у окна и наблюдаю за нуль-кабиной. Она наискосок, в конце песчаной дорожки,

шагах в пятидесяти. Потом слышу — в глубине дома вроде бы хлопнула дверь, и сразу же — тишина, и чувствую я, что опять остался в доме один. Так, думаю, значит, он не через нуль-кабину уходит. И тут меня как обухом по голове ударило: дверь! Где же это, кроме моей комнаты, в нашем доме двери, которые хлопать могут?

Выскочил я из комнаты, спустился на первый этаж. Сунулся туда, сюда — коридор какой-то, светлый, окно вдоль стены... ну, это как всегда у них. И вдруг слышу — шаги. Не знаю, что меня остановило. Притаился, стою не дышу. Коридор пустой, в дальнем конце дверь, обыкновенная, крашеная... Как я ее раньше не замечал — не понимаю. Как я коридора раньше не замечал — тоже не понимаю. Ну, это ладно. Главное — шаги. Несколько человек. Ближе, ближе, и вот — у меня даже сердце сжалось — прямо из стены на середине коридора выходят один за другим трое. Змеиное молоко! Имперские парашютисты, в полном боевом, в этих своих разрисованных комбинезонах, автомат под мышкой, топорик на заду... Я сразу лег. Один ведь, и ничего нет — голые руки. Оглянутся — пропал. Не оглянулись. Протопали в дальний конец коридора к той самой двери, и нет их. Дверь хлопнула, как от сквозняка, и всё. Ну, ребята... Как дунул я обратно к себе в комнату — и только там опомнился...

До сих пор не понимаю, что бы это могло значить. То есть ясно теперь, как Корней из дома исчезает. Через эту самую дверь. Но вот откуда здесь крысоеды взялись, да еще в полном боевом... И что это за дверь?

Бросил я окурочку на пол, посмотрел, как пол его в себя втягивает, и поднялся. Страшновато, конечно, но надо же когда-нибудь начинать. А если начинать, то с этой двери. В саду на лужайке с грушей за щекой оно, конечно, приятнее... или, скажем, марши распевать, запершись в комнате... Высунул я за дверь голову и прислушался. Тихо. Но Корней — у себя. Может, это даже и лучше. В случае чего заору благим матом — выручит. Спустился я в тот коридор, иду на цыпочках, даже руки расставил. До этой двери я целую вечность добирался. Пройду десять шагов, остановлюсь, послушаю — и дальше. Добрался. Дверь как дверь. Никелированная ручка. Приложил ухо — ничего не слышать. Нажал плечом. Не открывается. Взялся за ручку, потянул. Опять не открывается. Интересно. Вытер я со лба пот, оглянулся. Никого. Снова взялся за ручку, снова потянул, и тут стала дверь открываться. Со страху или от неожиданности я ее, прокля-

тушую, опять захлопнул. В башке у меня пустота, и только одна мыслишка там прыгает, как горошина в бензобаке: не лезь, дурак, не суйся, тебя не трогают, и ты не трогай... И тут из меня и эту последнюю мыслишку вышибло.

Смотрю: прямо на стене сбоку от двери маленькими аккуратными буквами написано по-алайски «значит». То есть там вообще-то много чего было написано, всего в количестве шести строчек, но все остальное была математика, причем такая математика, что я в ней одни только плюсы и минусы разбирал. Так это выглядело: четыре строчки этой самой математики, потом слово «значит», подчеркнутое двумя чертами, а потом еще две строчки формул, обведенные жирной рамкой, на ней у него грифель раскрошился, у того, кто писал. Вот так-так... В бедной голове моей, в пустом моем бензобаке, такая тут толкотня поднялась, что я и про дверь забыл. Выходит, я не один тут, есть еще алайцы? Кто? Где? Почему я вас не видел до сих пор? Зачем вы это написали? Знак подаете? Кому? Мне? Так я же математики не знаю... Или эту математику вы развели только для отвода глаз? Ничего я не успел в этот раз додумать, потому что услышал, как меня зовет Корней. Я как полоумный сорвался с места и на цыпочках взлетел к себе. Кое-как бухнулся на стул, закурил и схватил какую-то книжку. Корней внизу гаркнул еще пару раз, а потом слышу — стучит в дверь.

Это у него, между прочим, правило: хоть он и в своем доме, но никогда не войдет без стука. Это мне нравится. Мы к Гепарду тоже всегда стучали. Но сейчас-то мне было не до этого. «Войдите», — говорю и делаю на лице наивозможнейшую задумчивость, будто я так зачитался, что ничего не вижу и не слышу.

Он вошел, остановился на пороге, прислонился к косяку и смотрит. По лицу ничего не понять. Тут я сделал вид, что спохватился, и притушил окурок. Тогда он заговорил.

— Ну, как Луна? — спрашивает.

Я молчу. Сказать мне нечего. В таких вот случаях мне всегда кажется, что он костерить меня начнет, но этого никогда не бывает. Так вот и сейчас.

— Пойдем-ка, — говорит. — Я тебе кое-что покажу.

— Слушаюсь, — говорю. И на всякий случай спрашиваю: — Прикажете переодеться?

— А тебе в этом не жарко? — спрашивает он.

Я только усмехнулся. Не смог удержаться. Вот так вопросик!

— Ну, извини, — говорит он, словно мои мысли подслушал. — Пошли.

И повел он меня, куда раньше никогда не водил. Не-ет, ребята, я с этим домом никогда не разберусь. Я даже и не знал, что в этом доме такое есть. В гостиной он ткнулся в стену рядом с книжной нишей — и открылась дверца, а за дверцей оказалась лестница вниз, в подпол. Оказывается, у этого дома еще целый этаж есть, под землей, такой же роскошный и освещен как бы дневным светом, но это не для жилья. У него там что-то вроде музея. Огромная комната, и чего там только нет!

— Понимаешь, Гаг, — говорит он мне с каким-то странным выражением — с грустью, что ли? — Я ведь раньше работал космозоологом, исследовал жизнь на других планетах. Ах, какое это было чудесное время! Вот посмотри-ка! — Он схватил меня за рукав и поволок в угол, где на черной лакированной подставке был растопырен какой-то странный скелет величиною с собаку. — Видишь, у него два позвоночника. Зверь с Нистагмы. Когда мы взяли первый экземпляр, то подумали сначала, что это какое-то уродство. Потом другой такой же, третий... Выяснилось, что на Нистагме обитает целый новый бранч животного мира — двухордовые. Их нет больше нигде... да и на Нистагме только один вид. Откуда он взялся? Почему?

И пошел, и пошел. Таскал он меня от скелета к скелету, руками размахивал, голос возвышал — я таким его еще не видывал. Здорово, наверное, он любил эту свою космозоологию. Или связаны были у него с ней какие-то особенные воспоминания.

Не знаю. Из того, что он мне говорил, я, конечно, мало что понял и мало что запомнил, да, в общем, и не особенно старался. Какое мне до всего этого дело? Забавно было только на него смотреть, а уж эти зверюги!.. У него их, наверное, штук сто. Либо скелеты, либо целиком, словно бы вплавленные в такие здоровенные прозрачные глыбы (как я понимаю — для особой сохранности), либо просто чучела, как в охотничьем домике у его высочества, а то — одни только головы или шкуры.

Вот во втором зале у него — мы как туда вошли, я даже попятился — вся стена справа завешена одной шкурой. Змеиное молоко! Длинной метров двадцать, в поперечнике метра три, а то и все четыре, аж на потолок

краем залезает. И вся эта шкура покрыта не то пластинами, не то чешуей, и каждая чешуица — с хорошее блюдо, и каждая сияет чистейшим изумрудным светом с красными огоньками, так что вся зала от этой шкуры кажется будто зеленоватой. Я обалдел, глаз не могу оторвать от этого сияния. Это же надо, что на свете бывает! А головка маленькая, в мой кулак, и глаз не видно, а в рот палец не просунешь — как это оно питало свою тушу, непонятно...

Потом смотрю — в конце зала вроде бы еще одна дверь. В темное помещение. Подошли поближе — да, ребята, это, оказывается, не дверь. Это, оказывается, пасть раскрытая. Ей-богу, дверь. И даже не в комнату дверь, а, скажем, в гараж. Или, может быть, в ангар. Называется эта зверюга тахорг, и добывают ее на планете Пандора. А Корней мимо нее рассеянно этак прошел, как будто это черепаха какая-нибудь или, например, лягушка. А голова ведь — с два вагона хороших, в пасти всю нашу школу разместить можно. Это какое же должно быть тулово при такой голове! И каково его добывать было! Из ракетомета, наверное...

Ну, чего там еще было? Ну, там всякие птицы, насекомые громадные... Нога мне запомнилась. Стоит посередине зала нога. Тоже залита в этот прозрачный материал. Ну, страшная нога, конечно. Выше меня ростом, узловатая, как старое дерево, когти — восемь штук, такие у дракона Гугу изображают, каждый коготь как сабля... Ладно. Замечательно что? Оказывается, кроме такой вот ноги или, скажем, хвоста, ни в одном музее ничего от этого зверя нет. Обитает он на планете Яйла, и сколько лет за ним ни охотятся, а целиком добыть так и не сумели. Пули его не берут, газы его не берут, из любой ловушки он уходит, мертвыми их вообще никогда не видали, а добывают вот так — по частям. У них, оказывается, поврежденные части запросто отваливаются, некоторое время еще как бы живут — скребутся там или дергаются, — ну, потом, конечно, замирают... Да, нога. Я перед этой ногой стоял с раззявленной пастью, что твой тахорг. Велик все-таки создатель...

Ну, ходим мы вот так, ходим, Корней рассказывает, горячится, а мне уже все это малость надоело, и стал я снова думать о своем. Сначала об этой надписи в коридоре, как мне с ней быть и какие я из нее выводы должен сделать, а потом меня снова чего-то свернуло на Корнея. Почему это, думаю, он один живет? Богатый ведь чело-

век, самостоятельный. Где у него жена, где дети? Вообще-то какая-то женщина у него есть. Первый раз я ее еще в госпитале видел, они там через весь зал перемигивались. А потом она и сюда к нему приходила. То есть как она приходила, я не видел, но вот как он ее провожал, до самой нуль-кабины довел — это у меня все на глазах было. Только у него с нею настоящего счастья нет. Он ей: «Я жду тебя каждый день, каждый час, всегда». А она ему: «Ненавижу, мол, каждый день, каждый час...» — или что-то в этом роде. Видали? А чего тогда приходила, спрашивается? Только расстроила человека до последней степени. Она в эту кабину — фр-р-р! — и как не было, а он стоит, бедняга, и на лице у него опять эта тоска с болью пополам, как тогда в госпитале, и я наконец вспомнил, у кого такие лица видел: у смертельно раненных, когда они кровью истекают... Нет, у него в личной жизни неудача, я уж на что посторонний человек — простым глазом вижу... Может, он потому и работает днем и ночью, чтобы отвлечься. И бзик этот зоологический у него из-за этого... Отпустит он меня когда-нибудь из этого подпола, или так и будем здесь всю жизнь ходить? Нет, не отпускает. Опять чего-то объяснять начал. Половину-то хоть мы осмотрели? Пожалуй, осмотрели...

Да-а, жило все это зверье, поживало за тысячи световых лет от этого места. Горя не знало, хотя имело, конечно, свои заботы и хлопоты. Пришли, сунули в мешок и — в этот музей. С научной целью. И мы вот тоже — живем, сражаемся, историю делаем, врагов ненавидим, себя не жалеем, а они смотрят на нас и уже готовят мешок. С научной целью. Или еще с какой-нибудь. Какая нам, в конце концов, разница? И может быть, стоять нам всем в таких вот подвалах, а они будут около нас руками размахивать и спорить: почему мы такие, и откуда взялись, и зачем. И до того мне вдруг родными сделались все эти зверюги... Ну, не родными, конечно, а как бы это сказать... Вот говорят, во время наводнений или там, скажем, когда пожар в джунглях, хищники с травоядными спасаются плечо к плечу и становятся как бы даже друзьями, даже помогают друг другу, я слышал. Вот и у меня такое же появилось чувство. И, как на грех, именно в этот момент я увидел скелет.

Стоит в углу скромно, без особенной какой-нибудь подсветки, невелик росточком — пониже меня. Человек. Череп, руки, ноги. Что я, скелетов человеческих не видел?

Ну, может, грудная клетка пошире, ручки такие маленькие, между пальчиками вроде бы перепонки, и ножки кривоватые. Все равно — человек.

Наверное, что-то с моим лицом тут сделалось, потому что Корней вдруг остановился, посмотрел пристально на меня, потом на этот скелет, потом опять на меня.

— Ты что? — спрашивает. — Не понимаешь что-нибудь?

Я молчу, уставился на этот скелет, а на Корнея стараюсь не глядеть. Я ведь как ждал чего-нибудь такого. А Корней говорит спокойно:

— Да-а, это тот самый знаменитый псевдохомо, тоже знаменитая загадка природы. Ты уже где-нибудь прочитал про него?

— Нет, — сказал я, а сам думаю: сейчас он мне все объяснит. Он очень хорошо мне все объяснит. Да вот стоит ли верить?

— Это удивительная история, — сказал Корней, — и в некотором роде трагическая. Понимаешь, эти существа должны были оказаться разумными. По всем законам, какие нам известны, должны. — Тут он развел руками. — Но — не оказались. Скелет — чепуха, я тебе потом фотографии покажу. Страшно! В прошлом веке научная группа на Тагоре открыла этих псевдохомо. Долго пытались вступить с ними в контакт, наблюдали их в естественных условиях, исследовали и пришли к выводу, что это животные. Звучало это парадоксом, но факт есть факт: животные. Соответственно с ними и обращались, как с животными: держали в зверинце, при необходимости забивали, анатомировали, препарировали, брали скелеты и черепа для коллекций. Как-никак ситуация в научном смысле уникальная. Животное обязано быть человеком, но человеком не является. И вот еще несколько лет спустя на Тагоре обнаруживают мощнейшую цивилизацию. Совершенно не похожую ни на нашу земную, ни на вашу — невиданную, совершенно фантастической фактуры, но несомненную. Представляешь, какой это был ужас? Из первооткрывателей один сошел с ума, другой застрелился... И только еще через двадцать лет нашли! Оказалось: да, есть на планете разум. Но совершенно нечеловеческий. До такой степени не похож ни на нас, ни на вас, ни, скажем, на леонидян, что наука просто не могла даже предположить возможность такого феномена... Да... Это была трагедия. — Он вдруг как-то поскуливал и пошел из зала, словно забыл обо мне, но на

пороге остановился и сказал, глядя на скелет в углу: — А сейчас есть гипотеза, что это вот — искусственные существа. Понимаешь, тагоряне их создали сами, смоделировали, что ли. Но для чего? Мы ведь так и не сумели найти с тагорянами общего языка... — Тут он посмотрел на меня, хлопнул по плечу и сказал: — Вот так-то, брат-храбрец. А ты говоришь — космозоология...

Не знаю уж, правду он мне рассказал или выдумал все, чтобы мозги мне окончательно замутить, но только охота размахивать руками и излагать мне про всякие загадки природы у него после этого пропала. Пошли мы из музея вон. Он молчит, я тоже, в душе у меня какой-то курятник нечищенный, и таким манером пришли мы к нему в кабинет. Он уселся в свое кресло перед экранами, вынул из воздуха бокал со своей любимой шипучкой, стал тянуть через соломинку, а сам смотрит как бы сквозь меня. В кабинете у него, кроме этих экранов и ненормального количества книг, ничего, в общем-то, и нет. Даже стола у него нет, до сих пор не могу понять, что он делает, когда ему какую-нибудь бумагу надо, скажем, подписать. И нет у него в кабинете ни картин, ни фотографий, ни украшений каких-нибудь. А ведь он богатый человек, мог бы себе позволить. Я бы на его месте, если, скажем, наличности не хватает, шкуру бы эту изумрудную загнал, слуг бы нанял, статуй бы везде расставил, ковры бы навесил — знай наших... Правда, что с него взять — холостяк. А может быть, ему и по должности не положено роскошествовать. Что я о его должности знаю? Ничего. То-то он музей в подвале держит...

— Слушай, Гаг, — говорит он вдруг. — А ведь тебе, наверное, скучно здесь, а?

Застал он меня этим вопросом врасплох. Кто его знает, как тут надо отвечать. Да и вообще — откуда я знаю, скучно мне здесь или нет? Тоскливо — это да. Неуютно — да. Места себе не нахожу — да. А скучно?.. Вот человеку в окопе под обстрелом — скучно? Ему, ребята, скучать некогда. И мне здесь скучать пока некогда.

— Никак нет, — говорю. — Я свое положение понимаю.

— Ну и как же ты его понимаешь?

— Всецело нахожусь в вашем распоряжении.

Он усмехнулся.

— В моем распоряжении... Ладно, не будем об этом. Я, как видишь, не могу уделять тебе все свое время. Да

ты, по-моему, к этому и не стремишься особенно. Стараешься держаться от меня подальше...

— Никак нет, — возражаю я вежливо. — Никогда не забуду, что вы мой спаситель.

— Спаситель? Гм... До спасения еще далеко. А вот не хочешь ли ты познакомиться с одним интересным субъектом?

У меня сердце екнуло.

— Как прикажете, — говорю.

Он подумал.

— Пожалуй, прикажу, — сказал он, поднимаясь. — Пожалуй, это будет полезно.

И с этими непонятными словами подошел он к дальней стене, что-то там сделал, и стена раскрылась. Я глянул и попятился. Что стены у них здесь поминутно раскрываются и закрываются — к этому я уже привык, и это мне уже надоело. Но ведь я что думал? Думал, он меня с этим математиком хочет познакомить, а там — змеиное молоко! — стоит там, ребята, этакий долдон в два с половиной метра ростом, плечищи, ручищи, шеи нет совсем, а морда закрыта как бы забралом, частой такой матовой решеткой, а по сторонам головищи торчат то ли фары, то ли уши. Я честно скажу: не будь я в мундире, я бы удрал без памяти. Честно. Я бы и в мундире удрал, да ноги отнялись. А тут этот долдон вдобавок еще произносит густым басом:

— Привет, Корней.

— Привет, Драмба, — говорит ему Корней. — Выходи.

Тот выходит. И опять — чего я ожидал? Что от его шагов весь дом затрясется. Чудище ведь, статуя! А он вышел, как по воздуху выплыл. Ни звука, ни шороха — только что стоял в нише, а теперь стоит посередине комнаты и эти свои уши-фары на меня навел. Я чувствую: за лопатками у меня стена, и отступать дальше некуда. А Корней смеется, бродяга, и говорит:

— Да ты не трусь, не трусь, Бойцовый Кот! Это же робот! Машина!

Спасибо, думаю. Легче мне стало оттого, что это машина, как же.

— Таких мы теперь больше не делаем, — говорит Корней, поглаживая долдона по локтю и сдувая с него какие-то там пылинки. — А вот мой отец с такими хаживал и на Яйлу, и на Пандору. Помнишь Пандору, Драмба?

— Я все помню, Корней, — басит долдон.

— Ну вот, познакомьтесь, — говорит Корней. — Это — Гаг, парень из преисподней. На Земле новичок, ничего здесь не знает. Переходишь в его распоряжение.

— Жду ваших приказаний, Гаг, — басит долдон и как бы в знак приветствия поднимает широченную свою ладонь под самый потолок.

В общем, все кончилось благополучно. А глубокой ночью, когда дом спал, я прокрался в тот самый коридор и под математическими формулами написал: «Кто ты, друг?»

Глава четвертая

Когда они вышли к заброшенной дороге, солнце уже поднялось высоко над степью. Роса высохла, жесткая короткая трава шуршала и похрустывала под ногами. Мириады кузнечиков звенели вокруг, острый горький запах поднимался от нагретой земли.

Дорога была странная. Совершенно прямая, она выходила из-за мутно-синего горизонта, пересекала круг земли напополам и уходила снова за мутно-синий горизонт, туда, где круглые сутки, днем и ночью, что-то очень далекое и большое невнятно вспыхивало, мерцало, двигалось, вспучивалось и опадало. Дорога была широкая, она матово отсвечивала на солнце, и полотно ее как бы лежало поверх степи массивной, в несколько сантиметров толщиной, закругленной на краях полосой какого-то плотного, но не твердого материала. Гаг ступил на нее и, удивляясь неожиданной упругости, несколько раз легонько подпрыгнул на месте. Это, конечно, не был бетон, но это не был и прогретый солнцем асфальт. Что-то вроде очень плотной резины. От этой резины шла прохлада, а не душный зной раскаленного покрытия. И на поверхности дороги не было видно никаких следов, даже пыли не было на ней. Гаг наклонился и провел рукой по гладкой, почти скользкой поверхности. Посмотрел на ладонь. Ладонь осталась чистой.

— Она сильно усохла за последние восемьдесят лет, — прогудел Драмба: — Когда я видел ее в последний раз, ее ширина была больше двадцати метров. И тогда она еще двигалась.

Гаг соскочил на землю.

— Двигалась? Как двигалась?

— Это была самодвижущаяся дорога. Тогда было

много таких дорог. Они опоясывали весь земной шар, и они текли — по краям медленнее, в центре очень быстро.

— У вас не было автомобилей? — спросил Гаг.

— Были. Я не могу вам сказать, почему люди увлеклись созданием таких дорог. Я имею только косвенную информацию. Это было связано с очищением среды. Самодвижущиеся дороги очищали. Они убирали из атмосферы, из воды, из земли все лишнее, все вредное.

— А почему она сейчас не движется? — спросил Гаг.

— Не знаю. Все очень изменилось. Раньше на этой дороге были толпы людей. Теперь никого нет. Раньше в этом небе в несколько горизонтов шли, шли потоками летательные аппараты. Теперь в небе пусто. Раньше по обе стороны от дороги стояла пшеница в мой рост. Теперь это степь.

Гаг слушал, приоткрыв рот.

— Раньше через мои рецепторы, — продолжал Драмба монотонным голосом, — ежесекундно проходили сотни радиопульсов. Теперь я не ощущаю ничего, кроме атмосферных разрядов. Сначала мне показалось даже, что я заболел. Но теперь я знаю: я прежний. Изменился мир.

— Может быть, мир заболел? — спросил Гаг живо.

— Не понимаю, — сказал Драмба.

Гаг отвернулся и стал смотреть туда, где горизонт вспыхивал и шевелился. «Черта с два, — угрюмо подумал он. — Как же, заболеют они!»

— А там что? — спросил он.

— Там Антонов, — ответил Драмба. — Это город. Восемьдесят лет назад его не было видно отсюда. Это был сельскохозяйственный город.

— А сейчас?

— Не знаю. Я все время вызываю информаторий, но мне никто не отвечает.

Гаг смотрел на загадочное мерцание, и вдруг из-за горизонта возникло что-то невероятно огромное, похожее на косой парус невообразимых размеров, почти такое же серо-голубое, как небо, может быть — чуть темнее, медленно и величественно описало дугу, словно стрелка часов прошла по циферблату, и снова растворилось в туманной дымке. Гаг перевел дух.

— Видел? — спросил он шепотом.

— Видел, — сказал Драмба удрученно. — Не знаю, что это такое. Раньше такого не было.

Гаг зябко передернул плечами.

— Толку от тебя... — проворчал он. — Ладно, пошли домой.

— Вы хотели посетить ракетодром, — напомнил Драмба.

— Господин! — резко сказал Гаг.

— Не понимаю...

— Когда обращаешься ко мне, изволь добавлять «господин»!

— Понял, господин.

Некоторое время они шли молча. Кузнечики сухими брызгами разлетались из-под ног. Гаг искоса поглядывал на бесшумного колосса, который плавно покачивался рядом с ним. Он вдруг заметил, что около Драмбы, совсем как давеча около дороги, держится своя атмосфера — свежести и прохлады. Да и сделан был Драмба из чего-то похожего: такой же плотно-упругий, и так же матово отсвечивали кисти его рук, торчащие из рукавов синего комбинезона. И еще Гаг заметил, что Драмба все время держится так, чтобы быть между ним и солнцем.

— Ну-ка расскажи еще раз про себя, — приказал Гаг.

Драмба повторил, что он — робот-андроид номер такой-то из экспериментальной серии экспедиционных роботов, сконструирован тогда-то (около ста лет назад — ничего себе старикашечка!), задействован тогда-то. Работал в таких-то экспедициях, на Яйле претерпел серьезную аварию, был частично разрушен; реконструирован и модернизирован тогда-то, но больше в экспедициях не участвовал...

— В прошлый раз ты говорил, что пять лет простоял в музее, — прервал его Гаг.

— Шесть лет, господин. В Музее истории открытий в Любеке.

— Ладно, — проворчал Гаг. — А потом восемьдесят лет ты торчал в этой нише у Корнея...

— Семьдесят девять лет, господин.

— Ладно-ладно, нечего меня поправлять... — Гаг помолчал. — Скучно, наверное, было стоять?

— Не понимаю вопроса, господин.

— Экая дубина... Впрочем, это никого не интересует. Ты мне лучше вот что скажи. Чем ты отличаешься от людей?

— Я всем отличаюсь от людей, господин. Химией, принципом системы управления и контроля, назначением.

— Ну и какое у тебя, у дубины, назначение?

— Выполнять все приказания, которые я способен выполнить.

— Хе!.. А у людей какое назначение?

— У людей нет назначения, господин.

— Долдон ты, парень! Деревня. Что бы ты понимал в настоящих людях?

— Не понимаю вопроса, господин.

— А я тебя ни о чем и не спрашиваю пока.

Драмба промолчал.

Они шагали через степь, все больше уклоняясь от прямой дороги к дому, потому что Гагу стало вдруг интересно посмотреть, что за сооружение торчит на небольшом холме справа. Солнце было уже высоко, над степью дрожал раскаленный воздух, душный острый запах травы и земли все усиливался.

— Значит, ты готов выполнить любое мое приказание? — спросил Гаг.

— Да, господин. Если это в моих силах.

— Ну хорошо... А если я прикажу тебе одно, а... м-м-м... кто-нибудь еще — совсем противоположное? Тогда что?

— Не понял, кто отдает второе приказание.

— Ну... м-м-м... Да все равно кто.

— Это не все равно, господин.

— Ну, например, Корней...

— Я выполню приказ Корнея, господин.

Некоторое время Гаг молчал. «Ах ты скотина, — думал он. — Дрянь этакая».

— А почему? — спросил он наконец.

— Корней старше, господин. Индекс социальной значимости у него гораздо выше.

— Что еще за индекс?

— На нем больше ответственности перед обществом.

— А ты откуда знаешь?

— Уровень информированности у него значительно выше.

— Ну и что же?

— Чем выше уровень информированности, тем больше ответственности.

«Ловко, — подумал Гаг. — Не придерешься. Все верно. Я здесь как дитя малое. Ну, мы еще посмотрим...»

— Да, Корней — великий человек, — сказал он. — Мне до него, конечно, далеко. Он все видит, все знает. Вот мы сейчас идем с тобой, болтаем, а он небось каждое наше слово слышит. Чуть что не так, он нам задаст...

Драмба молчал. Шут его знает, что происходило в его ушастой башке. Морды, можно сказать, нет, глаз нет — ничего не понять. И голос все время одинаковый...

— Правильно говорю?

— Нет, господин.

— Как так — нет? По-твоему, Корней может чего-нибудь не знать?

— Да, господин. Он задает вопросы.

— Сейчас, что ли?

— Нет, господин. Сейчас у меня с ним нет связи.

— Что же он, по-твоему, не слышит, что ты сейчас говоришь? Или что я тебе говорю? Да он, если хочешь знать, даже наши мысли слышит! Не то что разговоры...

— Понял вас, господин.

Гаг посмотрел на Драмбу с ненавистью.

— Что ты понял, раздолбай?

— Понял, что Корней располагает аппаратурой для восприятия мыслей.

— Кто тебе сказал?

— Вы, господин.

Гаг остановился и плюнул в сердцах. Драмба тоже сейчас же остановился. Эх, садануть бы ему промеж ушей, да ведь не достанешь. Это надо же, какая дубина! Или притворяется? Спокойнее, Кот, спокойнее! Хладнокровие и выдержка.

— А до меня ты этого не знал, что ли?

— Нет, господин. Я ничего не знал о существовании такой аппаратуры.

— Так ты что же, дикобраз, хочешь сказать — что такой великий человек, как Корней, не видит нас сейчас и не слышит?

— Прошу уточнить: аппаратура для восприятия мыслей существует?

— Откуда я знаю? Да и не нужно аппаратуры! Ты ведь умеешь передавать изображение, звук...

— Да, господин.

— Передашь?

— Нет, господин.

— Почему?

— Не имею приказа, господин.

— Хе... Приказа не имеешь, — проворчал Гаг. — Ну, чего встал? Пошли!

Некоторое время они шли молча. Потом Гаг сказал:

— Слушай, ты! Кто такой Корней?

— Не понимаю вопроса, господин.

— Ну... какая у него должность? Чем он занимается?

— Не знаю, господин.

Гаг снова остановился.

— То есть как не знаешь?

— Не имею информации.

— Он же твой хозяин! Ты не знаешь, кто твой хозяин?

— Знаю.

— Кто?

— Корней.

Гаг стиснул зубы.

— Странно как-то у тебя получается, Драмба, дружок, — сказал он вкрадчиво. — Корней — твой хозяин, ты у него восемьдесят лет в доме и ничего о нем не знаешь?

— Не так, господин. Мой первый хозяин — Ян, отец Корнея. Ян передал меня Корнею. Это было тридцать лет назад, когда Ян удалился, а Корней выстроил дом на месте лагеря Яна. С тех пор Корней мой хозяин, но я с ним никогда не работал и потому не знаю, чем он занимается.

— Угу... — произнес Гаг и двинулся дальше. — Значит, ты про него вообще ничего не знаешь?

— Это не так. Я знаю про него очень много.

— Рассказывай, — потребовал Гаг.

— Корней Янович. Рост — сто девяносто два сантиметра, вес по косвенным данным — около девяноста килограммов, возраст по косвенным данным — около шестидесяти лет, индекс социальной зачистности по косвенным данным — около ноль девять...

— Подожди, — ошеломленно сказал Гаг. — Заткнись на минутку. Ты о деле говори, что ты мне бубнишь?

— Не понял приказа, господин, — немедленно откликнулся Драмба.

— Н-ну... например, женат или нет, какое образование... дети... Понял?

— Сведений о жене Корнея не имею. Об образовании — тоже. — Робот сделал паузу. — Имею информацию о сыне: Андрей, около двадцати пяти лет.

— О жене ничего не знаешь, а о сыне знаешь?

— Да. Одиннадцать лет назад получил приказ перейти в распоряжение подростка, по косвенным сведениям, четырнадцати лет, которого Корней называл «сын» и «Андрей». Находился в его распоряжении четыре часа.

— А потом?

— Не понял вопроса, господин.

— Потом ты его видел когда-нибудь?

— Нет, господин.

— Поня-атно, — задумчиво произнес Гаг. — Ну и чем вы с ним занимались эти четыре часа?

— Мы разговаривали. Андрей расспрашивал меня о Корнее.

Гаг споткнулся.

— Все, что я знал: рост, вес. Потом он меня прервал. Потребовал, чтобы я рассказал ему о работе Яна на других планетах.

Да-а. Такие, значит, дела. Ну, это нас не касается. Но какова дубина! Уж о доме его и спрашивать нечего, ясно, что ничего не знает. Все планы мои разрушил, бродяга... Зачем же все-таки Корней мне его подсунул? Вот дьявол, как же мне его проверить? Мне ведь шагу нельзя будет ступить, если я его не проверю!

— Напоминаю, — подал голос Драмба, — что вы намеревались отправиться домой.

— Ну, намеревался. А в чем дело?

— Мы все больше уклоняемся от курса, господин.

— Тебя не спросили, — сказал Гаг. — Я хочу посмотреть, что это там за штука на холме...

— Это обелиск, господин. Помятник над братской могилой.

— Кому? — с живостью спросил Гаг.

— Героям последней войны. Сто лет назад археологи обнаружили в этом холме братскую могилу.

Посмотрим, подумал Гаг и ускорил шаг. Дерзкая и даже страшная мысль пришла ему в голову. Рискованно, подумал он. Ох, сорвут мне башку! А за что? Откуда мне знать, что к чему? Я здесь человек новый, ничего этого не понимаю и не знаю... Да и не выйдет, наверное, ничего. Но уж если выйдет... Если выйдет — тогда верняк. Ладно, попробуем.

Холм был невысокий, метров двадцать — двадцать пять, и еще на столько же возвышалась над ним гранитная плита, отполированная до глади с одной стороны и грубо стесанная со всех остальных. На полированной поверхности вырезана была надпись — старинными буквами, которых Гаг не знал. Гаг обошел обелиск и вернулся в тень. Сел.

— Рядовой Драмба! — сказал он негромко.

Робот повернул к нему ушастую голову.

— Когда я говорю «рядовой Драмба», — по-прежнему негромко произнес Гаг, — надо отвечать: «Слушаю, господин капрал».

— Понял, господин.

— Не господин, а господин капрал! — заорал Гаг и вскочил на ноги. — Господин капрал, понял? Корыто деревенское!

— Понял, господин капрал.

— Не понял, а так точно!

— Так точно, господин капрал.

Гаг подошел к нему вплотную, подбоченился и снизу вверх уставился в непроницаемую матовую решетку.

— Я из тебя сделаю солдата, дружок, — произнес он ласково-зловещим голосом. — Как стоишь, бродяга? Смирно!

— Не понял, господин капрал, — монотонно прогудел Драмба.

— По команде «смирно» надлежит сомкнуть пятки и развернуть носки, выпятив грудь как можно дальше вперед, прижав ладони к бедрам и оттопырив локти... Вот так. Неплохо. Рядовой Драмба, вольно! По команде «вольно» надлежит отставить ногу и заложить руки за спину. Так. Уши твои мне не нравятся. Уши можешь опустить?

— Не понял, господин капрал.

— Вот эти штуки свои, которые торчат, можешь опустить по команде «вольно»?

— Так точно, господин капрал. Могу. Но буду хуже видеть.

— Ничего, потерпишь... А ну-ка, попробуем... Рядовой Драмба, смирно! Вольно! Смирно! Вольно!..

Гаг вернулся в тень обелиска и сел. Да, таких бы солдат хотя бы взвод. На лету схватывает. Он представил себе взвод таких вот драмб на позиции у той деревушки. Облизнул сухие губы. Да, такого дьявола, наверное, ракетой не прошибешь. Я только вот чего все-таки не понимаю: думает этот долдон или нет?

— Рядовой Драмба! — гаркнул он.

— Слушаю, господин капрал.

— О чем думаешь, рядовой Драмба?

— Ожидаю приказаний, господин капрал.

— Молодец! Вольно!

Гаг вытер пальцем капельки пота, выступившие на верхней губе, и сказал:

— Отныне ты есть солдат его высочества герцога Алайского. Я — твой командир. Все мои приказания для тебя закон. Никаких рассуждений, никаких вопросов, никакой болтовни! Ты обязан с восторгом думать о той

минуте, когда наступит счастливый миг сложить голову во славу его высочества...

Болван, наверное, половины не понимал, ну да ладно. Важно вбить ему в башку основы. Дурь из него вышибить. А понимает он там или не понимает — дело десятое.

— Все, чему тебя учили раньше, забудь. Я твой учитель! Я твой отец и твоя мать. Только мои приказы должны выполняться, только мои слова могут быть для тебя приказом. Все, о чем я говорю с тобой, все, что я тебе приказываю, есть военная тайна. Что такое тайна — знаешь?

— Нет, господин капрал.

— Гм... Тайна — это то, о чем должны знать только я и ты. И его высочество, разумеется.

Крутовато я взял, подумал он. Рано. Деревня ведь. Ну ладно, там видно будет. Надо его сейчас погонять. Пусть с него семь потов сойдет, с бродяги.

— Смир-рна! — скомандовал он. — Рядовой Драмба, тридцать кругов вокруг холма — бегом марш!

И рядовой Драмба побежал. Бежал он легко и как-то странно, не по уставу и вообще не по-людски — не бежал даже, а летел огромными скачками, надолго зависая в воздухе, и при этом по-прежнему держал ладони прижатыми к бедрам. Гаг, приоткрыв рот, следил за ним. Ну и ну! Это было похоже на сон. Совершенно бесшумный полубег-полуполет, ни топота, ни хриплого дыхания, и не оступится ведь ни разу, а там же кочки, камни, норы... и ведь поставь ему на голову котелок с водой — не расплескает ни капли! Какой солдат! Нет, ребята, какой солдат!

— Быстрее! — гаркнул он. — Шевелись, тараканья немочь!

Драмба сменил аллюр. Гаг замигал: у Драмбы исчезли ноги. Вместо ног под совершенно вертикальным туловищем видно было теперь только туманное мерцание, как у пропеллера на больших оборотах. Земля не выдерживала, за гигантом потянулась, темнея и углубляясь на глазах, взрытая борозда, и появился звук — шелестящий свист рассекаемого воздуха и дробный шорох оседающей земли. Гаг еле успевал поворачивать голову. И вдруг все кончилось. Драмба снова стоял перед ним по стойке «смирно» — неподвижный, огромный, дышащий прохладой. Будто и не бежал вовсе.

Да-а, подумал Гаг. С такого, пожалуй, сгонишь пот...

Но в разум-то я его привел или нет? Ладно, рискнем. Он посмотрел на обелиск. Гадко это, вот что. Солдаты ведь лежат... Герои. За что они там дрались, с кем дрались — этого я толком не понял, но как они дрались — я видел. Дай бог нам всем так драться в наш последний час. Ох, не зря Корней показал мне эти фильмы. Ох, не зря... В душе у Гага шевельнулся суеверный ужас. Неужели этот лукавый Корней еще тогда предвидел такую вот мою минуту? Да нет, ерунда, ничего он не мог предвидеть, не господь же он бог все-таки... Просто хотел тоненько мне намекнуть, с чьими потомками я имею дело... А они здесь лежат. Сколько веков уже они здесь лежат, и никто их не тревожил. Будь они живы — не допустили бы, шуганули бы меня отсюда... Ну ладно, а если бы это были крысоеды? Нет, пожалуй, все равно гадко... И потом, что за ерунда — крысоеды — трусы, вонючки. А это же солдаты были, я же своими глазами видел! Тьфу, пропасть, даже тошнит... А если бы здесь Гепард стоял рядом? Доложил бы я ему свое решение — что бы он мне сказал? Не знаю. Знаю только, что его бы тоже замутило. Тут бы всякого замутило, если он, конечно, человек.

Он посмотрел на Драмбу. Драмба стоял по стойке «смирно», равнодушно поводя глазами-ушами. А что мне остается-то? Мыслишка-то правильная! Гаденькая — не спорю. Скользящая. Другому и в другое время я бы за такую мыслишку сам по рылу бы дал. А мне деваться некуда. Мне такой случай, может, никогда больше не представится. Сразу все проверю. И этого дурака проверю, и насчет наблюдения... Тут в том-то все и дело, что гадко. Тут бы никто не удержался, сразу бы за руку меня схватил, если бы мог. Ладно, хватит слюни распускать. Я это не для собственного удовольствия затеваю. Я не паразит какой-нибудь. Я — солдат и делаю свое солдатское дело, как умею. Простите меня, братья-храбрецы. Если можете.

— Рядовой Драмба! — произнес он дребезжащим голосом.

— Слушаю, господин капрал.

— Приказ! Повалить этот камень! Выполняй!

Он отскочил в сторону, не чуя под собой ног. Если бы здесь был окоп, он прыгнул бы в окоп.

— Живо! — завизжал он, срывая голос.

Когда он разжмурился, Драмба уже стоял, наклонившись, перед обелиском. Огромные руки-лопаты скользнули по граниту и погрузились в пересохшую землю.

Гигантские плечи зашевелились. Это длилось секунду. Робот замер, и Гаг вдруг с ужасом увидел, что его могучие ноги как бы оплывают, укорачиваются на глазах, превращаясь в короткие, толстые, расплюснутые внизу тумбы. А потом холм дрогнул. Послышался пронзительный скрип, и обелиск едва заметно накренился. И тогда Гаг не выдержал.

— Стой! — заорал он. — Отставить!

Он кричал еще что-то, уже не слыша самого себя, ругаясь по-русски и по-алайски, никакой нужды не было в этом крике, и он уже понимал это и все-таки кричал, а Драмба стоял перед ним по стойке «смирно», монотонно повторяя: «Слушаю, господин капрал, слушаю, господин капрал...» Потом он опомнился. Саднило в глотке, все тело болело. Спотыкаясь, он обошел обелиск кругом, трогая гранит дрожащими пальцами. Все было, как прежде, только у основания, под непонятной надписью, зияли две глубокие дыры, и он принялся судорожно забивать в них землю каблуками.

Глава пятая

Всю ночь я не мог заснуть. Крутился, вертелся, курил, в сад высовывался для прохладения. Нервы, видимо, разгулялись после всего. Драмба торчал в углу и светился в темноте. В конце концов я его выгнал — просто так, чтобы злость сорвать. В голову лезла всякая чушь, картинки всякие, не относящиеся к делу. А тут еще эта койка подлая — я ее засек, что она норовит все время превратиться в этакое мягкое ложе, на каких здесь все, наверное, спят, да еще, подлюга, посягает меня укачивать. Как младенца.

Вообще-то не в том беда, что я заснуть не мог, — я по трое суток могу не спать, и ничего со мной не делается. А главное, что я думать не мог по-человечески. Ничего не соображал. Добился я вчера своего или не добился? Могу я Драмбе теперь доверять или нет? Не знаю. Следит за мной Корней или нет? Опять же не знаю. Вчера после ужина заглянул я к нему в кабинет. Сидит он перед своими экранами, на каждом экране — по рылу, а то и по два, и он со всеми этими рылами разговаривает. Меня как ножом ткнули. Представил я себе, как бешусь там на холме, истерику закатываю, а он сидит себе здесь в прохладе, смотрит на все это через экран и хихикает. Да еще, может быть, Драмбе радирует: валяй, мол, раз-

решаю... Нет, про себя я точно знаю, что я бы так не мог. Чтобы на моих глазах оскверняли святыню моего народа, а я бы при этом хихикал и на экранчик смотрел — нет, у меня бы так не получилось. Я вам не крысоед.

А если у него такое задание, сказано ему: любой, мол, ценой... Не знаю, не знаю. Давеча, когда я вернулся, он меня сначала встретил как всегда, потом присмотрелся, насторожился и принялся расспрашивать, что да как. Отец родной, да и только. Я ему соврал, что башка болит. От степных запахов. Но он, по-моему, мне не поверил. Виду не подал, конечно, но не поверил. А я весь вечер за ним следил: будет он Драмбу допрашивать или нет. Нет, не допрашивал. Даже не поглядел на него... Ох, ребята, бедная моя голова! Хоть ложись на спинку, и пусть несет, куда несет.

Так промаялся я до самого рассвета. Ложился, вскакивал, кружил по комнате, опять ложился, в окно высовывался, башку в сад свешивал, и в конце концов меня, видно, сморило — задремал я, положив ухо на подоконник. Проснулся весь в поту и сразу услышал это самое хриплое мяуканье — мррряу-мррряу-мррряу, — словно самого дьявола ангелы небесные душат голыми руками в преисподней, и мне в лицо из сада фукнуло горячим, как бы шипучим, ветром. Я еще глаз как следует не разлепил, а уже сижу на полу, рукой шарю автомат и высматриваю поверх подоконника, как из-за бруствера. И в этот раз я все увидел, как это у них делается, с самого начала и до самого конца. Над моей круглой поляной, правой бассейна, загорелась в сумерках яркая точка, и потек от нее вниз и в стороны словно бы жидкий лиловый свет, еще прозрачный, еще кусты сквозь него видно, а он все течет, течет и вот уже заполнил здоровенный такой конус вроде химической банки в четыре метра высотой, заполнил и тут же стал отвердевать, остывать, меркнуть, и вот уже стоит на поляне ихний звездолет класса «призрак», каким я его увидел в первый раз. И тишина. Первобытная. Даже птицы замолчали. Над поляной — рассветное серо-голубое небо, вокруг поляны — черные кусты и деревья, а посередине поляны — это серебристое чудище, и никак я не могу понять, то ли оно живое, то ли оно вещь.

Потом что-то слабо треснуло, раскрылась в нем черная пасть, звякнуло, зашипело, и выбрался оттуда человек. То есть это я сначала подумал, что человек: руки у него были, ноги. Голова. Весь он был какой-то черноватый, что ли... либо закоптило его, либо обгорел... и весь

он был обвешан оружием. Я такого оружия, ребята, никогда не видывал, но с первого взгляда мне ясно стало, что это именно оружие. Оно свисало у него с обоих плеч и с пояса и лязгало и брякало на каждом шагу. По сторонам он не глядел, а двинулся прямо к крыльцу, как в собственный дом, и шагал как-то странно, но я не сразу понял, в чем тут дело, потому что глаз не мог оторвать от его лица. Оно у него тоже было черноватое, обгорелое, блестело и отсвечивало, и вдруг он поднял обе руки и принялся его с себя сдирать, как маску, — да это, видно, и была маска, потому что он в две секунды с нею управился и с размаху шмякнул ее оземь. И тут меня прошибло потом в другой раз, потому что под этим черноватым, обгорелым, липким и лакированным у него оказалось второе лицо, уже не человеческое — белое, как камень, безносое, безгубое, а глаза — как плоски и светятся. Я на это лицо только взглянул и сразу понял: не могу. Стал глядеть ему на ноги — еще хуже. У него ведь почему такая странная походка была? Он по этой густой траве, по твердой земле шел, как мы с вами шли бы по зыбучему песку или, скажем, по трясине — на каждом шагу проваливался по щиколотку, а то и глубже. Не держала его земля, подавалась...

У крыльца он приостановился на секунду и разом стряхнул с себя всю свою амуницию. Залязгала она, загрохотала, а он шагнул в дверь — и снова тишина. И пусто. Как в бреду. И звездолета уже нет, словно и не было никогда. Только черные дыры от поляны до дома да груда невиданного оружия у крыльца. Всё.

Очень мне захотелось протереть глаза, ущипнуть себя за ляжку и все такое, но я этого делать не стал. Я ведь Бойцовый Кот, ребята. Я весь этот бред отмел. Не впервой. Я только главное оставил: оружие! Впервые я здесь увидел оружие. Я даже одеваться не стал — как был, в одних трусах, махнул через подоконник со второго этажа.

Роса была обильная, ноги мои моментально стали мокрые выше колен, и продрал меня озноб — то ли от этой сырости, то ли, опять же, от нервов. Около крыльца я присел на корточки и прислушался. Тихо, по-нормальному тихо, по-утреннему. Птички завозились, сверчок какой-то заскрипел. Мне до этого дела не было, я ждал голоса услышать. Нет, не слышно голосов — галдят, бормочут, переругиваются, причем кто — неизвестно, потому что Корнея в доме нет, шляется где-то, беса

тешит. А вот когда, как сейчас, должны люди — или даже пусть не совсем люди, — но должны же они здороваться, друг друга по спинам хлопать, восклицать что-нибудь приветственное! Нет, тут у них будет тишина. Могила. Ладно.

И вот сижу я на корточках и смотрю на эти штуки, которые передо мной лежат, даже на вид тяжеленные, гладкие, масляные, надежные. Никогда я таких не видел ни на картинках, ни в кино. Большой, видно, убойной силы аппараты, да вот беда, непонятно, с какой стороны к ним подступиться, за какое место их брать и на что в них нажимать. И даже прикасаться к ним как-то боязно: того и гляди — ахнет, костей не соберешь.

В общем, я растерялся, и это было плохо, потому что на самом-то деле мне следовало бы сразу хватать что-нибудь и рвать когти. Ну, Гаг, давай! Давай быстро! Вот эту коротышку: ствол есть, вместо дула, правда, стекляшка какая-то, зато и рукоятка вроде бы есть, два плоских магазина по сторонам ствола торчат... Все. Нет у меня больше времени. Потом разберусь. Протянул я руку и осторожно взялся за рукоятку. И тут произошла со мной странная вещь.

Взялся я, значит, за рукоятку. Рубчатая такая, теплая. Пальцы сомкнул. Тяну на себя. Осторожно, чтобы не брякнуло. Тяжесть даже почувствовал. А в кулаке — ничего. Сижу, как пьяный, гляжу на пустой кулак, а машинка эта как лежала на ступеньке, так и лежит. Я сгоряча ее хватать поперек — и опять под пальцами металл, твердое, тяжелое. Рванул на себя — опять ничего.

И захотелось мне тут заорать во весь голос. Еле сдержался. Посмотрел на ладонь — ладонь в масле. Вытер ее о траву, поднялся. Разочарование, конечно, страшное. Все у них учтено, все рассчитано и предусмотрено, у гадов. Перешагнул я через эту грудку бесполезного для меня железа и пошел в дом. Вижу: в холле, в углу, торчит Драмба. Зашевелил своими ушами, уставился, а мне на него и смотреть было противно. И уже хотел я подняться к себе, как вдруг подумал: а что, если... В конце концов, не все ли равно, у кого в руках будет машинка, у меня или у этого долдона?

— Рядовой Драмба, — сказал я негромко.

— Слушаю, господин капрал, — отозвался он как положено.

— А ну-ка, иди за мной.

Вышли мы обратно на крыльцо. Оружие лежит, никуда не делось.

— Подай мне вот эту, крайнюю, — говорю. — Только осторожно.

— Не понял, господин капрал, — гудит эта дубина.

— Чего ты не понял?

— Не понял, что именно приказано подать.

Провались ты! Мне-то откуда знать, как это называется?

— Как называются эти предметы? — спрашиваю.

Драмба заработал ушами и рапортует:

— Трава, господин капрал. Ступени...

— А на ступеньках? — спрашиваю я и чувствую, что меня мороз по коже начинает продирать.

— На ступенях пыль, господин капрал.

— А еще?

Впервые Драмба промедлил с ответом. Долго молчал. У него, видно, тоже шестеренка за шестеренку зашла, как и у меня.

— Еще на ступеньках имеются: господин капрал, рядовой Драмба, четыре муравья... — Он снова помедлил. — А также всевозможные микроорганизмы.

Он их не видел! Понимаете? Не видел! Микроорганизмы он видел, а железяки эти метровой длины видеть ему было не положено. Ему их видеть не положено, а мне — братъ. Все, все предусмотрели! И тут я с досады, не сообразив, махнул босой ногой по самой здоровенной железяке, что на крыльце валялась. Взвыл я, палец отшиб начисто, ноготь сломал. А железяка как лежала, так и осталась лежать. Всё. Это уже было последней каплей. Захромал я к себе, зубами скриплю, чуть не плачу, кулаки стиснул. Пришел, повалился на койку, и взяло меня отчаяние, какого не испытывал я аж с того дня, когда пришел на побывку домой и увидел, что не то что дома моего — всего квартала нет, одни горелые кирпичи громоздятся и душит гарью. Почудилось мне в эти черные минуты, что никуда я не годен, ничего я не могу здесь сделать, в этом сытом и лукавом мире, где каждый мой шаг рассчитан и предусмотрен на сто лет вперед. И вполне может быть, что каждое мое действие, какое я еще только собираюсь совершить, они уже знают, как пресечь и обратить себе на пользу.

И чтобы разогнать мрак, я стал вспоминать самое светлое, самое счастливое, что было в моей жизни, и вспомнил тот морозный ясный день, столбы дыма, которые поднимались в зеленое небо, и треск пламени, пожирающего развалины, серый от сажи снег на площади,

окоченевшие трупы, изуродованный ракетомет в огромной воронке... а герцог идет вдоль нашей шеренги, мы еще не успели остыть, глаза еще заливают пот, ствол автомата обжигает пальцы, а он идет, тяжело опираясь на руку адъютанта, и снег скрипит под его мягкими красными сапожками, и каждому из нас он внимательно заглядывает в глаза и говорит негромко слова благодарности и ободрения. А потом он остановился. Прямо передо мной. И Гепард, которого я не видел, — я никого не видел, кроме герцога, — назвал мое имя, и герцог положил мне руку на плечо и некоторое время смотрел мне в глаза, и лицо у него было желтое от усталости, иссеченное глубокими морщинами, 'а вовсе не гладкое, как на портретах, веки красные и воспаленные, и мерно двигалась тяжелая, плохо выбритая челюсть. И все еще держа свою правую руку у меня на плече, он поднял левую и щелкнул пальцами, и адъютант поспешно положил в эти пальцы черный кубик, а я все еще не верил своему счастью, не мог поверить, но герцог произнес низким хриплым голосом: «Открой пасть, Котенок...» — и я зажмурился и открыл рот изо всех сил, почувствовал на языке шершавое и сухое и стал жевать. Волосы встали дыбом у меня под каской, из глаз покатались слезы. Это был личный его высочества жевательный табак пополам с известью и сушеной горчицей, а герцог хлопал меня по плечу и говорил растроганно: «О эти сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!..»

И тут я поймал вдруг себя на том, что улыбаюсь во всю морду. Не-ет, господа, еще не все кончено. Верные, непобедимые сопляки не подведут. Не подводили там, не подведут и здесь. Повернулся я на бок и заснул, чем и кончилось это мое приключение.

Это кончилось, зато другие начались, потому что тихий наш домик вдруг зашевелился. Раньше было как? Позавтракаем мы с Корнеем, потреплемся минут двадцать о том о сем, и всё, до самого обеда я один. Хочешь — спи, хочешь — книжки читай, хочешь — голоса слушай. А тут — не знаю, то ли кто-то этот ихний гадючник разворошил, то ли у них передышка какая кончилась, но только стало в нашем домике тесно.

А началось все с того, что отправился я в тот коридор посмотреть, как там моя переписка. Честно говоря, ничего нового я увидеть не ожидал, однако смотрю — хо! — отозвался мой математик. Прямо под моим вопросом теми же аккуратными маленькими буквами было выве-

дено: «Твои друзья в аду». Вот тебе и на! Что же это получается? «Кто ты, друг?» — «Твои друзья в аду». Значит, их тут несколько... Почему же не пишут, кто они? Боятся? И почему в аду? Нормальному человеку тут, конечно, несладко приходится, но в аду... Я посмотрел на эту крашеную дверь. Может быть, там тюрьма? Или что-нибудь похуже? Что же вы, ребята, толком ничего не сумели написать? Не-ет, этот коридорчик надо взять под наблюдение. Но это потом, а что мне сейчас написать? Чтобы они сразу всё про меня поняли... Ч-черт, математики этой я не знаю. Может быть, у них в этой формуле все зашифровано. Напишу-ка я им, кто я есть, чтобы они знали, с кем имеют дело и на что я годен. Напишу я им... Я достал припасенный огрызок карандаша и нацарапал печатными буквами: «Бойцовый Кот нигде не пропадет». Очень мне понравилось, как я это придумал. Любому ясно, что я — Кот, что я бодр и готов к действию. Парашютистов этих я в гробу видал, ничего они мне здесь не сделают. А если это ловушка и затеял эту переписку Корней — что ж, пожалуйста, ничего такого я не написал.

Ладно. За коридорчиком этим мы понаблюдаем. А сейчас пришла пора посмотреть, что же у них за этой дверью. Недолго думая, взялся я за ручку и потянул ее на себя. Открылась. Я думал — там комната какая-нибудь будет, или коридор, или лестница... ну что у людей за дверями бывает? Так вот, там ничего этого не было. Камера там была. Три на три. Стены черные, матовые. В стене напротив торчит круглая красная кнопка. И всё. Ничего больше в этой камере не было. Я когда эту камеру увидел, мне сразу расхотелось в нее заходить. Да ну их, думаю, к шутам, чего я в этом склепе не видел? Кнопок красных я не видел, что ли?

Стою я в нерешительности и вдруг слышу сзади — голоса. Близко. Можно сказать, рядом. Ну, думаю, кажется, влип. Захлопнул дверь, зубы стиснул, оборачиваюсь. Переднему по горлу и — в сад, думаю, а там ищи меня, свищи...

Но оказалось, что это не парашютисты. Выворачивает в коридор из-за угла какой-то человек с тележкой, с такой платформой на колесиках. Я засунул руки в карманы и такой ленивой походочкой двинулся навстречу. Коридор широкий, разминемся спокойно. А он уже близко со своей тележкой. Глянул я на него — змеинное молоко! — черный! Мне сперва даже показалось, что у

него вообще головы нет, потом, конечно, присмотрелся и вижу: есть голова. Но черная. То есть вся черная! Не только волосы, но и щеки, уши, лоб, а губы красные, толстые, белки глаз так и сверкают и зубы тоже. Это с какой же планеты его занесло сюда такого? Я прижался к стене, уступая дорогу изо всех сил, — проходи, мол, не задерживайся, только не трогай... Не тут-то было. Конечно же, он вместе со своей тележкой останавливается около меня, ослепляет меня своими белками и зубами и хриплым нутряным голосом произносит:

— По-моему, это типичный алаец...

Я сглотнул, киваю.

— Так точно, — говорю. — Алаец я.

И он начинает говорить со мной по-алайски, но уже не хриплым басом, а приятным таким, нормальным голосом — тенором или, я не знаю там, баритоном.

— Ты, — говорит, — наверное, Гаг. Бойцовый Кот.

— Так точно, — говорю.

— Ты, — спрашивает, — из Центра сейчас?

Ну что я ему отвечу?

— Н-никак нет, — говорю. — Я сам по себе...

Я уже разглядел его и вижу, что человек как человек. Ну, черный... Ну и что? У нас на островах голубые живут, и никто им в нос не тычет. Одет нормально, как все здесь одеваются, — рубашка навывпуск, короткие штаны. Только черный. Весь.

— Ты, может быть, Корнея ищешь? — спрашивает он.

Участливо так спрашивает. Совсем как Корней.

— Вид у тебя какой-то взъерошенный, — говорит.

— Да нет, — отвечаю я с досадой. — Это я вспотел просто. Жарко тут у вас...

— А-а... Так ты бы мундир свой снял, что ты в нем преешь... А Корнея ты пока лучше не ищи, Корней сейчас занят до предела...

Чисто так говорит по-алайски, грамотно, и выговор у него такой столичный, с придыханием. Стильно говорит. Ну, объясняет он мне что-то про Корнея, где сейчас Корней и чем он занимается, а я все поглядываю на его тележку и, честно вам скажу, ребята, ничего уже не слышу, что он там мне говорит.

Значит, так. Ну, тележка — она тележка и есть, не в тележке дело. А вот на этой тележке лежит у него громадный, вроде бы кожаный мешок. Кожаный и снаружи как бы маслом облитый, коричневый такой, вроде как куртка

бронеходчика. Сверху он, значит, гладкий, без единой морщинки, а внизу весь какой-то смятый, весь в бороздах и складках. И вот там, в этих самых бороздах и складках, я еще в самом начале заметил какое-то движение. Сначала думал — показалось. Потом... В общем, там был глаз. Оторвите мне руки-ноги, глаз! Какая-то складка там раздвинулась тихонько, и глянул на меня большой круглый темный глаз. Печальный такой и внимательный. Нет, ребята, зря я в этот коридор сегодня пошел. Оно конечно, Бойцовый Кот есть боевая единица сама в себе и так далее, но все-таки о таких встречах в уставе ничего не говорится...

Стою я, держусь за стенку и знай себе долблю: «Так точно... Так точно» А сам думаю: увези ты это от меня, в самом деле, ну чего ты здесь встал? И понял мой черный, понял, что мне надобно передохнуть. Говорит хриплым басом:

— Привыкай, алаец, привыкай... Пойдемте, Джонатан.

А потом по-алайски нормальным голосом:

— Ну, будь здоров, брат-храбрец... Эх тебя скрутило. Да не трусь ты, не трусь, Бойцовый Кот! Это ведь не джунгли...

— Так точно, — сказал я в сто сорок восьмой раз.

Блеснул он своими белками и зубами на прощанье и двинулся с тележкой дальше по коридору. Поглядел я ему вслед — змеиное молоко! — тележка-то катится сама по себе, а он рядом с ней вышагивает сам по себе, совсем отдельно, и уже раздаются опять голоса: один, значит, хрипый бас, а другой — нормальный, но говорят они уже оба на каком-то неизвестном языке. И на лопатках у этого черного надпись полукругом: ГИГАНДА. Хороша встреча, а? Еще одна такая встреча, и я в собственные сапоги прятаться начну. «Привыкай, алаец, привыкай». Не знаю, может быть, я когда-нибудь и привыкну, но в ближайшие полста лет вы меня в этот коридор пряником не заманите... Досмотрел я, как они в этот склеп втиснулись, захлопнули за собой дверь, да и пошел от этого поганого места. Держась за стену.

С этого самого дня стало у нас в домике тесновато. Валят валом. Через нуль-кабину прибывают по двое, по трое. По ночам и особенно под утро от «призраков» в саду сплошной мьяв стоит. Некоторые вываливаются прямо из чистого неба — один в бассейн угодил, когда я утром купался, тоже устроил мне переживание. И все они

к Корнею, и все они галдят на разных языках, и у всех у них дела, и у всех срочные. В холл выйдешь — галдят. В столовую придешь пищу принять — сидят по двое, по трое, кушают и опять же галдят, причем одни поели — другие откуда-то приходят... Я на это просто смотреть не мог: сколько они хозяйского добра даром переводят, хоть бы с собой приносили, что ли... Неужели не понимают, что на всех не напасешься? Совести у людей нет, вот что я вам скажу. Правда, надо им все-таки отдать справедливость. Все-таки мешков среди них с глазами я больше не заметил. Были среди них, конечно, довольно жуткие экземпляры, но чтобы совсем уж мешок — нет, таких больше не было. И на том спасибо. Я день терпел, два терпел, а потом от этого нашествия, честно скажу, ребята, просто сбежал. Возьмешь с утра Драмбу — и на пруды километров за пятнадцать от этого постоянного двора. Я там пруды нашел, роскошное место, камыши, прохлада, уток видимо-невидимо...

Конечно, может быть, я поступил неправильно, смалодушничал. Наверное, я должен был там среди них ториться, подслушивать там, подсматривать, мотать на ус. Но ведь, ребята, я же старался. Сядешь где-нибудь в уголке в гостиной, рот раскроешь, уши развесишь — ни черта не понять. Галдят на непонятных языках, чертят какие-то кривые, мотают друг у друга перед носом какие-то рулоны голубой бумаги со значками, один раз даже карту империи вывесили, битый час по ней пальцами ползали... уж казалось бы, чего проще — карта, а так я и не понял, чего они друг от друга добивались, чего не поделили... Одно я, ребята, понял: что-то у нас там происходит или вот-вот должно произойти. Потому весь этот гадючник и зашевелился.

Короче говоря, решил я предоставить инициативу противнику. Разобраться в обстановке я не умею, помещать им никак не могу, и остается мне рассуждать примерно так: раз они меня здесь держат — значит, я им зачем-то нужен, а раз я им нужен, то что бы они там ни затевали, а рано или поздно ко мне обратятся. Вот тогда мы и посмотрим, как действовать. А пока будем на пруды ходить, Драмбу муштровать и ждать — может, что-нибудь подвернется.

И между прочим, подвернулось.

Как-то раз иду я на завтрак. Смотрю — за столом Корней. И притом один. Я последние дни Корнея редко видел, да и то вокруг него всегда народ толокся. А тут

сидит один, молоко пьет. Ну, поприветствовал я его, сажусь напротив. И странно мне как-то стало — соскучился я по нему, что ли? Тут все дело, наверное, было в его лице. Хорошее у него все-таки лицо. Есть в нем что-то очень мужественное и в то же время, наоборот, детское, что ли? В общем, лицо человека безо всяких тайных умыслов. Такому и не хочется верить, а веришь. Разговариваем мы с ним, а я все время себе напоминаю: осторожно, Кот, другом он тебе быть никак не может, не с чего ему быть другом, а раз он не друг — значит, враг... И тут он вдруг говорит ни с того ни с сего:

— А почему ты, Гаг, мне вопросов не задаешь никогда?

Вот тебе и на — вопросов я ему не задаю. А где мне ему вопросы задавать, когда я целыми днями его не вижу? И что-то мне так горько стало и ужасно захотелось сказать ему прямо: «А чтобы вранья поменьше слушать, друг лукавый». Но я, конечно, этого не сказал. Пророботал только:

— Почему же не задаю? Задаю...

— Понимаешь, — говорит он, и тон у него такой, будто он передо мной извиняется, — я ведь не могу тебе длинные лекции читать. Во-первых, у меня времени на это нет, сам видишь. И хотел бы с тобой побольше времени проводить, да не могу. А во-вторых, лекции — это, по-моему, скучища. Какой интерес выслушивать ответы на вопросы, которых ты не задавал? Или ты, может, иначе считаешь?

Я растерялся, замычал что-то самому мне непонятное, и тут вваливаются в столовую двое, а за ними еще и третий. Сияют все трое, как начищенные медные чайники. И будто все втроем несут крошечную круглую коробочку и с этой коробочкой — напрямик к Корнею.

— Она? — говорит Корней, поднимаясь им навстречу.

— Она, — отвечают они чуть ли не хором и тут же замолкают.

Я давно заметил, что при Корнее они не галдят. При Корнее они держатся как положено. Корней, видно, шутить не любит.

Да. Уплетаю я какую-то вроде бы рыбу, запиваю горячим пойлом, а Корней эту коробочку берет двумя пальцами, открывает ее осторожно и вытягивает из нее узкую красную ленту. Эти трое дышать перестали. В столовой тишина, и слышно только, как галдят в гости-

ной. Корней эту красную ленточку рассмотрел внимательно — просто так и на свет, — а потом сказал негромко:

— Молодцы. Размножьте и раздайте.

И пошел из столовой. Только у самой двери спохватился, повернулся ко мне и сказал:

— Извини, Гаг. Ничего не могу поделывать.

Я только плечом дернул — мне-то что... пожалуйста! Ну, из этих троих двое поскакали за Корнеем, а третий остался и стал аккуратно укладывать эту красную ленточку обратно в коробочку. Я сижу злой, не люблю пищу принимать при посторонних. Но он на меня вроде бы и внимания не обращает. Он идет через всю столовую в угол, где у Корнея стоит какой-то шкаф не шкаф, сундук не сундук... ящик, в общем, поставленный на попа. Я этот ящик сто раз видел и никогда на него внимания не обращал. А он подходит к этому ящику и сдвигает кверху какую-то шторку, и в стенке ящика образуется ярко освещенная ниша. В эту нишу он кладет свою коробочку и шторку опускает. Раздается короткое гудение, на ящике вспыхивает желтый глаз. Этот тип снова поднимает шторку... и тут, ребята, я есть перестал. Потому что смотрю — а в нише уже две коробочки. Этот тип опять опускает шторку — опять загудело, опять загорелся желтый глаз, поднимает он шторку — чегыре коробочки. И пошел, и пошел... Я сижу и только глазами хлопаю, а он — шторку вверх, шторку вниз, гудок, желтый глаз, шторку вверх, шторку вниз... И через минуту у него этих коробочек набралась полная ниша. Выгреб он их оттуда, распахал по карманам, подмигнул мне и выскочил вон. Ничего я опять не понял. Да здесь никакой нормальный человек бы не понял. Но одно я понял: это надо же, какая машина! Я встал — и к ящику. Осмотрел его со всех сторон, даже попробовал сзади заглянуть, но голова не пролезла, только ухо прищемил. Ладно. А шторка поднята, и ниша эта так светом и сияет мне в глаза. Змеиное молоко! Я огляделся и хватъ со стола мятую салфетку... Скатал ее в шарик между ладонями и бросил в нишу — издали бросил на всякий случай, мало ли что. Нет, все нормально. Лежит себе бумажка, ничего ей не делается. Тогда я остороженько взялся за эту шторку и потянул ее вниз. Шторка легко двинулась, прямо-таки сама пошла. Щелк! И, как следует быть, загудело, зажглась желтая лампа. Ну, Кот! Потянул я шторку вверх. Точно. Два бумажных шарика. Я их оттуда вилкой осторожно выгреб, смотрю — одинаковые. То есть точь-в-точь! От-

личить совершенно невозможно. Я их и так смотрел, и этак, и на просвет — даже, дурак, понюхал... Одинаковые.

Что же это получается? Золотой бы мне сейчас, я бы в миллионах ходил. Стал я рыться по карманам. Ну, не золотой, думаю, так хотя бы грош медный... Нет гроша. И тут нашариваю я свой единственный патрон. Унитарный патрон калибра восемь и одна десятая. Нет, даже в этот момент я еще не соображал, что здесь к чему. Просто подумал: раз уж денег нет, так хоть патронов наделаю, они тоже денег стоят. И только когда в нише передо мной шестнадцать штукек медью засверкало, только тогда до меня наконец дошло: шестнадцать патронов — да ведь это же обойма! Полный магазин, ребята!

Стою я перед этим ящиком, смотрю на свои патрончики, и такие интересные мыслишки в голове у меня бродят, что я тут же спохватился и поглядел вокруг, не подслушивает ли кто и не подсматривает ли. Хорошую они машину здесь себе придумали, ничего не скажешь. Полезная машина. Много я у них всякого повидал, но вот такую полезную вещь всего второй раз вижу. (Первая — это Драмба, конечно.) Ну что ж, спасибо. Собрал я патрончики свои, ссыпал их в карман куртки, оттянули они мне карман, и почувствовал я, ребята, будто забрезжило наконец что-то передо мной вдали.

Машинкой этой я потом не раз еще пользовался. Запас патронов потихоньку пополнял; пуговица у меня оторвалась — я и пуговиц форменных на всякий случай два комплекта наделал; ну еще кое-чего по мелочам. Сначала я берегся, а потом совсем обнаглел: они тут же за столом кушают и галдят, а я стою себе у ящика и знай себе штормкой щелкаю. И хоть бы кто внимание обратил! Беспечный народ, ума не приложу, как это они собираются нашей планетой управлять при такой своей беспечности. Их же у нас перочинными ножиками резать будут. Ведь я здесь прямо у них на глазах мог бы всю их секретную документацию скопировать. Была бы документация... Они ведь на меня ну совсем никакого внимания не обращали. Хочешь подслушивать — подслушивай, хочешь подсматривать — подсматривай... Так, который-нибудь взглянет рассеянно, улыбнется тебе и — снова галдеть. Обидно даже, змеиное молоко! Все-таки я — Бойцовый Кот его высочества, не шпана какая-нибудь мелкая, передо мной такие вот шпаки с тротуара сходили и шляпу еще снимали... Правда, не каждый день снимали,

а только в дни тезоименитства, но все равно. Так и хотелось мне встать как-нибудь в дверях и гаркнуть по-гепардовски: «Смир-рна! Глаза на меня, тараканья немочь!» То-то забегали бы! Потом я, конечно, запретил себе на эти темы думать. Я свое достоинство унижать права не имею. Даже в мыслях. Пусть все идет как идет. Мне одному их всех по стойке «смирно» все равно не переставить. Да и нет передо мной такой задачи...

Корней мой в эти дни совсем извелся. Мало того что ему этот галдеж нужно было регулировать, так свалились на него еще и личные неприятности. Всего я, конечно, не знаю, но вот однажды вернулся я под вечер с прудов — усталый, потный, ноги гудят, — искупался и завалился в траву под кустами, где меня никто не видит, а я всех вижу. То есть видеть-то особенно было некого — которые оставались, те все сидели в кабине у Корнея, было у них там очередное совещание, — а в саду было пусто. И тут дверь нуль-кабины раскрывается, и выходит из нее человек, какого я до сих пор здесь никогда не видел. Во-первых, одежда на нем. Которые наши — они все больше в комбинезонах или в пестрых таких рубашках с надписями на спине. А этот — не знаю даже, как определить. Что-то такое строгое на нем, внушительное. Материальчик серый, понял? — стильный, и сразу видно, что не каждому такой по карману. Аристократ. Во-вторых, лицо. Здесь я объяснить уж совсем не умею. Ну, волосы черные, глаза синие — не в этом дело. Напомнил он мне чем-то того румяного доктора, который меня выходил, хотя этот был совсем не румяный и уж никак не добряк. Выражение одинаковое, что ли?.. У наших такого выражения я не видел, наши либо веселые, либо озабоченные, а этот... нет, не знаю, как сказать.

В общем, вышел он из кабины, прошагал этак решительно мимо меня и — в дом. Слышу: галдеж в кабинете разом стих. Кто же это такой к нам пожаловал, думаю. Высшее начальство? В штатском? И стало мне ужасно интересно. Вот, думаю, взять бы такого. Заложником. Большое дело можно было бы проверить... И стал я себе представлять во всех подробностях, как я это дело проворачиваю, — фантазия, значит, у меня разыгралась. Потом спохватился. В кабинете уже опять галдят, и тут на крыльцо выходят двое — Корней и этот самый аристократ. Спускаются и медленно идут по дорожке обратно к нуль-кабине. Молчат. У аристократа лицо замкнутое, рот сжат в линейку, голову несет высоко. Генерал,

хоть и молод. А Корней мой голову повесил, глядит под ноги и губы кусает. Расстроен. Я только успел подумать, что и на Корнея здесь, видно, нашлась управа, как они останавливаются совсем недалеко от меня, и Корней говорит:

— Ну что ж... Спасибо, что пришел.

Аристократ молчит. Только плечами слегка повел, а сам смотрит в сторону.

— Ты знаешь, я всегда рад видеть тебя, — говорит Корней. — Пусть даже вот так, на скорую руку. Я ведь понимаю, ты очень занят...

— Не надо, — говорит аристократ с досадой. — Не надо. Давай лучше прощаться.

— Давай, — говорит Корней.

И с такой покорностью он это сказал, что мне даже страшно стало.

— И вот что, — говорит аристократ. Жестко так говорит, неприятно. — Меня теперь долго не будет. Мать остается одна. Я требую: перестань ее мучить. Раньше я об этом не говорил, потому что раньше я был рядом и... Одним словом, сделай что хочешь, но перестань ее мучить!

Корней что-то сказал, почти прошептал — так тихо, что я не уловил его слов.

— Можешь! — говорит аристократ с напором. — Можешь уехать, можешь исчезнуть... Все эти... все эти твои занятия... С какой стати они ценнее, чем ее счастье?

— Это совсем разные вещи, — говорит Корней с каким-то тихим отчаянием. — Ты просто не понимаешь, Андрей...

Я чуть не подскочил в кустах. Ну ясно же — никакой это не начальник и не генерал. Это же его сын!

— Я не могу уехать, — продолжает Корней. — Я не могу исчезнуть. Это ничего не изменит. Ты воображаешь, что с глаз долой — из сердца вон. Это не так. Постарайся понять: сделать ничего невозможно. Это судьба. Понимаешь? Судьба.

Этот самый Андрей задрал голову, посмотрел на отца надменно, словно плюнуть в него хотел, но вдруг аристократическое лицо его жалко задрожало — вот-вот заревет, — он как-то нелепо махнул рукой и, ничего не сказав, со всех ног пустился к нуль-кабине.

— Береги себя! — крикнул ему вслед Корней, но того уже не было.

Тогда Корней повернулся и пошел к дому. На крыль-

це он постоял некоторое время — не меньше минуты, наверное, стоял, словно собирался с силами и с мыслями, — потом расправил плечи и только после этого шагнул через порог.

Такие вот дела. Насели на человека. Ладно, не мое это дело. Жалко только его. Я бы, конечно, на его месте накидал бы этому сыночку пачек, чтобы знал свое место и не встревал, но только на Корнея это не похоже. То есть не похоже, чтобы он кому-нибудь мог пачек накидать... вернее, пачек-то он накидать мог бы, по-моему, кому угодно, силищи и ловкости он невероятной. Видел я, как они однажды возились возле бассейна — Корней, а против него трое его этих... ну, офицеров, что ли... Как он их кидал! Это же смотреть было приятно. Так что насчет пачек вы будьте спокойны. Но тут дело в том, что без крайней надобности он никому пачек кидать не станет... не то что пачек, резкого слова от него не услышишь... Хотя с другой стороны, конечно, был один случай... Как-то раз сунулся я к нему в кабинет — не помню уже зачем. То ли книжку какую-то взять, то ли ленту для проектора. Одним словом, дождь был в тот день. Сунулся и попал вдруг в полную темноту. Я даже засомневался. Не было еще такого, чтобы я в этом доме среди бела дня попадал в темное помещение. Может, меня по ошибке в какую-нибудь кладовку занесло? И вдруг оттуда, из темноты, голос Корнея:

— Прогоните еще раз с самого начала...

Тогда я шагнул вперед. Стена за мной затянулась, и стало совсем уж темно, как в ночном тире. Я вытянул перед собой руки, чтоб не треснуться обо что-нибудь, двух шажков не сделал — запутался пальцами в какой-то материи. Я даже вздрогнул от неожиданности. Что еще за материя? Откуда она здесь, в кабинете? Никогда ее здесь раньше не было. И вдруг слышу голоса, и как я эти голоса услышал, так о материи и думать позабыл, и замер, и дышать перестал.

Я сразу понял, что говорят по-имперски. Я это ихнее хурли-мурли где хочешь узнаю, сипение это писклявое. Говорили двое: один — нормальный крысоед, так бы и полоснул его из автомата, а второй... вы, ребята, не поверите, я сначала сам не поверил. Второй был Корней. Ну точно — его голос. Только говорил он, во-первых, по-имперски, а во-вторых, на таких басах, каких я до сих пор не то что от Корнея — вообще на этой планете ни от кого не слыхивал. Это, ребята, был настоящий допрос,

вот что это было. Я этих допросов навиделся, знаю, как там разговаривают. Тут ошибки быть не может. Корней ему этак свирепо: гррум-тррум-бррум! А тот, поганец трусливый, ему в ответ жалобно: хурли-мурли, хурли-мурли... Сердце мое возрадовалось, честное слово.

Понимал вот, к сожалению, я только с пятого на десятое, да и то, что понимал, до меня как-то не доходило по-настоящему. Получалось вроде, что этот крысоед — не простой солдат или, скажем, горожанин, а какая-то большая шишка. Может, маршал, а может, и министр. И речь шла у них все время о корпусах и об армиях, а также о положении в столице. То есть это я вывел потому, что слова «корпус», «армия», «столица» мне знакомы, а они то и дело повторялись. И еще мне было понятно, что Корней все время нажимает, а крысоед, хоть и юлит, хоть и подхалимничает, но чего-то недоговаривает, полосатик, крутит, гадина. Корней гремел все яростнее, крысоед пищал все жалобнее, и лично мне было совершенно ясно, что вот именно сейчас и следовало бы вклепать как следует, — я даже весь вперед подался, касаясь носом ткани, отделяющей меня от допросной, чтобы ничего не пропустить, когда эта сволочь завизжит и начнет выкладывать, чего от него добиваются. Но крысоед вдруг замолчал — в обморок закатился, что ли? — а Корней сказал обыкновенным голосом, по-русски:

— Очень неплохо. Вольдемар, вы свободны. Теперь попробуем подвести итоги. Во-первых...

Так я, ребята, и не узнал, что там было во-первых. Засветили мне вдруг в лоб с такой силой, что стало мне светло в этом мраке, и очнулся я, ребята, уже в гостиной. Сажу на полу, глазами хлопаю, а надо мной стоит, потирая плечо, этот самый Вольдемар, здоровенный дядька, башка под самый потолок, лицо у него растерянное и расстроенное, смотрит он на меня из-под потолка и говорит — то ли укоризненно, то ли виновато:

— Ну что же ты, голубчик? Что же ты там торчал в темноте? Откуда же мне было знать? Ты уж извини меня, пожалуйста... Не ушибся?

Я потрогал осторожно свою переносицу — есть у меня там переносица или ее уже нету, — кое-как поднялся и говорю:

— Нет, — говорю. — Не ушибся. Меня ушибли — это было.

Глава шестая

Когда Драмба закончил ход сообщения к корректировочному пункту, Гаг остановил его, прыгнул в траншею и прошелся по позиции. Отрыто было на славу. Траншея полного профиля с чуть скошенными наружу идеально ровными стенками, с плотно утрамбованным дном, без всякой там рыхлой землицы и другого мусора, все в точности по наставлению, вела к огневой — идеально круглой яме диаметром в два метра, от которой отходили в тыл крытые бревнами блиндажи для боеприпасов и для расчета. Гаг посмотрел на часы. Позиция была полностью отрыта за два часа десять минут. И какая позиция! Такой могла гордиться его высочества Инженерная академия. Гаг оглянулся на Драмбу. Рядовой Драмба возвышался над ним и над краем траншеи. Огромные ладони его были прижаты к бедрам, локти оттопырены, уши опущены, грудь колесом, и от него, смешиваясь с запахом разрытой земли, исходила атмосфера свежести и пролады.

— Молодец, — сказал Гаг негромко.

— Слуга его высочества, господин капрал! — гаркнул робот.

— Чего нам теперь еще не хватает?

— Банки бодрящего и соленой рыбки, господин капрал!

Гаг ухмыльнулся.

— Да, — сказал он. — Я из тебя сделал солдата, из разгильдяя.

Он взялся за край траншеи и одним движением перебросил тело на траву, потом поднялся, отряхнул колени и еще раз осмотрел позицию. Да, позиция была на славу.

Солнце поднялось высоко, от росы не осталось и следа, луна бледным куском тающего сахара висела над западным горизонтом, над туманными очертаниями городачудовища. Вокруг мириадами кузнечиков стрекотала степь, ровная, рыже-зеленая, на всем своем протяжении одинаковая и пустая, как океан. Однообразие ее нарушало лишь облачко зелени вдали, в котором краснела черепичная крыша Корнеева дома. Стрекочущая, напоенная пряными запахами степь вокруг, чистое серо-голубое небо над нею, а в центре — он, Гаг. И ему хорошо.

Хорошо, потому что все далеко. Далеко отсюда не постижимый Корней, бесконечно добрый, бесконечно терпеливый, снисходительный, внимательный, неуклонно,

миллиметр за миллиметром вдавливающий в душу любовь к себе, и в то же время бесконечно опасный, словно бомба огромной силы, грозящая взорваться в самый неожиданный момент и разнести в клочья Вселенную Гага. Далеко отсюда лукавый дом, набитый невиданными и невозможными механизмами, невиданными и невозможными существами вперемешку с такими же, как Корней, людьми-ловушками, шумно кипящий беспорядочной деятельностью без всякой видимой разумной цели, а потому такой же непостижимый и отчаянно опасный для Вселенной Гага. Далеко отсюда весь этот лукавый обманчивый мир, где у людей есть все, чего они только могут пожелать, а потому желания их извращены, цели потусторонни, и средства уже ничем не напоминают человеческие. И еще хорошо, потому что здесь удастся хоть ненадолго забыть о гложущей непосильной ответственности, обо всех этих задачах, которые ноют, как язва, в воспаленной душе — неотложные, необходимые и совершенно неразрешимые. А здесь — все так просто и легко...

— Ого! — произнес Корней. — Вот это да!

Гаг подскочил на месте и обернулся. Корней стоял по ту сторону траншеи, с веселым изумлением оглядывая позицию.

— Да ты фортификатор, — сказал он. — Что это у тебя такое?

Гаг помолчал, но деваться было некуда.

— Позиция, — неохотно буркнул он. — Для мортиры.

Корней был поражен.

— Для чего, для чего?

— Для мортиры.

— Гм... А где ты возьмешь мортиру?

Гаг молчал, глядя на него исподлобья.

— Ну ладно, это меня, в конце концов, не касается, — сказал Корней, подождав. — Извини, если помешал... Я тут получил кое-какие известия и поспешил, чтобы поделиться с тобой. Дело в том, что ваша война кончилась.

— Какая война? — тупо спросил Гаг.

— Ваша. Война герцогства Алайского с империей.

— Уже? — тихо проговорил Гаг. — Вы же говорили — четыре месяца.

Корней развел руки.

— Ну, извини, — сказал он. — Ошибся. Все мы ошиблись. Но это, знаешь ли, добрая ошибка. Согласись, что мы ошиблись в нужную сторону... Управились за месяц.

Гаг облизнул губы, поднял голову, снова опустил.

— Кто... — Он замолчал.

Корней ждал, спокойно глядя на него. Тогда Гаг снова поднял голову и, глядя прямо ему в глаза, сказал:

— Я хочу знать, кто победил.

Корней очень долго молчал, по лицу его ничего нельзя было разобрать. Гаг сел — не держали ноги. Рядом из траншеи торчала голова Драмбы. Гаг бессмысленно уставился на нее.

— Я ведь уже объяснял тебе, — сказал наконец Корней. — Никто не победил. Вернее, все победили.

Гаг процедил сквозь зубы:

— Объясняли... Мало ли что вы мне объясняли. Я этого не понимаю. У кого осталось устье Тары? Это, может быть, вам все равно, у кого оно осталось, а нам не все равно!

Корней медленно покачал головой.

— Вам тоже все равно, — устало сказал он. — Армий там больше нет — только гражданское население...

— Ага! — сказал Гаг. — Значит, крысоедов оттуда выбили?

— Да нет же... — Корней страдальчески сморщился. — Армий вообще больше не существует, понимаешь? Из устья Тары никто никого не выбивал. Просто и алайцы, и имперцы побросали оружие и разошлись по домам.

— Это невозможно, — сказал Гаг спокойно. — Я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете, Корней. Я вам не верю. Я вообще не понимаю, чего вам от меня надо. Зачем вы меня здесь держите? Если я вам не нужен — отпустите. А если нужен — говорите прямо...

Корней захрятел и с силой ударил себя по бедру.

— Значит, так, — сказал он. — Ничего нового по этой части я тебе сообщить не могу. Вижу, что тебе здесь не нравится. Знаю, что ты стремишься домой. Но тебе придется еще потерпеть. Сейчас у тебя на родине слишком тяжело. Разруха. Голод. Эпидемии. А сейчас еще и политическая неразбериха... Герцог, как и следовало ожидать, плюнул на все и бежал, как последний трус. Бросил на произвол судьбы не только страну...

-- Не говорите плохо о герцоге, — хрипло прорычал Гаг.

— Герцога больше нет, — холодно сказал Корней. — Герцог Алайский низложен. Впрочем, можешь утешиться: императору тоже не повезло.

Гаг криво ухмыльнулся и снова окаменел лицом.

— Пустите меня домой, — сказал он. — Вы не имеете права меня здесь держать. Я не военнопленный и не раб.

— Давай-ка так, — сказал Корней. — Давай не будем ссориться. Ты плохо себе представляешь, что там у вас делается. А там такие, как ты, сколотили банды, им все хочется поставить скелет на ноги, а этого, кроме них, никто уже не хочет. За ними охотятся, как за бешеными псами, и они обречены. Если тебя сейчас отправить домой, ты, конечно же, примкнешь к такой банде, и тогда тебе конец. И дело, между прочим, не только в тебе, дело еще и в тех людях, которых ты успеешь убить и замучить. Ты опасен. И для себя, и для других. Вот так, если откровенно.

Оказывается, Корней мог быть и таким. Перед Гагом стоял боец, и хватка у этого бойца была железная, и бил он в самую точку. Ну что ж, за откровенность спасибо. Значит, теперь так и будем: ты мне сказал, но я тебе тоже сейчас скажу. Хватит строить из себя мальчика в штанишках. Надоело.

— Значит, боитесь, что я там буду опасен, — сказал Гаг. Он уже больше не мог и не хотел сдерживаться. — Что ж, воля ваша. Только смотрите, как бы я ЗДЕСЬ не стал опасен!

Они стояли по сторонам траншеи, лицом к лицу, и сначала Гаг торжествовал, что ему удалось вызвать это холодное свечение в обычно добрых до отвращения глазах великого лукавца, а потом вдруг с изумлением и негодованием обнаружил, что свечение это исчезло, и снова у него, сатаны, улыбочка, и глаза снова прищурились по-отечески, змеиное молоко! И вдруг Корней фыркнул, захохотал, поперхнулся, закашлялся, снова захохотал и закричал, разведя руки:

— Кот! Ну кот и кот! Дикий... Ду-умай! — сказал он Гагу и постучал себя по темени. — Думай! Мозгами шевелить надо! Неужели ты зря здесь пятую неделю торчишь?

Тогда Гаг резко повернулся и пошел в степь.

— Думай! — в последний раз донеслось до него.

Он шел, не глядя под ноги, проваливаясь в сурчиные норы, спотыкаясь, царапая лодыжки колючками. Он ничего не видел и не слышал вокруг, перед глазами его стояло иссеченное морщинами землистое лицо с безмерно усталыми покрасневшими глазами, и в ушах звучал хриловатый голос: «Сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!» И этот человек, последний родной чело-

век, оставшийся в живых, сейчас где-то спасался, прятался, томился, а его гнали, охотились за ним, как за бешеным волком, вонючие орды обманутых, купленных, осатаневших от страха дикобразов. Чернь, сброд, отбросы — без чести, без славы, без совести... Вранье, вранье, не может этого быть! Лесные егеря, гвардия, десантники. Голубые Драконы... что, они тоже продались? Тоже бросили? Да ведь у них же ничего не было, кроме Него! Они ведь жили только для Него! Они умирали за Него! Нет, нет, ложь, чушь... Они взяли его в стальное кольцо, оцетинились штыками, стволами, огнеметами... это же лучшие бойцы в мире, они разгонят и раздавят взбесившуюся солдатню... О, как они будут их гнать, жечь, втоптывать в грязь... А я — я сижу здесь. Кот! Поганый щенок, а не Кот! Подобрали бедненького, залечили лапку, ленточкой украсили, а он знай себе машет хвостиком, молочко тепленькое лакает и все приговаривает «так точно» да «слушаюсь»...

Он споткнулся и упал всем телом в колючую сухую траву и остался лежать, закрыв голову от нестерпимого стыда. Но ведь один же! Один против всей этой махины! И ребята, друзья мои в этом лукавом аду, замолчали, который день не откликаются, ни строчки, ни буквы — может, их и в живых уже нет... а может, сдались? Неужели же я ничего не могу? Он трясся, как в лихорадке, под палящим солнцем, в мозгу возникали, кружились, проносились совершенно невозможные, немислимые способы борьбы, побега, освобождения... Весь ужас был в том, что Корней, конечно же, сказал правду. Недаром работала его машина, недаром съехались, сползлись, слетелись сюда все эти чудища с неведомых миров — сделали свое дело, разорили страну, загубили все лучшее, что в ней было, разоружили, обезглавили...

Он не услышал, как подошел Драмба, но потной спине под раскаленной рубашкой стало прохладно, когда тень робота упала на него, и ему стало легче. Все-таки он был не совсем один. Он еще долго лежал ничком, а солнце двигалось по небу, и Драмба бесшумно двигался возле, оберегая его от зноя. Потом он сел. Голые ноги были исполосованы колючками. На колено вспрыгнул кузнечик, бессмысленно уставился зелеными капельками глаз. Гаг брезгливо смахнул его и замер, разглядывая руку. Костяшки пальцев были ободраны.

— Когда это я? — произнес он вслух.

— Не могу знать, — сейчас же откликнулся Драмба.

Гаг осмотрел другую руку. Тоже в крови. Землюматушку, значит, молотил. Родительницу всех этих... ловкачей. Хорош Кот. Только истерики мне и не хватало. Он оглянулся в сторону дома. Зеленое облачко едва виднелось на горизонте.

— Много лишнего я сегодня наболтал, вот что... — сказал он медленно. — Дикобраз ты, а не Кот. Выдрать тебя некому. Угрожать вздумал, сопляк... То-то Корней закатился...

Он посмотрел на робота.

— Рядовой Драмба! Что делал Корней, когда я ушел?

— Приказал мне следовать за вами, господин капрал.

Гаг усмехнулся с горечью.

— А ты, конечно, подчинился... — Он поднялся, подошел к роботу вплотную. — Сколько тебя учить, дубина, — прошипел он яростно. — Кому ты подчиняешься? Кто твой непосредственный начальник?

— Капрал Гаг, Бойцовый Кот его высочества, — отчеканил Драмба.

— Так как же ты, дикобраз безмозглый, можешь подчиняться кому-то еще?

Драмба помедлил, потом сказал:

— Виноват, господин капрал.

— Э-эх... — произнес Гаг безнадежно. — Ладно, бери меня на плечи. Домой.

Дом встретил его непривычной тишиной. Дом был пуст. Улетели стервятники. На падаль. Гаг прежде всего искупался в бассейне, смыл кровь и пыль, тщательно причесался перед зеркалом и, переодевшись в свежее, решительно зашагал в столовую. К обеду он опоздал, Корней уже допивал свой сок. Он с нарочитым безразличием глянул на Гага и снова опустил взгляд в папку, лежащую перед ним. Гаг подошел к столу, кашлянул и проговорил стиснутым голосом:

— Я вел себя неправильно, Корней. (Корней кивнул, не поднимая глаз.) Я прошу у вас прощения.

Говорить было невыносимо трудно, язык едва ворочался. Пришлось остановиться на секунду и крепко стиснуть челюсти, чтобы привести себя в порядок.

— Конечно же, я... я буду все делать так, как вы приказываете. Я был не прав.

Корней вздохнул и отодвинул от себя папку.

— Я принимаю твои извинения... — Он побарабанил пальцами по столу. — Да. Принимаю. Правда, к сожалению, я виноват больше тебя. Да ты садись, ешь...

Гаг сел, не сводя с него настороженного взгляда.

— Видишь ли, ты еще молод, тебе многое можно простить. Но я! — Корней потряс в воздухе растопыренными пальцами. — Старый дурень! Все-таки в моем возрасте и с моим опытом пора бы уже знать, что есть люди, которые могут выдержать удар судьбы, а есть люди, которые ломаются. Первым рассказывают правду, вторым рассказывают сказки. Так что ты тоже прости меня, Гаг. Давай-ка постараемся забыть эту историю. — И он снова взялся за свои бумаги.

Гаг ел какое-то месиво из мяса и овощей, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, словно вату жевал. Уши его пылали. Чушь какая-то опять получалась. Больше всего хотелось заорать и ударить кулаком по столу. Хватит строить из меня щенка! Хватит! Меня ударами судьбы не сломишь, понятно? Мы не из ржавого железа!.. Надо же, как повернул, опять я кругом дурак... Гаг плеснул себе в стакан из оплетенной бутылки с кокосовым молоком. Вообще-то говоря, я и на самом деле дурак. Он со мной как с мужчиной, а я как баба. Вот и получается — щенок и дурак. Не хочу об этом думать. Не надо мне твоей правды, не надо мне твоих сказок. То есть за правду тебе, конечно, спасибо — я теперь хоть понял, что ждать больше нечего, что пора дело делать.

Корней поднялся, взял папку под мышку и ушел. Лицо у него было удрученное. Гаг, жуя и прихлебывая, поглядел в сад. На песчаную дорожку из густой травы выбрался большой кот рыжей масти, в зубах у него трепыхалось что-то пернатое. Кот угрюмо цовел дикими глазами вправо, влево и заструился к дому — должно быть, под крыльцо. Давай, давай, работай, брат-храбрец, подумал Гаг. Мне бы как-нибудь до вечера дотянуть, а там можно будет и делом заняться. Он вскочил, сбросил посуду в лючок и, пройдя по дому на цыпочках, направился в тот самый коридор. Надписей не прибавилось. Друзья в аду молчали. Ладно. Значит, придется все-таки в одиночку. Драмба... Нет. На рядового Драмбу надежды плохи. Жалко, конечно. Солдат бесценный. Но веры ему настоящей нет. Лучше уж без него. Пусть только сделает то, что надо, а потом я его... откомандирую.

Он вернулся в свою комнату, лег на койку, заложил руки за голову.

— Рядовой Драмба! — позвал он.

Драмба вошел и остановился у двери.

— Продолжай, — приказал Гаг.

Драмба привычно загудел прямо с середины фразы:

— ...никакого другого выхода. Врач, однако, был против. Он аргументировал свой протест, во-первых, тем, что существо, не принадлежащее к бранчу гуманоидных сапиенсов, не может быть объектом контакта без посредника...

— Пропусти, — сонно сказал Гаг.

— Слушаюсь, господин капрал, — отозвался Драмба и, помолчав, продолжал, на этот раз — с начала фразы: — На контакт вышли: Эварист Козак, командир корабля, Фаина Каминска, старший ксенолог группы, ксенологи...

— Пропусти! — раздраженно сказал Гаг. — Что там было дальше?

Внутри Драмбы заурчало, и он принялся рассказывать, как в зоне контакта вспыхнул неожиданно пожар, контакт был прерван, из-за стены огня раздалась вдруг выстрелы, штурман группы семи-гуманоид Кварр погиб, и тело его не было обнаружено, Эварист Козак, командир корабля, получил тяжелое проникающее ранение в область живота...

Гаг заснул.

Он проснулся словно от удара мокрым полотенцем по лицу: где-то рядом разговаривали по-алайски. Сердце колотилось как бешеное, трещала голова. Но это был не сон и не бред.

— ...Я обратил внимание на то, что большинство его работ написано в Гигне, — говорил незнакомый ломающийся голос. — Может быть, это вам поможет?

— Гигна... — отозвался голос Корнея. — Позволь. Где это?

— Это курортное местечко... западный берег Заггуты. Знаете, озеро такое...

— Знаю. Ты думаешь...

— По-видимому, он часто там работал... Жил, наверное, у какого-нибудь мецената...

Гаг бесшумно скатился с койки и подкрался к окну. На крыльце Корней разговаривал с каким-то парнем лет шестнадцати, худым, белобрысым, с большими бледными глазами, как у куклы, — явным и очевидным алайцем с юга. Гаг вцепился пальцами в подоконник.

— Это любопытно, — задумчиво сказал Корней. Он похлопал парня по плечу. — Это идея, ты молодчина, Данг. А наши разини прозевали...

— Его надо обязательно найти, Корней! — Парень

прижал кулаки к узкой груди. — Вы же сами говорили, что даже ваши ученые заинтересовались, и теперь я понимаю — почему... Он на вашем уровне! Он даже выше кое в чем... Вы просто обязаны его найти!

Корней тяжело вздохнул.

— Мы сделаем все, что сможем, голубчик... но знал бы ты, как это трудно! Ты ведь представления не имеешь, что там у вас сейчас делается...

— Имею, — коротко сказал парень.

Они помолчали.

— Лучше бы вы меня там оставили, а его вытащили, — тихо проговорил парень, глядя в сторону.

— На тебя нам повезло наткнуться, а на него — нет, — так же тихо отозвался Корней. Он снова взял парня за плечо. — Мы сделаем все, что в наших силах.

Парень кивнул.

— Хорошо

Корней снова вздохнул.

— Ну, ладно... Значит, ты прямо в Обнинск?

— Да.

— Тебе там больше понравится. По крайней мере, там у тебя будут квалифицированные собеседники. Не такие дремучие прагматики, как я.

Парень слабо улыбнулся, и они пожали друг другу руки — по-алайски, крест-накрест.

— Что ж, — сказал Корней. — Нуль-кабиной ты теперь пользоваться умеешь...

Они вдруг разом засмеялись, вспомнив, по-видимому, какую-то историю, связанную с нуль-кабиной.

— Да, — сказал парень. — Этому я научился... Умею... Но вы знаете, Корней, мы решили пробежаться до Антонова. Ребята обещали показать мне что-то в степи...

— А где они? — Корней огляделся.

— Сейчас подойдут, наверное. Мы условились, что я пойду вперед, а они меня нагонят... Вы идите, Корней, я и так вас задержал. Спасибо вам большое...

Они вдруг обнялись — Гаг даже вздрогнул от неожиданности, — а затем Корней слегка оттолкнул парня и быстро ушел в дом. Парень спустился с крыльца и пошел по дорожке, и тут Гаг увидел, что он сильно хромотает, припадая на правую ногу. Эта нога у него была явно короче и тоньше левой.

Несколько секунд Гаг смотрел ему вслед, а потом рывком перебросил тело через подоконник, пал на чет-

вереньки и сразу же нырнул в кусты. Он неслышно следовал за этим Дангом, уже испытывая к нему безотчетную неприязнь, то брезгливое отвращение, которое он всегда чувствовал к людям увечным, ущербным и вообще бесполезным. Но этот Данг был алаец, причем, судя по имени и по выговору, — южный алаец, а значит, алаец первого сорта, и как бы там ни было, поговорить с ним было необходимо. Потому что это был все-таки шанс.

Гаг настиг его уже в степи, выждав момент, когда дом до самой крыши скрылся за деревьями.

— Эй, друг! — негромко позвал он по-алайски.

Данг стремительно обернулся. Он даже пошатнулся на покалеченной ноге. Кукольные глаза его раскрылись еще шире, и он попятился. Все краски сбежали с его тощего лица.

— Ты кто такой? — пробормотал он. — Ты... этот... Бойцовый Кот?

— Да, — сказал Гаг. — Я — Бойцовый Кот. Меня зовут Гаг. С кем имею честь?

— Данг, — отозвался тот, помолчав. — Извини, я спешу...

Он повернулся и, хромя еще сильнее, чем раньше, пошел прочь прежней дорогой. Гаг нагнал его и схватил за руку повыше локтя.

— Подожди... Ты что, разговаривать не хочешь? — удивленно проговорил он. — Почему?

— Я спешу.

— Да брось ты, успеешь!.. Вот так картинка! Встретились в этом аду два алайца — и чтобы не поговорить? Что это с тобой? Одурел совсем, что ли?

Данг попытался высвободить руку, но куда там! Он был совсем хилый, этот недоносок из южан.

Гаг ничего не понимал.

— Слушай, друг... — начал он с невозможной проникновенностью.

— В аду твои друзья! — сквозь зубы процедил Данг, глядя на него с явной ненавистью.

От неожиданности Гаг выпустил его руку. На мгновение он даже потерял дар речи. В аду твои друзья... Твои друзья в аду... Твои друзья — в аду! Он даже задохнулся от бешенства и унижения.

— Ах ты... — сказал он. — Ах ты, продажная шкура! Задавить, на куски разодрать тварюгу...

— Сам ты барабанная шкура! — прошипел Данг сквозь зубы. — Палач недобитый, убийца.

Гаг, не размахиваясь, ударил его под ложечку, и, когда хляк согнулся пополам, Гаг, не теряя драгоценного времени, с размаху ахнул кулаком по белобрысому затылку, подставив колено под лицо. Он стоял над ним, опустив руки, глядел, как он корчился, захлебываясь кровью, в сухой траве, и думал: вот тебе и союзничек, вот тебе и друг в аду... Во рту у него была горечь, и ему хотелось плакать. Он присел на корточки, приподнял голову Данга и повернул к себе его залитое кровью лицо.

— Дрянь... — прохрипел Данг и всхлипнул. — Палач... Даже сюда...

— Зачем это? — произнес сумрачный голос.

Гаг поднял глаза. Над ним стояли двое — какие-то незнакомые из местных, тоже совсем молодые. Гаг осторожно опустил голову южанина на траву и поднялся.

— Зачем... — пробормотал он. — Откуда я знаю — зачем?

Он повернулся и пошел к дому.

Ломая кусты и топчя клумбы, он напрямик прошел к крыльцу, поднялся к себе, упал ничком на койку и так пролежал до самого вечера. Корней звал его ужинать — он не пошел. Бубнили голоса в доме, слышалась музыка, потом стало тихо. Отругались воробьи, устраиваясь на ночь в зарослях плюща, завели бесконечные песни цикады, в комнате становилось все темнее и темнее. И когда стало совсем темно, Гаг поднялся, поманил за собой Драмбу и прокрался в сад. Он прошел в самый дальний угол сада, в густые заросли сирени, уселся там прямо на теплую траву и сказал негромко:

— Рядовой Драмба. Слушай внимательно мои вопросы. Вопрос первый. По металлу работать умеешь?

Глава седьмая

За завтраком Корней не сказал со мной ни слова, даже не поглядел на меня. Будто меня за столом и нет вовсе. Я, натурально, поджался, жду, что будет, и на душе, надо сказать, гадостно донельзя. Все время то ли вымыться хочется, то ли сдохнуть вообще. Ну, поел я кое-как, поднялся к себе, натянул форму — не помогает. Вроде бы даже еще хуже стало. Взял портрет ее высочества — выскользнул он у меня из рук, закатился под койку, я и искать не стал. Сел перед окошком, локти на подоконник поставил, гляжу в сад — ничего не вижу, ничего не хочу. Домой хочу. Просто домой, где все не так, как здесь. Что

за судьба у меня собачья? Ничего ведь в жизни не видел. То есть видел, конечно, много, другому столько и не приснится, сколько я наяву видел, а вот радости — никакой. Стал вспоминать, как герцог меня табаком одарил, --- бросил, не помогает. Вместо его лица все выплывает этот хиллак, тощая его физиономия, вся в кровище. А вместо его голоса — совсем другой голос, и он все повторяет: «Зачем это? Зачем это?» Откуда я знаю — зачем?

Потом вдруг распахнулась дверь, вошел Корней — как туча, глаза — молнии, — ни слова не говоря, швырнул мне чуть ли не в лицо пачку каких-то листов (это Корней-то! Швырнул!) и, опять ничего не сказав, повернулся и ушел. И дверью грохнул. Я чуть не завыл от тоски, пнул эти листки ногой, по всей комнате они разлетелись. Стал снова в сад глядеть — черно перед глазами, не могу. Подобрал листок, что поближе, стал читать. Потом другой, потом третий... Потом собрал все, сложил по порядку, стал читать снова.

Это все были отчеты. Корнеевы люди, которые, как я понимаю, были заброшены к нам, работали там у нас: кто дворником, кто парикмахером, а кто и генералом. И вот они, значит, докладывали Корнею о своих наблюдениях. Чистая работа, ничего не скажешь. Профессионалы.

Ну, было там про этого парнишку, про Данга. Жил он, как и я, в столице и даже недалеко от меня, напротив зоопарка. Отца у него убили еще во время первого Тарского инцидента. Он был ученый, ловил в устье Тары каких-то своих научных рыб, ну, там его ненароком и шлепнули. Остался он один с матерью. Как и я. Только мать его была интеллигентная и пошла в учительницы, музыку преподавала. А он, между прочим, сам тоже был парень с головой. Премии всякие в школе хватал, главным образом — по математике. У него способности были большие, вроде как у меня к технике, только больше. Когда началась эта война, он чуть ли не в самую первую бомбежку попал под бомбу, ребра ему поломало, правую ногу навеки изуродовало.

И пока я, значит, брал Арихаду, подавлял бунты и ходил в десант в устье Тары, он круглосуточно лежал дома. Я не в укор ему говорю, он там намучился, может быть, еще больше меня: в ихний дом попало две бомбы, его газами отравило, дом весь потом выселили, остались они вдвоем с матерью в этой руине — не знаю уж, почему мать не захотела переезжать. И вот, значит, мать его

каждый день уходила на работу, уже теперь не в музыкальную школу, а на патронный завод. Иногда на сутки уходила, иногда на двое. Оставит ему кое-какую еду, суп в ватник завернет, чтобы он мог дотянуться, — сам он с постели почти что и не вставал — и уйдет. Ну вот она однажды ушла да и не пришла. Неизвестно, что с нею случилось. Этот Данг совсем уже загибался, когда на него случайно вышел Корнеев разведчик. В общем, жуткая, конечно, история. Прямо посреди столицы погибал от голода и холода парень, причем большой математический талант, даже огромный, и всем на него было наплевать. Так бы и подох, как собака под забором, если б не этот тип. Ну, он раз к нему пришел, два пришел, еду ему носит. А парень возьми его и расколи! Тот только рот разинул. А Данг ему вроде ультиматума: или вы меня отсюда к себе возьмете, в ваш мир то есть, или я повешусь. Вон, говорит, петелька висит, видите? Ну, Корней дал, конечно, распоряжение... Такая вот история.

Там еще много чего было. Было там и о герцоге, и об Одноглазом Лисе, и о господине фельдмаршале Брагге, обо всех там было. Как они политику делают, как они развлекаются в свободное время... Я то и дело читать бросал, ногти грыз, чтобы успокоиться. И об ее высочестве тоже было. Оказывается, гофмаршалом во дворце служил тоже человек Корнея, так что сомневаться не приходится. Это же не то что для меня материалы подбирались. Это ведь Корней их из какого-то дела надергал, прямо с мясом выдирал. Ну, ладно.

Сложил я эти листики аккуратной стопочкой, подровнял, взвесил на руке и опять по комнате пустил. Вообще-то, если говорить честно, оставалось мне одно: пуля в лоб. Хребет они мне переломили, вот что. Добились своего. Весь мир в глазах перевернули вверх тормашками. Как жить — не знаю. Зачем жить — не понимаю. Как теперь Корнею в глаза смотреть — и вовсе не ведаю. Эх, думаю, разбегусь я сейчас по комнате, руки по швам и — в окошко, башкой вниз. И всему конец, хоть всего-то второй этаж. Но тут как раз приперся Драмба, требует очередной чертеж. Отвлек он меня. А когда ушел, стал я уже рассуждать поспокойнее. Целый час сидел, ногти грыз, а потом пошел и искупался. И странное вдруг у меня облегчение наступило. Словно какой-то пузырь болезненный у меня в душе надувался, надувался, а теперь вот лопнул. Словно я с какими-то долгами рассчитался. Словно я этим отчаянием своим какую-то вину перед

кем-то искупил. Не знаю перед кем. И не знаю какую. И в голове у меня только одно: домой, ребята! По домам! Все мои долги, какие еще остались, — все они там, дома.

За обедом Корней мне говорит, не глядя, сурово, неприветливо:

— Прочитал?

— Да.

— Понял?

— Да.

На этом наш разговор и кончился.

После обеда заглянул я к Драмбе. Вкалывает мой рядовой вовсю, только стружка летит. Весь в опилках, в горячем масле, руки так и ходят. Одно удовольствие было на него смотреть. Быстро у него это дело продвигалось — просто на диво. А мне теперь оставалось только одно: ждать. Ну, ждать пришлось мне недолго, дня два. Когда машинка была готова, я ее сложил в мешок, отнес к прудам, собрал там и опробовал с молитвою. Ничего машинка, молотит. Плюется, но все-таки получилась она получше, чем у наших повстанцев, которые делали свои сморкалки вообще из обрезков водопроводных труб. Ну, вернулся я, сунул ее вместе с мешком в железный ящик. Готов.

И вот в тот же вечер (я уже спать нацеливался) открывается дверь, и стоит у меня на пороге эта женщина. Слава богу, я еще не разделся — сидел на койке в форме и снимал сапоги. Правый снял, но только это за левый взялся, смотрю — она. Я ничего даже подумать не успел, только взглянул и, как был в одном сапоге, вскочил перед нею и вытянулся. Красивая она была, ребята, даже страшно — никогда я у нас таких не видел, да и не увижу, наверное, никогда.

— Простите, — говорит она, улыбаясь. — Я не знала, что здесь вы. Я ищу Корнея.

А я молчу, как болван деревянный, и только глазами ее ем, но почти ничего не вижу. Обалдел. Она обвела взглядом комнату, потом снова на меня посмотрела — пристально, внимательно, уже без улыбки, — ну, видит, что от меня толку добиться невозможно, кивнула и вышла и дверь за собой тихонько прикрыла. И верите ли, ребята, мне показалось, что в комнате сразу стало темнее.

Долго я стоял вот так, в одном сапоге. Все мысли у меня спутались, ничегошеньки я не соображал. Не знаю уж, в чем тут дело: то ли освещение было какое-то особенное в ту минуту, а может быть, и сама эта минута

была для меня особенной, но я потом полночи все крутился и не мог в себя прийти. Вспоминал, как она стояла, как глядела, что говорила. Сообразил, конечно, что она мне неправду сказала, что вовсе она не Корнея искала (нашла где искать!), а зашла она сюда специально, на меня посмотреть.

Ну, это ладно. Другая мысль меня в тоску смертную вогнала: понял я, что довелось мне увидеть в эту минуту малую частичку настоящего большого мира этих людей. Корней ведь меня в этот мир не пустил, и правильно, наверное, сделал. Я бы в этом мире руки на себя наложил, потому что это невозможно: видеть такое ежеминутно и знать, что никогда ты таким, как они, не будешь и никогда у тебя такого, как у них, не будет, а ты среди них, как сказано в священной книге, есть и до конца дней своих останешься «безобразен, мерзок и затхл»... В общем, плохо я спал в эту ночь, ребята, можно сказать, что и вовсе не спал. А едва рассвело, я выбрался в сад и залег в кустах на обычном своем наблюдательном пункте. Захотелось мне увидеть ее еще раз, разобраться, понять, чем же она меня вчера так ударила. Ведь видел же я ее и раньше, из этих самых кустов и видел...

И вот когда они шли по дорожке к нуль-кабине, рядом, но не касаясь друг друга, я смотрел на нее и чуть не плакал. Ничего опять я в ней не видел. Ну, красивая женщина, спору нет, — и всё. Вся она словно погасла. Словно из нее душу живую вынули. В синих глазах у нее была пустота, и около рта появились морщины.

Они прошли мимо меня молча, и только у самой кабины она, остановившись, проговорила:

— Ты знаешь, у него глаза убийцы...

— Он и есть убийца, — тихо ответил Корней. — Профессионал.

— Бедный ты мой, — сказала она и погладила его ладонью по щеке. — Если бы только я могла с тобой остаться... но я правда не могу. Мне здесь тошно...

Я не стал дальше слушать. Ведь это они про меня говорили. Прокрался я к себе в комнату, посмотрел в зеркало. Глаза как глаза. Не знаю, чего ей надо. А Корней правильно ей сказал: профессионал. Тут стесняться нечего. Чему меня научили, то я и умею... И я всю эту историю от себя отмел. У вас свое, у меня свое. Мое дело сейчас — ждать и дожидаться. Как я оставшиеся три дня провел — не знаю. Ел, спал, купался. Опять спал. С Корнеем мы почти не разговаривали. И не то чтобы он

меня не простил за тот случай или всякое там, нет. Просто он занят был по горло. Теперь уж до последнего предела. Даже осунулся. Народ к нам снова зачастил, так и прут. Не поверите — дирижабль прилетел, целые сутки висел над садом, а к вечеру как посыпались из него, как посыпались... Но вот что удивительно — за все это время ни одного «призрака». Я уже давно заметил: «призраки» у них здесь прибывают либо поздним вечером, либо рано утром, не знаю уж почему. Так что днем я как в тумане был, ни на что внимания не обращал, а как солнце сядет, звезды высыпят, так я у окна с машинкой на коленях. А «призраков» нет, хоть ты лопни. Я жду, а их нет. Я уж, честно говоря, тревожиться начал. Что это, думаю, специально? И тут он все на сто лет вперед рассчитал?

За все это время только одно интересное событие и произошло. В последний день. Дрыхну это я перед ночной своей вахтой, и вдруг будит меня Корней.

— Что это ты среди бела дня завалился? — спрашивает он меня недовольно, но недовольство это, я вижу, какое-то ненастоящее.

— Жарко, — говорю. — Сморило.

Сморозил, конечно, спросонья. Как раз весь этот день дождик с самого утра моросил.

— Ох, распустил я тебя, — говорит он. — Ох, распустил. У меня руки не доходят, а ты пользуешься... Пойдем. Ты мне нужен.

Вот это номер, думаю. Понадобился. Ну, конечно, вскакиваю, постель привел в порядок, берусь за сандалии, и тут он мне преподносит.

— Нет, — говорит. — Это оставь. Надень форму. И оправься как следует... причешишь. Вахлак вахлаком, смотреть стыдно...

Ну, ребята, думаю, моря горят, леса текут, мышка в камне утонула. Форму ему. И разобрало меня любопытство. Облачаюсь, затягиваюсь до упора, причесался. Каблуками щелкнул. Слуга вашего превосходительства. Он осмотрел меня с головы до ног, усмехнулся чему-то, и пошли мы через весь дом к нему в кабинет. Он входит первым, отступает на шаг в сторону и четко по-алайски произносит:

— Разрешите, господин старший бронемастер, представить вам. Бойцовый Кот его высочества, курсант третьего курса Особой столичной школы Гаг.

Гляжу — и в глазах у меня потемнение, а в ногах дрожание. Прямо передо мной, как привидение, сидит,

развалиясь в кресле, офицер-бронеходчик. Голубой Дракон, «Огонь на колесах» в натуральную величину, в походной форме при всех знаках различия. Сидит, нога на ногу, ботинки сияют, шипами оскалились, коричневая кожаная куртка с подпалинами, с плеча свисает голубой шнур — тот еще волк, значит... и морда, как у волка, горелая пересаженная кожа лоснится, голова бритая наголо, с коричневыми пятнами от ожогов, глаза, как смотровые щели, без ресниц... Ладони у меня, ребята, сами собой уперлись в бедра, а каблук так щелкнул, как никогда еще здесь не щелкали.

— Вольно, курсант, — произносит он сиплым голосом, берет из пепельницы сигаретку и затягивается, не отрывая от меня своих смотровых щелей.

Я опустил руки.

— Несколько вопросов, курсант, — сказал он и положил сигаретку обратно на край пепельницы.

— Слушаю вас, господин старший бронемастер!

Это не я говорю, это мой рот сам отбарабанивает. А я в это время думаю: что же это такое, ребята? Что происходит? Ничего не соображаю. А он говорит, невнятно так, сглатывая слова, я эту ихнюю манеру знаю:

— Слышал, что его высочество удостоил тебя... а-а... жевательным табаком из собственной руки.

— Так точно, господин старший бронемастер!

— Это за какие же... а-а... подвиги?

— Удостоен как представитель курса после взятия Арихады, господин старший бронемастер!

Лицо у него равнодушное, мертвое. Что ему Арихада? Опять взял сигаретку, осмотрел тлеющий кончик, вернул в пепельницу.

— Значит, был удостоен... Раз так, значит... а-а... нес впоследствии караульную службу в ставке его высочества...

— Неделью, господин старший бронемастер, — сказал мой рот, а голова моя подумала: ну, чего пристал? Чего тебе от меня надо?

Он вдруг весь подался вперед.

— Маршала Нагон-Гига в ставке видел?

— Так точно, видел, господин старший бронемастер!

Змеиное молоко! Экий барин горелый выискался! Я с самим генералом Фраггой разговаривал, не тебе чета, и тот со второго моего ответа позволил и приказал: без званий. А этому, видно, как музыка: «Господин старший бронемастер». Новопроизведенный, что ли? А может, из

холопов, выслуживался... опомниться не может.

— Если бы сейчас маршала встретил, узнал бы его?

Ну и вопросик! Маршал — он был такой низенький, грузный, глаза у него все слезились. Но это от насморка. Если бы у него глаза не было или, скажем уха... а так — маршал как маршал. Ничего особенного. В ставке их много, Фрагга был еще из боевых...

— Не могу знать, — сказал я.

Он снова откинулся на спинку кресла и снова взялся за сигаретку. Не нравилась ему эта сигаретка. Он ее больше в руках держал да обнюхивал, чем затягивался. Ну и не курил бы... вон бычок какой здоровенный, а я мох курю...

Он подобрал под себя свои голенастые ноги, поднялся, прошел к окну и стал спиной ко мне со своей сигареткой — только голубой дымок поднимается из-за плеча. Думает. Мыслитель.

— Ну, хорошо, — говорит, совсем уже невнятно, и получается у него «нухшо». — А нет ли у тебя... а-а... курсант, старшего брата у нас в Голубых бронеходцах?

Даже морду не повернул. Так, ухо немножко в мою сторону преклонил. А у меня, между прочим, три брата было... могли бы быть, да все в грудном возрасте померли. И такая меня злоба вдруг взяла, на все вместе разом.

— Какие у меня, змеиное молоко, братья? — говорю. — Откуда у нас братья? Мы сами-то еле живы...

Он мигом ко мне повернулся, словно его шилом ткнули. Уставился. Ну чисто бронеход! А я вроде бы в окопе сижу... У меня по старой памяти кожа на спине съежилась, а потом думаю: идите вы все с вашими взорами, тоже мне — старший бронемастер драной армии... Сам небось драпал, все бросил, аж сюда додрапал, от своих же небось солдат спасался... И отставляю я нагло правую ногу, а руки завожу за спину и гляжу ему прямо в смотровые щели.

Полминуты он, наверное, молчал, а потом просипел:

— Как стоишь, курсант?

Я хотел сплюнуть, но удержался, конечно, и говорю:

— А что? Стою как стою, с ног не падаю.

И тут он двинулся на меня через всю комнату. Медленно, страшно. И не знаю я, чем бы это все кончилось, но тут Корней из своего угла, где он все это время сидел с бумажками, подает вдруг голос:

— Бронемастер, друг мой, полегче... не заезжайте...

И всё. По опаленной морде прошла какая-то судорога, и господин старший бронемастер, не дойдя до меня,

свернул к своему креслу. Готов. Скис Голубой Дракон. Это тебе не комендатура. И ухмыльнулся я всем своим одеревенелым лицом как только мог нагло. А сам думаю: ну, а если бы Корнея не было? Вышел бы Корней на минуту? Ударил бы он меня, и я бы его убил. Точно, убил бы. Руками. Он повалился в свое кресло, придавил наконец в пепельнице эту сигаретку и говорит Корнею:

— Все-таки у вас здесь очень жарко, господин Корней... Я бы не отказался от чего-нибудь... а-а... освежающего.

— Соку? — предлагает Корней.

— Соку? А-а... нет. Если можно, чего-нибудь покрепче.

— Вина?

— Да, пожалуй.

На меня он больше не смотрит. Игнорирует. Берет у Корнея бокал и запускает в него свой обгорелый нос. Сосет. А я обалдел. То есть как это? Нет, конечно, всякое бывает... тем более разгром... разложение... Да нет! Это же Голубой Дракон! Настоящий! И вдруг у меня как пелена с глаз упала. Шнурок... вино... Змеиное молоко, да это же все липа! Корней говорит:

— Ты не выпьешь, Гаг?

— Нет, — говорю. — Не выпью. И сам не выпью, и этому не советую... господину старшему бронемастеру.

И такое меня веселье злое разобрало, я чуть не расхохотался. Они оба на меня вылупились. А я подошел к этому горелому барину, отобрал у него бокал и говорю — мягко так, отечески поучаю:

— Голубые Драконы, — говорю, — вина не пьют. Они вообще спиртного не пьют. У них, господин старший бронемастер, зарок: ни капли спиртного, пока хоть одна полосатая крыса оскверняет своим дыханием атмосферу Вселенной. Это раз. А теперь шнурочек... — Берусь я за этот знак боевой доблести, отстегиваю от пуговицы куртки и аккуратненько пускаю его вдоль рукава. — Шнурок доблести только по уставу вам положено пристегивать к третьей пуговице сверху. Никакой настоящий Дракон его не пристегивает. На гауптвахтах сидят, но не пристегивают. Это, значит, два.

Ах, какое я наслаждение испытывал. Как мне было легко и прекрасно! Оглядел я еще раз их, как они меня слушают, будто я сам пророк Гагура, вещающий из ямы истину господню, да и пошел себе на выход. На пороге я остановился и напоследок добавил:

— А при разговоре с младшим по чину, господин старший бронемастер, не велите себя все время величать полным титулом. Ошибки здесь большой, конечно, нет, только уважать вас не будут. Это не фронтовик, скажут, это тыловая крыса в форме фронтовика. И лицо обгорелое вам не поможет. Мало ли где люди обгорают...

И пошел. Сел у окошка, ручки на коленях сложил — хорошо мне так, спокойно, как будто я большое дело сделал. Сижу, перебираю в голове, как все это было. Как Корней сначала только глазами хлопал, а потом подобрался весь, каждое мое слово ловил, шею вытянув, а у этого фальшивого бронемастера даже варежка открылась от внимания... Но, конечно, я недолго так себя тешил, потому что очень скоро пришло мне в голову, что на самом-то деле получилась какая-то чушь, получилось, что они засылают к нам шпиона, а я этому помогаю. Консультирую, значит. Как последняя купленная дрянь. Обрадовался, дурак! Разоблачил! Взяли бы его там, поставили бы к стенке, и делу конец... Какому делу? Не-ет, это все не так просто. Я ведь почему завелся? Меня этот Дракон завел. Мне ж на него смотреть тошно было. Раньше небось не тошнило, раньше пал бы я перед ним на колени, перед братом-храбрецом, сапоги бы ему чистил с гордостью, хвастался бы потом... Знаешь, я кому сапоги чистил? Старшему бронемастеру! Со шнуром!.. Нет-нет, разобраться надо.

Сидел я аж до самых сумерек и все разбирался, а потом пришел Корней, руку мне положил на плечо, прямо как тому... Дангу.

— Ну, — говорит, — дружище, спасибо тебе. Я так и чувствовал, что ты что-нибудь заметишь. Понимаешь, мы его в большой спешке готовили... Человека одного спасти надо. Большого вашего ученого. Есть подозрение, что он скрывается на западном берегу озера Заггута, а там сейчас бронечасть окопалась, и никому туда проходу нет. Только своих принимают. Так что считай: ты сегодня двух человек спас. Двух хороших людей. Одного вашего и одного нашего.

Ладно. Много он мне еще всякого наговорил. Прямо медом по сердцу. Я уж не знал, куда глаза девать, потому что, когда я их, значит, консультировал, у меня, натурально, и в мыслях не было кого-нибудь спасти. Просто от злорадства...

— Когда же он отбывает? — спрашиваю. Просто так

спросил — поток Корнеева красноречия немножко притормозить.

— Утром, — отвечает. — В пять утра.

И тут до меня дошло. Эге, думаю. Вот и дождался.

— Отсюда? — спрашиваю. Уже не просто так.

— Да, — отвечает он. — С этой поляны.

— Угу, — говорю. — Надо бы мне его проводить, посмотреть напоследок. Может, еще чего замечу...

Корней засмеялся, снова потрепал меня по плечу.

— Как хочешь, — говорит. — Но лучше бы тебе поспать. Ты что-то последнее время совсем от режима отбился. Пойдем ужинать, и ложись-ка ты спать.

Ну, пошли мы ужинать. За ужином Корней был веселый, давно я его таким не видел. Рассказывал разные смешные истории из тех времен, когда работал он у нас в столице курьером в одной банке, как его гангстеры вербовали и что из этого вышло. Спросил он меня, где Драмба, почему его последние дни не видно. Я ему по-честному сказал, что Драмба у меня строит укреп-район около прудов.

— Укрепрайон — это хорошо, — говорит он серьезно. — Значит, в крайнем случае будет где отсидеться. Погоди, я освобожусь, мы еще настоящую военную игру устроим, все равно ребят нужно будет тренировать...

Ну, поговорили мы про муштровку, про маневры; я смотрю, какой он ласковый да приветливый, а сам думаю: попросить его, что ли, еще разок? Добром. Отпусти, мол, меня домой, а? Нет, не отпустит. Он меня до тех пор не отпустит, пока точно не убедится, что я безопасен. А как его убедить, что я уже и так безопасен, когда я и сам не знаю этого?..

Расстались мы. Пожелал он мне спокойного сна, и пошел я к себе. Спать я, конечно, не стал. Так, прилег немножко, подремал вполглаза. А в три часа уже поднялся, стал готовиться. Готовился я так, как ни в какой поиск никогда еще не готовился. Жизнь моя должна была решиться этим утром, ребята. В четыре часа я уже был в саду и сидел в засаде. Время, как всегда в таких случаях, еле ползло. Но я был совершенно спокоен. Я просто знал, что должен эту игру выиграть и что по-другому быть просто не может. А время... Что ж, медленно там или быстро, а оно всегда проходит.

Ровно в пять, только роса выпала, раздалось у меня над самым ухом знакомое хриплое мяуканье, ударило по кустам горячим ветром, зажегся над поляной первый

огонь, и вот — он уже стоит. Рядом. Так близко я его еще никогда не видел. Огромный, теплый, живой, и бока у него, оказывается, вроде бы даже шерстью покрыты и заметно шевелятся, пульсируют, дышат... Черт знает, что за машина. Не бывает таких машин. Я переменял позицию, чтобы быть поближе к дорожке. Смотрю — идут. Впереди мой Голубой Дракон, шнурок у него болтается как положено, в руке стек, это они хорошо подумались: у них ведь если шнурок заслужил, то обязательно и стек, я и сам об этом позабыл. В порядке мой Дракон. Корней шагает за ним следом, и оба они молчат — видно, все уже сказано, остается только руки пожать или, как у них здесь принято, обняться и на дорогу благословить. Я подождал, пока подошли они к «призраку» вплотную, чвакнул, раскрываясь, люк, — и тут я вышел из кустов и наставил на них свою машинку.

— Стоять не шевелясь!

Они разом повернулись ко мне и застыли. Я стоял на полусогнутых, приподняв ствол автомата, — это на тот случай, если кто-нибудь из них вдруг прыгнет на меня через все десять метров, которые нас разделяют, и тогда я встречу его в воздухе.

— Я хочу домой, Корней, — сказал я. — И вы меня сейчас туда заберете. Без всяких разговоров и без всяких отсрочек...

В рассветных сумерках лица их были очень спокойны. И краем сознания я отметил, что Корней остался Корнем, а Голубой Дракон остался Голубым Драконом, и оба они были опасны. Ох, как они были опасны!

— Или мы туда отправимся вместе, — сказал я, — или туда не отправится никто. Я вас тут обоих положу и сам лягу.

Сказал и замолчал. Жду. Нечего мне больше сказать. Они тоже молчат. Потом Голубой Дракон чуть поворачивает голову к Корнею и говорит:

— Этот мальчишка... а-а... совершенно забылся. Может быть, мне взять его с собой? Мне же нужен... а-а... денщик.

— Он не годится в денщики, — сказал Корней, и на лице его ни с того ни с сего вдруг появилось то самое выражение предсмертной тоски: как в госпитале.

Я даже растерялся.

— Мне надо домой! — сказал я. Будто прощения просил.

Но Корней уже был прежним.

— Кот, — сказал он. — Эх, ты, котяра... гроза мышей!

Глава восьмая

Гаг продрался через последние заросли и вышел к дороге. Он оглянулся. Ничего уже нельзя было разобрать за путаницей гнилых ветвей. Лил проливной дождь. Смрадом несло из кювета, где в глиняной жиже кисли кучи какого-то зловещего черного тряпья. Шагах в двадцати, на той стороне дороги, торчал, завалившись бортом в трясику, обгорелый бронеход — медный ствол огнемета нелепо целился в низкие тучи. Гаг перепрыгнул через кювет и по обочине зашагал к городу. Дороги как таковой не было. Была река жидкой глины, и по этой жиже навстречу, из города, поминутно увязая, тащились запряженные изнемогающими волами расхлябанные телеги на огромных деревянных колесах, и закутанные до глаз женщины, поминутно оскальзываясь, плача и скверно ругаясь, неистово молотили волов по ребристым бокам, а на телегах, погребенные среди мокрых узлов, среди торчащих ножками стульев и столов, жались друг к другу бледные золотушные ребяташки, как обезьяны под дождем, — их было много, десятки на каждой телеге, и не было в этом плачевном обозе ни одного мужчины... На сапогах уже налипло по пуду грязи, дождь пропитал куртку, лил за воротник, струился по лицу. Гаг шагал и шагал, а навстречу тянулись беженцы, сгибались под мокрыми тюками и ободранными чемоданами, толкали перед собой тележки с жалкой поклажей, молча, выбиваясь из последних сил, давно, без остановок. И какой-то старик со сломанным костылем на коленях сидел прямо в грязи и монотонно повторял без всякой надежды: «Возьмите ради бога... Возьмите ради бога...» И на покосившемся телеграфном столбе висел какой-то чернолицый человек со скрученными за спиной руками... Он был дома.

Он миновал застрявший в грязи военный санитарный автофургон. Водитель в грязном солдатском балахоне, в засаленной шапке блином, приоткрыв дверцу, надсадно орал что-то неслышное за ревом двигателя, а у заднего борта в струях грязи, летящих из-под буксующих колес, бестолково и беспомощно суетились маленький военврач с бакенбардами и молоденькая женщина в форме, видимо, медсестра. Проходя мимо, Гаг мельком подумал, что только этот автомобиль направляется в город навстречу общему потоку, да и он вот застрял...

— Молодой человек! — услышал он. — Стойте! Я вам приказываю!

Он остановился и повернул голову. Военврач, оскальчиваясь, нелепо размахивая руками, бежал к нему, а следом кабаном пер водитель, совершенно озверелый, красно-лиловый, квадратный, с прижатыми к бокам огромными кулаками.

— Немедленно извольте нам помочь! — фальцетом закричал врач, подбегая. Он был залит коричневой жижей, и непонятно было, что он мог видеть сквозь заляпанное пенсне. — Я не позволяю вам отказываться!

Гаг молча смотрел на него.

— Поймите, там чума! — кричал врач, тыча грязной рукой в сторону города. — Я везу сыворотку! Почему никто не хочет мне помочь?

Что в нем было? Старенький, немощный, грязный... А Гаг почему-то увидел перед собой залитые солнцем комнаты, огромных, красивых, чистых людей в комбинезонах и пестрых рубашках и как вспыхивают огни «призраков» над круглой поляной... Это было словно наваждение.

— Р-разговаривать с ним, с заразой! — прохрипел водитель, отодвигая врача. Страшно сопя, он ухватил автомат за ствол, выдернул его у Гага из-под мышки и с хрюканьем зашвырнул в лес. — Вырядился, субчик, змеиное молоко... А ну!

Он с размаху влепил Гагу затрещину, и доктор сразу же закричал:

— Прекратите! Немедленно прекратите!

Гаг покачнулся, но устоял. Он даже не взглянул на водителя. Он все глядел на врача и медленно стирал с лица след удара. А врач уже тащил его за рукав.

— Прошу вас, прошу... — бормотал он. — У меня двадцать тысяч ампул. Прошу вас понять... Двадцать тысяч! Сегодня еще не поздно...

Да нет, это был алаец. Обыкновенный алаец-южанин... Наваждение. Они подошли к машине. Водитель, бурча и клопоча, полез в кабину, гаркнул оттуда: «Давай!» — и сейчас же заревел двигатель, и Гаг, встав между девушкой и врачом, изо всех сил уперся плечом в борт, воняющий мокрым железом. Завывал двигатель, грязь летела фонтаном, а он все нажимал, толкал, давил и думал: «Дома. Дома...»

За миллиард лет до конца света

*Рукопись, обнаруженная
при странных обстоятельствах*



Глава первая

1. «...белый июльский зной, небывалый за последние два столетия, затопил город. Ходили марева над раскаленными крышами, все окна в городе были распахнуты настежь, в жидкой тени изнемогающих деревьев потели и плавилась старухи на скамеечках у подъездов.

Солнце перевалило через меридиан и впилося в многострадальные книжные корешки, ударило в стекла полок, в полированные дверцы шкафа, и горячие злобные зайчики задрожали на обоях. Надвигалась пополуденная маета — недалекий теперь уже час, когда остервенелое солнце, мертво зависнув над точечным двенадцатиэтажником напротив, простреливает всю квартиру навывлет.

Малянов закрыл окно — обе рамы — и наглухо задернул тяжелую желтую штору. Потом, подсмывнув трусы, прошлепал босыми ногами на кухню и отворил балконную дверь.

Было начало третьего.

На кухонном столике среди хлебных крошек красовался натюрморт из сковородки с засохшими остатками яичницы, недопитого стакана чая и обкусанной горбушки со следами оплавившегося масла. Мойка была переполнена невымытой посудой. Не мыто было давно.

Скрипнув половицей, появился откуда-то одуревший от жары Калям, глянул на Малянова зелеными глазами, беззвучно разинул и снова закрыл рот. Затем, подергивая хвостом, проследовал под плитку к своей тарелке. Ничего на этой тарелке не было, кроме сохлых рыбьих костей.

— Жрать хочешь... — сказал Малянов с неудовольствием.

Калям сейчас же откликнулся в том смысле, что да, неплохо бы наконец.

— Утром же тебе давали, — сказал Малянов, опускаясь на корточки перед холодильником. — Или нет, не давали... Это я тебе вчера утром давал...

Он вытащил Калямову кастрюлю и заглянул в нее — были там какие-то волокна, немного желе и прилипший к стенке рыбий плавник. А в холодильнике, можно сказать, и того не было. Стояла пустая коробочка из-под плавленого сыра «Янтарь», страш-

ленькая бутылка с остатками кефира и винная бутылка с холодным чаем для питья. В отделении для овощей среди луковой шелухи доживал свой век сморщенный полукочанчик капусты с кулак величиной да угасала в пренебрежении одинокая проросшая картофелина. Малянов заглянул в морозильник — там в сугробах инея устроился на зимовку крошечный кусочек сала на блюде. И все.

Калям мурлыкал и терся усами о голое колено. Малянов захлопнул холодильник и поднялся.

— Ничего, ничего, — сказал он Калямю. — Все равно сейчас везде обеденный перерыв.

Можно было бы, конечно, пойти на Московский, где перерыв с часу до двух, но там всегда очереди, и тащиться туда далеко по жаре... Это надо же — какой паршивый интеграл оказался! Ну, ладно... Пусть это будет константа... от омеги не зависит. Ясно ведь, что не зависит. Из самых общих соображений следует, что не должен зависеть. Малянов представил себе этот шар и как интегрирование идет по всей поверхности. Откуда-то вдруг выплыла формула Жуковского. Ни с того ни с сего. Малянов ее выгнал, но она снова появилась. Конформные отображения попробовать, подумал он.

Опять задребезжал телефон, и тут выяснилось, что Малянов, оказывается, уже снова был в комнате. Он чертыхнулся, упал боком на тахту и дотянулся до трубки.

— Да!

— Витя? — спросил энергичный женский голос.

— Какой вам телефон нужен?

— Это «Интурист»?

— Нет, это квартира...

Малянов бросил трубку и некоторое время полежал неподвижно, ощущая, как голый бок, прижатый к ворсу, неприятно подмокает потом. Желтая штора светилась, и комната была наполнена тяжелым желтым светом. Воздух был как кисель. В Бобкину комнату надо перебираться, вот что. Баня ведь. Он поглядел на свой стол, заваленный бумагами и книгами. Одного Смирнова Владимира Ивановича шесть томов... И вон еще сколько бумаги на полу разбросано. Страшно подумать — перебираться. Постой, у меня же какое-то просветление было... Ч-черт... С этим твоим «Интуристом», дура безрукая... Значит, я был на кухне, затем меня принесло сюда... А! Конформные отображения! Дурацкая идея. Вообще-то надо посмотреть... Он кряхтя поднялся с тахты, и телефон сейчас же зазвонил снова.

— Идиот, — сказал он аппарату и взял трубку. — Да!

— Это база? Кто говорит? Это база?

Малянов положил трубку и набрал номер ремонтной.

— Ремонтная? Я говорю с телефона девяносто три девять восемь ноль семь... Слушайте, я вам вчера уже звонил один раз. Невозможно же работать, все время попадают сюда...

— Какой у вас номер? — прервал его злобный женский голос.

— Девяносто три девять восемь ноль семь. Мне все время звонят то в «Интурист», то в гараж, то...

— Положите трубку. Проверим.

— Пожалуйста... — просительно сказал Малянов уже в короткие гудки.

Потом он прошлепал к столу, уселся и взял ручку. Та-ак... Где же я все-таки видел этот интеграл? Стройный ведь такой интеграл, во все стороны симметричный... Где я его видел? И даже не константа, а просто-напросто ноль? Ну, хорошо. Оставим его в тылу. Не люблю я ничего оставлять в тылу, неприятно это, как дырявый зуб...

Он принялся перебирать листики вчерашних расчетов, и у него вдруг сладко замлело сердце. Все-таки здорово, ей-богу... Ай да Малянов! Ай да молодец! Наконец-то, кажется, что-то у тебя получилось. Причем это, брат, настоящее. Это, брат, тебе не «фигура цапф большого пассажного инструмента», этого, брат, до тебя никто не делал! Тьфу-тьфу, только бы не сглазить... Интеграл этот... Да пусть он треснет, интеграл этот, — дальше поехали, дальше!

Раздался звонок. В дверь. Калям спрыгнул с тахты и, задрвав хвост, поскакал в прихожую. Малянов аккуратно положил ручку.

— С цепи сорвались, честное слово, — произнес он.

В прихожей Калям описывал нетерпеливые круги и орал, путаясь под ногами.

— Ка-ал-лям! — сказал Малянов сдавленно-угрожающим голосом. — Да Калям, пошел вон!

Он открыл дверь. За дверью оказался плюгавый мужчина в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый и потный. Слегка откинувшись всем корпусом назад, он держал перед собою большую картонную коробку. Бурча нечленораздельное, он двинулся прямо на Малянова.

— Вы... э... — промямлил Малянов, отступая.

Плюгавый был уже в прихожей — глянул направо в комнату и решительно повернул налево в кухню, оставляя за собой на линолеуме белые пыльные следы.

— Позвольте... э... — бормотал Малянов, наступая ему на пятки.

Мужчина уже поставил коробку на табурет и вытащил из нагрудного кармана пачку каких-то квитанций.

— Вы из ЖЭКа, что ли? — Малянову почему-то пришло в голову, что это водопроводчик наконец явился — чинить кран в ванной.

— Из гастронома, — сипло сказал мужчина и протянул две квитанции, сколотые булавкой. — Распишитесь вот здесь...

— А что это? — спросил Малянов и тут же увидел, что это бланки стола заказов. Коньяк — две бутылки, водка... — Подождите, — сказал он. — По-моему, мы ничего...

Он увидел сумму. Он ужаснулся. Таких денег в квартире не было. Да и вообще с какой стати? Охваченное паникой воображение мигом выстроило перед ним удручающую последовательность всевозможных сложностей, вроде необходимости оправдываться, отпираться, возмущаться, призывать к здравому смыслу... звонить, наверное, куда-нибудь придется, может быть, даже ехать... Но тут на углу квитанции он обнаружил фиолетовый штамп «Оплачено» и сразу же — имя заказчика: Малянова И. Е. Ирка!.. Ни черта понять невозможно.

— Вот тут расписывайтесь, вот тут... — бурчал плюгавый, тыча траурным ногтем. — Вот где птичка стоит...

Малянов принял от него огрызок карандаша и расписался.

— Спасибо... — сказал он, возвращая карандаш. — Большое спасибо... — обалдело повторял он, протискиваясь рядом с плюгавым через узкую прихожую. Дать ему надо бы что-нибудь, да мелочи нет... — Огромное вам спасибо, до свидания!.. — крикнул он в спину кургузому пиджачку, ожесточенно отпихивая ногой Каляма, который рвался полизать цементный пол на лестничной площадке.

Потом Малянов закрыл дверь и некоторое время постоял в сумраке.

— Странно... — сказал он вслух и вернулся на кухню.

Калям уже отирался возле коробки. Малянов поднял крышку и увидел горлышки бутылок, пакеты, свертки банки консервов. На столе лежала копия квитанции. Так.

Копирка, как водится, подгуляла, но почерк разборчивый. Улица Героев... гм... Вроде все правильно. Заказчик: Малянова И. Е. Ничего себе — привет! Он посмотрел на сумму. Уму непостижимо! Он перевернул квитанцию. На обратной стороне ничего интересного не было. Был там расплющенный и присохший комар. Что это Ирка — ошалела совсем, что ли? У нас долгов пятьсот рублей... Подожди... Может быть, она что-нибудь говорила перед отъездом? Он вспомнил день отъезда, распахнутые чемоданы, кучи одежды, разбросанные повсюду, полуодетая Ирка орудует утюгом... Не забывай Каляма кормить, травку ему приноси... знаешь, такую острую... за квартиру не забудь заплатить... если шеф позвонит, дай ему мой адрес. Вроде бы все. Что-то она еще говорила, но тут Бобка прибежал со своим пулеметом... Да! Белье надо в стирку отнести... Ни фига не понимаю.

Малянов опасливо потянул из ящика бутылку. Коньяк. Рублей пятнадцать, ей-богу! Да что же это такое — день рождения у меня сегодня, что ли? Ирка уехала когда? Четверг, среда, вторник... Он принялся загибать пальцы. Сегодня десятый день, как она уехала. Значит, заказала заранее. Деньги опять у кого-нибудь заняла и заказала. Сюрприз. Долгов, понимаете, пятьсот рублей, а она — сюрприз!.. Ясно было только одно: в магазин можно не ходить. Все остальное представлялось как бы в тумане. День рождения? Нет. Годовщина свадьбы? Вроде бы тоже нет. Точно — нет. День рождения Барбоса? Зимой...

Он пересчитал горлышки. Десять штук, как одна копейка. На кого же это она рассчитывала? Мне столько и за год не выпить. Вечеровский тоже почти не пьет, а Вальку Вайнгартена она не любит...

Калям ужасно заорал. Что-то он там учуял, в этой коробке...»

2. «...лосоя в собственном поту и ломоть ветчины с лежалой горбушкой. Потом он принялся мыть посуду. Было совершенно ясно, что при таком великолепии в холодильнике грязь на кухне выглядит особенно неуместно. За это время телефон звонил дважды, но Малянов только челюсть выпячивал. Не пойду, и все. Провались они все со своими гаражами и базами. Сковородку тоже придется помыть, это неизбежно. Сковородка теперь понадобится для более высоких целей, нежели какая-то там яичница... Тут ведь все дело в чем? Если интеграл на самом

деле ноль, то в правой части остается только первая и вторая производная... Физический смысл я здесь не совсем понимаю, но все равно — здорово получают эти пузыри. А что? Так и назову: пузыри. Нет, наверное, лучше «полости». Полости Малянова. «М-полости». Гм...

Он расставил по полкам мытую посуду и заглянул в Калямову кастрюлю. Горячо еще слишком, пар идет. Бедный Калямашка. Придется ему потерпеть. Придется Калямашке еще немного пострадать, пока остынет...

Он вытирал руки, когда его вдруг снова осенило, совсем как вчера, и так же, как вчера, он сначала не поверил.

— Подожди-ка, подожди... — лихорадочно бормотал он, а ноги уже несли его по коридорчику, по прохладному, липнущему к пяткам линолеуму, в густой желтый жар, к столу, к авторучке... Черт, где она? Чернила кончились. Карандаш здесь где-то валялся... И в то же время вторым, а вернее — первым, основным планом: функция Гартвига... и всей правой части как не бывало... Полости получают осесимметричные... А интегральчик-то не ноль! То есть он до такой степени не ноль, мой интегральчик, что величина вовсе существенно положительная... Но картинка, ах какая картинка получается! Как это я сразу не допер? Ничего, Малянов, ничего, браток, не один ты не допер. Академик вон тоже не допер... В желтом, слегка искривленном пространстве медленно поворачивались гигантскими пузырями осесимметричные полости, материя обтекала их, пытаясь проникнуть внутрь, но не могла, на границе материя сжималась до невероятных плотностей, и пузыри начинали светиться. Бог знает, что там начиналось... Ничего, и это выясним... С волокнистой структурой разберемся — раз. С дугами Рагозинского — два! А потом планетарные туманности. Вы, голубчики мои, что себе думали? Что это расширяющиеся сброшенные оболочки? Вот вам — оболочки! В точности наоборот!

Снова задребезжал проклятый телефон. Малянов зарычал от ненависти, не переставая писать. Выключить его, к чертям, сейчас же. Там есть такой рычажок... Он бросился на тахту и сорвал трубку.

— Да!

— Митька?

— Да... Это кто?

— Не узнаешь, собака? — Это был Вайнгартен.

— А, Валька... Чего тебе?

Вайнгартен помедлил.

— Ты почему к телефону не подходишь? — спросил он.

— Работаю, — сказал Малянов злобно. Он был очень неприветлив. Хотелось вернуться к столу и досмотреть картинку с пузырями.

— Работаешь... — Вайнгартен засопел. — Нетленку, значит, лепишь...

— Ты что, зайти хотел?

— Зайти? Да нет, не то чтобы зайти...

Малянов окончательно разозлился.

— Так чего тебе надо?

— С-с-слушай, отец... А чем ты сейчас занимаешься?

— Работаю! Сказано тебе!

— Да нет... Я хотел спросить: над чем ты работаешь?

Малянов обалдел. Он знал Вальку Вайнгартена двадцать пять лет, и сроду Вайнгартен никакой маляновской работой не интересовался, сроду Вайнгартена интересовал только сам Вайнгартен лично, а также еще два таинственных предмета его интересовали: двугривенный 1934 года и так называемый «консульский полтинник», который, собственно, и полтинником-то не был, а был какой-то там особенной почтовой маркой... Делать, гаду, нечего, решил Малянов. Трепло... Или ему крыша понадобилась, что он так мнется? И тут он вспомнил Аверченко.

— Над чем я работаю? — переспросил он со злорадством. — Изволь, могу рассказать во всех подробностях. Тебе как биологу это будет страшно интересно. Вчера утром я наконец слез с мертвой точки. Оказывается, при самых общих предположениях относительно потенциальной функции мои уравнения движения имеют еще один интеграл — кроме интеграла энергии и интегралов моментов. Получается что-то вроде обобщения ограниченной задачи трех тел. Если уравнения движения записать в векторной форме и применить преобразования Гартвига, то интегрирование по объему проводится до конца и вся проблема сводится к интегро-дифференциальным уравнениям типа Колмогорова — Феллера...

К его огромному изумлению, Вайнгартен не перебивал. На секунду Малянову даже показалось, что их разъединили.

— Ты меня слушаешь? — спросил он.

— Да-да, слушаю очень внимательно.

— Может быть, ты даже меня понимаешь?

— Секу помаленьку, — бодро сказал Вайнгартен, и

тут Малянов в первый раз подумал, какой у него странный голос. Он даже испугался.

— Валька, случилось что-нибудь?

— Где? — спросил Вайнгартен, помедлив опять.

— Где... У тебя, естественно! Я же слышу, что ты какой-то... Тебе что, разговаривать неудобно?

— Да нет, отец. Все это чепуха. Ладно. Жара замучила. Про двух петухов знаешь анекдот?

— Нет. Ну?

Вайнгартен рассказал анекдот про двух петухов — очень глупый, но довольно смешной. Какой-то совсем не вайнгартеновский анекдот. Малянов, конечно, слушал и, когда пришло на то время, захихикал, но неясное ощущение, что у Вайнгартена не все ладно, от этого анекдота у него только усилилось. Опять, наверное, со Светкой попался, подумал он неуверенно. Опять ему эпителий испортили. И тут Вайнгартен спросил:

— Слушай, Митька... Снеговой — такая фамилия тебе ничего не говорит?

— Снеговой? Арнольд Палыч? Ну, сосед у меня есть, напротив живет, через площадку... А что?

Вайнгартен некоторое время молчал. Даже сопеть перестал. Слышно было в трубке только негромкое бряканье — наверное, подбрасывал он в горсти свои коллекционные двугривенные. Потом он сказал:

— А чем он занимается, твой Снеговой?

— Физик, по-моему. В каком-то ящике работает. Шибко секретный. А ты откуда его знаешь?

— Да я его не знаю, — с непонятной досадой сказал Вайнгартен, и тут раздался звонок в дверь.

— Нет, явно сорвались с цепи! — сказал Малянов. — Подожди, Валька. В дверь наяривают...

Вайнгартен что-то сказал или даже, кажется, крикнул, но Малянов уже бросил трубку на тахту и выскочил в прихожую. Калям, конечно, опять запутался у него в ногах, и он чуть не грохнулся. Открывши дверь, он сейчас же отступил на шаг. На пороге стояла молодая женщина в белом мини-сарафане, очень загорелая, с выгоревшими на солнце короткими волосами. Красивая. Незнакомая. (Малянов сразу ощутил, что он в одних трусах и брюхо у него потное.) У ног ее стоял чемодан, через левую руку был перекинут пыльник.

— Дмитрий Алексеевич? — спросила она стесненно.

— Д-да... — проговорил Малянов. Родственница? Трюродная Зина из Омска?

— Вы меня простите, Дмитрий Алексеевич... Наверное, я некстати... Вот.

Она протянула конверт. Малянов молча взял этот конверт и вытащил из него листок бумаги. Страшные чувства против всех родственников на свете, и особенно против этой троюродной Зины — или... Зои? — утрюмо клокотали у него в душе...

Впрочем, это оказалась не троюродная Зина. Ирка крупными буквами, явно второпях, писала вкривь и вкось: «Димкин! Это Лидка Пономарева, моя любимая школьная подруга. Я тебе про нее расск. Прими ее хорошенько, она ненадолг. Не хаами. У нас все хор. Она расск. Целую, И.».

Малянов издал протяжный, неслышный миру вопль, закрыл и снова открыл глаза. Однако губы его уже автоматически складывались в приветливую улыбку.

— Очень приятно... — заявил он дружески развязным тоном. — Заходите, Лида, прошу... Извините меня за мой вид. Жара!

Все-таки, видно, не все было в порядке с его радушием, потому что на лице красивой Лиды вдруг появилось выражение растерянности и она почему-то оглянулась на пустую, залитую солнцем лестничную площадку, словно вдруг усомнилась, туда ли она попала.

— Позвольте, я ваш чемодан... — поспешно сказал Малянов. — Заходите, заходите, не стесняйтесь... Пыльник вешайте сюда... Здесь у нас большая комната, я там работаю, а здесь — Бобкина... Она и будет ваша... Вы, наверное, душ захотите принять?

Тут с тахты донеслось до него гнусавое кваканье.

— Пардон! — воскликнул он. — Вы располагайтесь, располагайтесь, я сейчас...

Он схватил трубку и услышал, как Вайнгартен монотонно, не своим каким-то голосом повторяет:

— Митька... Митька... Отвечай, Митька...

— Алё! — сказал Малянов. — Валька, слушай...

— Митька! — заорал Вайнгартен. — Это ты?

Малянов даже испугался.

— Чего ты орешь? Тут ко мне приехали, извини... Я тебе потом позвоню.

— Кто? Кто приехал? — страшным голосом спросил Вайнгартен.

Малянов ощутил какой-то холодок по всему телу. С ума сошел Валька. Ну и денек...

— Валька, — сказал он очень спокойно. — Что с

тобой сегодня? Ну, женщина одна приехала... Иркина подруга...

— С-сукин сын! — сказал вдруг Вайнгартен и повесил трубку...»

Глава вторая

3. «...а она сменила свой мини-сарафан на мини-юбочку и мини-кофточку. Надо сказать, девочка она была в высшей степени призывная — у Малянова создалось впечатление, что она начисто не признавала лифчиков. Ни к чему ей были лифчики, все у нее было в порядке безо всяких лифчиков. О «полостях Малянова» он больше не вспоминал.

Впрочем, все было очень прилично, как в лучших домах. Сидели, трепались, пили чаек, потели. Он был уже Димочкой, а она у него уже стала Лидочкой. После третьего стакана Димочка рассказал анекдот о двух петухах — просто к слову пришлось, — и Лидочка очень хохотала и махала на Димочку голой рукой. Он вспомнил (петухи напомнили), что надо бы позвонить Вайнгартену, но звонить не пошел, а сказал Лидочке:

— Изумительно вы все-таки загорели!

— А вы — белый, как червяк, — сказала Лидочка.

— Работа, работа! Труды!

— А у нас в пионерлагере...

И Лидочка подробно, но очень мило рассказала, как там у них в пионерлагере насчет позагорать. В ответ Малянов рассказал, как ребята загорают на Большой антенне. Что такое Большая антенна? Пожалуйста. Он рассказал, что такое Большая антенна и зачем. Она вытянула свои длинные коричневые ноги и, скрестив, положила их на Бобкин стульчик. Ноги были гладкие, как зеркало. У Малянова создалось впечатление, что в них даже что-то отражалось. Чтобы отвлечься, он поднялся и взял с конфорки кипящий чайник. При этом он обварил себе паром пальцы и мельком вспомнил о каком-то монахе, который сунул конечность то ли в огонь, то ли в кипятки, дабы уйти от зла, проистекающего ввиду наличия в непосредственной близости прекрасной женщины, — решительный был малый.

— Хотите еще стаканчик? — спросил он.

Лидочка не ответила, и он обернулся. Она смотрела на него широко открытыми светлыми глазами, и на блестящем от загара лице ее было совершенно неумест-

ное выражение — не то растерянности, не то испуга, — у нее даже рот приоткрылся.

— Налить? — неуверенно спросил Малянов, качнув чайником.

Лидочка встрепенулась, часто-часто замигала и провела пальцами по лбу.

— Что?

— Я говорю — чайку налить вам еще?

— Да нет, спасибо... — Она засмеялась как ни в чем не бывало. — А то я лопну. Надо фигуру беречь.

— О да! — сказал Малянов с повышенной галантностью. — Такую фигуру, несомненно, надо беречь. Может быть, ее стоит даже застраховать...

Она мельком улыбнулась и, повернув голову, через плечо посмотрела во двор. Шея у нее была длинная, гладкая, разве что несколько худая. У Малянова создалось еще одно впечатление, а именно, что эта шея создана для поцелуев. Равно как и ее плечи. Не говоря уже об остальном. Цирцея, подумал он. И сразу же добавил: впрочем, я люблю свою Ирку и никогда в жизни ей не изменю...

— Вот странно, — сказала Цирцея. — У меня такое ощущение, будто я все это уже когда-то видела: эту кухню, этот двор... только на дворе было большое дерево... У вас так бывает?

— Конечно, — сказал Малянов с готовностью. — По-моему, это у всех бывает. Я где-то читал, это называется ложная память...

— Да, наверное, — проговорила она с сомнением.

Малянов, стараясь не слишком шуметь, осторожно прихлебывал горячий чай. В легкой трепотне явно возник какой-то перебой. Словно заело что-то.

— А может быть, мы с вами уже встречались? — спросила она вдруг.

— Где? Я бы вас запомнил...

— Ну, может быть, случайно... где-нибудь на улице... на танцах...

— Какие могут быть танцы? — возразил Малянов. — Я уже забыл, как это делается...

И тут они оба замолчали, да так, что у Малянова даже пальцы на ногах поджались от неловкости. Это было то самое отвратительное состояние, когда не знаешь, куда глаза девать, а в голове, как камни в бочке, с грохотом пересыпаются абсолютно неподходящие и бездарные начала новых разговоров. «А наш Калям хо-

дит в унитаэ...» Или: «Помидоров в этом году в магазинах не достать...» Или: «Может быть, еще стаканчик чайку?» Или, скажем: «Ну, а как вам нравится наш замечательный город?..»

Малянов осведомился невыносимо фальшивым голосом:

— Ну, и какие же у вас, Лидочка, планы в нашем замечательном городе?

Она не ответила. Она молча уставилась на него круглыми, словно бы от крайнего изумления, глазами. Потом отвела взгляд, сморщила лоб. Закусила губу. Малянов всегда считал себя скверным психологом и в чувствах окружающих, как правило, ничегошеньки не понимал. Но тут он с совершенной ясностью понял, что его незамысловатый вопрос оказался прекрасной Лидочке решительно не под силу.

— Планы?.. — пробормотала она наконец. — Н-ну... конечно... А как же? — Она вдруг словно бы вспомнила. — Ну, Эрмитаж, конечно... импрессионисты... Невский... И вообще я белых ночей никогда не видела...

— Малый туристский набор, — сказал Малянов торопливо, чтобы ей помочь. Не мог он видеть, когда человеку приходится врать. — Давайте я вам все-таки чайку налью... — предложил он.

И снова она засмеялась как ни в чем не бывало.

— Димочка, — сказала она, очень мило надувши губки, — ну что вы ко мне пристааете с этим вашим чайком? Если хотите знать, я этого вашего чая вообще никогда не пью... А тут еще в такую жару!

— Кофе? — предложил Малянов с готовностью.

Она была категорически против кофе. В жару, да еще на ночь, не следует пить кофе. Малянов рассказал ей, что на Кубе только и спасался кофе, а там жара тропическая. Он объяснил ей действие кофеина на вегетативную нервную систему. Заодно он рассказал ей, что на Кубе из-под мини-юбки должны быть видны трусики, а если...»

4. «...потом он налил еще по фужеру. Возникло предложение выпить на «ты». Без поцелуев. Какие могут быть поцелуи между интеллигентными людьми? Здесь главное — духовная общность. Выпили на «ты» и поговорили о духовной общности, о новых методах родовспоможения, а также о различии между мужеством, смелостью и отвагой. «Рислинг» кончился, Малянов выставил пустую бутылку на балкон и сходил в бар за «каберне». «Кабер-

не» было решено пить из Иркиных любимых бокалов дымчатого стекла, которые они предварительно набили льдом. Под разговор о женственности, возникший из разговора о мужестве, ледяное красное шло особенно хорошо. Интересно, какие ослы установили, будто красное вино не следует охлаждать? Они обсудили этот вопрос. Не правда ли, ледяное красное особенно хорошо? Да, это несомненно так. Между прочим, женщины, пьющие ледяное красное, как-то особенно хорошеют. Они становятся где-то похожи на ведьм. Где именно? Где-то. Прекрасное слово — где-то. Вы где-то свинья. Обожаю этот оборот. Кстати, о ведьмах... Что такое, по-твоему, брак? Настоящий брак. Интеллигентный брак. Брак — это договор. Малянов снова наполнил бокалы и развил эту мысль. В том аспекте, что муж и жена в первую очередь друзья, для которых главное — дружба. Искренность и дружба. Брак — это дружба. Договор о дружбе, понимаешь?.. При этом он держал Лидочку за голую коленку и для убедительности встряхивал. Возьми нас с Иркой. Ты знаешь Ирку...

В дверь позвонили.

— Это еще кого бог несет? — удивился Малянов, поглядев на часы. — По-моему, у нас все дома.

Было без малого десять. Повторяя: «У нас, знаете ли, все дома...» — он пошел открывать и в прихожей, конечно, наступил на Каляма. Калям вякнул.

— А-а, провались ты, сатана!.. — сказал ему Малянов и открыл дверь.

Оказалось, что это сосед пожаловал, шибко секретный Снеговой Арнольд Палыч.

— Не поздно? — прогудел он из-под потолка. Огромный мужик, как гора. Седовласый Шат.

— Арнольд Палыч! — сказал ему Малянов с подъемом. — Какое может быть «поздно» между друзьями? Пр-рошу!

Снеговой заколебался было, видя этот подъем, но Малянов схватил его за рукав и втащил в прихожую.

— Очень, очень кстати... — говорил он, таща Снегового на буксире. — Познакомьтесь с прекрасной женщиной!.. — обещал он, заворачивая Снегового в кухню. — Лидочка, это Арнольд Палыч! — объявил он. — Сейчас я еще один бокал... и бутылочку...

Перед глазами у него, надо сказать, уже немножко плыло. И если честно, то даже не немножко, а основательно. Пить ему больше не следовало, он себя знал. Но

очень хотелось, чтобы все было хорошо, дружно, чтобы все всем нравились. Пусть они друг другу понравятся, растроганно думал он, покачиваясь перед раскрытым баром и таращась в желтоватые сумерки. Ему все равно, он холостяк. А у меня Ирка!.. Он погрозил пальцем в пространство и полез в бар.

Слава богу, он ничего не разбил. Но когда он приволок бутылку «Бычьей крови» и чистый бокал, обстановка на кухне ему не понравилась. Оба молчали и курили, не глядя друг на друга. И почему-то лица их показались Малянову зловещими: зловеще красивое, яркое лицо Лидочки и зловеще жестокое, лишайчатое от старых ожогов лицо Снегового.

— Что смолкнул веселия глас? — бодро спросил Малянов. — Все на свете вздор! Есть только одна роскошь на свете — роскошь человеческого общения! Не помню, кто это сказал... — Он откупорил бутылку. — Давайте пользоваться этой общностью... э... роскошью...

Вино полилось рекой, в том числе и на стол. Снеговой подскочил, спасая белые брюки. Все-таки он был ненормально огромен. В наше малогабаритное время не должно быть таких людей. Рассуждая об этом, Малянов кое-как вытер стол, и Снеговой снова опустился на табурет. Табурет хрустнул.

Пока вся роскошь человеческого общения выражалась лишь в нечленораздельных возгласах. О эта проклятая интеллигентская стеснительность! Не могут два прекрасных человека сразу же, немедленно, раскрыться друг перед другом, принять друг друга в свои души, стать друзьями с первого взгляда. Малянов встал и, держа бокал на уровне ушей, пространно развил эту тему вслух. Не помогло. Выпили. Опять не помогло. Лидочка сучающе смотрела в окно. Снеговой крутил на столе свой пустой бокал между огромными коричневыми ладонями. Впервые Малянов заметил, что у него и руки обожжены — до самых локтей и даже выше. Это вдохновило его на вопрос:

— Ну, Арнольд Палыч, когда вы теперь исчезнете?

Снеговой заметно вздрогнул и взглянул на него, а затем втянул голову в плечи и сгорбился. Малянову показалось даже, что он собирается встать, и тут до него дошло, что вопрос его прозвучал, мягко выражаясь, двусмысленно.

— Арнольд Палыч! — возопил он, воздевая руки к потолку. — Господи, да я совсем не то хотел сказать!

Лидочка! Ты понимаешь, перед тобой сидит совершенно таинственный и загадочный человек. Время от времени он исчезает. Придет, занесет ключ от квартиры и как бы растворяется в воздухе! Месяц его нет, другой нет. Вдруг — звонок. Является... — Он почувствовал, что несет лишнее, что хватит уже, что пора выкруливаться из этой темы. — В общем, Арнольд Палыч, вы прекрасно знаете, что я вас очень люблю и всегда рад вас видеть. Так что о том, чтобы исчезать раньше двух часов, не может быть и речи...

— Ну конечно, Дмитрий Алексеевич... — прогудел Снеговой и похлопал Малянова ладонью по плечу. — Конечно, дорогой, конечно...

— А это — Лидочка! — сказал Малянов, тыча пальцем в сторону Лидочки. — Лучшая школьная подруга моей жены. Из Одессы.

Снеговой с видимым усилием повернулся к Лидочке и спросил:

— Вы надолго в Ленинград?

Она что-то ответила, довольно доброжелательно, и он снова что-то спросил, что-то про белые ночи...

Словом, у них началось все-таки роскошное общение, и Малянов смог перевести дух. Не-ет, ребята, мне пить нельзя. Ну и срамотища! Трепло забалдевшее. Не слыша и не понимая ни единого слова, он смотрел на страшный, изъеденный адским огнем лик Снегового и мучился совестью. Когда мучения стали нестерпимы, он тихонько встал, придерживаясь за стенку, добрался до ванной и заперся там. Некоторое время он в угрюмом отчаянии сидел на краю ванны, затем пустил холодную воду на полную мощность и, кряхтя, подставил голову.

Когда он вернулся, освеженный и с мокрым воротником, Снеговой натужно рассказывал анекдот про двух петухов. Лидочка звонко хохотала, закидывая голову и открывая свою созданную для поцелуев шею. Малянов воспринял это с удовлетворением, хотя, в общем-то, ему не нравились люди, которые возводят вежливость в искусство. Впрочем, роскошь общения, как и всякая роскошь, несомненно требовала определенных издержек. Он подождал, пока Лидочка отсмеется, подхватил падающее знамя и разразился серией астрономических анекдотов, которых никто из присутствующих знать не мог. Когда он выдохся, Лидочка порадовала общество анекдотами пляжными. Анекдоты были, честно говоря, довольно средние, и рассказывать Лидочка не умела, но зато она

умела хохотать, и зубки у нее были белые как сахар. Затем разговор как-то перекинулся в область предсказания будущего. Лидочка поведала, что цыганка предсказала ей трех мужей и бездетность. «Что бы мы делали без цыганок?» — пробормотал Малянов и похвастался, что вот ему лично цыганка нагадала крупное открытие относительно взаимодействия звезд с диффузной материей в Галактике. Они снова хватили ледяной «Бычьей крови», и тут Снеговой вдруг разразился странной историей.

Оказывается, ему было предсказано, что умрет он восьмидесяти трех лет в Гренландии. («В Гренландской социалистической республике...») — немедленно сострил Малянов, но Снеговой спокойно возразил: «Нет, просто в Гренландии...») В это он фатально верит, и эта уверенность всех вокруг раздражает. Однажды — было это во время войны, хотя и не на фронте, — один из его знакомых, под банкой, конечно, или, как тогда говорили, вполсвиста, до того раздражился, что вытащил «ТТ», приставил дуло к голове Снегового и, сказавши: «А вот мы проверим!» — спустил курок...

— И?... — спросила Лидочка.

— Убил наповал, — сострил Малянов.

— Была осечка, — сказал Снеговой.

— Странные у вас знакомые, — сказала Лидочка с сомнением.

Тут она попала в самую точку. Вообще-то Арнольд Палыч рассказывал о себе редко, но смачно. И если судить по этим рассказам, то знакомые у него и в самом деле были очень необычные.

Некоторое время Малянов горячо спорил с Лидочкой, как Арнольда Палыча может занести в Гренландию. Малянов склонялся к авиационной катастрофе. Лидочка же настаивала на обыкновенной туристической поездке. Сам Арнольд Палыч, растянув лиловые губы в улыбку, помалкивал и садил сигарету за сигаретой.

Потом Малянов спохватился и вознамерился было снова расплескать по бокалам, но обнаружил, что и эта бутылка уже пуста. Он рванулся за новой, однако Арнольд Палыч остановил его. Ему уже пора было идти, он ведь просто так забежал, на минутку. Лидочка, напротив, готова была продолжать. Она вообще была ни в одном глазу, только щеки немного покраснелись.

— Нет-нет, ребята, — сказал Снеговой. — Я должен идти. — Он грузно поднялся и снова заполнил собой всю

кухню. — Я уж пойду, Дмитрий Алексеевич, проводите меня... Спокойной ночи, Лидочка. Рад был познакомиться.

Они двинулись через прихожую. Малянов все пытался уговорить его остаться еще на бутылочку, но Снеговой только мотал седогривой головой и отрицательно мычал. В дверях он вдруг громко произнес:

— Да, Дмитрий Алексеевич! Я же обещал вам эту книгу... Пойдемте, я вам отдам...

«Какую это книгу?» — хотел спросить Малянов, но Снеговой прижал толстый палец к губам и увлек его через площадку к своей квартире. Этот толстый палец так поразил Малянова, что он последовал за Снеговым как овечка. Молча, все еще держа Малянова за локоть, Снеговой нашарил свободной рукой ключ в кармане и открыл дверь. По всей квартире у него горел свет — и в прихожей, и в обеих комнатах, и на кухне, и даже в ванной. Пахло застарелым табачным дымом и тройным одеколоном, и Малянову вдруг пришло в голову, что за все пять лет знакомства он, пожалуй, ни разу здесь не был. В комнате, куда Снеговой его ввел, было чисто и прибрано, горели все лампы — тройник под потолком, торшер в углу над диваном и даже маленькая лампа на столе. На спинке стула висел китель с полковничьими погонами и с целой коллекцией орденских планок. Оказывается, наш Арнольд Палыч полковник... Так-так-так!

— Какую книгу? — спросил наконец Малянов.

— Любую, — сказал Снеговой нетерпеливо. — Возьмите вот эту и держите в руках, чтобы не забыть... И давайте присядем на минутку.

В полном обалдении Малянов взял со стола толстый том и, зажав его под мышкой, опустился на диван у торшера. Арнольд Палыч сел рядом и сейчас же закурил. На Малянова он не глядел.

— Значит, так... — прогудел он. — Значит, так... Прежде всего... Что это за женщина?

— Лидочка? Я же вам сказал: подруга жены. А что?

— Вы ее хорошо знаете?

— Н-нет... Только сегодня познакомился. Она приехала с письмом... — Малянов запнулся и испуганно спросил: — А вы что, думаете, она...

Снеговой перебил его:

— Спрашивать буду я. Времени у нас нет. Над чем вы сейчас работаете, Дмитрий Алексеевич?

Малянов сразу вспомнил Вальку Вайнгартена, и его

снова окатило нехорошим холодком. Он сказал, криво ухмыльнувшись:

— Что-то сегодня все интересуются, над чем я работаю...

— А кто еще? — быстро спросил Снеговой, буравя его маленькими синими глазками. — Она?

Малянов потряс головой.

— Нет... Вайнгартен... Мой друг.

— Вайнгартен... — Снеговой насупился. — Вайнгартен...

— Да нет! — сказал Малянов. — Я его хорошо знаю, еще в школе вместе учились, до сих пор дружим...

— Такая фамилия — Губарь — вам ничего не говорит?

— Губарь? Нет... Да что случилось, Арнольд Палыч? Снеговой раздавил в пепельнице окурочек и закурил новую сигарету.

— Кто еще спрашивал о вашей работе?

— Больше никто...

— Так над чем вы работаете?

Малянов вдруг разозлился. Он всегда злился, когда ему становилось страшно.

— Слушайте, Арнольд Палыч, — сказал он, — я не понимаю...

— Я тоже! — сказал Снеговой. — И очень хочу понять! Рассказывайте! Подождите... У вас закрытая работа?

— Кой черт — закрытая? — раздраженно сказал Малянов. — Обыкновенная астрофизика и звездная динамика. Взаимодействие звезд и диффузной материи. Ничего закрытого здесь нет, просто я не люблю рассказывать о своей работе, пока не закончу!

— Звезды и диффузная материя... — медленно повторил Снеговой и пожал плечами. — Где имение, а где вода... И не закрытая? Ни в какой части?

— Ни в какой букве!

— И Губаря вы точно не знаете?

— И Губаря не знаю.

Снеговой молча дымил рядом с ним — огромный, сторбившийся, страшный. Потом он сказал:

— Ну, на нет и суда нет. У меня к вам всё, Дмитрий Алексеевич. Извините, ради бога.

— Да, но у меня не всё! — сказал Малянов сварливо. — Я бы все-таки хотел понять...

— Не имею права, — сказал Снеговой, как отрезал.

Конечно, так просто Малянов бы от него не отстал. Но тут он заметил такое, что сразу прикусил язык. У Снегового левый карман его гигантской пижамы оттопыривался, и там весьма отчетливо и недвусмысленно отсвечивала рукоятка пистолета. Большого какого-то пистолета. Вроде гангстерского кольта из кино. И этот кольт сразу отбил у Малянова желание расспрашивать. Как-то сразу стало ему ясно, что его дело телячье и что спрашивает здесь не он. А Снеговой сказал:

— Теперь вот что, Дмитрий Алексеевич. Я завтра опять...»

Глава третья

5. «...полежал на спине, не спеша очухиваясь. Под окном уже всюю грохотали прицепы, а в квартире было тихо. От вчерашнего бестолкового дня остался только легкий шум в голове, металлический привкус во рту и какая-то неприятная заноза в душе, или в сердце, или бог еще знает где. Он стал разбираться, что это за заноза, но тут раздался осторожный звонок в дверь. А, это Палыч, с ключами, сообразил он и торопливо соскочил с постели.

По дороге через прихожую он мельком отметил, что на кухне все прибрано, а дверь в Бобкину комнату плотно закрыта и задернута изнутри занавеской. Дрыхнет Лидочка. Встала, посуду помыла и снова завалилась.

Пока он возился с замком, звонок снова деликатно звякнул.

— Сейчас, сейчас... — сиплым со сна голосом проговорил он. — Одну минуточку, Арнольд Палыч...

Однако это оказался вовсе не Арнольд Палыч. Шаркая ногами по резиновому коврику, у порога стоял совершенно незнакомый молодой человек. Он был в джинсах, в черной рубашке с закатанными рукавами и в огромных противосолнечных очках. Тонтон-макут. Малянов успел заметить, что в глубине лестничной площадки, возле лифта, маячат еще двое тонтон-макутов в черных очках, но ему сразу стало не до них, потому что первый тонтон-макут произнес вдруг: «Из уголовного розыска» — и протянул Малянову какую-то книжечку. В развернутом виде.

«Очень мило!» — пронеслось у Малянова в голове. Все ясно. Этого и следовало ожидать. Чувства его были расстроены. В одних трусах он стоял перед тонтон-макутом из угрозыска и тупо смотрел в раскрытую книжечку.

Там была фотокарточка, какие-то печати и надписи, но воспринял он своими расстроенными чувствами только одно: «Управление Министерства внутренних дел». Крупными буквами.

— Да-да... — пролепетал он. — Конечно. Прошу. А в чем дело?

— Здравствуйте, — произнес тонтон-макут очень вежливо. — Вы Малянов Дмитрий Алексеевич?

— Я...

— Несколько вопросов, с вашего разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста... — сказал Малянов. — Подождите, здесь у меня неубрано... Только что встал... Может быть, на кухню?.. Нет, там сейчас солнце... Ладно, заходите сюда, я сейчас уберу.

Тонтон-макут прошел в большую комнату и скромно остановился посередине, откровенно озираясь, а Малянов кое-как убрал постель, накинул рубашку, натянул джинсы и бросился раздвигать шторы и открывать окно.

— Вы садитесь вот сюда, в кресло... Или вам удобнее за стол? А что, собственно, случилось?

Осторожно перешагивая через разбросанные по полу листики, тонтон-макут приблизился к креслу, уселся и положил на колени свою папку.

— Ваш паспорт, пожалуйста, — сказал он.

Малянов сунулся в стол, выкопал паспорт и передал ему.

— Кто еще здесь живет? — спросил тонтон-макут, разглядывая паспорт.

— Жена... сын... Но их сейчас нет. Они в Одессе... в отпуске... у тещи...

Тонтон-макут положил паспорт на свою папку и снял черные очки. Такой обыкновенный, простоватой внешности молодой человек. И никакой не тонтон-макут, а скорее уж продавец. Или, скажем, мастер из телеателье.

— Давайте познакомимся, — сказал он. — Я — старший следователь уголовного розыска, зовут меня Игорь Петрович Зыков.

— Очень приятно, — сказал Малянов.

Тут ему в голову пришло, что он, черт возьми, не какой-нибудь уголовный преступник, что он, черт возьми, старший научный сотрудник и кандидат наук. И не мальчишка, между прочим. Он закинул ногу на ногу, уселся поудобнее и сказал сухо:

— Слушаю вас.

Игорь Петрович приподнял свою папку двумя ру-

ками, тоже положил ногу на ногу и, опустив папку на колено, спросил:

— Вы Снегового Арнольда Павловича знаете?

Малянова этот вопрос врасплох не застал. Почему-то — ему и самому было не ясно почему — он так и ожидал, что спрашивать его будут сейчас либо про Вальку Вайнгартена, либо про Арнольда Палыча. Потому он по-прежнему сухо ответил:

— Да, с полковником Снеговым я знаком.

— А откуда вам известно, что он полковник? — немедленно поинтересовался Игорь Петрович.

— Н-ну, как вам сказать... — проговорил Малянов уклончиво. — Все-таки мы знакомы давно...

— Как давно?

— Н-ну... лет пять, наверное... с тех пор, как въехали в этот дом...

— А при каких обстоятельствах вы познакомились?

Малянов стал вспоминать. Действительно, при каких обстоятельствах? Ч-черт... Когда он ключ принес в первый раз, что ли?.. Нет, мы тогда уже были знакомы...

— Гм... — сказал он, снял ногу с ноги и поскреб в затылке. — Вы знаете, не помню. Помню, был такой случай... Лифт не работал, а Ирина — это моя жена — возвращалась из магазина с покупками и с сынишкой... Арнольд Палыч взял у нее авоську и ребенка... Ну, жена пригласила заходить... Кажется, в тот же вечер он и зашел...

— Он был в форме?

— Нет, — сказал Малянов уверенно.

— Так... И с тех пор вы, значит, подружились?

— Н-ну, что значит — подружились? Он заходит к нам иногда... берет книги, просит книги... чаек иногда пьем вместе... а когда он уезжает в командировки, отдает нам ключи...

— Зачем?

— Как — зачем? — сказал Малянов. — Мало ли...

А в самом деле, зачем? Как-то это мне никогда в голову не приходило. Так, на всякий случай, наверное...

— На всякий случай, наверное, — сказал Малянов. — Например, придет кто-нибудь из родных... или еще что-нибудь...

— Кто-нибудь приезжал?

— Да нет... насколько я помню — нет. При мне, во всяком случае; никто не приезжал. Может быть, жена что-нибудь по этому поводу знает...

Игорь Петрович задумчиво покивал, затем спросил:
— Ну, а приходилось вам с ним говорить о науке, о работе?

Опять о работе.

— О чьей работе? — мрачно спросил Малянов.

— О его, конечно. Ведь он, кажется, был физиком...

— Понятия не имею. Скорее уж ракетчиком каким-нибудь...

Он еще не успел договорить, как его обдало холодом. То есть как это — БЫЛ? Почему — БЫЛ? Ключ не занес... Господи, да что же случилось наконец? Он уже готов был заорать во весь голос: «То есть в каком это смысле БЫЛ?» — но тут Игорь Петрович совершенно сбил его с панталыку. Стремительным движением фехтовальщика он выбросил в его сторону длинную руку и выхватил у него из-под носа какой-то черновик.

— А это откуда у вас? — спросил он резко, и мирное лицо его вдруг хищно осунулось. — Откуда у вас это?

— По... позвольте... — проговорил Малянов, приподнимаясь.

— Сидите! — прикрикнул Игорь Петрович. Сизые его глазки бегали по лицу Малянова. — Как к вам попали эти данные?

— Какие данные? — прошептал Малянов. — Какие, к черту, данные? — заревел он. — Это мои расчеты!

— Это не ваши расчеты, — холодно возразил Игорь Петрович, тоже повышая голос. — Вот этот график — откуда он у вас?

Он издали показал листок и постучал ногтем по кривой плотности.

— Из головы! — сказал Малянов свирепо. — Вот из этой! — Он постучал себя кулаком по темени. — Это зависимость плотности от расстояния до звезды!

— Это кривая роста преступности в вашем районе за последний квартал! — объявил Игорь Петрович.

Малянов потерял дар речи. А Игорь Петрович, брюзгливо оттопырив губы, продолжал:

— Даже срисовать толком не сумели... Не так она на самом деле идет, а вот так... — С этими словами он взял карандаш Малянова, вскочил и, положив листок на стол, принялся, сильно надавливая, чертить поверх кривой плотности какую-то ломаную линию, приговаривая при этом: — Вот так... А здесь вот так, а не так... — Закончив и сломав грифель, он отшвырнул карандаш, снова уселся и посмотрел на Малянова с сожалением. — Эх, Малянов,

Малянов, — произнес он. — Квалификация у вас высокая, опытный преступник, а действуете как последняя сывка...

Малянов обалдело переводил взгляд с чертежа на его лицо и обратно. Это не лезло ни в какие ворота. То есть до такой степени не лезло, что не имело смысла ни говорить, ни кричать, ни молчать. Строго говоря, в этой ситуации следовало бы попросту проснуться.

— Ну а жена ваша в хороших отношениях со Снеговым? — спросил Игорь Петрович прежним вежливым до бесцветности голосом.

— В хороших... — сказал Малянов тупо.

— Она с ним на «ты»?

— Послушайте, — сказал Малянов. — Вы мне чертеж испортили. Что это такое, в самом деле?

— Какой чертеж? — удивился Игорь Петрович.

— Да вот этот, график...

— А! Ну, это не существенно. Снеговой заходит в гости, когда вас нет дома?

— Несущественно... — повторил за ним Малянов. — Это, знаете ли, вам несущественно, — проговорил он, поспешно собирая со стола бумаги и кое-как распихивая их по ящикам. — Сидишь тут, сидишь как проклятый, вкальываешь, потом приходят всякие и говорят, что это несущественно... — бормотал он, опускаясь на корточки и собирая черновики, разбросанные по полу.

Игорь Петрович без всякого выражения следил за ним, аккуратно ввинчивая сигарету в мундштучок. Когда Малянов, отдуваясь, потный и злой, вернулся на свое место, Игорь Петрович спросил вежливо:

— Вы разрешите закурить?

— Курите, — сказал Малянов. — Вон пепельница... И знаете, спрашивайте поскорей, что вам нужно. Мне работать пора.

— Это зависит только от вас, — возразил Игорь Петрович, деликатно выпустив дым из угла рта в сторону от Малянова. — Вот, например, такой вопрос: как вы обычно называете Снегового — полковник, по фамилии или по имени-отчеству?

— Когда как придется, — буркнул Малянов. — Какая вам разница, как я его называю?

— Полковником тоже называете?

— Ну, называю. Ну?

— Это очень странно, — сказал Игорь Петрович, осторожно стряхивая пепел. — Дело в том, что Снеговой получил звание полковника только позавчера.

Это был удар. Малянов молчал, чувствуя, что лицо его заливаается краской.

— Так откуда вы узнали, что Снеговой произведен в полковники?

Малянов махнул рукой.

— Ладно, — сказал он. — Чего там... Ну, прихвастнул. Ну, не знал я, что он полковник... или там подполковник... Просто я вчера к нему зашел, увидел китель с погонами... ну, вижу — полковник...

— А когда вы вчера у него были?

— Да вечером. Поздно... Книгу вот у него взял. Вот эту...

Это он зря сболтнул — про книгу. Игорь Петрович сейчас же книгу взял и принялся ее листать, а Малянов покрылся холодным потом, потому что понятия не имел, что это за книга и о чем.

— Это на каком же она языке? — рассеянно спросил Игорь Петрович.

— Э... — промямлил Малянов, вторично покрываясь холодным потом. — На английском, надо полагать...

— Да нет как будто... — проговорил Игорь Петрович, вглядываясь в текст. — Это все-таки кириллица у вас... не латынь... А! Да это же русский!

Малянов облился потом в третий раз, но Игорь Петрович только положил книгу на место, нацепил свои черные очки и, откинувшись в кресле, уставился на него. А Малянов уставился на Игоря Петровича, стараясь не мигать и не отводить взгляда. В голове у него было следующее: сукин ты сын... капитан Конкассер вшивый... не скажу, где наши...

— На кого я похож, по-вашему? — спросил вдруг Игорь Петрович.

— На тонтон-макута! — ляпнул Малянов не задумываясь.

— Неправильно, — сказал Игорь Петрович. — Попробуйте еще разок.

— Не знаю... — пробормотал Малянов.

Игорь Петрович снял очки и укоризненно покачал головой.

— Плохо! Ну — плохо! Никуда не годится. Странное у вас представление о наших органах следствия... Это надо же — тонтон-макут!

— Ну, а на кого же? — спросил Малянов трусливо.

Игорь Петрович назидательно потряс перед собой очками.

— На человека-невидимку! — сказал он раздельно. — Единственное сходство с тонтон-макутом — единственное! — что тоже пишется через черточку.

Он замолчал. Стояла тяжелая ватная тишина, даже машины перестали взрывать под окном. Малянов не слышал ни одного звука, и ему опять мучительно захотелось проснуться. И вдруг в этой тишине грянул телефон.

Малянов вздрогнул. Игорь Петрович, кажется, тоже. Звонил вторично. Опираясь на подлокотники, Малянов приподнялся и вопросительно посмотрел на Игоря Петровича.

— Да-да, — сказал тот. — Это, наверное, вас.

Малянов добрался до тахты и взял трубку. Это был Валька Вайнгартен.

— Здорово, астрофаг, — буркнул он. — Что не звонишь, скотина?

— Ты понимаешь... не до того было...

— С бабой развлекаешься?

— Д-да... нет... Что ты, какое там...

— Если б моя Светка поставляла мне своих подружек!.. — произнес Вайнгартен завистливо.

— Д-да... — промямлил Малянов. Он все время чувствовал у себя на затылке взгляд капитана Конкассера. — Слушай, Валька, я тебе попозже позвоню...

— А что у тебя там? — сейчас же встревожился Вайнгартен.

— Да так... Я тебе потом расскажу.

— Баба эта?

— Нет.

— Мужчина?

— Ага...

Вайнгартен тяжело задышал в трубку.

— Слушай, — сказал он, понизив голос. — Я сейчас к тебе приеду. Хочешь?

— Нет! Тебя еще здесь не хватало...

Вайнгартен снова задышал.

— Слушай, — сказал он. — Он рыжий?

Малянов невольно оглянулся на Игоря Петровича. К его удивлению, Игорь Петрович на него вовсе не смотрел, а читал, шевеля губами, книгу Снегового.

— Да нет, что за чушь! Ладно, я потом тебе позвоню...

— Обязательно позвони! — заорал Валька. — Как только он уйдет, сразу же звони!

— Ладно, — сказал Малянов и повесил трубку. Потом он вернулся на свое место, пробормотав: «Пардон»...

— Ничего, ничего, — сказал Игорь Петрович и отложил книгу. — Широкие у вас все-таки интересы, Дмитрий Алексеевич...

— Д-да... не жалуясь... — промямлил Малянов. Ч-черт, хоть бы одним глазом глянуть, что это за книга. — Игорь Петрович, — сказал он просительно. — Давайте, если можно, как-нибудь закругляться. Второй час уже.

— Ну, разумеется! — воскликнул Игорь Петрович с готовностью. Он озабоченно взглянул на часы и извлек из папки блокнот. — Значит, так. Вчера вечером вы ходили к Снеговому. Так?

— Да.

— За этой книгой?

— Д-да... — сказал Малянов, решив ничего больше не уточнять.

— Когда это было?

— Поздно... около двенадцати...

— Вам не показалось, что Снеговой собирается куда-то уезжать?

— Да, показалось. То есть не показалось... Он просто сам сказал, что завтра утром уезжает и занесет мне ключи...

— Занес?

— Нет. То есть, может, он и звонил в дверь, но я не слышал, спал...

Игорь Петрович быстро писал, положив блокнот на папку, лежащую на колене. На Малянова он теперь вовсе не смотрел, даже когда задавал вопросы. Торопился, что ли?

— А Снеговой не сказал вам, куда он собирается ехать?

— Нет. Он никогда не говорит, куда едет...

— Но вы догадываетесь, куда он ездит?

— Н-ну, в общем... догадываюсь... На полигон какой-нибудь... или что-нибудь еще в этом роде...

— Он вам что-нибудь рассказывал об этом?

— Нет, конечно. Мы о его работе никогда не говорили.

— Откуда же вы догадываетесь?

Малянов пожал плечами. В самом деле, откуда? Такие вещи объяснить невозможно... Ясно, что человек работа-

ет в глубоком ящике, лицо вон все обожжено, руки... и манеры соответствующие... и то, что уклоняется от разговоров о работе...

— Не знаю, — сказал Малянов. — Как-то мне всегда казалось... Не знаю.

— Он знакомил вас с кем-нибудь из своих друзей?

— Нет, никогда.

— А с женой?

— Разве он женат? Я всегда считал, что он холостяк или... это... вдовец...

— А почему вы так считали?

— Не знаю, — сказал Малянов сердито. — Интуиция.

— А может быть, ваша жена вам об этом говорила?

— Ирка? Ей-то откуда знать?

— Вот это я и хотел бы выяснить.

Воцарилось молчание, оба они уставились друг на друга.

— Не понимаю, — сказал Малянов. — Что вы хотите выяснить?

— Откуда ваша жена знала, что Снеговой не женат.

— Э-э... А-а... А она знала?

Игорь Петрович не ответил. Он пристально смотрел на Малянова, и зрачки его странным и зловещим образом то сужались, то расширялись. Нервы у Малянова были натянуты до предела. Ему казалось: еще секунда — и он начнет колотить кулаками по столу, брызгать слюной и вообще потеряет лицо. Он просто больше не мог. Во всей этой болтовне был какой-то зловещий подтекст, все это было похоже на липкую паутину, и в эту паутину почему-то то и дело затягивали Ирку...

— Ну, ладно, — сказал вдруг Игорь Петрович, захлопывая блокнот. — Значит, коньяк у вас здесь... — Он указал на бар. — А водка — в холодильнике. Вы что предпочитаете? Лично вы.

— Я?

— Да. Вы. Лично.

— Коньяк... — произнес Малянов хрипло и глотнул. В горле у него было сухо.

— Вот и прекрасно! — бодренько сказал Игорь Петрович, легко поднялся и мелкими шажками двинулся к бару. — Далеко ходить не надо... Та-ак! — Он уже копался в баре. — Ага, тут у вас и лимончик есть... подсох слегка, но это ничего... Какие рюмочки прикажете? Давайте вот из этих, из синеньких...

Малянов тупо смотрел, как он с необыкновенной лов-

костью расставляет на столе рюмки, тонкими ломтиками нарезает лимон, откупоривает бутылку.

— Вы знаете, — говорил он, — если откровенно — дело ваше дрянь. Разумеется, все решает суд, но я как-никак десять лет уже работаю, кое-какой опыт имею. Всегда, знаете ли, можно представить себе, какое дело на что тянет. Ну, вышки вам не дадут, но лет пятнадцать я вам, можно сказать, гарантирую... — Он аккуратно, не пролив ни капли, разлил коньяк по рюмкам. — Разумеется, всегда могут открыться смягчающие обстоятельства, но пока я их, откровенно говоря, не вижу... Не вижу, не вижу и не вижу, Дмитрий Алексеевич! Ну... — Он поднял рюмку и приглашающе наклонил голову.

Одеревенелыми пальцами Малянов взялся за свою рюмку.

— Хорошо... — произнес он не своим голосом. — Но могу я все-таки знать, что происходит?

— Ну, разумеется! — вскричал Игорь Петрович. Он выпил, кинул в рот ломтик лимона и энергично закивал. — Разумеется, можете! Теперь я вам все расскажу. Имею полное право.

И он рассказал.

Сегодня в восемь часов утра за Снеговым пришла машина, чтобы отвезти его на аэродром. К удивлению водителя, Снеговой не дождался в подъезде, как обычно. Повременив пять минут, водитель поднялся на лифте и позвонил в квартиру. Никто ему не открыл, хотя звонок работал — водитель слышал это прекрасно. Тогда он спустился вниз и из автомата на углу доложил по начальству о создавшейся ситуации. Начальство стало звонить Снеговому по телефону. Телефон Снегового был все время занят. Тем временем водитель, обойдя дом, обнаружил, что все три окна Снегового раскрыты настежь и в квартире, несмотря на высокое уже солнце, горит электрический свет. Водитель немедленно доложил об этом. Были вызваны компетентные лица, которые, прибыв, тут же взломали замок и осмотрели квартиру Снегового. При осмотре было обнаружено, что все электролампы в квартире включены, на кровати в спальне стоят незакрытый, но собранный чемодан, а сам Снеговой сидит в своем кабинете за столом, держа в одной руке телефонную трубку, а в другой — пистолет системы Макарова. Было установлено, что Снеговой скончался от огнестрельной раны, нанесенной из этого пистолета в правый висок в упор. Смерть последовала мгновенно между тремя и четырьмя часами утра.

— А я-то здесь при чем? — просипел Малянов.

В ответ Игорь Петрович подробно рассказал, как строилась баллистическая кривая и как была обнаружена пуля, прошедшая навывлет и застрявшая в стене.

— Но я-то, я-то здесь при чем? — спрашивал Малянов, истово ударяя себя в грудь. К этому моменту они уже выпили по третьей.

— Но вам его жалко? — спрашивал Игорь Петрович. — Жалко его вам?

— Жалко, конечно... Он был отличный мужик... Но я-то! Меня-то вы почему? Я и пистолета сроду в руках не держал! Я же невоеннообязанный... по зрению...

Игорь Петрович его не слушал. Он подробно рассказывал, как следствию удалось в короткие сроки выяснить, что покойный Снеговой был левша, и очень странно, что застрелился он, держа пистолет в правой руке.

— Ну да, ну да! — соглашался Малянов. — Арнольд Палыч действительно был левша, я тоже это знаю, могу подтвердить... Но я-то... Я ведь спал всю ночь! А потом, зачем я его буду убивать, сами посудите!

— Ну, а кто же? Кто? — ласково спросил Игорь Петрович.

— Откуда мне знать? Это вы должны знать — кто?

— Вы-с! — гнусаво-вкрадчивым голосом Порфирия произнес Игорь Петрович, разглядывая Малянова сквозь рюмку одним глазом. — Вы и убили-с, Дмитрий Алексеевич!..

— Кошмар какой-то... — пробормотал Малянов беспомощно. Ему хотелось заплакать от отчаяния.

И тут легкий сквознячок потянул по комнате, шевельнул сдвинутую штору, и яростное пополуденное солнце, ворвавшись в окно, ударило Игоря Петровича прямо по лицу. Он зажмурился, заслонился растопыренной пятерней, подвинулся в кресле и торопливо поставил рюмку на стол. Что-то с ним случилось. Глаза часто замигали, на щеки набежала краска, подбородок дрогнул. «Простите... — прошептал он с совершенно человеческой интонацией. — Простите, Дмитрий Алексеевич... Может быть, вы... Как-то здесь...»

Он замолчал, потому что в Бобкиной комнате что-то грохнуло и разлетелось с длинным дребезгом.

— Это что такое? — спросил Игорь Петрович, насто-рожившись. Души человеческой снова не было в его голосе.

— Это там... один человек... — проговорил Малянов,

так и не успев понять, что же произошло с Игорем Петровичем. Совсем другая мысль вдруг осенила его. — Слушайте! — вскричал он, вскакивая. — Пойдемте! Вот, пожалуйста, там подруга жены! Она подтвердит!.. всю ночь спал, никуда не выходил...

Толкаясь плечами, они устремились в прихожую.

— Интересно, интересно... — приговаривал Игорь Петрович. — Подруга жены... Посмотрим!

— Она подтвердит... — бормотал Малянов. — Сейчас увидите... Подтвердит...

Они без стука ворвались в Бобкину комнату и остановились. Комната была прибрана и пуста. Лидочки не было, постели на тахте не было, чемодана не было. А под окном, рядом с осколками глиняного кувшина (Хорезм, XI век), сидел Калям с необыкновенно невинным видом.

— Это? — произнес Игорь Петрович, указывая на Каляма.

— Нет... — ответил Малянов глупо. — Это наш кот, он у нас давно... Позвольте, а где же Лидочка? — Он оглянулся на вешалку. Белого пыльника тоже не было. — Она ушла, наверное...

Игорь Петрович пожал плечами.

— Наверное, — сказал он. — Здесь ее нет.

Тяжело ступая, Малянов подошел к разбитому кувшину.

— С-скотина! — сказал он и дал Калям по уху.

Калям шарахнулся вон. Малянов присел на корточки. Вдребезги. Какой хороший кувшин был...

— А она у вас ночевала? — спросил Игорь Петрович.

— Да, — сказал Малянов мрачно.

— Когда вы ее видели в последний раз? Сегодня?

Малянов помотал головой.

— Вчера. То есть, собственно, сегодня. Ночью. Я ей простыни давал, одеяло... — Он заглянул в Бобкин ящик для постельного белья. — Вот. Все тут.

— Давно она у вас живет?

— Вчера приехала.

— А вещи ее здесь?

— Не вижу, — сказал Малянов. — И пыльника ее нет.

— Странно, верно? — сказал Игорь Петрович.

Малянов молча махнул рукой.

— Ну и черт с нею, — сказал Игорь Петрович. — С этими бабами одна морока. Пойдемте еще по рюмочке...

Вдруг входная дверь распахнулась, и в прихожую...»

6. «...дверь лифта, загудел мотор. Малянов остался один.

Долго стоял он на пороге Бобкиной комнаты, привалившись плечом к косяку и ни о чем, в общем, не думая. Появился откуда-то Калям, прошел, нервно подрагивая хвостом, мимо него, вышел на площадку и принялся лизать цементный пол.

— Ну, ладно, — сказал Малянов наконец, оторвался от косяка и прошел в большую комнату.

Было там накурено, сиротливо стояли три синие рюмки на столе — две пустые и одна наполовину полная; солнце уже добралось до книжных полок.

— Коньяк унес... — сказал Малянов. — Это ж надо же!

Он немного посидел в кресле, допил свою рюмку. За окном грохотало и фырчало, через открытые двери доносились с лестницы детские вопли и шум лифта. Пахло щами. Потом он встал, протащился через прихожую, ударившись плечом о косяк, выволокся нога за ногу на лестничную площадку и остановился перед дверью квартиры Снегового. Дверь была опечатана, и на замке стояла большая сургучная печать. Он осторожно коснулся ее кончиками пальцев и отдернул руку. Все было правдой. Все, что случилось, — случилось. Гражданин Советского Союза Арнольд Павлович Снеговой, полковник и загадочный человек, ушел из жизни».

Глава четвертая

7. «Он помыл и поставил на место рюмки, убрал черепки в Бобкиной комнате и дал Калям рыбы. Потом взял высокий стакан, из которого Бобка пьет молоко, вбил туда три сырых яйца, крошил хлеба, обильно засыпал солью и перцем и перемешал. Есть ему не хотелось, он действовал механически. И он съел эту тюрю, стоя перед балконным окном и глядя на залитый солнцем пустой двор. Даже деревья не удосужились посадить. Хоть одно.

Мысли его текли вялой стружкой, да и не мысли это были, собственно, — так, обрывки какие-то. Может быть, это такие новые методы следствия, думал он. Научно-техническая революция и вообще. Непринужденность и психическая атака... Но насчет коньяка — как-то совсем непонятно. Игорь Петрович Зыков... или Зыкин? Ну, это он мне сам так представился, а вот что у него было в

документе? Мазурики! — подумал он вдруг. Спектакль со мной разыграли ради полбутылки коньяка...

Нет, Снеговой умер, это ясно. Снегового я больше не увижу. Хороший был человек, только какой-то нелепый. Какой-то он всегда был неустроенный... особенно вчера. И ведь кому-то он звонил... звонил он кому-то, что-то хотел сказать еще, объяснить... предупредить о чем-то. Малянова передернуло. Он поставил в мойку грязный стакан — эмбрион будущей кучи грязной посуды. Здорово Лидочка кухню убрала, все так и сверкает... А он меня предупреждал насчет Лидочки. Действительно, с этой Лидочкой как-то непонятно...

Малянов вдруг бросился в прихожую, поискал под вешалкой и нашел записку от Ирки. Нет, ерунда. Все правильно. И почерк явно Иркин, и манера ее... И вообще, вы подумайте, ну на кой ляд убище мыть посуду?..»

8. «...у Вальки был занят. Малянов положил трубку и растянулся на тахте, уткнувшись носом в жесткий ворс. У Вальки ведь там тоже что-то не в порядке. Истерика какая-то. Вообще-то с ним такое случается. Либо со Светкой поругался, либо с тещей... Что это он у меня спрашивал, странное что-то... Эх, Валька, мне бы твои заботы! Нет, пускай приезжает. Он в истерике, я в истерике — глядишь, вдвоем что-нибудь и придумаем... Малянов снова набрал номер, и снова оказалось занято. Ч-черт, как время бездарно проходит! Сейчас бы самое работать и работать, а тут вся эта пакость.

И вдруг кто-то кашлянул в прихожей у него за спиной. Малянова как ветром снесло с тахты. И зря, конечно. Никого там, в прихожей, не было. И в ванной тоже. И в сортире. Он проверил замок, вернулся на тахту и тут обнаружил, что колени у него дрожат. Ч-черт, нервы сдали. А этот тип еще убеждал меня, что похож на человека-невидимку. На глисту ты похож очкастую, а не на человека-невидимку! Гад. Он еще раз набрал телефон Вальки, бросил трубку и стал решительно натягивать носки. От Вечеровского позвоню. Сам виноват, что все время треплется... Он нагянул чистую рубашку, проверил в кармане ключи, запер за собой дверь и побежал вверх по лестнице.

На шестом этаже в нише у мусоропровода миловалась парочка. Парень был в черных очках, но Малянов знал этого сопляка — кандидат в рядовые необученные из семнадцатой квартиры, второй год никуда поступить не может и не хочет... Больше до самого восьмого этажа он никого не встретил. Но все время у него было предчув-

ствии, что вот-вот наткнется на кого-то. Цапнут его за локоть и скажут негромко: «Одну минуточку, гражданин...» Слава богу, Фил был дома. И как всегда, у него был такой вид, словно он собирается в консульство Нидерландов на прием в честь прибытия ее величества и через пять минут за ним должна заехать машина. Был на нем какой-то невероятной красоты кремовый костюм, невообразимые мокасины и галстук. Этот галстук Малянова всегда особенно угнетал. Не мог он представить себе, как это можно работать дома в галстуке.

— Работаешь? — спросил Малянов.

— Как всегда.

— Ну, я ненадолго.

— Конечно, — сказал Вечеровский. — Кофе?

— Подожди, — сказал Малянов. — А впрочем, давай.

Они отправились на кухню. Малянов сел на свой стул, а Вечеровский принялся колдовать с кофейным оборудованием.

— Я сделаю по-венски, — сказал он не оборачиваясь.

— Валяй, — отозвался Малянов. — Сливки есть?

Вечеровский не ответил. Малянов смотрел, как под тонкой кремовой тканью энергично работают его торчащие лопатки.

— У тебя следовательно был? — спросил он.

Лопатки на мгновение застыли, затем над сутулым плечом медленно возникло, поворачиваясь, длинное веснушчатое лицо с вислым носом и рыжими бровями, высоко задранными над верхним краем могучей роговой оправы очков.

— Прости... Как ты сказал?

— Я сказал: следовательно у тебя был сегодня или нет?

— Почему именно следовательно? — осведомился Вечеровский.

— Потому что Снеговой застрелился, — сказал Малянов. — Ко мне уже приходили.

— Кто такой Снеговой?

— Ну, этот дядька, который напротив меня живет. Ракетчик.

— А...

Вечеровский отвернулся и снова задвигал лопатками.

— А ты разве его не знал? — спросил Малянов. — По-моему, я вас знакомил.

— Нет, — сказал Вечеровский. — Насколько я помню — нет.

По всей кухне прекрасно запахло кофе. Малянов

уселся поудобнее. Рассказать или не стоит? В этой сверкающей ароматной кухне, где было так прохладно, несмотря на ослепительное солнце, где все всегда стояло на своих местах и все было самого высшего качества — на мировом уровне или несколько выше, — здесь все события прошедших суток казались особенно нелепыми, дикими, неправдоподобными... нечистоплотными какими-то.

— Ты анекдот о двух петухах знаешь? — спросил Малянов.

— О двух петухах? Я знаю анекдот о трех петухах. Совершенно бездарный. От сохи.

— Да нет. О двух! — сказал Малянов. — Не знаешь?

И он рассказал анекдот о двух петухах. Вечеровский не отреагировал никак. Можно было подумать, что ему не анекдот рассказали, а предложили серьезную задачу — такой у него был вид, сосредоточенный и задумчивый, когда он ставил перед Маляновым чашечку кофе, полную сливочницу и розетку с вареньем. Потом он налил чашечку себе, сел напротив, держа ее на весу, обмакнул в нее губы и проговорил наконец:

— Превосходно. Это я не о твоём анекдоте. Это я о кофе.

— Догадываюсь, — уныло сказал Малянов.

Некоторое время они молча наслаждались кофе по-венски. Потом Вечеровский сказал:

— Вчера я немного подумал над твоей задачей... Ты не пробовал применить функции Гартвига?

— Знаю, знаю, — сказал Малянов. — Сам допер.

— Получилось?

Малянов отодвинул от себя пустую чашку.

— Слушай, Фил, — сказал он. — Какие тут, к чертовой матери, функции Гартвига? У меня голова винтом, а ты...»

9. «...помолчал минуту, поглаживая двумя пальцами гладко выбритую скулу, а затем продекламировал:

— Глянуть смерти в лицо сами мы не могли, нам глаза завязали и к ней привели... — И добавил: — Бедняга.

Непонятно было, кого он имеет в виду.

— Нет, я все могу понять, — сказал Малянов. — Но вот этот следователь...

— Ты хочешь еще кофе? — перебил его Вечеровский. Малянов помотал головой, и Вечеровский поднялся.

— Тогда пойдём ко мне, — сказал он.

Они перешли в кабинет. Вечеровский сел за стол — совершенно пустой, с одиноким листиком бумаги посередине, — вынул из ящика механический бювар, щёлкнул какой-то кнопкой, пошарил глазами по строчкам и набрал на телефоне номер.

— Старшего следователя Зыкина, — произнес он вялым начальственным голосом. — Я и говорю — Зыкова Игоря Петровича... На операции? Благодарю вас. — Он положил трубку. — Старший следователь Зыков на операции, — сообщил он Малянову.

— Коньяк он мой пьёт с девками, а не на операции... — проворчал Малянов.

Вечеровский покусал губу.

— Это уже неважно. Важно, что он существует.

— Конечно, существует! — сказал Малянов. — Он мне свое удостоверение показывал... Или ты думал, что это были жулики?

— Вряд ли...

— Вот и я тоже подумал. Из-за бутылки коньяка разводить такую историю... да ещё рядом с опечатанной квартирой...

Вечеровский кивнул.

— А ты говоришь — функции Гартвига! — сказал Малянов укоризненно. — Какая тут может быть работа! Тут того и гляди загремишь в лагерь...

Вечеровский пристально смотрел на него рыжими глазами.

— Дима, — проговорил он, — а тебя не удивило, что Снеговой заинтересовался твоей работой?

— Ещё бы! Сроду мы с ним о работе никогда не говорили...

— А что ты ему рассказал?

— Н-ну... в общих чертах... Он, собственно, и не настаивал на подробностях.

— И что он сказал?

— Ничего не сказал. По-моему, он был разочарован. «Где имение, а где вода» — так он выразился.

— Прости?

— «Где имение, а где вода»...

— А что, собственно, это значит?

— Это из классики откуда-то... В том смысле, что в огороде бузина, а в Киеве дядька...

— Ага... — Вечеровский задумчиво поморгал коровьими ресницами, потом взял с подоконника идеально чис-

тую пепельницу, вынул из стола трубку с кисетом и принялся ее набивать. — Ага... «Где имение, а где вода»... Это хорошо. Надо будет запомнить.

Малянов нетерпеливо ждал. Он очень верил в него. У Вечеровского был совершенно нечеловеческий мозг. Малянов не знал другого человека, который из совокупности данных фактов был бы способен делать столь неожиданные выводы.

— Ну? — сказал Малянов наконец.

Вечеровский уже набил свою трубку и теперь так же неторопливо и со вкусом ее раскуривал. Трубка тихонечко сипела. Вечеровский сказал, затягиваясь:

— Дима... п-п... а насколько ты, собственно, продвинулся с четверга? Мы, кажется, в четверг... п-п... разговаривали в последний раз...

— Какое это имеет значение? — спросил Малянов с раздражением. — Мне сейчас, знаешь ли, не до этого...

Эти слова Вечеровский пропустил мимо ушей — по-прежнему смотрел на Малянова рыжими своими глазами и попыхивал трубкой. Это был Вечеровский. Он задал вопрос и теперь ждал ответа. И Малянов сдался. Он верил, что Вечеровскому виднее, что имеет значение, а что — нет.

— Неплохо я продвинулся, — сказал он и принялся рассказывать, как ему удалось переформулировать задачу и свести ее сначала к уравнениям в векторной форме, а потом к интегро-дифференциальному уравнению; как у него стала вырисовываться физическая картина, как допер он до М-полостей и как вчера сообразил наконец использовать преобразования Гартвига.

Вечеровский слушал очень внимательно, не перебивая и не задавая вопросов, и только один раз, когда Малянов, увлекшись, схватил одинокий листок и попытался писать на обратной стороне, остановил его и попросил: «Словами, словами...»

— Но ничего этого я сделать уже не успел, — уныло закончил Малянов. — Потому что сначала начались дурацкие телефонные звонки, потом приперся мужик из стола заказов...

— Ты мне ничего об этом не говорил, — прервал его Вечеровский.

— Так это никакого отношения к делу не имеет, — сказал Малянов. — Пока были телефонные звонки, я еще кое-как работал, а потом заявила эта Лидочка, и все пошло на пропасть...

Вечеровский совершенно окутался клубами и струями ароматного медвяного дыма.

— Неплохо, неплохо... — прозвучал его глуховатый голос. — Но остановился ты, как я вижу, на самом интересном месте.

— Не я остановился, а меня остановили!

— Да, — сказал Вечеровский.

Малянов ударил себя кулаками по коленям.

— Ч-черт, сейчас бы работать и работать! А я думать не могу! От каждого шороха в собственной квартире вздрагиваю как псих... и вдобавок эта милая перспективочка — пятнадцать лет ИТЛ...

Он уже в который раз вворачивал про эти пятнадцать лет, все ждал, что Вечеровский скажет: «Не выдумывай, какие там пятнадцать лет, это же явное недоразумение...» — но Вечеровский и на этот раз ничего подобного не сказал. Вместо этого он принялся длинно и нудно расспрашивать Малянова о телефонных звонках: когда они начались (точно), куда звонили (ну хоть несколько конкретных примеров), кто звонил (мужчина? женщина? ребенок?). Когда Малянов рассказал ему про звонки Вайнгартена, он, по-видимому, удивился и некоторое время молчал, а потом опять принялся за свое. Что Малянов отвечал в телефон? Всегда ли подходил? Что ему сказали в бюро ремонта? Кстати, только теперь Малянов вспомнил, что после его второго звонка в бюро ремонта ошибочные вызовы прекратились... Но он даже не успел сказать об этом Вечеровскому, потому что вспомнил еще кое-что.

— Слушай, — сказал он, оживившись. — Я совсем забыл. Вайнгартен, когда звонил вчера, спрашивал, знаю ли я Снегового.

— Да?

— Да. Я сказал, что знаю.

— А он?

— А он сказал, что не знает... Не в этом дело. Что это, по-твоему, — совпадение? Или как? Странное какое-то совпадение...

Вечеровский помолчал некоторое время, попыхивая трубкой, а затем снова принялся за свое. Что это за история со столом заказов? Поподробнее... Как выглядел этот дядька? Что он говорил? Что он принес? Что теперь осталось от того, что он принес?.. Этим унылым допросом он загнал Малянова в кромешную тоску, потому что Малянов не понимал, зачем это все надо и какое

отношение все это имеет к его несчастьям. Потом Вечеровский наконец замолчал и принялся ковыряться в трубке. Малянов сначала ждал, а потом стал представлять себе, как за ним приходят четверо, все как один в черных очках, и шарят по квартире, и отдирают обои, и допытываются, не вступал ли он в сношения с Лидочкой, и не верят ему, а потом уводят...

Он хрустнул пальцами и с тоской пробормотал:

— Что будет? Что будет?..

Вечеровский тотчас откликнулся.

— Кто знает, что ждет нас? — сказал он. — Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет. И смерть придет и на смерть осудит. Не надо в грядущее взор погружать...

Малянов понял, что это стихи, только потому, что Вечеровский, закончив, разразился глуховатым уханьем, которое обозначало у него довольный смех. Наверное, так же ухали уэллсовские марсиане, упиваясь человеческой кровью, а Вечеровский так ухал, когда ему нравились стихи, которые он читал. Можно было подумать, что удовольствие, которое он испытывал от хороших стихов, было чисто физиологическим.

— Иди ты к черту, — сказал ему Малянов.

И тогда Вечеровский произнес вторую тираду — на этот раз в прозе.

— Когда мне плохо, я работаю, — сказал он. — Когда у меня неприятности, когда у меня хандра, когда мне скучно жить, я сажусь работать. Наверное, существуют другие рецепты, но я их не знаю. Или они мне не помогают. Хочешь моего совета — пожалуйста: садись работать. Слава богу, таким людям, как мы с тобой, для работы ничего не нужно, кроме бумаги и карандаша...

Положим, все это Малянов знал и без него. Из книг. У Малянова все это было не так. Он мог работать, только когда на душе у него было легко и ничего над ним не висело.

— Помощи от тебя... — сказал он. — Дай-ка я лучше Вайнгартену позвоню... Странно мне все-таки, что он спрашивал про Снегового...

— Конечно, — сказал Вечеровский. — Только, если тебе не трудно, перенеси телефон в другую комнату.

Малянов взял аппарат и поволок шнур в соседнюю комнату.

— Если хочешь, оставайся у меня, — сказал ему вслед Вечеровский. — Бумага есть, карандаш я тебе дам...

— Ладно, — сказал Малянов. — Там видно будет...

Теперь Вайнгартен не отвечал. Малянов дал звонков десять, перезвонил, дал еще десяток и повесил трубку. Так. Что же теперь делать? Конечно, можно было бы остаться здесь. Здесь прохладно, тихо. В каждой комнате кондиционер. Прицепов и тормозов не слышно — окна во двор. И вдруг он понял, что дело не в этом. Ему было просто страшно возвращаться к себе. Это надо же! Больше всего на свете я люблю свой дом, и в этот дом мне страшно возвращаться. Ну, нет, подумал он. Этого вы от меня не дождетесь. Это уж пардон.

Малянов решительно сгреб аппарат и отнес его на место. Вечеровский сидел, уставясь в свой одинокий листок, и тихонько постукивал по нему благороднейшим паркером. Листок был наполовину исписан символами, которых Малянов не понимал.

— Я пойду, Фил, — сказал Малянов.

Вечеровский поднял к нему рыжее лицо.

— Конечно... Завтра у меня экзамен, а сегодня я весь день дома. Звони или заходи...

— Хорошо, — сказал Малянов.

По лестнице он спускался неторопливо, торопиться было некуда. Сейчас заварю чайку покрепче, сяду на кухне, Калям вспрыгнет мне на колени, я буду гладить его, прихлебывать чай и попробую наконец трезво и спокойно все это продумать... Жаль, телевизора нет, посидеть бы вечерок перед ящиком, посмотреть что-нибудь бездумное... комедию какую-нибудь или футбол... Пасьянстик разложу, что-то я давно пасьянсов не раскладывал...

Он спустился на свою лестничную площадку, нащупывая в кармане ключи, повернул за угол и остановился. Так. Сердце его провалилось куда-то в желудок и принялось там стучать медленно, размеренно, как свайная баба. Та-ак... Дверь квартиры была приоткрыта.

Он на цыпочках подкрался к двери и прислушался. В квартире кто-то был. Бубнил незнакомый мужской голос, и что-то отвечал незнакомый детский голос...»

Глава пятая

10. «...сидел на корточках незнакомый мужчина и подбирал осколки разбитой рюмки. Кроме того, на кухне был еще мальчик лет пяти. Сидел на табуретке за столом, подсунув под себя ладони, болтал ногами и смотрел, как подбираются осколки.

— Слушай, отец! — возбужденно закричал Вайнгартен, увидев Малянова. — Где ты попадаешь?

Огромные щеки его пылали лиловым румянцем, черные, как маслины, глаза блестели, жесткие смоляные волосы стояли дыбом. Видно было, что он уже основательно принял внутрь. На столе имела место наполовину опорожненная бутылка экспортной «Столичной» и всякие яства из стола заказов.

— Успокойся и не переживай, — продолжал Вайнгартен. — Икру мы не тронули. Тебя ждали.

Мужчина, подбиравший осколки, поднялся. Это был рослый красавец с норвежской бородкой и чуть обозначившимся брюшком. Он смущенно улыбался.

— Так-так-так! — произнес Малянов, вступая в кухню и чувствуя, как сердце поднимается из желудка и становится на свое место. — Мой дом — моя крепость, так это называется?

— Взятая штурмом, отец, взятая штурмом! — заорал Вайнгартен. — Слушай, откуда у тебя такая водка? И жратва?

Малянов протянул руку красавцу, и он тоже протянул мне руку, но в ней были зажаты осколки. Возникла маленькая приятная неловкость.

— Мы тут без вас находзяйничали... — сказал он сконфуженно. — Это я виноват...

— Чепуха, чепуха, вот сюда давайте, в ведро...

— Дядя — трус, — произнес вдруг мальчик отчетливо. Малянов вздрогнул. И все тоже вздрогнули.

— Ну-ну, тише... — произнес красавец и как-то нерешительно погрозил мальчику пальцем.

— Дитя! — сказал Вайнгартен. — Ведь тебе дали шоколад. Сиди и харчись. Не встревай.

— Почему же это я трус? — спросил Малянов, усаживаясь. — Зачем это ты меня обижаешь?

— А я тебя не обижаю, — возразил мальчик, разглядывая меня как какое-то редкостное животное. — Я тебя назвал...

Между тем красавец освободился от осколков, вытер ладонь носовым платком и протянул мне руку.

— Захар, — представился он.

Мы обменялись церемонным рукопожатием.

— За дело, за дело! — хлопотливо произнес Вайнгартен, потирая руки. — Тащи еще две рюмки...

— Слушайте, ребята, — сказал Малянов. — Я водку пить не буду.

— Вино пей, — согласился Вайнгартен. — Там у тебя еще две бутылки белого...

— Нет, я лучше коньяку. Захар, достаньте там, пожалуйста, в холодильнике, икру и масло... и вообще все, что там есть. Жрать хочется.

Малянов сходил в бар, взял коньяк и рюмки, показал язык креслу, в котором давеча сидел тонтон-макут, и вернулся к столу. Стол ломился от яств. Наемся и напьюсь, подумал я с веселой яростью. Молодцы ребята, что приехали...

Но все получилось не так, как я думал. Едва мы выпили, и я принялся с урчанием поедать гигантский бутерброд с икрой, как Вайнгартен совершенно трезвым голосом сказал:

— А теперь, отец, рассказывай, что с тобой произошло.

Малянов поперхнулся.

— Откуда ты взял?..

— Вот что, — сказал Вайнгартен, переставши сиять как масляный блин. — Нас здесь трое, и с каждым из нас кое-что произошло. Так что не стесняйся. Что тебе сказал этот рыжий?

— Вечеровский?

— Да нет, при чем здесь Вечеровский? К тебе явился маленький огненно-рыжий человек в этаким удушливо-черном костюме. Что он тебе сказал?

Малянов откусил от бутерброда, сколько в рот влезло, и принялся жевать, не чувствуя вкуса. Все трое смотрели на него. Захар смотрел смущенно, робко улыбаясь, то и дело отводя взгляд. Вайнгартен бешено выкатывал глаза, готовясь заорать. А мальчишка, держа в руке обмусоленную шоколадную плитку, весь так и подался к Малянову, словно хотел в рот ему вскочить.

— Ребята, — сказал Малянов наконец. — Какие там рыжие? Никакие рыжие ко мне не приходили. У меня все было гораздо хуже.

— Ну, давай, давай, рассказывай, — нетерпеливо сказал Вайнгартен.

— Почему это я должен рассказывать? — возмутился Малянов. — Я из этого никакого секрета не делаю, но чего ты тут передо мной разыгрываешь? Сам рассказывай! Откуда, интересно, ты узнал, что со мной вообще что-то случилось?

— Вот расскажи, а потом и я тебе расскажу, — упрямо сказал Вайнгартен. — И Захар расскажет.

— Вот вы давайте оба и рассказывайте, — проговорил Малянов, нервно намазывая себе новый бутерброд. — Вас двое, а я один...

— Ты рассказывай, — приказал вдруг мальчик, ткнув в сторону Малянова пальцем.

— Тише, тише... — прошептал Захар, совсем застеснявшись.

Вайнгартен невесело хохотнул.

— Это ваш? — спросил Малянов Захара.

— Да вроде мой... — странно ответил Захар, отводя глаза.

— Его, его, — сказал Вайнгартен нетерпеливо. — Между прочим, это как раз часть его рассказа. Ну, Митька, давай... не ломайся...

Совсем они сбили Малянова с панталыку. Он отложил бутерброд и стал рассказывать. С самого начала, с телефонных звонков. Когда одну и ту же страшную историю рассказываешь второй раз на протяжении каких-нибудь двух часов, поневоле начинаешь обнаруживать в ней забавные стороны. Малянов и сам не заметил, как разошелся. Вайнгартен то и дело всхohатывал, обнажая могучие желтоватые клыки, а Малянов прямо-таки целью жизни своей положил заставить засмеяться и красавца Захара, но это ему так и не удалось — Захар только растерянно и почти жалобно улыбался. А когда Малянов дошел до самоубийства Снегового, стало и вообще не до смеха.

— Врешь! — хрипло выдохнул Вайнгартен.

Малянов дернул плечом.

— За что купил... — сказал он. — А дверь у него опечатана, можешь пойти и посмотреть...

Некоторое время Вайнгартен молчал, постукивая по столу толстыми пальцами и подрагивая в такт щеками, а потом вдруг с шумом поднялся, ни на кого не глядя, протиснулся между Захаром и мальчиком и тяжело затопал вон. Было слышно, как чмокнул замок, в квартиру потянуло щами.

— Охо-хо-хо-хо... — уныло произнес Захар.

И сейчас же мальчик протянул ему обмусоленную шоколадку и потребовал:

— Откуси!

Захар покорно откусил и стал жевать. Хлопнула дверь. Вайнгартен, по-прежнему ни на кого не глядя, протиснулся на свое место и, плеснув себе в рюмку водки, хрипло буркнул:

— Дальше...

— Что — дальше? Дальше я пошел к Вечеровскому... Эти хмыри ушли, и я пошел... Вот только что вернулся.

— А рыжий? — спросил Вайнгартен нетерпеливо.

— Я же тебе говорю, ослиная твоя башка! Не было никаких рыжих!

Вайнгартен и Захар переглянулись.

— Ну, предположим, — сказал Вайнгартен. — А девица эта твоя... Лидочка... Она тебе никаких предложений не делала?

— Н-ну... как тебе сказать... — Малянов неловко ухмыльнулся. — То есть... если бы я по-настоящему захотел...

— Тьфу, болван! Да я не об этом!.. Ну, ладно. А следовательно?

— Знаешь что, Валька, — сказал Малянов, — я тебе все рассказал, как было, иди к черту! Честное слово, третий допрос за день...

— Валя, — нерешительно вмешался Захар, — а может быть, тут действительно что-нибудь другое?

— Брось, отец! — Вайнгартен весь перекосясь. — Как это — другое? У него работа, работать не дают... Как это — другое? И потом, мне же его называли!..

— Кто это меня назвал? — спросил Малянов, предчувствуя новые неприятности.

— Писать хочу, — ясным голосом объявил мальчик.

Все уставились на него. А он оглядел всех по очереди, сполз с табурета и сказал Захару:

— Пойдем.

Захар виновато улыбнулся, сказал: «Ну, пойдем...» — и они скрылись в сортире. Было слышно, как они гонят рассеявшегося в унитазе Каляма.

— Кто это меня назвал? — сказал Малянов Вайнгартену. — Что еще за новости?

Вайнгартен, склонив голову, прислушивался к тому, что происходит в сортире.

— Во Губарь влип! — произнес он с каким-то печальным удовлетворением. — Вот влип так влип!

Что-то вязко провернулось в мозгу у Малянова.

— Губарь?

— Ну да. Захар. Знаешь, сколько веревочке ни виться...

Малянов вспомнил.

— Он ракетчик?

— Кто? Захар? — Вайнгартен удивился. — Да нет,

вряд ли... Хотя вообще-то он работает в каком-то ящике...

— Он не военный?

— Ну, знаешь ли, все ящики в той или иной...

— Я про Губаря спрашиваю.

— Да нет. Он — мастеровой, золотые руки. Блох мастерит с электронным управлением... Но беда не в этом. Беда в том, что он человек, который бережно и обстоятельно относится к своим желаниям. Это его собственные слова. Причем заметь, отец, это истинная правда...

Мальчик снова появился в кухне и вскарабкался на табурет. Захар вошел следом. Малянов сказал ему:

— Захар, вы знаете, я забыл, а сейчас вот вспомнил... Ведь о вас Снеговой спрашивал...

И тут Малянов впервые в жизни увидел, как человек белеет прямо на глазах. То есть делается белым, буквально как бумага.

— Обо мне? — спросил Захар одними губами.

— Да вот... вчера вечером... — Малянов испугался. Такой реакции он все-таки не ожидал.

— Ты что, его знал? — спросил Вайнгартен Захара негромко.

Захар молча помотал головой, полез за сигаретой, высыпал полпачки на пол и принялся торопливо собирать просыпанное. Вайнгартен крикнул, пробормотал: «Это дело надо того, отцы...» — и принялся разливать. И тут мальчик сказал:

— Подумаешь! Это еще ничего не значит.

Малянов опять вздрогнул, а Захар распрямился и стал смотреть на сына с какой-то надеждой, что ли.

— Это просто случайность, — продолжал мальчик. — Вы телефонную книгу посмотрите, там этих Губарей штук восемь...»

11. «...Малянов знал с шестого класса. В седьмом они подружились и просидели до конца школы за одной партой. Вайнгартен не менялся с годами, он только увеличивался в размерах. Всегда он был веселый, толстый, плотоядный, всегда он что-то коллекционировал — то марки, то монеты, то почтовые штемпеля, то этикетки с бутылок. Один раз, уже ставши биологом, он даже затеял коллекционировать экскременты, потому что Женька Сидорцев привез ему из Антарктиды китовьи, но Саня Житнюк доставил из Пенджикента человеческие, но не простые, а окаменевшие, девятого века. Вечно он приста-

вал к окружающим, требуя показать мелочь, — искал какие-то особенные медяки. И вечно он хватал чужие письма, кланчил конверты с печатями.

И при всем при том дело свое он знал. У себя в ИЗРАНЕ он давно уже был старшим, числился членом двадцати разнообразных комиссий, как союзных, так и международных, постоянно шастал за рубеж на всякие конгрессы и вообще был без пяти минут доктор. Из всех своих знакомых больше всего он уважал Вечеровского, потому что Вечеровский был лауреат, а Валька до дрожи мечтал стать лауреатом. Сто раз он рассказывал Малянову, как нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку. И всегда он был треплом. Рассказывал он блестяще, самые обычные житейские события превращались у него в драмы а ля Грэм Грин. Или, скажем, Ле Карре. Но врал он, как это ни странно, очень редко и ужасно смущался, когда на этом редком вранье его ловили. Ирка его не любила, непонятно за что, тут была какая-то тайна. Было у Малянова подозрение, что в молодые годы, когда Бобка еще не родился, Вайнгартен пытался подбить ей клинья, ну и что-то у них там не вышло. Вообще насчет клиньев он был мастак, но не какой-нибудь там сальный или примитивно похотливый, а веселый, энергичный, заранее готовый как к победам, так и к поражениям мастак. Для него каждая свиданка была приключением, независимо от того, чем она кончалась. Светка, женщина исключительно красивая, но склонная к меланхолии, давно махнула на него рукой, тем более что он в ней души не чаял и постоянно дрался из-за нее в общественных местах. Он вообще любил подраться, ходить с ним в ресторан было сущим наказанием... Словом, жил он ровно, весело, удачливо и без каких-нибудь особых потрясений.

Странные события с ним начались, оказывается, еще две недели назад, когда серия опытов, заложенная в прошлом году, стала вдруг давать результаты совершенно неожиданного и даже сенсационного свойства. («Вы этого, отцы, понять не можете, это связано с обратной транскриптазой, она же РНК-зависимая ДНК-полимераза, она же просто ревертаза, это такой фермент в составе онкорнавирусов, и это, я вам прямо скажу, отцы, пахнет Нобелевской...») В лаборатории Вайнгартена, кроме него самого, никто этих результатов оценить не сумел. Большинству, как это всегда бывает, было до лампочки, а отдельные творческие единицы решили просто, что серия

провалилась. Время между тем летнее, и все рвутся в отпуска. Вайнгартен же, естественно, никому отпуска не подписывает. Возникает скандалчик — обиды, местком, партбюро. И в разгар этого скандалчика Вайнгартену на одном из совещаний полуофициально сообщают, что есть такое мнение: назначить товарища Вайнгартена Валентина Артуровича директором новейшего супермодерного биологического центра, строительство которого сейчас заканчивается в Добролюбове.

От этого сообщения голова Вайнгартена В. А. пошла кругом, но он тем не менее сообразил, что такое директорство, во-первых, пока еще журавль в небе, а когда и если превратится в синицу в руках, то, во-вторых, вышибет Вайнгартена В. А. из творческой работы по крайней мере года на полтора, а то и на два. В то время как нобелевка, отцы, это нобелевка.

Поэтому пока Вайнгартен просто обещал подумать, а сам вернулся в лабораторию к своей загадочной обратной транскриптазе и к незатихающему скандалчику. Не прошло и двух дней, как его вызвал к себе шеф-академик и, расспросив о текущей работе («Я держал язык за зубами, отцы, я был предельно сдержан...»), предложил ему оставить эту сомнительную чепуху, а заняться такой-то и такой-то темой, имеющей большое народнохозяйственное значение, а потому сулящей неисчислимы материальные и духовные блага, за что он, шеф-академик, ручается головой.

Ошеломленный всеми этими ни с того ни с сего распахнувшимися горизонтами, Вайнгартен имел неосторожность расхвастаться дома, да не просто дома, а перед своей тещей, которую он зовет кавторангом, потому что она действительно капитан второго ранга в отставке. И небо над ним потемнело. («Отцы, с этого вечера мой дом превратился в лесопилку. Меня непрерывно пилили и требовали, чтобы я соглашался немедленно, причем сразу на все...»)

А лаборатория тем временем, несмотря на скандалчики, продолжала выдавать на-гора результаты один другого поразительнее. Тут умирает тетка, чрезвычайно дальняя родственница по отцу, и, улаживая дела о наследстве, Вайнгартен обнаруживает на чердаке ее дома в Кавголове ящик, набитый монетами советского чекана, вышедшими из употребления в шестьдесят первом году. Надо знать Вайнгартена, чтобы поверить: как только он нашел этот ящик, его перестали интересовать все прочие

явления жизни, вплоть до надвигающейся нобелевки включительно. Он засел дома и четверо суток перебирал содержимое ящика, глухой к звонкам из института и к пилящим речам кавторанга. В этом ящике он обнаружил замечательные экземпляры. О, великолепные! Но дело было не в этом.

Когда, покончив с монетами, он вернулся в лабораторию, ему стало ясно, что открытие уже, можно сказать, свершилось. Конечно, оставалась еще масса неясного; конечно, все это надлежало еще оформить — тоже, между прочим, работа немаленькая, — но сомнений больше уже не было: открытие вылупилось. Вайнгартен закрутился как белка в колесе. Он разом покончил со всеми скандалами в лаборатории («Отцы, выгнал всех в отпуск к чертовой матери!...»), он в двадцать четыре часа вывез кавторанга с девчонками на дачу, отменил все встречи и все свидания и только было засел дома для нанесения последнего, решающего удара, как наступил позавчерашний день.

Позавчера, едва Вайнгартен принялся за работу, в квартире объявился этот самый рыжий — маленький медно-красный человечек с очень бледным личиком, втиснутый в наглухо застегнутый черный костюм какого-то древнего покроя. Он вышел из детской и, пока Валька беззвучно открывал и закрывал рот, ловко присел перед ним на край стола и начал говорить. Без всяких предисловий он объявил, что некая внеземная цивилизация уже давно внимательно и с беспокойством следит за его, Вайнгартена В. А., научной деятельностью. Что последняя работа упомянутого Вайнгартена вызывает у них особенную тревогу. Что он, рыжий человечек, уполномочен предложить Вайнгартену В. А. немедленно свернуть упомянутую работу, а все материалы по ней уничтожить.

Вам совершенно не нужно знать, зачем и почему мы этого требуем, объявил рыжий человечек. Вы должны знать только, что мы уже пытались принять меры к тому, чтобы все произошло естественным путем. Вам ни в коем случае не следует заблуждаться, будто предложение вам поста директора, другой перспективной темы, находка ящика с монетами и даже пресловутый скандалчик в вашей лаборатории являются событиями чисто случайными. Мы пытались остановить вас. Однако, поскольку удалось вас только притормозить, и то ненадолго, мы вынуждены были применить такую крайнюю меру, как настоящий визит. Вам надлежит знать, впрочем, что все

сделанные вам предложения остаются в силе и вы вольны принять любое из них, если наше требование будет удовлетворено. Более того, в этом последнем случае мы намерены помочь вам удовлетворить и ваши маленькие, вполне понятные желания, проистекающие из слабостей, собственных человеческой природе. В качестве залога позвольте вручить вам этот небольшой презент...

С этими словами рыжий выхватил прямо из воздуха и бросил на стол перед Вайнгартером толстый пакет, как выяснилось впоследствии — набитый великолепными марками, совокупную ценность которых человек, не являющийся филателистом-профессионалом, представить себе просто не может.

Вайнгартен, продолжал рыжий человек, ни в коем случае не должен полагать, что он является единственным землянином, оказавшимся в сфере внимания сверхцивилизации. Среди знакомых Вайнгартера есть по крайней мере три человека, деятельность которых подвергается в данный момент пресечению. Он, рыжий человек, может назвать такие имена, как Малянов Дмитрий Алексеевич, астроном, Губарь Захар Захарович, инженер, и Снеговой Арнольд Павлович, химико-физик. Вайнгартеру В. А. давалось на обдумывание трое суток, начиная с этого момента, после чего сверхцивилизация будет считать себя вправе применить некие зловещие «меры третьей степени».

— Пока он мне все это излагал, — говорил Вайнгартен, страшно тараща глаза и выпячивая челюсть, — я, отцы, думал только об одном: как этот гад проник в квартиру без ключа. Тем более что дверь у меня была на задвижке... Неужели, думаю, это Светкин хахаль, которому стало невмоготу под диваном? Ну, думаю, сейчас я тебя отметелю... Но пока я все это думал, этот рыжий гад кончил свои речи и... — Вайнгартен сделал эффектную паузу.

— Вылетел в окно... — сказал Малянов сквозь зубы.

— Вот тебе! — Вайнгартен, не стесняясь ребенка, сделал малопрстойный жест. — Никуда он не вылетел. Он просто исчез!

— Валька... — сказал Малянов.

— Я тебе говорю, старик, вот так он сидел передо мной на столе... я как раз примерялся въехать ему по сопатке, не вставая... и вдруг его нет! Как в кино, знаешь? — Вайнгартен схватил последний кусок осетрины и затолкал его в пасть. — Моам? — сказал он. —

Моам муам?.. — Он с усилием проглотил и, моргая заслезившимися глазами, продолжал: — Это я, отцы, сейчас отошел немножко, а тогда сижу в кресле, глаза закрыл, вспоминаю его слова, а у самого все внутри дрожит мелкой дрожью, как пороссячий хвост... Думал, прямо тут же и помру... Никогда со мной такого не бывало. Добрался кое-как до тещиной комнаты, хватил валерьянки — не помогает. Смотрю — у нее бром стоит. Я бром ухватил...»

12. «...фальшивки, — сказал Малянов наконец. Вайнгартен презрительно молчал. — Ну, тогда новоделы...

— Дурак ты, — сказал Вайнгартен коротко и спрятал книжку.

Малянов не нашелся, что сказать. Ему вдруг пришло в голову: если бы все это было враньем или даже просто правдой, а не страшной правдой, Вайнгартен сделал бы наоборот. Он сначала показал бы эти марки, а уже потом развел бы вокруг них более или менее достоверный треп.

— Ну, и что теперь делать? — спросил он, чувствуя, как сердце его опять куда-то проваливается.

Никто ему не ответил. Вайнгартен налил себе рюмку, выпил в одиночестве и закусил последней рольмопсиной. Губарь тупо следил, как его странный сын сосредоточенно, с очень серьезным бледным лицом играет рюмками. Потом Вайнгартен снова принялся рассказывать, уже безо всяких шутишек, словно бы устало, едва шевеля губами. Как он кинулся звонить Губарю, а Губарь не отвечал; как он позвонил Малянову, и ему стало ясно, что Снеговой действительно существует на свете; как он перепугался, когда Малянов ушел открывать Лидочке и долго не брал трубку; как он не спал всю эту ночь, бродил по комнатам и думал, думал, думал, глотал бром и снова думал; как он позвонил Малянову сегодня и понял, что на него уже тоже вышли, а потом к нему пришел Губарь со своими неприятностями...»

Глава шестая

13. «...узнал о Губаре, что он с детства был большой лентяй и прогульщик. И с тех же пор был сексуально озабочен. Десятилетку он не кончил, ушел из девятого класса, работал санитаром, потом шофером на дерьмовозе, потом лаборантом в ИЗРАНе, где и познакомился с Валькой, и сейчас работает в ящике над каким-то

гигантским, очень секретным проектом, связанным с обороной. Специального образования Захар никогда никакого не получал, но с детства страстно увлекался радиоловительством, электронику чувствовал душой, спинным мозгом и в ящике своем очень круто пошел вверх, хотя отсутствие диплома мешало ему страшно.

Он запатентовал несколько изобретений, и сейчас у него два или три были в работе, и он решительно не знает, из-за какого из них у него начались эти неприятности. Предполагает, что из-за прошлогоднего: что-то он там изобрел, связанное с «полезным использованием фелдингов». Предполагает, но не уверен.

Впрочем, главным стержнем его жизни всегда были женщины. Они липли к нему как мухи. А когда они к нему почему-то переставали липнуть, он начинал к ним липнуть сам. Он уже был однажды женат, вынес из этого брака самые неприятные воспоминания и многочисленные уроки и с тех пор соблюдает в этом вопросе чрезвычайную осторожность. Короче говоря, бабник он был фантастический, и по сравнению с ним Вайнгартен, скажем, выглядел аскетом, анахоретом и стойком. Но при всем том он никак не был грязным типом. К женщинам своим он относился с уважением и даже с восхищением и, по всей видимости, рассматривал себя всего лишь как скромный источник удовольствия для них. Никогда он не заводил двух возлюбленных одновременно, никогда не впутывался ни в склоки, ни в скандалы, никогда, по видимому, никого из женщин не обижал. Так что в этой области у него со времен неудачной женитьбы все обстояло благополучно. До самого последнего времени.

Сам он считает, что неприятности, связанные с пришельцами, начались у него с появления какой-то гнусной сыпи на ногах. С этой сыпью он сразу же побежал к врачу, потому что всегда тщательно следил за своим здоровьем, отношение к болезням у него было европейское. Врач его успокоил, дал какие-то пилюли, сыпь прошла, но началось нашествие женщин. Они шли к нему косяками — все женщины, с которыми он когда-либо имел дело. Они толклись у него в квартире по двое, по трое, а в течение одного страшного дня их было даже пятеро одновременно. Причем он решительно не мог понять, чего они от него хотят. Более того, у него создалось впечатление, что они и сами этого не знают. Они ругали и поносили его, они валялись у него в ногах, выпрашивая что-то непонятное, они дрались между со-

бой как бешеные кошки, они перебили у него всю посуду, раскололи голубую японскую мойку, попортили мебель. Они закатывали истерики, они пытались травиться, некоторые угрожали отравить его, они были неутомимы и невероятно требовательны в любви. А ведь многие из них давным-давно уже были замужем, любили своих мужей и детей, и мужа тоже приходили к Губарю и тоже вели себя непонятно. (В этой части своего рассказа Губарь был особенно невнятен.)

Короче говоря, жизнь его превратилась в кромешный ад, он потерял шесть кило веса, его закидало сыпью теперь уже по всему телу, о работе не могло быть никакой речи, и он оказался вынужден взять отпуск за свой счет, хотя сидел кругом в долгах. (В первые дни он пытался укрыться от нашествия в своем ящике, но очень быстро понял, что такой образ действия приведет только к невероятной огласке всех его чисто личных неприятностей. Здесь он тоже был достаточно невнятен.)

Этот кромешный ад длился без перерыва десять дней и вдруг прекратился позавчера. Он только-только сдал с рук на руки какую-то несчастную ее мужу, мрачному сержанту милиции, как заявила вдруг женщина с ребенком. Он помнил эту женщину. Лет шесть назад он познакомился с нею при следующих обстоятельствах. Они ехали в переполненном автобусе и оказались рядом. Он посмотрел на нее, и она ему понравилась. Простите, сказал он, нет ли у вас листочка бумаги и карандаша? Да, пожалуйста, ответила она, извлекая просимое из сумочки. Огромное вам спасибо, сказал он. А теперь напишите, ради бога, ваш телефон и как вас зовут... Они очень мило провели время на Рижском взморье и как-то незаметно расстались, казалось бы, с тем, чтобы больше не встречаться, довольные друг другом и не имеющие друг к другу никаких претензий.

И вот теперь она явилась к нему, и привела этого мальчика, и сказала, что это его сын. Она уже три года была замужем за очень хорошим и, мало того, за очень известным человеком, которого беззаветно любила и уважала. Она не могла объяснить Губарю, зачем она пришла. Она плакала всякий раз, когда он пытался это выяснить. Она ломала руки, и видно было, что она считает свое поведение подлым и преступным. Но она не уходила. Эти сутки, которые она провела у Губаря в его разгромленной квартире, были, пожалуй, самыми страшными. Она вела себя как сомнамбула, она все время

говорила что-то, и Губарь понимал отдельные слова, но был совершенно не в силах понять общего смысла. А вчера утром она вдруг словно очнулась. Она за руку вытащила Губаря из постели, привела его в ванную, пустила там воду из всех кранов и шепотом принялась рассказывать на ухо Захару какие-то совершенно невероятные вещи.

По ее словам (в интерпретации Губаря) получалось, что с древнейших времен существует на Земле некий тайный полумистический Союз Девяти. Это какие-то чудовищно засекреченные мудрецы, то ли чрезвычайно долгоживущие, то ли вообще бессмертные, и занимаются они двумя вещами: во-первых, они копят и осваивают все достижения всех без исключения наук на нашей планете, а во-вторых, следят за тем, чтобы те или иные научно-технические новинки не превратились у людей в орудие самоистребления. Они, эти мудрецы, почти всеведущи и практически всемогущи. Укрыться от них невозможно, секретов для них не существует, бороться против них не имеет никакого смысла. И вот этот-то самый Союз Девяти взялся сейчас за Захара Губаря. Почему именно за него — она не знает. Что Губарю теперь делать — она тоже не знает. Об этом он должен догадаться сам. Она знает только, что все последние неприятности Губаря — это предупреждение. И она сама тоже послана как предупреждение. А чтобы Захар помнил об этом предупреждении, ей приказано оставить при нем мальчика. Кто ей приказал — она не знает. Она вообще больше ничего не знает. И не хочет знать. Она хочет только, чтобы с мальчиком не случилось ничего плохого. Она умоляет Губаря не сопротивляться, пусть Губарь двадцать раз подумает, прежде чем решится что-нибудь предпринять. А сейчас она должна идти.

Плача, уткнувшись лицом в носовой платок, она ушла, и Губарь остался с мальчиком. Один на один. Что там у них было до трех часов дня, он рассказать не пожелал. Что-то было. (Мальчик по этому поводу выразился кратко: «Чего там, я ему вогнал ума куда следует...») В три часа Губарь не выдержал и в панике сначала позвонил, а потом побежал к Вайнгартену, своему самому близкому и уважаемому другу.

— Я так ничего и не понял, — признался он в заключение. — Я вот Валю выслушал, вас выслушал, Митя... Все равно ничего не понимаю. Не увязывается это как-то... и не верится. Может быть, все дело в жаре? Ведь

такой жары, говорят, двести пятьдесят лет не было. Вот и сошли все с ума, каждый по-своему... и мы, может быть...

— Ты подожди, Захар, — сказал Вайнгартен, досадливо морщась. — Ты человек конкретный, ты лучше со своими гипотезами пока не лезь...

— Да что там гипотезы! — с тоской сказал Губарь. — Мне без всяких гипотез ясно, что ничего мы здесь с вами не придумаем. Заявить надо куда следует, вот что я вам скажу...

Вайнгартен посмотрел на него уничтожающе.

— И куда же, по-твоему, следует заявлять в таких вот случаях? Ну-с?

— Откуда я знаю? — сказал Губарь уныло. — Должны же быть какие-то организации... В органы, например, надо заявить...

Тут мальчик отчетливо хихикнул, и Губарь замолчал. Малянов представил себе, как Вайнгартен приходит куда следует и рассказывает вдумчивому следователю свою былинку о рыжем карлике в удушливо-черном костюме. Губарь в этой ситуации выглядел тоже достаточно забавно. А что касается самого Малянова...

— Нет, ребята, — сказал он. — Вы, конечно, как хотите, а мне там делать нечего. У меня тут через площадку человек умер при странных обстоятельствах, а я как-никак последний, кто его видел живым... И вообще мне ходить незачем — за мной, кажется, и сами придут.

Вайнгартен сейчас же налил ему рюмку коньяку, и Малянов выпил ее залпом, не почувствовав никакого вкуса. Вайнгартен сказал со вздохом:

— Да, отцы. Советоваться нам не с кем. Тут того и гляди в психушку угодишь. Придется нам самим разбираться. Давай, Митька. У тебя голова ясная. Давай излагай.

Малянов потер пальцами лоб.

— Голова у меня на самом деле как пробкой набита, — проговорил он. — Излагать мне нечего. Это же все бред какой-то. Я только одно понимаю: тебе прямо сказали — сворачивай свою тему. Мне ничего не сказали, но устроили такую жизнь...

— Правильно! — прервал его Вайнгартен. — Факт первый. Кому-то наша работа пришлась не по душе. Вопрос: кому? Имей наблюдение: ко мне приходил пришелец, — Вайнгартен стал загибать пальцы, — к Захару — агент Союза Девяти... Кстати, ты слышал, про

Союз Девяти? У меня лично в памяти что-то крутится, где-то я об этом читал, но где... совершенно не помню. Так. К тебе вообще никто не приходит... То есть приходят, конечно, но в скрытом виде. Какой отсюда следует вывод?

— Ну? — сказал Малянов мрачно.

— Отсюда следует вывод, что на самом деле нет никаких пришельцев и никаких древних мудрецов, а есть нечто третье, какая-то сила, которой мы с нашей работой стали поперек дороги...

— Ерунда все это, — сказал Малянов. — Бред и бред. Не годится ни к черту. Ты сам подумай. У меня — звезды в газопылевом облаке. У тебя — эта самая ревертаза. А у Захара и вовсе — техническая электроника. — Он вдруг вспомнил. — И Снеговой про это говорил... Знаешь, что он сказал? Где, сказал, именование, а где вода... Я только теперь понял, что он имел в виду. Это, значит, он, бедняга, тоже над этим голову ломал... Или, может быть, по-твоему, здесь три разных силы действуют? — ядовито спросил он.

— Нет, отец, ты подожди! — сказал Вайнгартен с напором. — Ты не торопись!

У него был такой вид, словно он давно уже во всем разобрался и сейчас все окончательно разъяснит, если, конечно, его не будут перебивать и вообще мешать ему. Но он ничего не разъяснил — замолчал и уставился выпученными глазами в пустую банку из-под рольтмопса.

Все молчали. Потом Губарь сказал тихо:

— А я вот все о Снеговом... Это ведь надо же... Ведь ему, наверное, тоже приказали какую-нибудь работу прекратить, а как он мог прекратить? Он же был человек военный... у него тема...

— Писать хочу! — объявил странный мальчик и, когда Губарь со вздохом повел его в сортир, добавил на весь дом: — И какать!

— Нет, отец, ты не торопись... — снова вдруг заговорил Вайнгартен. — Ты себе представь на минуту, что есть на Земле группа существ, достаточно могущественных, чтобы вытворять эти штуки, которые они вытворяют... Пусть это будет хотя бы тот же самый Союз Девяти... Для них важно что? Закрывать определенные темы с определенной перспективой. Откуда ты знаешь? Может, сейчас в Питере еще сто человек голову себе ломают, как и мы... А по всей Земле — сто тысяч. И, как мы, боятся признаться... Кто боится, кто стыдится... А кому-то, наоборот, это и по душе пришлось! Лакомые ведь кусочки подбрасывают-то...

— Мне лакомых кусочков не подбрасывали, — сказал Малянов угрюмо.

— И тоже не случайно! Ты ведь болван, бессребреник... Ты даже сунуть на лапу кому следует и когда следует не умеешь... Для тебя ведь мир полон непреодолимых препятствий! В ресторане все столики заняты — препятствие. За билетами очередь — препятствие. Женщину твою кто-нибудь клеит...

— Ну ладно, хватит! Поехал проповеди читать...

— Не-ет! — сказал Вайнгартен, охотно прекратив проповедь. — Ты это брось, старик. Все это вполне разумные предположения. Мощь у них, правда, получается необычайная, фантастическая... но ведь есть же на свете, черт возьми, гипноз, внушение... может быть, даже, черт возьми, телепатическое внушение! Нет, отец, ты представь себе: существует на Земле раса — древняя, разумная, может быть, и вовсе даже не человеческая — соперники наши. Вот они ждали, терпели, собирали информацию, готовились. И сейчас решили нанести удар. Заметь, не открытой атакой, а гораздо умнее. Они понимают, что трупы горами наваливать — вздор, варварство, да и опасно это для них же самих. Вот они и решили — осторожно, скальпелем, по центральной нервной, по основе всех основ, по перспективным исследованиям. Понял?

Малянов слышал и не слышал его. Вязкая дурнота подкатывала к горлу, хотелось заткнуть уши, уйти, лечь, вытянуться, завалить голову подушкой. Это был страх. И не просто страх, а Черный Страх. Беги отсюда. Спасайся. Брось все, скройся, заройся, затони... «Ну, ты! — прикрикнул он на себя. — Опомнись, идиот! Нельзя так — пропадешь...» И он сказал с усилием:

— Понял. Чушь собачья.

— Почему чушь?

— Потому что это сказочка... — Голос у него сделался хриплым, и он откашлялся. — Для детей старшего возраста. Напиши роман и отнеси в «Костер». Чтобы в конце пионер Вася все эти происки разоблачил и всех бы победил...

— Так, — сказал Вайнгартен очень спокойно. — События с нами имели место?

— Ну, имели.

— События фантастические?

— Ну, предположим, фантастические.

— Так как же ты, отец, фантастические события хочешь объяснить без фантастических гипотез?

— А я про это ничего не знаю, — сказал Малянов. — Это у вас события фантастические. А вы, может, вторую неделю запоем пьете... У меня никаких фантастических событий не было. Я непьющий...

Тут Вайнгартен налился кровью, ударил кулаком по столу и заорал, что Малянов, черт возьми, должен им верить, что, если мы, черт возьми, друг другу не будем верить, тогда вообще все к черту пойдет! У этих гадов, может быть, весь расчет на то, что мы друг другу не будем верить, что мы с вами окажемся каждый сам по себе и они будут из нас веревки вить, как захотят!..

Он так бешено орал и брызгался, что Малянов даже перепугался. Он даже про Черный Страх как-то забыл. Ну, ладно, говорил он. Ну, брось ты, что ты разоряешься, бормотал он, ну, сболтнул, ну, извини, каялся он. Губарь, вернувшийся из уборной, смотрел на них со страхом. Наоравшись, Вайнгартен вскочил, вытащил из холодильника бутылку минеральной воды, зубами сорвал колпачок и присосался прямо из горлышка. Пузырящаяся вода текла по его щетинистым толстым щекам и мгновенно проступала потом на лбу и на голых волосатых плечах.

— Я ведь, собственно, что имел в виду? — сказал Малянов примирительно. — Не люблю я, когда невероятные вещи пытаются объяснять невероятными причинами. Ну, принцип экономии мышления знаешь? Так ведь до чего угодно договориться можно...

— Предложи что-нибудь другое, — непримиримо сказал Вайнгартен, засовывая пустую бутылку под стол.

— Не могу. Мог бы — предложил бы. У меня башка со страху совсем не работает. Мне только кажется, что если они действительно такие всемогущие, так могли бы обойтись гораздо более простыми средствами.

— Какими, например?

— Ну, я не знаю... Ну, тебя отравить тухлыми консервами... Захара... ну, я не знаю... ну, током долбануть в тысячу вольт... заразить чем-нибудь... Да и вообще зачем все эти смертоубийства, ужасы? Если уж они такие всемогущие телепаты, ну внушили бы нам, что мы все забыли дальше арифметики. Или, скажем, выработали у нас условный рефлекс: как мы сядем за работу, так у нас понос... или грипп — сопли текут, башка трещит... Экзема... Мало ли что... Все тихо, мирно, никто бы ничего и не заметил...

Вайнгартен только и ждал, когда Малянов кончит.

— Вот что, Митька, — сказал он. — Ты должен понять одну вещь...

Но Захар не дал ему договорить.

— Одну минуточку! — умоляюще сказал он, растопыривая руки, словно желая развести Малянова с Вайнгартенем по разным углам. — Дайте мне, пока я вспомнил!.. Ну, подожди, Валя, дай мне сказать! Это насчет головной боли... Митя, вы же сказали... Понимаете, лежал я в прошлом году в больнице...

Одним словом, лежал он в прошлом году в больнице, в академичке, потому что у него обнаружилось что-то там такое с кровью, и познакомился он в палате с неким Глуховым Владленом Семеновичем, востоковедом. Востоковед лежал в предынфарктном состоянии, но это все неважно. А важно то, что они вроде бы подружились и впоследствии изредка встречались. Так вот, еще два месяца назад этот самый Глухов пожаловался Губарю, что огромная его, Глухова, работа, для которой он материал набирал чуть ли не десять лет, идет сейчас коту под хвост из-за очень странной идиосинкразии, которая у Глухова вдруг обнаружилась. А именно: стоило Глухову сесть писать это самое исследование, как у него начинала зверски болеть голова, до рвоты, до обмороков...

— Причем он вполне мог о своей работе думать, — продолжал Захар, — читать материалы, даже, по-моему, рассказывать про нее мог... впрочем, этого я не помню, врать не буду... Но вот писать — это было невозможно. Я вот сейчас, после ваших, Митя, слов...

— Адрес его знаешь? — отрывисто спросил Вайнгартен.

— Знаю.

— Телефон у него есть?

— Есть... Знаю...

— Давай вызывай его сюда. Это наш человек.

Малянов вскочил.

— Иди ты к черту! — сказал он. — Ты с ума сошел! Неудобно же! Может, у него просто болезнь такая...

— У всех у нас эта болезнь, — сказал Вайнгартен.

— Валька, он же востоковед! Он вообще из другой оперы!

— Из той же, отец. Уверяю тебя, из той же самой оперы!

— Да нет, не надо! — сопротивлялся Малянов. — Захар, сидите, не слушайте его... Насосался как зюзя...

Страшно и невозможно было представить себе, как

приходит в эту жаркую прокуренную кухню абсолютно нормальный посторонний человек и окунается в атмосферу сумасшествия, страха и алкоголя.

— Давайте лучше вот что сделаем, — убеждал Малянов. — Давайте Вечеровского позовем. Ей-богу, будет больше пользы!

Вайнгартен не возражал и против Вечеровского. Правильно, говорил он. Насчет Вечеровского — это идея. Вечеровский — башка! Захар, иди звони своему Глухову, а потом мы Вечеровскому позвоним...

Малянов очень не хотел никаких Глуховых. Он умолял, он орал, что хозяин в этом доме он, что он их всех к черту выгонит. Но против Вайнгартена не попрешь. Захар отправился звонить Глухову, и мальчик сейчас же слез с табурета и, как приклеенный, последовал за ним...»

Глава седьмая

14. «... сын Захара, устроившись на тахте в углу, время от времени принимался услаждать общество чтением избранных мест из популярной медицинской энциклопедии, которую Малянов подсунул ему второпях по ошибке. Вечеровский, особенно элегантный по контрасту с потным и расхлюстанным Вайнгартеном, с любопытством слушал и разглядывал странного мальчика, высоко задирая рыжие брови. Он еще почти ничего не сказал по существу — задал несколько вопросов, показавшихся Малянову (да и не одному только Малянову) нелепыми. Например, он ни с того ни с сего спросил Захара, часто ли Захар конфликтует с начальством, а Глухова — любит ли тот сидеть у телевизора. (Выяснилось, что Захар вообще никогда ни с кем не конфликтует, такой уж у него характер, и что Глухов у телевизора сидит — да, любит, и даже не просто любит, а предпочитает.)

Малянову Глухов очень понравился. Вообще-то Малянов не любил новых людей в старых компаниях, ему всегда было страшно, что они начнут вести себя как-нибудь не так и за них будет неловко. Но с Глуховым оказалось все в порядке. Был он какой-то удивительно уютный и невредный — маленький, тощенький, курносый, с красноватыми глазками за сильными большими очками. По приходе он с удовольствием выпил предложенный Вайнгартеном стаканчик водки и заметно огорчился, узнав, что это последний. Когда его подвергли перекрестному допросу, он выслушивал каждого очень

внимательно, по-профессорски склонив голову к правому плечу и скосив глаза направо же. Нет-нет, отвечал он, как бы извиняясь. Нет, ничего подобного со мной не было. Помилуйте, я даже представить себе такого не могу... Тема? Боюсь, очень далекая от вас: «Культурное влияние США на Японию. Опыт количественного и качественного анализа»... Да, по-видимому, какая-то идиосинкразия, я говорил с крупными медиками — случай, по их словам, редчайший... В общем, с Глуховым, по-видимому, получился пустой номер, но все равно, хорошо было, что он здесь. Он был какой-то очень от мира сего: с аппетитом выпил и хотел еще, с детским удовольствием ел икру, чай предпочитал цейлонский, а читать больше всего любил детективы. На странного Захарова мальчика он смотрел с опасливым недоумением, время от времени неуверенно посмеиваясь, бредовые рассказы выслушал с огромным сочувствием, то и дело принимался чесать обеими руками у себя за ушами, бормоча: «Да, это поразительно... Невероятно!..» Словом, с Глуховым все было Малянову ясно. Ни новой информации от него, ни тем более советов ждать не приходилось.

Вайнгартен, как всегда в присутствии Вечеровского, несколько уменьшился в объеме. Он даже стал как-то приличнее выглядеть, не орал больше и никого не называл отцами и стариками. Впрочем, последние зерна черной икры сожрал все-таки он.

Захар вообще не говорил ни слова, если не считать коротких ответов на неожиданные вопросы Вечеровского. Даже историю его собственных злоключений ему не пришлось рассказывать — за него рассказал Вайнгартен. И странного своего сына он перестал увещевать вовсе и только болезненно улыбался, выслушивая назидательные цитаты о болезнях разных деликатных органов.

И вот они сидели и молчали. Прихлебывали остывший чай. Курили. Горело дрожащее золото окон в Доме быта, серпик молодой луны висел в темно-синем небе, с улицы доносилось отчетливое сухое потрескивание — должно быть, опять жгли старые ящики. Вайнгартен зашуршал сигаретной пачкой, заглянул в нее, смял и спросил вполголоса: «Сигареты у кого есть еще?» — «Вот, пожалуйста...» — торопливо и тоже вполголоса отозвался Захар. Глухов кашлянул и позвенел ложечкой в стакане.

Малянов посмотрел на Вечеровского. Тот сидел в кресле, вытянув и скрестив ноги, и внимательно изучал

ногти на правой руке. Малянов посмотрел на Вайнгартена. Вайнгартен раскуривал сигарету и поверх огонька смотрел на Вечеровского. И Захар смотрел на Вечеровского. И Глухов. Малянову вдруг стало смешно. Елки-палки, а чего мы, собственно, от него ждем? Ну, крупный математик. Ну, допустим даже, очень крупный математик — мировая величина. Ну и что? Как дети, ей-богу. Заблудились в лесу и с надеждой моргают на дядю: уж он-то нас выведет.

— Вот, собственно, и все соображения, которые у нас имеются, — плавно произнес Вайнгартен. — Как видите, наметились по крайней мере две позиции... — Он говорил, обращаясь как бы ко всем, но смотрел при этом только на Вечеровского. — Митька считает, что следует все это пытаться объяснить в рамках известных нам явлений природы... Я же полагаю, что мы имеем дело с вмешательством совершенно неизвестных нам сил. Так сказать, подобное — подобным, фантастическое — фантастическим...

Эта тирада прозвучала невероятно напыщенно. Ведь нет чтобы просто и честно сказать: дядя, голубчик, заблудились, выведи... Нет, ему, понимаете, резюме нужно, мы-де и сами не лыком шиты... Ну и сиди теперь как дурак. Малянов взял чайник и пошел от Валькиного срама на кухню. Он не слышал, о чем шла речь, пока наливал воду и ставил чайник на газ. Когда он вернулся, Вечеровский неторопливо говорил, внимательно разглядывая ногти теперь уже на левой руке:

— ...И поэтому я склоняюсь все-таки к вашей точке зрения, Валя. Действительно, фантастическое, по-видимому, надлежит объяснять фантастическим. Я полагаю, что все вы оказались в сфере внимания... м-м-м... назовем это сверхцивилизацией. По-моему, это уже устоявшийся термин для обозначения иного разума, на много порядков более могущественного, нежели человеческий...

Вайнгартен, глубоко затягиваясь и выпуская дым, мерно кивал с необычайно важным и сосредоточенным лицом.

— Почему им понадобилось останавливать именно ваши исследования, — продолжал Вечеровский, — вопрос не только сложный, но и праздный. Существо дела состоит в том, что человечество, само того не подозревая, вызвало на себя контакт и перестало быть самодовлеющей системой. По-видимому, сами того не подозревая, мы наступили на мозоль некоей сверхцивилизации, и

эта сверхцивилизация, по-видимому, поставила своей целью регулировать отныне наш прогресс по своему усмотрению...

— Да, Фил, да подожди! — сказал Малянов. — Неужели даже ты не понимаешь? Какая, к черту, сверхцивилизация? Что это за сверхцивилизация, которая тычется в нас, как слепой котенок? Зачем вся эта бессмыслица? Этот мой следователь, да еще с коньяком... Бабы эти Захаровы... Где основной принцип разума: целесообразность, экономичность?..

— Это частности, Дима, — тихо сказал Вечеровский. — Зачем мерить внечеловеческую целесообразность человеческими мерками? И потом, представь себе: с какой силой ты бьешь себя по щеке, чтобы убить несчастного комара? Ведь таким ударом можно было бы убить всех комаров в округе разом.

Вайнгартен вставил:

— Или, например, какова целесообразность постройки моста через реку с точки зрения щуки?

— Ну, не знаю, — сказал Малянов. — Нелепо это все как-то.

Вечеровский подождал немного и, увидев, что Малянов заткнулся, продолжал:

— Я хотел бы подчеркнуть вот что. При такой постановке вопроса ваши личные неприятности и проблемы отходят на второй план. Речь теперь идет уже о судьбе человечества... — Он помедлил. — Ну, возможно, не о судьбе в роковом смысле этого слова, однако, во всяком случае, о его достоинстве. Так что перед нами стоит задача защитить не просто вашу, Валя, теорию ревертазы, но судьбу всей нашей планетной биологии вообще... Или я ошибаюсь?

Впервые в присутствии Вечеровского Вайнгартен раздулся до своих нормальных размеров. Он самым энергичным образом кивнул, но сказал совсем не то, что ожидал Малянов. Он сказал:

— Да, несомненно. Мы все понимаем, что речь идет не о нас лично. Речь идет о сотнях исследований. Может быть, о тысячах... Да что я говорю — о перспективных направлениях вообще!

— Так! — энергично сказал Вечеровский. — Значит, предстоит драка. Их оружие — тайна; следовательно, наше оружие — гласность. Что мы должны сделать в первую очередь? Известить о событиях своих знакомых, которые обладают, с одной стороны, достаточной фан-

тазией, чтобы поверить нам, а с другой стороны — достаточным авторитетом, чтобы убедить своих коллег, занимающих командные высоты в науке. Таким образом, мы косвенно выходим на контакт с правительством, получаем доступ к средствам массовой информации и можем авторитетно информировать все человечество. Первое ваше движение было совершенно правильным — вы обратились ко мне. Лично я беру на себя попытку убедить нескольких крупных математиков, являющихся одновременно крупными администраторами. Сначала, естественно, я свяжусь с нашими, а потом и с зарубежными...

Он необычайно оживился, выпрямился в кресле и все говорил, говорил, говорил. Он называл имена, звания, должности, он очень четко определил, к кому должен обратиться Малянов, к кому — Вайнгартен. Можно было подумать, что он уже несколько дней сидел над составлением подробного плана действий. Но чем больше он говорил, тем большее уныние охватывало Малянова. И когда Вечеровский с каким-то совсем уже неприличным пылом перешел ко второй части своей программы, к апофеозу, в котором объединенное всеобщей тревогой человечество в едином строю сплоченными мощностями всей планеты дает отпор сверхцивилизированному супостату, — вот тут Малянов почувствовал, что с него хватит, поднялся, пошел на кухню и заварил новый чай. Вот тебе и Вечеровский. Вот тебе и башка. Видимо, тоже здорово перепугался, бедняга. Да, брат, это тебе не про телепатию спорить. А вообще-то мы сами виноваты: Вечеровский то, Вечеровский се, Вечеровский башка... А Вечеровский — просто человек. Умный человек, конечно, крупный человек, но не более того. Пока речь идет об абстракциях — он силен, а вот как жизнь-матушка подопрет... Обидно только, что он почему-то сразу принял сторону Вальки, а меня даже толком выслушать не пожелал... Малянов взял чайники и вернулся в комнату.

А в комнате, естественно, Вайнгартен делал компот из Вечеровского. Потому что, знаете ли, пиетет пиететом, а когда человек несет околесицу, то уж тут никакой пиетет не поможет.

Вечеровский скорчился в кресле, опустил лицо в ладони. Это было невыносимо. Малянов сказал:

— Понимаешь, Фил, все твои предложения... эта твоя программа действий... теоретически это все, наверное, правильно. Но нам-то сейчас не теория нужна. Нам сейчас нужна такая программа, которую можно реализовать

в конкретных реальных условиях. Ты вот говоришь: «объединенное человечество». Понимаешь, для твоей программы, наверное, подошло бы какое-нибудь человечество, но только не наше — не земное, я имею в виду. Наше ведь ни во что такое не поверит. Оно ведь знаешь когда в сверхцивилизацию поверит? Когда эта сверхцивилизация снизойдет до нашего же уровня и примется с бреющего полета валить на нас бомбы. Вот тут мы поверим, вот тут мы объединимся, да и то, наверное, не сразу, а сначала, наверное, сгоряча друг другу пачек накидаем.

— В точности так! — сказал Вайнгартен неприятным голосом и коротко хохотнул.

Все помолчали.

— А у меня и вовсе шеф — женщина, — сказал Захар. — Очень милая, умная, но как я ей буду все это рассказывать? Про себя...

И опять все надолго замолчали, прихлебывая чай. Потом Глухов проговорил негромко:

— Чаек какой — просто прелесть! Умелец вы, Дмитрий Алексеевич. Давно такого не пил... Да-да-да... Конечно, все это трудно, неясно... А с другой стороны — небо, месяц, смотрите, какой... чаек, сигаретка... Что еще, на самом деле, человеку надо? По телевизору — многосерийный детектив, очень недурной... Не знаю, не знаю... Вы вот, Дмитрий Алексеевич, что-то там насчет звезд, насчет межзвездного газа... А какое вам, собственно, до этого дело? Если подумать, а? Подглядывание какое-то, а? Вот вам и по рукам — не подглядывай... Пей чаек, смотри телевизор... Небо ведь не для того, чтобы подглядывать. Небо ведь — оно чтобы любоваться.

И тут Захаров мальчик звонко и торжествующе объявил:

— Ты хитрый!

Малянов подумал было, что это он про Глухова. Оказалось — нет. Мальчик, по-взрослому прищурясь, смотрел на Вечеровского и грозил ему измазанным в шоколаде пальцем. «Тише, тише...» — с беспомощным укором пробормотал Губарь, а Вечеровский вдруг отнял ладони от лица и принял свою первоначальную позу — развалился в кресле, вытянув и скрестив длинные ноги. Рыжее лицо его усмехалось.

— Итак, — сказал он, — я рад констатировать, что гипотеза товарища Вайнгартена заводит нас в тупик, видимый невооруженным глазом. Легко видеть, что в

точно такой же тупик заводят нас гипотезы легендарного Союза Девяти, таинственного разума, скрывающегося в безднах Мирового океана, и вообще любой разумно действующей силы. Было бы очень хорошо, если бы вы все сейчас только одну минуту помолчали и подумали, чтобы убедиться в справедливости моих слов.

Малянов бессмысленно болтал ложечкой в стакане и думал: вот стервец, это же надо, как он всех нас купил! Зачем? Что за спектакль?.. Вайнгартен глядел прямо перед собой, глаза его постепенно выкатывались; толстые, залитые потом щеки угрожающе подрагивали. Глухов растерянно глядел на всех по очереди, а Захар просто терпеливо ждал: видимо, драматизм минуты молчания прошел мимо него.

Потом Вечеровский заговорил снова:

— Обратите внимание. Для объяснения фантастических событий мы попытались привлечь соображения — хотя и фантастические, но тем не менее лежащие внутри сферы наших современных представлений. Это не дало нам ничего. Абсолютно ничего. Валя показал нам это чрезвычайно убедительно. Поэтому, очевидно, вовсе не имеет смысла... я бы сказал — тем более не имеет смысла привлекать какие бы то ни было соображения, лежащие вне сферы современных представлений. Скажем, гипотезу бога... или... или иные. Вывод?

Вайнгартен судорожно вытер лицо полрой рубашки и принялся лихорадочно хлебать чай. Малянов спросил с обидой:

— Ты что же это нарочно нас разыграл?

— А что мне оставалось делать? — отозвался Вечеровский, задирая свои проклятые рыжие брови до самого потолка. — Самому вам доказывать, что ходить по начальству бессмысленно? Что вообще бессмысленно ставить вопрос так, как вы его ставите? «Союз Девяти или тау-китяне...» Да какая вам разница? О чем здесь спорить? Какой бы вы ответ ни дали, никакой практической программы действий вы из этого ответа не извлечете. Сгорел у вас дом, или разбило его ураганом, или унесло наводнением — вам надо думать не о том, что именно случилось с домом, а о том, где теперь жить, как теперь жить, что делать дальше...

— Ты хочешь сказать... — начал Малянов.

— Я хочу сказать, — проговорил Вечеровский жестко, — что ничего ИНТЕРЕСНОГО с вами не произошло. Нечем здесь интересоваться, нечего здесь исследовать,

нечего здесь анализировать. Все ваши поиски причин есть просто праздное любопытство. Не о том вам надо думать, каким именно прессом вас давят, а о том, как вести себя под давлением. А думать об этом — гораздо сложнее, чем фантазировать насчет царя Ашоки, потому что отныне каждый из вас — ОДИН. Никто вам не поможет. Никто вам ничего не посоветует. Никто за вас ничего не решит. Ни академики, ни правительство, ни даже все прогрессивное человечество... Ну, об этом Валя достаточно хорошо говорил.

Он поднялся, налил себе чаю и снова вернулся в кресло — невыносимо уверенный, подтянутый, элегантно небрежный, как на дипломатическом приеме. Он и чашку-то держал — словно какой-нибудь там занюханый пэр на файвоклоке у королевы...

Мальчик процитировал на весь дом:

— «Если больной пренебрегает советами врачей, неаккуратно лечится, злоупотребляет алкоголем, то примерно через пять-шесть лет вторичный период сменяется третичным периодом болезни — последним...»

Захар вдруг сказал с тоской:

— Ну, почему? Ну, почему именно со мной, с нами?..

Вечеровский с легким стуком поставил чашку на блюдечко, а блюдечко на стол рядом с собой.

— Потому что век наш весь в черном, — объяснил он, промакивая серовато-розовые, как у лошади, губы белоснежным платочком. — Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействия час и час отстраненья от дел повседневных, тогда приходит к нам раздвоенье, и мы ни о чем не мечтаем...

— Тьфу на тебя, — сказал Малянов, а Вечеровский разразился довольным, сытым марсианским уханьем.

Вайнгартен выкопал из переполненной пепельницы чинарик подлиннее, сунул его в толстые губы, чиркнул спичкой и некоторое время сидел так, отрешенно скосив глаза на огонек.

— Действительно... — произнес он. — Не все ли равно, какая именно сила... если она заведомо превышает человеческую... — Он закурил. — Тля, на которую упал кирпич, или тля, на которую упал двугривенный... Только я не тля. Я могу выбирать.

Захар смотрел на него с надеждой, но Вайнгартен замолчал. Выбирать, подумал Малянов. Легко сказать — выбирать...

— Легко сказать — выбирать! — начал было Захар, но тут заговорил Глухов, и Захар с надеждой уставился на него.

— Да ясно же! — сказал Глухов с необычайной проникновенностью. — Неужели неясно, что выбирать? Жизнь надо выбирать! Что же еще? Не телескопы же ваши, не пробирки же... Да пусть они ими подавятся, телескопами вашими! Диффузными газами!.. Жить надо, любить надо, природу ощущать надо — ощущать, а не ковыряться в ней! Когда я сейчас смотрю на дерево, на куст, я чувствую, я знаю — это мой друг, мы существуем друг для друга, мы друг другу нужны...

— Сейчас? — громко спросил Вечеровский.

Глухов запнулся.

— Простите, — пробормотал он.

— А ведь мы с вами знакомы, Владлен Семенович, — сказал Вечеровский. — Помните? Эстония, школа матлингвистики... финская баня, пиво...

— Да-да, — сказал Глухов, опустив глаза. — Да.

— Вы были тогда совсем другим, — сказал Вечеровский.

— Ну, так когда это было... — сказал Глухов. — Бароны, знаете ли, стареют...

— Бароны также и воюют, — сказал Вечеровский. — Не так уж давно это было.

Глухов молча развел руками.

Малянов ничего не понял в этой интермедии, но что-то в ней было, что-то неприятное, неспроста они все это друг другу говорили. А Захар, видимо, понял, понял как-то по-своему, какую-то обиду для себя он почувствовал в этом небольшом разговоре, какое-то оскорбление, что ли, потому что вдруг с необычайной резкостью, чуть ли не со злобой почти выкрикнул, обращаясь к Вечеровскому:

— Снегового-то они убили! Вам, Филипп Павлович, легко рассуждать, вас-то они за горло не взяли, вам хорошо!..

Вечеровский кивнул.

— Да, — сказал он. — Мне хорошо. Мне хорошо, и вот Владлену Семеновичу тоже хорошо. Правда, Владлен Семенович?

Маленький уютный человек с красными кроличьими глазами за сильными стеклами старомодных очков в стальной оправе снова молча развел руками. Потом он встал и, ни на кого не глядя, проговорил:

— Прошу прощения, друзья, но мне пора идти. Уже поздно...»

Глава восьмая

15. «...Может быть, хочешь переночевать у меня? — спросил Вечеровский.

Малянов мыл посуду и обдумывал это предложение. Вечеровский не торопил его с ответом. Он снова удалился в большую комнату, некоторое время двигался там, затем вернулся с кучей мусора в подмокшей газете и сунул мусор в ведро. Затем он взял тряпку и принялся вытирать кухонный стол.

Вообще-то после всех сегодняшних событий и разговоров оставаться одному Малянову было как-то не в жилу. А с другой стороны, бросать квартиру и уходить было как-то неловко и, прямо скажем, стыдно. Получается, что они меня все-таки выживают, подумал он. А я терпеть не могу ночевать в чужих домах, даже у друзей. Даже у Вечеровского. Он вдруг совершенно явственно ощутил аромат кофе. Хрупкая, как розовый лепесток, розовая чашечка, и в ней — волшебный напиток «а ля Вечеровский». Но если подумать, не на ночь же его пить... Кофе можно выпить утром.

Он домыл последнее блюдо, поставил его в сушилку, кое-как затер лужу на линолеуме и пошел в большую комнату. Вечеровский уже сидел там в кресле, развернувшись лицом к окну. Небо за окном было розовое с золотом; молодой месяц, словно на минарете, торчал в точности над крышей двенадцатиэтажника. Малянов взял свое кресло, тоже развернул к окну и тоже уселся. Теперь их с Вечеровским разделял стол, на котором Фил навел порядок: книги лежали аккуратной стопкой, недельной пыли и следа не осталось, все три карандаша и ручка аккуратно выстроились рядом с календарем. Вообще, пока Малянов возился с посудой, Вечеровский успел навести в комнате совершенно необычайный блеск — только что не пропылесосил, — но при всем том сам ухитрился остаться элегантным, подтянутым, без единого пятнышка на кремовых одеждах. Он даже ухитрился не вспотеть, что было уже совершенной фантастикой. А вот у Малянова, хоть он и был в Иркином фартуке, все брюхо было мокрое, прямо как у Вайнгартена. Если у жены брюхо после мытья посуды мокрое, значит, муж пьяница. А если у мужа?..

Они молчали и смотрели, как в двенадцатиэтажке одно за другим гаснут окна. Появился Калям; тихонько мявкнул, вскочил Вечеровскому на колени, устроился и заурчал. Вечеровский тихо гладил его длинной узкой ладонью, не отрывая глаз от огней за окном.

— Он линяет, — предупредил Малянов.

— Неважно, — отозвался Вечеровский тихонько.

Они опять замолчали. Теперь, когда рядом не было потного красного Вайнгартена, совершенно убитого ужасом Захара с его кошмарным ребенком и такого обыкновенного и в то же время загадочного Глухова, когда рядом был только Вечеровский, бесконечно спокойный, бесконечно уверенный в себе и не ожидающий ни от кого никаких сверхъестественных решений, — теперь все прошедшее казалось не то чтобы сном, а скорее некоей эксцентрической повестью, и если это даже действительно произошло, то давно, и не происходило, собственно, а только начало происходить, а потом перестало. Малянов ощутил даже смутный интерес к этому полулитературному персонажу: получил он в конце концов свои пятнадцать лет или все...»

16. «...вспомнил Снегового, и пистолет в пижаме, и печать на двери.

— Слушай, — сказал я. — Неужели они Снегового убили?

— Кто? — не сразу отозвался Вечеровский.

— Н-ну... — начал я и замолчал.

— Снеговой, судя по всему, застрелился, — сказал Вечеровский. — Не выдержал.

— Чего не выдержал?

— Давления. Сделал свой выбор.

Это была не эксцентрическая повесть. Я опять ощутил то же знакомое оцепенение внутри, забрался в кресло с ногами и обхватил колени. Сжался так, что хрустнули мускулы. Это ведь я, это ведь со мной происходит. Не с Иваном-царевичем, не с Иванушкой-дурачком, а со мной. Вечеровскому хорошо...

— Слушай, — сказал я сквозь зубы. — Что там у тебя с Глуховым? Странно вы с ним как-то говорили.

— Он меня разозлил, — отозвался Вечеровский.

— Чем?

Вечеровский помолчал.

— Не смеет оставаться один, — сказал он.

— Не понимаю, — сказал я, подумав.

— Меня злит не то, как он сделал свой выбор, — проговорил Вечеровский медленно, словно размышляя вслух. — Но зачем все время оправдываться? И он не просто оправдывается, он еще пытается завербовать других. Ему стыдно быть слабым среди сильных, ему хочется, чтобы и другие стали слабыми. Он думает, что тогда ему станет легче. Может быть, он и прав, но меня такая позиция бесит...

Я слушал его раскрыв рот, а когда он замолчал, спросил осторожно:

— Ты хочешь сказать, что Глухов тоже... под давлением?

— Он был под давлением. Теперь он просто раздавлен.

— Подожди, подожди... Позволь!

Он медленно повернул ко мне лицо.

— А ты не понял? — спросил он.

— Откуда? Он же говорил... Я же своими ушами слышал... Да просто видно, наконец, простым глазом, что человек ни сном ни духом... Это же очевидно!

Впрочем, теперь это уже не казалось мне таким очевидным. Скорее, пожалуй, наоборот.

— Значит, ты не понял, — произнес Вечеровский, разглядывая меня с любопытством. — Гм... А вот Захар понял. — Он впервые за вечер достал трубку и кисет и принялся неторопливо набивать трубку. — Странно, что ты не понял... Впрочем, ты был в явно растрепанных чувствах. А между тем посуди сам: человек любит детективы, человек любит посидеть у телевизора, сегодня как раз очередная серия этого убогого фильма... и вдруг он срывается с насиженного места, мчится к совершенно незнакомым людям — для чего? Чтобы пожаловаться на свои головные боли? — Он чиркнул спичкой и принялся раскуривать трубку. Желто-красный огонек заплясал в его сосредоточенно скошенных глазах. Потянуло медвяным дымком. — А потом — я ведь его сразу узнал. Точнее, не сразу... Он очень сильно переменялся. Это ведь был этакий живчик — энергичный, крикливый, ядовитый... никакого руссоизма, никаких рюмочек. Сначала я его просто пожалел, но когда он принялся рекламировать свое новое мировоззрение, это меня взбесило.

Он замолк и занялся исключительно своей трубкой.

Я снова изо всех сил сжался в комок. Вот, значит, как это выглядит. Человека просто расплющило. Он остался жив, но он уже не тот. Вырожденная материя... Вырож-

денный дух. Что же они с ним делали? Не выдержал... Елки-палки, но ведь бывают, наверное, такие давления, что никакой человек не выдержит...

— Значит, ты и Снегового осуждаешь? — спросил я.

— Я никого не осуждаю, — возразил Вечеровский.

— Н-ну... Ты же бесишься вот... по поводу Глухова...

— Ты меня не понял, — с легким нетерпением сказал Вечеровский. — Меня бесит вовсе не выбор Глухова. Какое я имею право беситься по поводу выбора, который делает человек, оставшийся один на один, без помощи, без надежды... Меня раздражает поведение Глухова после выбора. Повторяю: он стыдится своего выбора и поэтому — только поэтому! — старается соблазнить других в свою веру. То есть, по сути, усиливает и без того недолимую силу. Понимаешь меня?

— Умом — понимаю, — сказал я.

Я хотел добавить еще о том, что и Глухова можно вполне понять, а поняв — простить, что на самом деле Глухов вообще вне сферы анализа, он в сфере милосердия, но я вдруг почувствовал, что не могу больше говорить. Меня трясло. Без помощи и без надежды... Без помощи и без надежды... Почему я? За что? Что я им сделал?... Надо было поддерживать разговор, и я сказал, стискивая зубы после каждого слова:

— В конце концов существуют такие давления, которых никакому человеку не выдержать...

Вечеровский ответил что-то, но я не услышал его или не понял. До меня вдруг дошло, что еще вчера я был человеком, членом социума, у меня были свои заботы и свои неприятности, но пока я соблюдал законы, установленные социумом, — а это вовсе не так уж трудно, это уже успело войти в привычку, — пока я соблюдал эти законы, меня от всех мыслимых опасностей надежно охраняли милиция, армия, профсоюзы, общественное мнение, друзья, семья, наконец, и вот что-то сместилось в окружающем мире, и я превратился в одинокого пескаря, затаившегося в щели, а вокруг ходят и реют чудовищные неразличимые тени, которым даже и зубастых пастей не надо — достаточно легкого движения плавника, чтобы стереть меня в порошок, расплющить, обратить в ничто... И мне дано понять, что, пока я сижу в этой щели, меня не тронут. Даже еще страшнее: меня отделили от человечества, как отделяют овцу от стада, и волокут куда-то, неизвестно куда, неизвестно зачем, а стадо, не подозревая об этом, спокойно идет своим путем и уходит

все дальше и дальше... Если бы это были какие-нибудь воинственные пришельцы, если бы это была страшная, разрушительная агрессия из Космоса, из недр океана, из четвертого измерения — насколько мне было бы легче! Я был бы одним из многих, мне нашлось бы место, мне нашлось бы дело, я был бы в рядах! А так я буду погибать у всех на глазах, и никто ничего не заметит, а когда я погибну, когда меня сотрут в порошок, все очень удивятся и пожмут плечами. Слава богу, что хоть Ирки здесь нет. Слава богу, что хоть ее это не касается... Бред! Бред! Чушь собачья! Я изо всех сил потряс головой и рванул себя за волосы. И весь этот кошмар из-за того, что я занимаюсь диффузной материей?!

— По-видимому, да, — сказал Вечеровский.

Я с ужасом взглянул на него, но потом ощутил, что мой вопль еще отдается в моих собственных ушах.

— Слушай, Фил, в этом нет никакого смысла! — сказал я с отчаянием.

— С человеческой точки зрения — никакого, — сказал Вечеровский. — Но люди ведь как раз ничего не имеют против твоих занятий.

— А кто имеет?

— Опять двадцать пять за рыбу деньги! — произнес Вечеровский, и это было так непохоже на него, что я расхохотался. Нервно. Истерически. И услышал в ответ довольное марсианское уханье.

— Слушай, — сказал я. — Ну их всех к черту. Давай чаю попьем!

Я очень боялся, что Вечеровский сейчас скажет, что ему пора, что завтра ему принимать экзамены, что нужно заканчивать главу и все такое, и я торопливо добавил:

— Давай, а? Я там коробку конфет утаил каких-то. Чего их, думаю, скармливать Вайнгартену... Давай!

— С удовольствием, — сказал Вечеровский и с готовностью встал.

— Знаешь, вот так думаешь, думаешь, — говорил я, пока мы шли на кухню, пока я наливал и ставил на газ чайник. — Вот так думаешь, думаешь, в глазах же черно становится. Нельзя так, нельзя. Такие вот штуки и загубили Снегового, я теперь это точно понимаю. Сидел он у себя в квартире один как перст, все лампы зажег, но что с этого толку? Эту черноту лампами не осветишь. Думал он вот так, думал, а потом щелкнуло что-то в голове — и конец... Чувство юмора терять нельзя, вот что. Это ведь на самом деле смешно: такая мощь, такие

энергии — и все это, чтобы воспретить человеку разобратся, что бывает, когда звезда попадает в облако пыли... Нет, правда, ты в это вдумайся, Фил! Смешно ведь, верно?

Вечеровский смотрел на меня с каким-то непривычным выражением.

— Ты знаешь, Дима, — произнес он, — вот юмористический аспект положения мне как-то в голову не приходил.

— Нет, правда... Как представишь себе... Вот собираются они там и начинают считать: на исследования кольчатых червей мы бросим сто мегаватт, на проталкивание такого-то проекта — семьдесят пять гигаватт, а на запрещение Малянова хватит и десятки. А кто-нибудь там возражает: десятки-де мало. Надо ведь телефонными звонками его заморочить — раз. Коньяку ему с бабой подсунуть — два... — Я сел и стиснул руки между коленями. — Нет, как хочешь, — это смешно.

— Да, — согласился Вечеровский. — Это довольно смешно. Не очень. Воображение у тебя, Дима, все-таки убогое. Даже странно, как ты до своих пузырей додумался.

— Какие пузыри! — сказал я. — Не было никаких пузырей. И не будет. Бросьте меня колоть, гражданин начальник, ничего не видел, ничего не слышал, маруха Нинка подтвердит, не было меня там... И вообще у меня плановая тема — ИК-спектрометр, а все остальное — интеллигентская вылазка, Галилеев комплекс...

Мы помолчали. Тихонько засипел чайник и, приготавливаясь закипеть, начал делать «пф-пф-пф».

— Ну, ладно, — сказал я. — Убогое воображение. Пожалуйста. Но согласись: если от всех этих неприятных деталей отвлечься, чертовски интересно все получается. Все-таки получается, что они существуют. Столько болтали, столько гадали, столько врили... блюдечки дурацкие выдумывали, баальбекские веранды, а они все-таки существуют. Только, конечно, совсем не так они существуют, как мы думали... Я, между прочим, всегда был уверен, что, когда они наконец объявятся, они будут совершенно непохожи на все то, что про них навывдумывали...

— Кто это — они? — рассеянно спросил Вечеровский. Он раскуривал погасшую трубку.

— Пришельцы, — сказал я. — Или, выражаясь по науке, сверхцивилизация.

— А-а, — сказал Вечеровский. — Понимаю. Дейст-

вительно, еще никто не додумался, что они будут похожи на милиционера с абберациями поведения.

— Ладно, ладно, — сказал я. Я поднялся и стал выставлять на стол все для чая. — У меня воображение убогое, а у тебя его, видно, и вовсе нет.

— Пожалуй, — согласился Вечеровский. — Я совершенно не в состоянии вообразить то, чего, по-моему, не существует. Флогистон, например, он же теплород... или, скажем, всемирный эфир... Нет-нет, ты завари свежий, пожалуйста... и не жалея заварки.

— Сам знаю, — огрызнулся я. — Так что ты там насчет флогистона?

— Я никогда не верил во флогистон. И я никогда не верил в сверхцивилизации. И флогистон, и сверхцивилизации — все это слишком человеческое. Как у Бодлера. Слишком человеческое, следовательно — животное. Не от разума. От неразумия.

— Позволь! — сказал я, стоя с заварочным чайником в одной руке и с пачкой цейлонского в другой. — Но ты же сам признал, что мы имеем дело со сверхцивилизацией...

— Отнюдь, — сказал Вечеровский невозмутимо, — точнее — отнюдь нет. Это вы признали, что имеете дело со сверхцивилизацией. А я воспользовался этим обстоятельством просто для того, чтобы наставить вас на путь истинный...

В большой комнате грянул телефон. Я вздрогнул и уронил крышку от чайника.

— Ч-черт... — пробормотал я, глядя то на Вечеровского, то на дверь.

— Иди, иди, — спокойно сказал Вечеровский, поднимаясь. — Я заварю.

Я не сразу взял трубку. Было страшно. Звонить было некому, особенно в это время. Может быть, пьяный Вайнгартен? Сидит там один... Я взял трубку.

— Да?

Голос пьяного Вайнгартена сказал:

— Ну конечно, не спит... Привет, жертва сверхразума! Как ты там?

— О'кей, — сказал я с огромным облегчением. — А ты?

— У нас тут полный порядок... — сообщил Вайнгартен. — Заехали в «Авс... Австорию»... В «Аустерию», понял?... Взяли полбанки — показалось мало. Тогда взяли еще полбанки... Понесли эти две полбанки... иначе гово-

ря, одну целую банку... и вот теперь прекрасно себя чувствуем. Приезжай!

— Да нет, — сказал я. — Мы тут с Вечеровским. Чай пьем.

— Кто чай пьет — тот отчается, — объявил Вайнгартен и захохотал. — Ну, ладно. Если что — звони...

— Я не понимаю, ты один или с Захаром?

— Мы втроем, — сказал Вайнгартен. — Очень мило... Значит, если что — приезжай. Эж... эждем... — И он положил трубку.

Я вернулся на кухню. Вечеровский разливал чай.

— Вайнгартен? — спросил он.

— Да. Все-таки приятно, что в этом сумасшествии хоть что-то остается по-прежнему. Инвариантность относительно сумасшествия. Никогда раньше не думал, что пьяный Вайнгартен — это так хорошо.

— Что он тебе сказал? — осведомился Вечеровский.

— Он сказал: кто пьет чай, тот отчается.

Вечеровский удовлетворенно заухал. Он любил Вайнгартена. Очень по-своему, но любил. Он считал Вайнгартена анфан терибль — большим, потным, шумным анфан терибль.

— Подожди, — сказал я. — А где же конфеты? А!

Я залез в холодильник и вытащил роскошную коробку «Пиковой дамы».

— Видал?

— О! — сказал Вечеровский с уважением.

Мы почали коробку.

— Привет от сверхцивилизации, — сказал я. — Да! Так что ты там говорил? Совсем меня с толку сбил... Да! Ты что же, даже после всего утверждаешь...

— Умгу... — сказал Вечеровский. — Утверждаю. Я всегда знал, что никаких сверхцивилизаций не существует. А теперь, после всего, как ты выразился, — я догадываюсь, почему не существует.

— Подожди, подожди... — Я поставил чашку. — Почему и так далее — это все теория, а ты мне вот что скажи... Если это не сверхцивилизация... если это не пришельцы в самом широком смысле слова, тогда кто? — Я разозлился. — Ты знаешь что-нибудь или просто языком треплешь, парадоксами развлекаешься? Один человек застрелился, из другого сделали медузу... Что ты нам голову морочишь?

Нет, даже невооруженным глазом видно было, что Вечеровский не развлекается парадоксами и не морочит нам голову. Лицо у него вдруг сделалось серое, утомлен-

ное, и проступило на нем какое-то огромное, доселе тщательно скрываемое, а теперь вырвавшееся на волю напряжение... или, может быть, упрямство — жесткое яростное упрямство. Он даже на себя перестал быть похож. У него-то ведь лицо, в общем, скорее вялое, с такой сонной аристократической тухлецей, а тут оно все словно окаменело. И мне опять стало страшно. В этот момент я впервые подумал, что Вечеровский сидит здесь вовсе не потому, что хочет меня морально поддержать. И вовсе не поэтому он приглашал меня переночевать у него, а давеча — посидеть у него и поработать. И хотя мне было очень страшно, я вдруг испытал прилив жалости к нему, ни на чем, собственно, не основанной жалости, только на каких-то смутных ощущениях основанной, да на том, как вдруг переменилось его лицо.

И тут я вспомнил ни с того ни с сего, что года три назад Вечеровского положили в больницу, но ненадолго, скоро выписали...»

17. «...неизвестная ранее форма доброкачественной опухоли. Только через год. А я обо всем этом узнал вообще только прошлой осенью, а ведь встречался с ним каждый божий день, пил у него кофеек, слушал его марсианское уханье, жаловался ему, что фурункулы одолели. И ничего, ничегошеньки не подозревал...

И вот сейчас, охваченный этой неожиданной жалостью, я не удержался и сказал, хотя и знал заранее, что говорить это бессмысленно, толку от этого никакого не будет.

— Фил, — сказал я, — а ты что, тоже под давлением?

Конечно, он не обратил на мой вопрос никакого внимания. Просто не услышал меня. Напряжение ушло с его лица, снова утонуло в аристократической одутловатости, рыжие веки напоззли на глаза, и он усиленно засопел потухшей трубкой.

— Я вовсе не морочу вам голову, — сказал он. — Вы сами себе морочите голову. Это же вы придумали свою сверхцивилизацию, и никак вы не поймете, что это слишком просто — современная мифология, и не более того.

У меня мурашки поползли по коже. Еще сложнее? Еще, значит, хуже? Куда же больше?..

— Ты ведь астроном, — продолжал он укоризненно. — Ты ведь должен знать про основной парадокс ксенологии...

— Ну, знаю, — сказал я. — Всякая цивилизация в своем развитии с высокой вероятностью...

— И так далее, — прервал он меня. — Мы неизбежно должны наблюдать следы их деятельности, но мы этих следов не наблюдаем. Почему? Потому что сверхцивилизаций не бывает. Потому что превращение цивилизаций в сверхцивилизацию почему-то не происходит.

— Ну да, — сказал я. — Разум губит себя в ядерных войнах. Чушь все это.

— Конечно, чушь, — спокойно согласился он. — То же слишком просто, слишком примитивно, в сфере привычных представлений...

— Подожди, — сказал я. — Что ты затвердил как попугай: примитивно, примитивно... Конечно, ядерная война — это примитивно. На самом деле все, наверное, совсем не так просто... Генетические болезни... какая-нибудь усталость от бытия... целевая переориентация... Об этом же целая литература существует. Я, например, считаю, что проявления сверхцивилизаций носят космический характер, мы просто не умеем отличить их от природных космических явлений. Или, пожалуйста, наш случай — чем не проявление?

— Человеческое, слишком человеческое, — проговорил Вечеровский. — Они обнаружили, что земляне на пороге Космоса, и, опасаясь соперничества, решили это прекратить. Так?

— Почему бы и нет?

— Да потому что это — роман. Вернее, целая литература в ярких дешевых обложках. Это все попытки натянуть фразную пару на осьминога. Причем даже не просто на осьминога, а на осьминога, которого на самом деле не существует...

Вечеровский отодвинул чашку, поставил локоть на стол и, подперши подбородок кулаком, задрал рыжие брови, стал глядеть куда-то поверх моей головы.

— Смотри, как у нас забавно получается, — сказал он. — Казалось бы, два часа назад обо всем договорились: неважно, какая сила на вас действует, важно — как вести себя под давлением. Но вот я вижу, что ты об этом совершенно не думаешь, ты упорно снова и снова возвращаешься к попыткам идентифицировать эту силу. И при этом упорно возвращаешься к гипотезе сверхцивилизации. Ты даже готов забыть и уже забыл собственные свои маленькие возражения против этой гипотезы. И я в общем понимаю, почему это с тобой происходит. Где-то в подсознании у тебя сидит идея, что любая сверхцивилизация — это все-таки цивилизация, а две цивили-

зации всегда сумеют между собой как-то договориться, найти некий компромисс, накормить волков и сохранить овец... И уж в самом худшем случае — сладко покориться этой враждебной, но импозантной силе, благородно уступить перед противником, достойным победы, а там — чем черт не шутит! — может быть, и получить награду за свою разумную покорность... Не выкатывай, пожалуйста, на меня глаза. Я ведь говорю: это у тебя в подсознании. И разве только у тебя? Это же очень, очень человеческое. От бога отказались, но на своих собственных ногах, без опоры, без какого-нибудь мифа-костыля стоять еще не умеем. А придется! Придется научиться. Потому что у вас, в вашем положении, не только друзей нет. Вы до такой степени одиноки, что у вас и врага нет! Вот чего вы никак не хотите понять.

Вечеровский замолчал. Я пытался переварить эту неожиданную речь, пытался найти аргументы, чтобы возражать, оспаривать, с пеной у рта доказывать... что? Не знаю. Он был прав — уступить достойному противнику — это не позор. То есть это не он так думает. Это я так думаю. То есть не думаю, а только сейчас подумал — после того, как он об этом сказал. Но ведь у меня и на самом деле было ощущение, что я — генерал разбитой армии и брожу под градом ядер в поисках генерала-победителя, чтобы отдать ему шпагу. И при этом меня не столько угнетает само поражение, сколько то проклятое обстоятельство, что я никак не могу найти этого супостата.

— Как же так — нет врага? — сказал я наконец. — Кому-то ведь это понадобилось!

— А кому понадобилось, — с этакой ленцой произнес Вечеровский, — чтобы вблизи поверхности Земли камень падал с ускорением в девять и восемьдесят один?

— Не понимаю, -- сказал я.

— Но ведь он падает именно так?

— Да...

— И сверхцивилизацию ты сюда не притягиваешь за уши? Чтобы объяснить этот факт...

— Подожди... При чем здесь...

— Кому же все-таки понадобилось, чтобы камень падал именно с таким ускорением? Кому?

Я налил себе чаю. В общем-то, мне как будто оставалось сложить два и два, но я все равно ничего не понимал.

— Ты хочешь сказать, что мы имеем дело с каким-то стихийным бедствием, что ли? С явлением природы?

— Если угодно, — сказал Вечеровский.

— Ну, знаешь ли, голубчик!.. — Я развел руками, задел стакан и залил весь стол. — Ч-черт...

Пока я вытирал стол, Вечеровский по-прежнему лениво продолжал:

— А ты все-таки постарайся отказаться от эпициклов, попробуй все-таки поставить в центр не Землю, а Солнце. Ты сразу почувствуешь, насколько все упростится.

Я бросил мокрую тряпку в мойку.

— То есть у тебя есть своя гипотеза, — сказал я.

— Да, есть.

— Изложи. Кстати, почему ты не изложил ее сразу? Когда здесь был Вайнгартен.

Вечеровский подвигал бровями.

— Видишь ли... Всякая новая гипотеза обладает тем недостатком, что вызывает всегда массу споров. А мне вовсе не хотелось спорить. Мне хотелось только убедить вас, что вы поставлены перед неким выбором, и выбор этот должны сделать в одиночку, сами. По-видимому, мне это не удалось. А между тем моя гипотеза, пожалуй, могла бы оказаться дополнительным аргументом, потому что суть ее... точнее, единственный практический вывод из нее состоит как раз в том, что у вас сейчас нет не только друзей, но даже и противника. Так что, может быть, я и ошибся. Может быть, мне следовало пойти на утомительную дискуссию, но зато тогда вы яснее бы представляли себе свое истинное положение. А дела, на мой взгляд, обстоят следующим образом...

Нельзя сказать, чтобы я не понял его гипотезу, но не могу сказать, что я осознал ее до конца. Не могу сказать, что гипотеза убедила меня, но, с другой стороны, все происходившее с нами в нее укладывалось. Более того, в нее укладывалось вообще все, что происходило, происходит и будет происходить во Вселенной, и в этом, если угодно, заключается и слабость этой гипотезы. Было в ней что-то от утверждения, что веревка есть вервие простое.

Вечеровский вводил понятие Гомеостатического Мироздания (он употреблял именно это архаическое и поэтическое слово). «Мироздание сохраняет свою структуру» — это была его основная аксиома. По его словам, законы сохранения энергии и материи были частными проявлениями закона сохранения структуры. Закон неубывания энтропии противоречит гомеостазису мироздания и поэтому является законом частичным, а не всеобщим. Дополнительным по отношению к этому закону является

закон непрерывного воспроизводства разума. Сочетание и противоборство этих двух частичных законов и обеспечивают всеобщий закон сохранения структуры.

Если бы существовал только закон неубывания энтропии, структурность мироздания исчезла бы, воцарился бы хаос. Но, с другой стороны, если бы существовал или хотя бы возобладали только непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум, заданная гомеостазисом структура мироздания тоже нарушалась бы. Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно бы просто стало другим — вопреки принципу гомеостатичности, ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель: изменение природы Природы. Поэтому сама суть Гомеостазиса Мироздания состоит в поддержании равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Поэтому нет и не может быть сверхцивилизаций, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, развившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в космических масштабах. И то, что происходит сейчас с нами, есть не что иное, как первые реакции Гомеостатического Мироздания на угрозу превращения человечества в сверхцивилизацию. Мироздание защищается.

Не спрашивай меня, говорил Вечеровский, почему именно Малянов и Глухов оказались первыми ласточками грядущих катаклизмов. Не спрашивай меня, какова физическая природа сигналов, потревоживших гомеостазис в том уголке мироздания, где Глухов и Малянов затеяли свои сакраментальные исследования. Вообще не спрашивай меня о механизмах действия Гомеостатического Мироздания — я об этом ничего не знаю, так же как никто ничего не знает, например, о механизмах действия закона сохранения энергии. Просто все процессы происходят так, что энергия сохраняется. Просто все процессы происходят так, чтобы через миллиард лет эти работы Малянова и Глухова, слившись с миллионами и миллионами других работ, не привели бы к концу света. Имеется в виду, естественно, не конец света вообще, а конец того света, который мы наблюдаем сейчас, который существовал уже миллиард лет назад и которому Малянов и Глухов, сами того не подозревая, угрожают своими микроскопическими попытками преодолеть энтропию...

Вот так примерно — не знаю уж, правильно или не совсем правильно, а может быть, и вовсе неправильно. — Я его понял. Я даже спорить с ним не стал. И без того

дело было дрянь, а уж в таком аспекте оно представлялось настолько безнадежным, что я просто не знал, что сказать, как к этому относиться и зачем вообще жить. Господи! Малянов Д. А. версус Гомеостатическое Мироздание! Это даже не тля под кирпичом. Это даже не вирус в центре Солнца...

— Слушай, — сказал я. — Если это все так, какого черта тут вообще разговаривать? Да провались они, мои М-полости... Выбор! Да какой тут может быть выбор?

Вечеровский медленным движением снял очки и принялся водить мизинцем по натертой горбинке носа. Он очень долго, изнурительно долго молчал. А я ждал. Потому что шестым чувством понимал: не может Вечеровский бросить меня вот так, на съедение своему гомеостазису, никогда бы этого не сделал, никогда бы мне всего этого не рассказал, если бы не существовал какой-то выход, какой-то вариант, какой-то все-таки, черт возьми, выбор. И вот он кончил сандалить свой нос, снова надел очки и тихонько произнес:

— Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы...

— Ну? — сказал я.

— Повторить? — спросил Вечеровский.

— Ну, повтори.

Он повторил. Мне захотелось заплакать. Я торопливо поднялся, налил чайник и снова поставил его на газ.

— Хорошо, что чай на свете есть, — сказал я. — Давно бы уже пьяный под столом валялся...

— Я все-таки предпочитаю кофе, — сказал Вечеровский.

И тут я услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ. Я, наверное, стал белый, а может быть, даже синий, потому что Вечеровский вдруг тревожно подался ко мне и тихо проговорил:

— Спокойно, Дима, спокойно... Я с тобой.

Я едва слышал его.

Там, в прихожей, открылась вторая дверь, зашуршала одежда, послышались быстрые шаги, отчаянно завопил Калям, и — я все еще сидел как деревянный — запыхавшийся Иркин голос произнес: «Калямужка...» И сразу же:

— Димка!

Не помню, как меня вынесло в коридор. Я схватил Ирку в охапку, стиснул ее, прижался (Ирка, Ирка!), вдохнул запах знакомых духов. У нее были мокрые щеки, и

она тоже бормотала что-то странное: «Ты живой, господи... Что я только не думала! Димка!» Потом мы опомнились. Во всяком случае, я опомнился. То есть до меня окончательно дошло, что это она, и дошло, что она бормочет. И мой аморфный деревенящий ужас сменился вполне конкретным житейским испугом. Я поставил ее на ноги, отстранился, взгляделся в заплаканное лицо (оно было даже не подмазано) и спросил:

— Что случилось, Ирка? Почему ты здесь? Бобка?

По-моему, она меня не слушала. Она цеплялась за мои руки, лихорадочно шарила мокрыми глазами по моему лицу и все повторяла:

— Я же чуть с ума на сошла... Я думала, что уже и не успею... Что же это такое...

Не разнимая рук, мы протиснулись в кухню, я усадил ее на свою табуретку, а Вечеровский молча налил ей крепкого чаю прямо из заварочного чайника. Она жадно выпила, расплескав половину на пыльник. На ней лица не было. Она так осунулась, что я с трудом ее узнавал. Глаза были красные, волосы растрепаны, торчали космами. Тут меня затрясло, и я привалился задом к мойке.

— С Бобкой что-нибудь? — проговорил я, еле ворочая языком.

— С Бобкой? — повторила она бессмысленно. — При чем здесь Бобка? Я из-за тебя чуть с ума не сошла... Что здесь произошло? — закричала она вдруг. — Ты болел? — Глаза ее снова обежали меня. — Ты же здоров как бык!

Я почувствовал, что нижняя челюсть у меня отвисла, и захлопнул рот. Ничего было не понять. Вечеровский очень спокойно спросил:

— Ты получила что-нибудь дурное про Диму?

Ирка перестала обследовать меня глазами и поглядела на него. Потом она вдруг сорвалась с места, выбежала в прихожую и сейчас же вернулась, на ходу копясь в сумочке.

— Вы посмотрите... посмотрите, что я получила... — Гребенка, патрон с помадой, какие-то листики и коробочки, деньги сыпались на пол. — Господи, где же это... Да! — Она швырнула сумку на стол, сунула трясущуюся руку в карман пыльника — не сразу попала — и выхватила смятую телеграмму. — Вот!

Я схватил телеграмму. Пробежал. Ничего не понял. «...УСПЕТЬ СНЕГОВОЙ...» Еще раз пробежал глазами, потом от отчаяния — вслух:

— «ДИМОЙ ПЛОХО ТОРОПИТЕСЬ УСПЕТЬ СНЕГОВОЙ». Как — Снеговой? — сказал я. — Почему Снеговой?

Вечеровский осторожно отобрал у меня телеграмму.

— Отправлено сегодня утром, — сказал он. — Все заверки, насколько я понимаю, в порядке...

— Когда отправлена? — спросил я громко, как глухой.

— Сегодня утром. В девять часов двадцать две минуты.

— Господи! Да что же он — подшутил надо мной так? — сказала...»

Глава девятая

18. «...чем у меня. Билет на аэровокзале она, конечно, не достала. Прорвалась, размахивая телеграммой, к начальнику, тот выдал ей какую-то бумажку, но толку от этой бумажки было чуть — самолетов в порту не было, а когда они появлялись, то летели не туда. В конце концов, отчаявшись, она села в самолет, который доставил ее в Харьков. Там все началось сначала, но плюс ко всему в Харькове шел проливной дождь, и только под вечер ей удалось добраться до Москвы на грузовом самолете, который вез холодильники и гробы. В Москве дело пошло легче. Из Домодедова она помчалась в Шереметьево, и в конце концов ей удалось добраться до Ленинграда в пилотской кабине. За все это время она не съела ни крошки, и половину всего этого времени она проревела. Даже засыпая, она жалобно грозилась, что завтра же с утра отправится на почту, призовет на помощь милицию и уж выяснит, чья это работа, какие гады это натворили. Я, естественно, поддакивал, что да, конечно, мы этого так не оставим, за такие штучки нужно морду бить, и даже не морду бить, а просто сажать, и, конечно, я не стал ей говорить, что почта такие телеграммы без соответствующих справок не принимает, что пошутить таким вот образом в наше время, слава богу, просто невозможно и что скорее всего эту телеграмму вообще никто не посылал, а телетайп на почте в Одессе отпечатал ее совершенно самостоятельно.

Я заснуть не мог. Собственно, было уже утро. На улице было совсем светло, и в комнате, несмотря на задернутые шторы, тоже было светло. Некоторое время я лежал неподвижно, гладил Каляма, растянувшегося

между нами, и слушал тихое ровное дыхание Ирки. Она всегда спала очень крепко и с большим аппетитом. Не было на свете таких неприятностей, которые могли бы вызвать у нее бессонницу. По крайней мере, до сих пор не было...

Тошное маетное оцепенение, которое навалилось на меня с того момента, когда я прочитал и понял наконец телеграмму, не покидало меня. Все мускулы были сведены словно судорогой, и внутри, в груди и в животе, лежал огромный бесформенный холодный ком. Иногда этот ком принимался ворочаться, и тогда меня начинала бить дрожь.

Сначала, когда Ирка вдруг замолкла на полуслове и я услышал ее ровное сонное дыхание, мне на мгновение стало легче: я был не один, более того — со мной рядом был самый, наверное, родной и любимый человек. Но холодная жаба в груди шевельнулась, и я ужаснулся этому чувству облегчения и подумал: до чего же это я докатился, до чего они меня укатали, что я способен радоваться Иркиному здесь присутствию, радоваться, что Ирка оказалась в одном со мною окопе под ураганным огнем. Не-ет, завтра же, завтра же за билетом! И — обратно ее в Одессу... через головы всех очередей, всех раскидаю, зубами прогрызу дорогу к кассе...

Бедная моя девочка, сколько ей пришлось пережить из-за этих гадов, из-за меня, из-за этой вонючей диффузной материи, которая вся, сколько ее есть, не стоит одной Иркиной морщинки. И до нее они добрались. Мало им было меня топтать — до нее добрались тоже... Зачем? Ирка-то им зачем понадобилась? Сволочи слеподырые, лупят по площадям, на кого бог пошлет... Я сел. Если с Иркой что-нибудь случится, я себе этого не прошу. Да нет, ничего с нею не случится. Это они просто меня запугивают. Нервы мои бедные на катушку наматывают — не одним способом, так другим. Не мытьем, так катаньем...

Ни с того ни с сего мне представился вдруг мертвый Снеговой — как он идет в огромной полосатой пижаме по Московскому, грузный, холодный, с запекшейся дырой в большом черепе; как он входит в почтовое отделение и встает в очередь к телеграфному окошку: в правой руке у него пистолет, в левой — телеграмма; и никто вокруг ничего не замечает, приемщица берет у него из мертвых пальцев телеграмму, выписывает квитанцию и, не вспомнив о деньгах, произносит: «Следующий».

Я потряс головой, чтобы отогнать видение, тихонько слез с тахты и, как был, в одних трусах прошлепал на кухню. Здесь было уже совсем светло, на дворе всюду гомонили воробьи и шаркала метла дворника. Я взял Иркину сумочку, порылся, нашел мятую пачку с двумя поломанными сигаретами и, севши за стол, закурил. Давно я не курил. Года два, наверное, а может быть, и три... Все силу воли доказывал. Да, брат Малянов. Теперь тебе понадобится вся твоя сила воли. Ч-черт, актер ведь я никудышный и врать толком не умею. А Ирке ничего не надо знать. Ни к чему ей все это. Это я должен пережить сам, сам должен с этим справиться. Тут мне никто не поможет, ни Ирка, никто.

А при чем тут, собственно, помощь? — подумал я вдруг. Разве о помощи речь? Просто я никогда не говорил Ирке о своих неприятностях, если этого можно избежать. Я не люблю ее огорчать. Очень люблю радовать и терпеть не могу огорчать. Если бы не вся эта бодяга, с какой радостью я бы ей сейчас рассказал про М-полости, она бы сразу все поняла, у нее голова ясная, хотя она не теоретик и все время жалуется на свою дурость... А сейчас что я ей скажу? Тоска, тоска...

Вообще-то неприятности неприятностям рознь. Бывают неприятности разных уровней. Бывают совсем мелкие, на которые не грех и пожаловаться, даже приятно. Ирка скажет: подумаешь, чепуха какая, — и сразу же станет легче. Если неприятности покрупнее, то говорить о них просто не по-мужски. Я ни маме о них никогда не говорю, ни Ирке. Но потом, вообще-то говоря, идут неприятности уже такого масштаба, что с ними становится даже как-то неясно. Во-первых, хочу я этого или не хочу, а Ирка попала под огонь вместе со мной. Тут какая-то чушь получается, несправедливость. В меня бьют, как в бубен, но я хоть понимаю — за что, догадываюсь — кто... и вообще знаю, что меня бьют. Целятся. Что это не глупые шутки и не удары судьбы. По-моему, все-таки лучше знать, что в тебя целятся. Правда, люди бывают всякие, и большинство все-таки предпочло бы не знать. Но Ирка, по-моему, не такая. Она отчаянная, я ее знаю. Она когда чего-нибудь боится, то прямо-таки опрометью бросается именно навстречу своему страху. Нечестно как-то получается — не рассказать ей. И вообще. Мне надо выбор делать. (Я, между прочим, об этом еще и не пытался думать, а думать придется. Или я уже выбрал? Сам еще об этом ничего не знаю, а

уже выбрал...) И вот если выбирать... Ну, сам выбор, предположим, это дело только мое. Как захотим, так и сделаем. Но вот как насчет последствий? Выберу одно — начнут в нас кидать уже не простые бомбы, а атомные. Выберу другое... Интересно, понравился бы Ирка Глухов? В общем-то ведь милый, приятный человек, тихий, кроткий... Телевизор можно было бы наконец купить на радость Бобке, на лыжах бы ходили каждую субботу, в кино... В общем, так или иначе, а получается, что все это касается не только одного меня. И под бомбами сидеть плохо, и за медузой замужем через десять лет супружества вдруг оказаться — тоже не сахар... А может быть, как раз ничего? Откуда я знаю, за что меня Ирка любит? То-то и оно, что не знаю. Между прочим, она этого, может быть, тоже не знает...

Я докурил, привстал с табуретки и сунул окурок в помойное ведро. Рядом с помойным ведром лежал паспорт. Очень мило. Все собрали до последней бумажки, до последнего медяка, а паспорт — вот он. Я взял черно-зеленую книжицу и рассеянно заглянул на первую страницу. Сам не знаю — зачем. Меня окатило холодным потом. Сергеенко Инна Федоровна. Год рождения — 1939... Что такое? Фотография была Иркина... Нет, не Иркина. Какая-то женщина, похожая на Ирку, но не Ирка. Какая-то Сергеенко Инна Федоровна.

Я осторожно положил паспорт на край стола, поднялся и на цыпочках прокрался в комнату. Меня окатило ледяным потом вторично. У женщины, которая лежала под простыней, сухая кожа туго обтягивала лицо, и были обнажены верхние зубы, белые, острые, — то ли в улыбке, то ли в страдальческом оскале. Это ведьма была там, под простыней. Не помня себя, я схватил ее за голое плечо и потряс. Ирка мгновенно проснулась, распахнула свои глазищи и невнятно проговорила: «Димкин, ты чего? Болит что-нибудь?..» Господи, Ирка! Конечно, Ирка. Что за бред? «Я храпела, да?» — спросила Ирка сонным голосом и заснула снова.

Я на цыпочках вернулся на кухню, отодвинул от себя подальше этот паспорт, выволок из пачки последнюю сигарету и снова закурил. Да. Вот так мы теперь живем. Такая вот у нас теперь будет жизнь. Отныне.

Ледяное животное внутри поворочалось еще немного и затихло. Я стер с лица противный пот, спохватился и снова полез в Иркину сумку. Иркин паспорт был там. Малянова Ирина Ермолаевна. Год рождения — 1933.

Ч-черт... Ну, хорошо, а это-то зачем им понадобилось? Ведь все же не случайно. И паспорт этот, и телеграмма, и с каким трудом Ирка добиралась, и даже то, что она летела в одном самолете с гробами, — все ведь это не случайно... Или случайно? Слеподыры же, матушка-природа, стихия безмозглая... Вот это, между прочим, очень хорошо подтверждает Вечеровского. Потому что если это на самом деле Гомеостатическое Мироздание сокрушает микрокрамолу, то это так и должно выглядеть... Как человек, который охотится за мухой с полотенцем, — страшные свистящие удары, разрезающие воздух, летят с полок сбитые вазы, обрушивается торшер, гибнут ни в чем не повинные ночные мотыльки; задрав хвост, удирает под диван кошка, которой наступили на лапу... Массированность и малоприцельность. Я ведь вообще ничего не знаю. Может быть, сейчас где-нибудь за Муринским Ручьем дом обрушился — целились в меня, а попали в дом, а мне и невдомек, на мою долю только этот паспорт и достался. И неужели это только из-за того, что я давеча подумал об М-полостях? Только представил себе, как я мог бы рассказать о них Ирке...

Слушай, я, наверное, так не смогу жить. Трусом я себя никогда не считал, но так вот жить, чтобы ни минуты покоя не было, чтобы от собственной жены шарахаться, принявши ее за ведьму... А Вечеровский Глухова теперь в упор не видит. Значит, и меня не станет видеть. Все придется изменить. Все будет другое. Другие друзья, другая работа, другая жизнь... Семья, может быть, тоже другая... С тех пор все тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы. Глухие... Глухов... И будет стыдно смотреть на себя по утрам в зеркало, когда бреешься. В зеркале будет очень маленький и очень тихий Малянов.

То есть, конечно, можно будет привыкнуть и к этому, ко всему на свете, наверное, можно привыкнуть. И к любой утрате. Но какая это все-таки будет немаленькая утрата, если подумать! Ведь я десять лет шел к этому. Даже не десять лет — всю жизнь. С детства, со школьного кружка, с самодельных телескопов, с подсчетов чисел Вольфа по чьим-то наблюдениям... М-полости мои — я ведь о них, собственно, ничего не знаю: что там у меня могло бы получиться, что бы могло получиться из этого у тех, кто заинтересовался бы этим после меня, продолжил бы, развил, добавил свое и передал бы дальше, в следующий век... Наверное, что-то немаленькое могло бы получиться, что-то немаленькое я утрачиваю,

если оно оказывается зародышем потрясений, против которых восстает сама Вселенная. Миллиард лет — большой срок. За миллиард лет из комочка слизи вырастает цивилизация...

Но ведь растопчут. Сначала жить не дадут, замордуют, сведут с ума, а если это не поможет — просто растопчут... Мать моя, мамочка! Шесть часов. Солнце уже всю жарит.

И тут, я сам не знаю почему, холодное животное в груди исчезло. Я поднялся, спокойно ступая, пошел в комнату, залез в свой стол, вытащил свои бумаги и взял ручку. А потом вернулся в кухню, расположился, сел и стал работать.

Думать по-настоящему я, конечно, не мог — голова была как ватой набита, веки жгло, — но я старательно и тщательно перебрал черновики, выкинул все, что было уже не нужно, остальное расположил по порядку, взял общую тетрадь и стал все переписывать начисто, не торопясь, с аппетитом, аккуратно, тщательно выбирая слова, — так, словно я писал окончательный вариант статьи или отчета.

Многие не любят этого этапа работы, а я люблю. Мне нравится оттачивать терминологию, не спеша и со вкусом обдумывать наиболее изящные и экономичные обозначения, вылавливать блох, засевших в черновиках, вычерчивать графики, оформлять таблицы. Это благородная черная работа ученого — подведение итогов, время полюбоваться собой и делом рук своих.

И я любовался собой и делом рук своих, пока не возникла вдруг рядом со мной Ирка, обняла меня голой рукой за шею и прижалась теплой щекой к моей щеке.

— А? — произнес я и распрямил спину.

Это была моя обычная Ирка, совсем не то несчастное пугало, какой она явилась вчера. Она была розовая, свежая, ясноглазая и веселая. Жаворонок. Ирка у меня жаворонок. Я — сова, а она — жаворонок. Где-то я слышал про такую классификацию. Жаворонки ложатся рано, легко и с удовольствием засыпают, так же легко и с удовольствием просыпаются и сейчас же начинают петь, и никакая мерихлюндия на свете не заставит их провалиться, скажем, до полудня.

— Ты что, опять совсем не ложишься? — спросила она и, не дожидаясь ответа, пошла к балконной двери. — Чего это они там разгалделись?

Только тут я сообразил, что во дворе у нас стоит

какой-то необычный галдеж — толковище того типа, какое бывает на месте происшествия, когда милиция уже подъехала, а «скорая помощь» еще в пути.

— Димка! — завопила Ирка. — Ты посмотри! Вот чудеса-то!

У меня упало сердце. Знаю я эти чудеса. Я выскочил...»

19. «...пить кофе. И тут Ирка бодро заявила, что все получилось прекрасно. В конце концов все на свете получается прекрасно. За эти десять дней Одесса успела надоесть ей хуже горькой редьки, потому что нынешним летом туда понаехало столько народу, сколько никогда еще не бывало, и вообще она соскучилась и возвращаться в Одессу не собирается, тем более что билета сейчас наверняка не достать, а мама все равно намеревалась в Ленинград в конце августа, вот она Бобку и привезет. А сейчас она, Ирка, вернется на работу — прямо сейчас, вот кофе попьет и вернется, — а в отпуск поедем вместе, как когда-то собирались, в марте или в апреле: в Кировск поедем, кататься на горных лыжах.

Потом мы съели яичницу с помидорами. Пока я готовил яичницу с помидорами, Ирка облазила всю квартиру в поисках сигарет, не нашла и вдруг погрустнела, затуманилась, сварила еще кофе и спросила про Снегового. Я рассказал ей, что знал со слов Игоря Петровича, тщательно обойдя все острые углы и постаравшись представить эту историю как очевидный несчастный случай. Пока я все это рассказывал, вспомнилась мне красотка Лидочка, и я совсем было раскрыл рот, но вовремя спохватился.

Ирка что-то говорила о Снеговом, вспоминала что-то, углы рта у нее печально опустились («...теперь вот и сигаретку не у кого попросить!»), а я пил маленькими глоточками кофе и думал, что непонятно, как мне сейчас быть, что пока я не решил, рассказывать Ирке про все или не рассказывать, пожалуй, не стоит заводить разговор ни о Лидочке, ни о столе заказов, потому что и с Лидочкой, и со столом заказов все обстоит чрезвычайно неясно, а точнее говоря — очень даже ясно, потому что вот уже сколько времени прошло, а Ирка еще ни словечком не упомянула ни о своей подружке, ни о своем заказе. Конечно, Ирка могла забыть. Во-первых, треволнения, а во-вторых, она всегда все забывает, но лучше все-таки, от греха подальше, эти скользкие темы не затрагивать.

Впрочем, маленький пробный шарик пустить, может быть, и стоит.

И, выбрав удобный момент, когда Ирка перестала говорить о Снеговом и перешла к более веселым предметам — как Бобка сверзился в канаву, а за ним сверзилась теща, — я спросил небрежным голосом:

— Ну, а как Лидочка твоя поживает?

Мой маленький пробный шарик получился на поверку несколько великоват и щербат. Ирка вытаращила глаза.

— Какая Лидочка?

— Да эта, твоя... школьная...

— А, Пономарева? А чего это ты ее вдруг вспомнил?

— Да так... — промямлил я. — Вспомнилось как-то. — Не подумал я о таком контрвопросе. — Одесса, броненосец «Потемкин»... Шаланды, полные кефали... Ну, вспомнилось просто, и все! Что ты пристала?

Ирка несколько раз моргнула, глядя на меня, затем сказала:

— Мы встречались. Она красивая такая стала, от мужиков отбоя нет...

Возникла пауза. Ч-черт, терпеть не могу врать... Ничего себе — пробный шарик! Мне же и по лбу. Под испытующим взглядом Ирки я поставил на блюде пустую чашку и, сказавши фальшивым голосом: «Как там наше дерево?» — отошел к балконной двери и выглянул. Ладно, так или иначе, но с Лидочкой все стало ясно, теперь уже окончательно. Н-ну, а как же наше дерево?

Дерево было на месте. Толпа подрассосалась. Собственно, около дерева стояли только Кефир, трое дворников, водопроводчик и двое милиционеров. Тут же была и желтая патрульная «ПМГ». Все (кроме машины, конечно) смотрели на дерево и, видимо, обменивались соображениями, как теперь быть и что все это означает. Один из милиционеров, снявши фуражку, утирал бритую голову носовым платком. Во дворе уже стало жарковато, и к привычному запаху нагретого асфальта, пыли и бензинчика примешивался какой-то новый запах — лесной, странный. Бритый милиционер вдруг надел фуражку, спрятал платок и, присев на корточки, принялся копать пальцем в вывороченной земле. Я поспешно отошел от балкона.

Ирка уже была в ванной. Я быстро убрал и помыл посуду. Спать хотелось ужасно, но я знал, что заснуть не смогу. Я теперь вообще, наверное, не смогу заснуть до тех пор, пока не кончится эта история. Я позвонил Вече-

ровскому. Уже услышав гудки, я сообразил, что Вечеровского быть дома не должно, что он сегодня принимает экзамены у аспирантов, но, прежде чем я успел додумать это до конца, он снял трубку.

— Ты дома? — спросил я глупо.

— Да как тебе сказать... — ответил Вечеровский.

— Ладно, ладно, — сказал я. — Дерево видел?

— Да.

— Как ты полагаешь?

— Думаю, что да, — сказал Вечеровский.

Я покосился в сторону ванной и, понизив голос, проговорил:

— По-моему, это я.

— Да?

— Угу. Я тут решил черновики привести в порядок.

— Привел?

— Не совсем. Сейчас сяду и попробую закончить.

Вечеровский помолчал.

— А зачем? — спросил он.

Я засмеялся.

— Н-не знаю... Захотелось вдруг переписать все начисто... Не знаю. От тоски, наверное. Жалко. А ты что, куда сегодня не пойдешь?

— Кажется, нет. Как Ира?

— Щебечет, — сказал я. Рот у меня невольно растянулся в улыбке. — Ты же знаешь Ирку. Как с гуся вода.

— Ты ей рассказал?

— Что ты! Конечно, нет.

— А почему, собственно, «конечно»?

Я крикнул.

— Понимаешь, Фил, я вот сам все думаю — рассказать или нет? И не знаю. Не могу сообразить.

— Если не знаешь, что делать, — произнес Вечеровский, — не делай ничего.

Я хотел ему сказать, что уж это и без него известно, но тут Ирка в ванной выключила душ, и я поспешно сказал:

— Ну, ладно, я пошел работать. Если что — звони, буду дома.

Ирка оделась, подмазалась, чмокнула меня в нос и ускакала. Я лег на кушетку ничком, положив голову на руки, и стал думать. Калям немедленно пришел, взобрался на меня и улегся вдоль хребта. Он был мягкий, жаркий и влажный. И тут я заснул. Это было как обморок. Сознание пропало, а потом вдруг снова появилось. Каля-

ма на моей спине уже не было, а в дверь звонили. Нашим условным звонком: та — та-та — та-та. Я скатился с кушетки. Голова была ясная, и чувствовал я себя каким-то необычайно боевым. Какой-то был я весь готовый к смерти и к посмертной славе. Я понимал, что начинается новый цикл, но страха больше не было — одна отчаянная злая решимость.

Впрочем, за дверь оказался всего-навсего Вайнгартен. Совершенно невозможная вещь: он был еще более потный, всклокоченный, вытаращенный и расхлюстанный, чем вчера.

— Что это за дерево? — прямо с порога осведомился он. И опять же невозможная вещь: эти слова он произнес шепотом.

— Можно вслух, — сказал я. — Заходи.

Он вошел, ступая осторожно и озираясь, сунул под вешалку две тяжелые авоськи с гигантскими редакторскими папками и вытер мокрой ладонью мокрую шею. Я за хвост втащил Каляма в прихожую и захлопнул дверь.

— Ну? — сказал Вайнгартен.

— Как видишь, — ответил я. — Пошли в комнату.

— Дерево это — твоя работа?

— Моя.

Мы уселись — я за стол, он — в кресло рядом. Из-под расстегнутой внизу нейлоновой курточки у него выпер огромный волосатый живот, плохо прикрытый пляжной сетчатой майкой. Он сопел, отдувался, вытирался, потом принялся изгибаться в кресле, вытаскивая из заднего кармана пачку с сигаретами. При этом он вполголоса ругался черными словами, ни к кому в особенности не обращаясь.

— Борьба, значит, продолжается... — сказал он наконец, выпуская толстые струи дыма из волосатых ноздрей. — Лучше, значит, умереть стоя, чем жить, трам-тарарам, на коленях... Идиот! — заорал он. — Ты хоть вниз спускался? Диван ты двуногий! Ты хоть посмотрел, как его выперло? Ведь это взрыв был! А если бы у тебя под задницей? Трам-тарарам, и трам, и тарарам!..

— Ты чего орешь? — сказал я. — Валерьянки тебе дать?

— Водки нет? — спросил он.

— Нет.

— Ну, вина...

— Ничего нет. Что это ты мне притащил?

— Нобелевку свою! — заорал он. — Нобелевку при-

гашил! Да только не тебе, идиоту... У тебя и своих хлопот хватит!.. — Он принялся яростно расстегивать свою курточку сверху, оторвал пуговицу и выругался. — Идиотов нынче мало, — объявил он. — В наше время, старик, большинство совершенно справедливо полагает, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Нам много не надо: вагончик хлеба, вагончик икры, и пусть даже икра будет черная при белом хлебе... Это тебе не девятнадцатый век, отец, — сказал он задушевно. — Девятнадцатый век давно умер, похоронен, и все, что от него осталось, — это миазмы, отец, и не более того. Я всю ночь не спал. Захар храпит, мальчишка его чудовищный тоже, а я не сплю, прощаюсь с пережитками девятнадцатого века в своем сознании. Двадцатый век, старик, — это расчет и никаких эмоций! Эмоции, как известно, это недостаточность информации, не более того. Гордость, честь, потомки — все это дворянский лепет. Атос, Портос и Арамис. Я так не могу. Я так не умею, трам-тарарам! Проблема ценностей? Пожалуйста. Самое ценное, что есть в мире, — это моя личность, моя семья и мои друзья. Остальное пусть катится все к чертовой матери. Остальное — за пределами моей ответственности. Драться? Ради бога. За себя. За семью, за друзей. До последнего, без пощады. Но за человечество? За достоинство землянина? За галактический престиж? К чертовой матери! Я не дерусь за слова! У меня заботы поважнее! А ты — как хочешь. Но идиотом быть не советую.

Он вскочил и, огромный как дирижабль, унесся на кухню. Из крана над мойкой с ревом устремилась вода.

— Вся наша деловая жизнь, — проорал он из кухни, — есть последовательная цепь сделок! Нужно быть полным идиотом, чтобы заключать невыгодные сделки! Это знали даже в девятнадцатом веке... — Он замолчал, и стало слышно, как он гулко глотает. Потом кран затих, и Вайнгартен снова появился в комнате, утирая рот. — Вечеровский тебе не посоветует ни черта, — объявил он. — Это не человек, а робот. Причем робот не из двадцать первого века, а из девятнадцатого. Если бы в девятнадцатом веке умели делать роботов, делали бы вот таких Вечеровских... Пожалуйста, можете считать меня человеком низменным. Не возражаю. Но пришить себя не дам! Никому. Ни за что. Живой пес лучше мертвого льва, и тем более живой Вайнгартен гораздо лучше мертвого Вайнгартена. Такова точка зрения Вайнгартена, а также его семьи и его друзей, я полагаю...

Я его не перебивал. Я его, мордатого, четверть века знаю, причем четверть не какого-нибудь века, а двадцатого. Он так орет, потому что разложил все по полочкам. Перебивать его сейчас бессмысленно — не услышит. Пока Вайнгартен не разложил все по полочкам, вы можете с ним спорить на равных, как с самым обыкновенным человеком, причем сплошь и рядом его можно даже переубедить. Но Вайнгартен, разложивший все по полочкам, превращается в магнитофон. Тогда он орет и становится безобразно циничен — это у него, наверное, от тяжелого детства.

Поэтому я молча его слушал, ждал, когда кончится лента, и мне казалось странным только, что он слишком часто упоминает о живых и мертвых Вайнгартенах. Не испугался же он, в конце концов, — он ведь не я. Я всякого Вайнгартена повидал: Вайнгартена влюбленного, Вайнгартена в охоте, Вайнгартена — грубого хама, Вайнгартена, излупцованного до неподвижности. И только одного Вайнгартена я не видел никогда: Вайнгартена испуганного. Я дождался, когда он на несколько секунд выключился, чтобы покопаться в сигаретной пачке, и спросил на всякий случай:

— Тебя что, испугали?

Он немедленно оставил сигаретную пачку и протянул мне через стол большую влажную дулю. Он словно ждал моего вопроса. Ответ у него заранее был записан на пленку — не только в жестах, но и верbatim тоже.

— Вот тебе — меня испугали, — сказал он, маневрируя дулей у меня перед носом. — Это тебе не девятнадцатый век. Это в девятнадцатом веке пугали. А в двадцатом этими глупостями не занимаются. В двадцатом веке хороший товар покупают. Меня не испугали, а купили, понял, старикашка? Ничего себе — выбор! Или тебя раздавят в лепешку, или тебе дадут новенький институт, из-за которого два членкора уже друг друга до смерти загрызли. Да я в институте этом десять нобелевок сделаю, понял? Правда, и товар неплох. Право, так сказать, первородства. Право Вайнгартена на свободу научного любопытства. Неплохой, неплохой товар, старик, не спорь со мной. Но — лежалый! Девятнадцатого века! В двадцатом веке все равно этой свободы ни у кого нет. Ты с этой свободой всю жизнь можешь просидеть в лаборантах, колбы перетирать. Институт — это тебе не чечевичная похлебка! Я там заложу десять идей, двадцать идей, а если им одна-две снова не понравятся — что ж, опять

поторгуемся! Сила солому ломит, старик. Давай-ка не будем плевать против ветра. Когда на тебя прет тяжелый танк, а у тебя, кроме башки на плечах, никакого оружия нет, надо уметь вовремя отскочить...

Он еще некоторое время орал, курил, хрипло кашлял, подскакивал к пустому бару и заглядывал в него, разочарованно отскакивал и снова орал, потом затих, угомонился, лег в кресло и, закинув мордастую голову на спинку, принялся делать страшные рожи в потолок.

— Ну, ладно, — сказал я. — А нобелевку свою ты все-таки куда прешь? Тебе ведь в котельную надо, а ты ко мне на пятый этаж взгромоздился...

— К Вечеровскому, — сказал он.

Я удивился.

— На кой ляд твоя нобелевка Вечеровскому?

— Не знаю. У него спроси.

— Подожди, — сказал я. — Он что, звонил тебе?

— Нет. Я ему.

— Ну?

— Что — ну? Что — ну? — Он выпрямился в кресле и принялся застегивать курточку. — Позвонил ему сегодня утром и сказал, что выбираю журавля в руках.

— Ну?

— Что — ну? Ну... он тогда и говорит, неси, говорит, все материалы ко мне.

Мы молчали.

— Не понимаю, зачем ему твои материалы, — сказал я.

— Потому что он — Дон Кихот! — рявкнул Вайнгартен. — Потому что жареный петух его еще в маковку не клевал! Потому что не хлебнул еще горячего до слез!

Я вдруг понял.

— Слушай, Валька, — сказал я. — Не надо. Да ну его к черту, он же с ума сошел! Они же его в землю вколотят по самую маковку! Зачем это надо?

— А что? — жадно спросил Вайнгартен. — А как?

— Да сожги ты ее к черту свою ревертазу! Вот давай прямо сейчас и сожжем... в ванне... А?

— Жалко, — сказал Вайнгартен и стал глядеть в сторону. — Сил нет, как жалко... Работа ведь — первый класс. Экстра. Люкс.

Я заткнулся. А его вдруг снова вынесло из кресла, он принялся бегать по комнате, в коридор и обратно, и опять закрутилась его магнитофонная лента. Стыдно — да! Честь страдает — да! Уязвлена гордость, особенно

когда об этом никому не говоришь. Но ведь если подумать — гордость есть идиотизм и ничего больше. С души воротит. Ведь подавляющее большинство людей в нашей ситуации думать бы не стали ни секундошки. И про нас они скажут: идиоты! И правильно скажут! Что, нам не приходилось отступать? Да тысячу раз приходилось! И еще тысячу раз придется! И не перед богами — перед паршивым чиновником, перед гнидой, которую к ногтю взять и то срамно...

Тут я разозлился, что он бегаёт передо мной, потеет и оправдывается, и сказал ему, что отступать — это одно, а он не отступает — он драпает, капитулирует он. Ох как он взвился! Здорово я его задел. Но мне было несколько не жалко. Это ведь я не его тыкал в нервное сплетение, это я себя тыкал... В общем, мы разругались, и он ушел. Забрал свои сетки и ушел к Вечеровскому. На пороге он сказал, что еще вернется попозже, но тут я ему преподнес, что Ирка объявилась, и он совсем увял. Он не любит, когда его недолюбливают.

Я сел за стол, снова вытащил свои бумаги и принялся работать. То есть не работать, конечно, а оформлять. Первое время я все ждал, что под столом у меня разорвется какая-нибудь бомба или в окно заглянет синяя рожа с веревкой на шее. Но ничего этого не происходило, я увлекся, и тут снова позвонили в дверь.

Я не сразу пошел открывать. Сперва сходил на кухню и взял молоток для отбивания мяса — страшная такая штука: с одной стороны там этакий шипастый набалдашник, а с другой — топорик. Если что — рубану между глаз, и амба... Я человек мирный, ни ссор, ни драк не люблю, не Вайнгартен, но с меня хватит. Хватит с меня.

Я открыл дверь. Это оказался Захар.

— Здравсьте, Митя, извините, ради бога, — произнес он с какой-то искусственной развязностью.

Я невольно посмотрел вниз. Но там никого больше не оказалось. Захар был один.

— Заходите, заходите, — сказал я. — Очень рад.

— Понимаете, решил заглянуть к вам... — все в том же искусственном тоне, который совершенно не вязался с его стеснительной улыбкой и интеллигентнейшим общим обликом, продолжал он. — Вайнгартен куда-то подевался, черт бы его побрал... Звоню ему весь день — нет. А тут вот собрался к Филип... э... Палычу, дай, думаю, загляну, может быть, он у вас...

— Филипп Павлович?

— Да нет, Валентин... Вайнгартен.

— Он тоже пошел к Филиппу Павловичу, — сказал я.

— Ах так! — с огромной радостью произнес Захар. — Давно?

— Да с час назад...

Лицо у него вдруг на мгновение застыло — он увидел молоток у меня в руке.

— Обед готовите? — произнес он и, не дожидаясь ответа, поспешно добавил: — Ну что ж, не буду вам мешать, пойду... — Он двинулся было обратно к двери, но остановился. — Да, я совсем забыл... То есть не забыл в общем-то, а просто не знаю... Филипп Палыч... Какая у него квартира?

Я сказал.

— Ага, ага... А то он, понимаете ли, позвонил мне, а я... как-то, знаете ли, забыл... за разговором...

Он еще попятился и открыл дверь.

— Понятно, понятно, — сказал я. — А где же ваш мальчик?

— А у меня все кончилось! — радостно выкрикнул он, шагнул через порог и...»

Глава десятая

20. «...подвигнуть меня на генеральную уборку этого свинарника. Я еле отбился. Договорились, что я сяду заканчивать работу, а Ирка, раз уж ей совсем нечего делать, раз уж ей, понимаешь, так неймется, раз уж она совсем не в состоянии полежать в ванночке с последним номером «Иностранной литературы», — пусть разберет белье и займется Бобкиной комнатой. А я беру на себя большую комнату, но не сегодня, а завтра. Морген, морген, нур нихт хойте. Но уж до блеска, чтобы ни одной пылинки.

Я расположился за своим столом, и некоторое время все было тихо и мирно. Я работал, и работал с удовольствием, но с каким-то непривычным удовольствием. Никогда раньше я ничего подобного не испытывал. Я ощущал странное угрюмое удовлетворение, я гордился собой и уважал себя. Мне казалось, что так должен чувствовать себя солдат, оставшийся с пулеметом, чтобы прикрывать отступление товарищей: он один, он знает, что останется здесь навсегда, что никогда ничего не увидит больше, кроме грязного поля, перебегающих фигурок в чужих мундирах и низкого унылого неба, и знает также, что это

правильно, что иначе нельзя, и гордится этим. И некий сторож у меня в мозгу, пока я работал, внимательно и чутко прослушивал и просматривал все вокруг, помнил, что ничего не кончилось, все продолжается и что тут же под рукой, в ящике стола, лежит устрашающий молоток с топориком и шипастым набалдашником. И в какой-то момент этот сторож заставил меня поднять голову, потому что в комнате что-то произошло.

Собственно, ничего особенного не произошло. Перед столом стояла Ирка и молча смотрела на меня. И в то же время, несомненно, что-то произошло, что-то совсем уж неожиданное и дикое, потому что глаза у Ирки были квадратные, губы припухли. Я не успел слова сказать, как Ирка бросила передо мной, прямо на мои бумаги, какую-то розовую тряпку, и я машинально взял эту тряпку и увидел, что это лифчик.

— Что это такое? — спросил я, совершенно обалдев, глядя то на Ирку, то на лифчик.

— Это лифчик, — чужим голосом произнесла Ирка и, повернувшись ко мне спиной, ушла на кухню.

Холодея от ужасных предчувствий, я вертел в руках розовую кружевную тряпку и ничего не понимал. Что за черт? При чем здесь лифчик? И вдруг я вспомнил обезумевших женщин, навалившихся на Захара. Мне стало страшно за Ирку. Я отшвырнул лифчик, вскочил и бросился на кухню.

Ирка сидела на табуретке, опершись локтями на стол и обхватив голову руками. Между пальцами правой руки у нее дымилась сигарета.

— Не прикасайся ко мне, — произнесла она спокойно и страшно.

— Ирка! — жалобно сказал я. — Иришка! Тебе плохо?

— Животное... — непонятно сказала она, оторвала руку от волос и поднесла к губам дрожащую сигарету. Я увидел, что она плачет.

...«Скорую помощь»? Не поможет, не поможет, при чем здесь «скорая помощь»... Валерьянки? Брому? Господи, лицо-то у нее какое... Я схватил стакан и налил воды из-под крана.

— Теперь все понятно... — сказала Ирка, судорожно затягиваясь и отстраняя локтем стакан. — И телеграмма эта понятна, и все... Докатались... Кто она?

Я сел и отхлебнул из стакана.

— Кто? — тупо спросил я.

На секунду мне показалось, что она хочет меня ударить.

— Это надо же, какая благородная скотина, — проговорила она с отвращением. — Не захотел, значит, осквернять супружеское ложе... Ах как благородно... У сына в комнате развлекался...

Я допил воду и попытался поставить стакан, но рука меня не слушалась. Врача! — металось у меня в голове. Ирка моя, маленькая, врача!

— Ладно, — сказала Ирка. Она больше не смотрела на меня. Она смотрела в окно и курила, поминутно затягиваясь. — Ладно, не будем. Ты сам всегда говорил, что любовь — это договор. У тебя всегда это очень красиво получалось: любовь, честность, дружба... Только уж могли бы проследить, чтобы лифчики за собой не забывали... Может быть, там еще и трусики найдутся, если поискать?

У меня словно шаровая молния лопнула в голове. Я сразу все понял.

— Ирка! — сказал я. — Господи, как ты меня напугала...

Конечно, это было совсем не то, что она ожидала услышать, потому что она вдруг повернула ко мне лицо, бледное милое заплаканное лицо, и посмотрела на меня с таким ожиданием, с такой надеждой, что я сам чуть не разревелся. Она хотела только одного: чтобы все сейчас же разъяснилось, чтобы все это оказалось чепухой, ошибкой, нелепым совпадением.

И это был последний камушек. Я больше уже не мог. Я больше не захотел держать это при себе. И я обрушил на нее свою лавину ужаса и сумасшествия последних двух дней.

Не знаю, наверно, вначале мой рассказ звучал как анекдот. Скорее всего, так оно и было, но я говорил и говорил, ни на что не обращая внимания, не давая ей возможности вставить язвительное замечание, кое-как, без всякого порядка, плюнув на хронологию, и я видел, как выражение недоверия и надежды на ее лице сменилось сначала изумлением, затем беспокойством, затем страхом и, наконец, жалостью...

Мы уже сидели в большой комнате перед распахнутым окном — она в кресле, а я на ковре рядом, прижавшись щекой к ее колену, — и тут оказалось, что за окном — гроза, фиолетовая туча развалилась над крышами, хлещет ливень, и свирепые молнии ввинчиваются

в темя двенадцатиэтажника, уходя в него без остатка. Крупные холодные брызги шлепались в подоконник, залетали в комнату, порывы ветра вздували желтые шторы, а мы сидели неподвижно, и она тихонько гладила меня по волосам. А я испытывал огромное облегчение. Выговорился. Избавился от половины тяжести. И теперь отдышал, прижав лицо к ее гладкому загорелому колену. Гром грохотал почти непрерывно, и разговаривать было трудно, да, в общем-то, мне и не хотелось больше разговаривать.

Потом она сказала:

— Димка. Ты только не должен на меня оборачиваться. Ты должен так решать, как будто меня нет. Потому что я все равно буду с тобой всегда. Что бы ты ни решил.

Я крепче прижался к ней. Собственно, я знал, что она так скажет, и толку от этих ее слов, собственно, никакого не было, но все равно я был ей благодарен.

— Ты меня прости, — продолжала она, помолчав, — но в голове у меня это никак не укладывается... Нет, я верю тебе, верю... только как-то уж очень страшно все это получается... Может быть, все-таки какое-то другое объяснение поискать... более... ну, что ли... попроще что-нибудь, попонятнее...

— Мы искали, — сказал я.

— Нет, я, наверное, не то говорю... Вечеровский, конечно, прав... Не в том прав, что это... как он говорит... Гомеостатическая Вселенная... он в том прав, что дело-то не в этом. Действительно, какая разница? Если Вселенная, то нужно сдаваться, а если пришельцы, то нужно бороться? В общем, ты меня не слушай. Это я просто так говорю... от обалдения...

Она зябко передернулась. Я приподнялся, втиснулся рядом с ней в кресло и обнял ее. Сейчас мне хотелось только одного — на разные лады повторять, как мне страшно. Как мне страшно за себя, мне страшно за нее, как мне страшно за нас обоих вместе... Но это, конечно, было бессмысленно и даже, наверное, жестоко.

Мне казалось, что, если бы ее не было на свете, я бы точно знал, как мне поступить. Но она была. И я знал, что она гордится мною, всегда гордилась. Я ведь человек довольно скучный и не слишком-то удачливый, однако гордиться можно и мною тоже. Я был когда-то хорошим спортсменом, всегда умел работать, голова у меня варит, и в обсерватории я на хорошем счету, и в дружеских компаниях я на хорошем счету, умею веселиться, умею

острить, спорить умею... И она всем этим гордилась. Пусть немножко, но все-таки гордилась. Я же видел, как она смотрит на меня иногда... Просто не знаю, как бы она в действительности отнеслась к моему превращению в медузу. Наверное, и я любить-то не смогу ее настоящему, даже на это не буду способен...

И, словно в ответ на мои мысли, она вдруг сказала, оживившись:

— А помнишь, мы когда-то с тобой радовались, что все экзамены теперь позади и ничего сдавать больше не придется до самой смерти? Оказывается, не все. Оказывается, остается еще один.

— Да, — сказал я, а сам подумал: только это такой экзамен, что никто не знает, пятерку лучше получить или двойку. И вообще неизвестно, за что здесь ставят пятерку, а за что двойку.

— Димка, — прошептала она, повернув ко мне лицо. — А ведь, наверное, ты действительно какую-то великую штуку выдумал, если они так за тебя взялись... На самом деле тебе гордиться надо... и вообще всем вам... Ведь сама госпожа Вселенная на вас внимание обратила!

— Гм... — сказал я, а сам подумал: Вайнгартену с Губарем гордиться уже вообще нечем, а что касается меня, то это дело пока под большим вопросом.

И опять-таки, словно подслушав мои мысли, она произнесла:

— И совсем неважно, какое решение ты примешь. Важно, что ты оказался способен на такое открытие... Ты мне хоть расскажешь, о чем там речь? Или это тоже нельзя?

— Не знаю, — сказал я, а сам подумал: что же это она — утешает меня, или действительно так думает, или сама, бедняжка, напугана до того, что подталкивает меня на капитуляцию, или просто золотит пилюлю, которую мне — она уже это знает — придется проглотить? Или, может быть, наоборот, толкает меня на драку, дотлевающую гордость мою ворошит...

— Свињи они, — сказала она тихо. — Только им все равно нас не разлучить. Правда? У них это не получится. Верно, Димка?

— Конечно, — сказал я, а сам подумал: об этом и речь, маленькая. Сейчас — только об этом.

Гроза уходила. Туча, неторопливо свертываясь, уплывала на север, открывая затянутое серой мглой небо, с которого лился уже не ливень, а сыпал мелкий серенький дождик.

— Наверное, дождик я привезла, — сказала Ирка. — А я-то думала, мы с тобой в Солнечное закатимся в субботу...

— До субботы еще далеко, — сказал я. — Может, и закатимся...

Все было сказано. Теперь надо было говорить о Солнечном, о книжных полках для Бобки, о стиральной машине, которая опять сдохла. Обо всем этом мы и поговорили. И была иллюзия обычного вечера, и чтобы продлить и усилить эту иллюзию, было решено выпить чайку. Была вскрыта свежая пачка цейлонского, заварочный чайник тщательнейше, по науке, прополоснут горячей водой, на стол водружена торжественно коробка «Пиковой дамы», и потом мы оба стояли над чайником и внимательно следили за водой, чтобы не пропустить момент ключевого кипения, и произносились традиционные шутки, и, расставляя чашки и блюдца, я тихонько взял со стола сакраментальный бланк стола заказов, и записку насчет Лидочки, и паспорт Сергеевко И. Ф., смял их и незаметно сунул в помойное ведро.

И мы прекрасно попили чайку — это был настоящий чай, «чай как напиток», — разговаривали о чем угодно, кроме самого главного, а я все думал, о чем сейчас думает Ирка, потому что у нее был такой вид, словно она уже успела забыть весь этот ужас, сказала мне все, что думает по этому поводу, и теперь с облегчением забыла, снова оставив меня один на один с моим выбором.

Потом она сказала, что будет сейчас гладить и чтобы я при этом сидел рядом и рассказывал ей про что-нибудь веселое. И я стал убирать посуду, и в это время раздался звонок в дверь.

Негромко напевая: «Лучше гор могут быть только горы...» — я направился в прихожую, бросив один только косой взгляд в сторону Ирки (она совершенно спокойно вытирала стол сухой чистой тряпкой). Уже поворачивая замок, я вспомнил о своем молотке, но мне показалось смешным и неловким возвращаться за ним в большую комнату, и я распахнул дверь.

Высокий, совсем молодой парень в мокром плаще и с мокрыми светлыми волосами равнодушно объявил: «Телеграмма, прошу расписаться...» Я взял у него огрызок карандаша и, приложив квитанцию к стене, написал дату и время по его подсказке, затем расписался, вернул карандаш и квитанцию, поблагодарил и закрыл дверь. Я знал, что ничего хорошего ждать нельзя. Тут же в прихо-

жей, под яркой пятисотсвечевой лампой, я развернул телеграмму и прочитал ее.

Телеграмма была от тещи. «**ВЫЛЕТАЕМ С БОБКЕЙ ЗАВТРА ВСТРЕЧАЙТЕ РЕЙС 425 БОБКА МОЛЧИТ НАРУШАЕТ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ЦЕЛЮЮ МАМА**». И ниже была приклеена полоса: «**ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ МИРОЗДАНИЕ ТАК**». Я прочитал телеграмму и перечитал ее, затем очень медленно сложил ее вчетверо, погасил свет и пошел по коридору. Ирка уже ждала меня, прижавшись спиной к двери в ванную. Я протянул ей телеграмму, сказал: «Мама с Бобкой приезжают завтра...» — и направился прямо к своему столу. На моих черновиках все еще валялся Лидочкин лифчик. Я аккуратно переложил его на подоконник, собрал листики, разложил их по порядку и сунул в общую тетрадь. Затем я достал новенькую папку для бумаг, вложил туда все, завязал тесемки и, не присаживаясь, написал на обложке чертежным шрифтом «Д. Малянов. К вопросу о взаимодействии звезд с диффузной материей в Галактике». Перечитал, подумал и густо зачеркнул «Д. Малянов». Потом я взял папку под мышку и пошел вон. Ирка все стояла у двери в ванную, прижав телеграмму к груди. Когда я проходил мимо нее, она сделала слабое движение рукой, то ли пытаясь задержать меня, то ли благословить. Я сказал не глядя: «Я к Вечеровскому. Скоро вернусь».

По лестнице я поднимался неторопливо, ступенька за ступенькой, то и дело поправляя папку, съезжавшую у меня из-под мышки. Свет на лестнице почему-то не включили, было сумрачно, и стояла тишина, слышно было только, как плещет вода, стекающая с крыши за открытыми окнами. На площадке шестого этажа, где в нише у мусоропровода целовались давеча те двое, я остановился и посмотрел вниз, во двор. Огромное дерево влажно поблескивало черной листвой, и двор был пуст, и блестящие рябые от дождя лужи.

Я никого не встретил на лестнице, только между седьмым и восьмым этажами сидел, скорчившись на ступеньках, какой-то маленький жалкий человечек, положивши рядом с собою серую старомодную шляпу. Я осторожно обошел его и стал подниматься дальше, и вдруг он сказал:

— Не ходите туда, Дмитрий Алексеевич...

Я остановился и посмотрел на него. Это был Глухов.

— Не ходите туда сейчас, — повторил он. — Не надо.

Он встал, подобрал свою шляпу, с трудом распрямился, держась за поясницу, и я увидел, что лицо у него вымазано чем-то черным — то ли грязью, то ли сажей, — смешные очки перекошены, а маленький рот плотно сжат, словно он терпит сильную боль. Он поправил очки и сказал, едва шевеля губами:

— Еще одна папка. Белая. Еще один флаг капитуляции.

Я молчал. Он слабо похлопал шляпой по колену, словно отряхивая пыль, затем принялся чистить ее рукавом. Он тоже молчал, но не уходил. Я ждал, что он еще скажет.

— Понимаете, — проговорил он наконец, — капитулировать всегда неприятно. В прошлом веке, говорят, даже стрелялись, чтобы не капитулировать. Не потому, что боялись пыток или концлагеря, и не потому, что боялись проговориться под пытками, а просто было стыдно.

— В нашем веке это тоже случалось, — сказал я. — И не так уж редко.

— Да, конечно, — легко согласился он. — Конечно. Ведь человеку очень неприятно осознать, что он совсем не такой, каким всегда раньше себе казался. Он все хочет оставаться таким, каким был всю жизнь, а это невозможно, если капитулируешь. Вот ему и приходится... И все равно разница есть. В нашем веке стреляются потому, что стыдятся перед другими — перед обществом, перед друзьями... А в прошлом веке стрелялись потому, что стыдились перед собой. Понимаете, в наше время почему-то считается, что сам с собой человек всегда договорится. Наверное, это так и есть. Не знаю, в чем здесь дело. Не знаю, что произошло... Может быть, потому что мир стал сложнее? Может быть, потому что теперь кроме таких понятий, как гордость, честь, существует еще множество других вещей, которые могут служить для самоутверждения...

Он выжидательно посмотрел на меня, и я пожал плечами и сказал:

— Не знаю. Может быть.

— Я тоже не знаю, — сказал он. — Казалось бы, опытный капитулянт, сколько времени думаю об этом, только об этом, сколько убедительных доводов перебрал... Вот уж и успокоишься вроде бы, и убедишь себя, и вдруг заново... Конечно, двадцатый век. девятнадцатый век — разница есть. Но раны остаются ранами. Они

заживают, рубцуются, и вроде бы ты о них забыл вовсе, а потом переменится погода, они и зануют. Уж так-то всегда было, во все века.

— Я понимаю, — сказал я. — Я все это понимаю. Но ведь есть раны и раны. Иногда чужие раны больше...

— Ради бога! — прошептал он. — Я ведь совсем не к тому... Я бы никогда не осмелился. Я просто так говорю. Ни в коем случае не подумайте, что я вас отговариваю, что я вам что-то советую... где уж мне... Вы знаете, я все думаю... вот такие, как мы, — что это такое? То ли мы действительно так хорошо воспитаны временем, страной, то ли мы, наоборот, — атавизм, троглодиты? Почему мы так мучаемся? Я не могу разобраться.

Я молчал. Он вялым расслабленным движением нахлобучил свою смешную шляпу и сказал:

— Ну что ж, прощайте, Дмитрий Алексеевич. Мы, наверное, никогда больше с вами не увидимся, но все равно было очень приятно с вами познакомиться... И чай вы отлично умеете заваривать...

Он покивал мне и стал спускаться по лестнице.

— Вы ведь можете лифт вызвать, — сказал я ему в спину.

Он не обернулся и не ответил. Я стоял и слушал, как он шаркает по ступенькам, спускаясь все ниже и ниже, слушал до тех пор, пока глубоко внизу не зашкрипела, распахиваясь, дверь. Затем дверь бухнула и снова стало тихо.

Я поправил папку под мышкой, миновал последнюю площадку и, придерживаясь за перила, одолел последний пролет. У дверей Вечеровского я постоял, прислушиваясь. Кто-то там был. Бубнили голоса. Незнакомые. Наверное, надо было бы вернуться и прийти попозже, но у меня не было сил на это. Надо было кончать. И кончать немедленно.

Я надавил звонок. Голоса продолжали бубнить. Я подождал, снова надавил звонок и не отпускал кнопку до тех пор, пока не послышались шаги и голос Вечеровского спросил:

— Кто там?

Почему-то я даже не удивился, хотя Вечеровский сроду открывал дверь всем на свете, ни о чем не спрашивая. Как я. Как все мои знакомые.

— Это я. Открой.

— Подожди, — отозвался он, и на некоторое время наступила тишина.

Теперь уже и голосов не было слышно, только далеко внизу кто-то грохотал люком мусоропровода. Я вспомнил, что Глухов сказал мне не ходить сюда сейчас. «Не ходите туда, Уормолд. Вас хотят отравить». Откуда это? Что-то страшно знакомое... Ладно, бог с ним. А идти мне больше некуда. И некогда. За дверью снова слышались шаги, щелкнул замок, и дверь распахнулась.

Я невольно отшатнулся и отступил на шаг. Такого Вечеровского я еще не видел никогда.

— Заходи, — сказал он хрипло и посторонился, давая мне дорогу...»

Глава одиннадцатая

21.«...Ты все-таки принес, — сказал Вечеровский.

— Бобка, — сказал я и положил свою папку на край стола.

Он кивнул и грязной рукой размазал сажу на грязной щеке.

— Я этого ждал, — сказал он. — Правда, не так быстро.

— Кто у тебя? — спросил я, понизив голос.

— Никого, — ответил он. — Нас двое. Мы и Вселенная. — Он посмотрел на свои грязные ладони и поморщился. — Извини, я все-таки умоюсь...

Он ушел, а я присел на ручку кресла и огляделся. У комнаты был такой вид, словно здесь взорвался картуз черного пороха. Пятна черной копоти на стене. Тоненькие ниточки копоти, плавающие в воздухе. И какой-то желтый неприятный налет на потолке. И неприятный химический запах, кислый и едкий. Паркет изуродован обугленными вдавливами странной округлой формы. И огромная обугленная вдавлива на подоконнике, словно на нем разводили костер. Да, здорово Вечеровскому досталось.

Я посмотрел на стол. Стол был завален. Посередине была раскрыта одна из огромных редакторских папок Вайнгартена, а другая лежала сбоку с завязанными тесемками. И еще лежала старомодная, сильно потертая папка с крышкой под мрамор, с ярлыком, на котором было напечатано на машинке: «США — ЯПОНИЯ. Культурное воздействие. Материалы». И были разбросаны листки, изрисованные какими-то, как я понял, электронными схемами, и на одном было написано корявым старушечьим почерком: «Губарь 3.3.», а ниже — пе-

чатными буквами: «Феддинги». А с краю лежала моя новенькая белая папка. Я взял ее и положил себе на колено.

Вода в ванной перестала шуметь, и немного погодя Вечеровский позвал:

— Дима, иди сюда. Кофе будем пить.

Однако, когда я пришел на кухню, никакого кофе там не было, а стояла посередине стола бутылка коньяка и два бокала уникальной формы.

Вечеровский успел не только умыться, но и переодеться. Изящный пиджак свой с огромной прожженной дырой под нагрудным карманом и кремовые брюки, измазанные копотью, он сменил на мягкий замшевый домашний костюм. Без галстука. Отмытое лицо его было необычайно бледным, отчего четче обычного проступали многочисленные веснушки, прядь мокрых рыжих волос свисала на огромный шишковатый лоб. И было в его лице еще что-то непривычное, кроме этой бледности. И только приглядевшись, я понял, что брови и ресницы у него сильно опалены. Да, Вечеровскому досталось основательно.

— Для успокоения нервов, — сказал он, разливая коньяк. — Прозит!

Это был «Ахтамар», очень редкий в наших широтах армянский коньяк с легендой. Я отпил глоток и просмаковал. Прекрасный коньяк. Я отпил еще глоток.

— Ты не задаешь вопросов, — сказал Вечеровский, глядя на меня сквозь бокал. — Это, наверное, трудно. Или нет?

— Нет, — сказал я. — У меня нет никаких вопросов. Ни к кому. — Я поставил локоть на свою белую папку. — Ответ — есть. Да и то один-единственный... Слушай, ведь они тебя убьют.

Привычно задрав опаленные брови, он отпил из бокала.

— Не думаю. Промахнутся.

— В конце концов попадут.

— А ля гер ком а ля гер, — возразил он и поднялся. — Ну вот. Теперь, когда нервы успокоены, мы можем выпить кофе и все обсудить.

Я смотрел ему в сутулую спину, как он, шевеля лопатками, ловко орудует своими кофейными причиндалами.

— Мне нечего обсуждать, — сказал я. — У меня — Бобка.

И эти мои собственные слова вдруг словно включили во мне что-то. С того момента, как я прочитал телеграмму, все мысли и чувства были у меня как бы анестезированы, а сейчас вдруг разом разморозились, заработали вовсю — вернулись ужас, стыд, отчаяние, ощущение бессилия, и я с невыносимой ясностью осознал, что вот именно с этого мгновения между мною и Вечеровским навсегда пролегла дымно-огненная непреходимая черта, у которой я остановился на всю жизнь, а Вечеровский пошел дальше, и теперь он пойдет сквозь разрывы, пыль и грязь неведомых мне боев, скроется в ядовито-алом зареве, и мы с ним будем едва здороваться, встретившись случайно на лестнице... А я останусь по сю сторону черты вместе с Вайнгартеном, с Захаром, с Глуховым — попить чаек, или пивко, или водочку, закусывая пивком, толковать об интригах в перемещениях, копить деньжата на «Запорожец» и тоскливо и скучно корпеть над чем-то там плановым... Да и Вайнгартена с Захаром я никогда больше не увижу. Нам нечего будет сказать друг другу, неловко будет встречаться, тошно будет глядеть друг на друга, и придется покупать водку или портвейн, чтобы скрыть неловкость, чтобы не так тошнило... Конечно, останется у меня Ирка, и Бобка будет жив-здоров, но он уже никогда не вырастет таким, каким я хотел бы его вырастить. Потому что теперь у меня не будет права хотеть. Потому что он больше никогда не сможет мной гордиться. Потому что я буду тем самым папой, который «тоже когда-то мог сделать большое открытие, но ради тебя...». Да будь она проклята, та минута, когда всплыли в моей дурацкой башке эти проклятые М-полости!

Вечеровский поставил передо мной чашечку с кофе, а сам уселся напротив и точным изящным движением опрокинул в свой кофе остаток коньяка из бокала.

— Я собираюсь уехать отсюда, — сказал он. — Из института, скорее всего, уйду. Заберусь куда-нибудь подальше, на Памир. Я знаю, там нужны метеорологи на осенне-зимний период.

— А что ты понимаешь в метеорологии? — спросил я тупо, а сам подумал: от ЭТОГО ты ни на каком Памире не укроешься, тебя и на Памире отыщут.

— Дурацкое дело не хитрое, — возразил Вечеровский. — Там никакой особой квалификации не требуется.

— Ну и глупо, — сказал я.

— Что именно? — осведомился Вечеровский.

— Глупая затея, — сказал я. Я не глядел на него. — Кому какая будет польза, если ты из большого математика превратишься в обыкновенного дежурного? Думаешь, они тебя там не найдут? Найдут как миленького!

— И что же ты предлагаешь? — спросил Вечеровский.

— Выброси все это в мусоропровод, — тяжело ворочая языком, сказал я. — И вайнгартеновскую ревертазу, и весь этот «культурный обмен», и это... — Я толкнул к нему свою папку по гладкой поверхности стола. — Все выброси и занимайся своим делом!

Вечеровский молча смотрел на меня сквозь мощные окуляры, помаргивая опаленными ресницами, затем нагнулся на глаза остатки бровей — уставился в свою чашечку.

— Ты же уникальный специалист, — сказал я. — Ты же первый в Европе.

Вечеровский молчал.

— У тебя есть твоя работа! — заорал я, чувствуя, что у меня что-то сжимается в горле. — Работай! Работай, черт тебя подери! Зачем тебе понадобилось связываться с нами?

Вечеровский длинно и громко вздохнул, повернулся ко мне боком и оперся спиной и затылком о стену.

— Значит, ты так и не понял... — проговорил он медленно, и в голосе его звучало необычайное и совершенно неуместное самодовольство и удовлетворение. — Моя работа... — Он, не поворачивая головы, покосился в мою сторону рыжим глазом. — За мою работу они меня лупят уже вторую неделю. Вы здесь совсем ни при чем, бедные мои барашки, котики-песики. Все-таки я умею владеть собой, а?

— Да провались ты, — сказал я и поднялся, чтобы уйти.

— Сядь! — сказал он строго, и я сел.

— Налей в кофе коньяк, — сказал он, и я налил.

— Пей, — сказал он, и я осушил чашечку, не чувствуя никакого вкуса.

— Пижон, — сказал я. — Есть в тебе что-то от Вайнгартена.

— Есть, — согласился он. — И не только от Вайнгартена. От тебя, от Захара, от Глухова... Больше всего — от Глухова. — Он осторожно налил себе еще кофе. — Боль-

ше всего — от Глухова, — повторял он. — Жажда спокойной жизни, жажда безответственности... Станем травой и кустами, станем водой и цветами... Я тебя, вероятно, раздражаю?

— Да, — сказал я.

Он кивнул.

— Это естественно. Но тут ничего не поделаешь. Я хочу все-таки объяснить тебе, что происходит. Ты, кажется, вообразил, что я собираюсь с голыми руками идти против танка. Ничего подобного. Мы имеем дело с законом природы. Воевать против законов природы — глупо. А капитулировать перед законом природы — стыдно. В конечном счете — тоже глупо. Законы природы надо изучать и, изучив, использовать. Вот, по-моему единственно возможный подход. Этим я и собираюсь заняться.

— Не понимаю, — сказал я.

— Сейчас поймешь. До нас этот закон не проявлялся никак. Точнее, мы ничего об этом не слышали. Хотя, может быть, не случайно Ньютон впал в толкование Апокалипсиса, а Архимеда зарубил пьяный солдат... Но это, разумеется, домыслы... Беда в том, что этот закон проявляется единственным образом — через невыносимое давление. Через давление, опасное для психики и даже для самой жизни. Но тут уж, к сожалению, ничего не поделаешь. В конце концов, это не так уж уникально в истории науки. Примерно то же самое было с изучением радиоактивности, грозовых разрядов, с учением о множественности обитаемых миров... Может быть, со временем мы научимся отводить это давление в безопасные области, а может быть, даже использовать в своих целях... Но сейчас ничего не поделаешь, приходится рисковать — опять же, не в первый и не в последний раз в истории науки. Я хотел бы, чтобы ты это понял: что, по сути, ничего принципиально нового и необычайного в этой ситуации нет.

— Зачем мне это понимать? — спросил я, угрюмо глядя на него.

— Не знаю. Может быть, тебе станет легче. И потом, я еще хотел бы, чтобы ты понял: это не на один день и даже не на один год. Я думаю, даже не на одно столетие. Торопиться некуда. — Он усмехнулся. — Впереди еще миллиард лет. Но начинать можно и нужно уже сейчас. А тебе... ну что ж, что ж, тебе придется подождать. Пока Бобка перестанет быть ребенком. Пока ты привык-

нешь к этой идее. Десять лет, двадцать лет — роли не играет.

— Еще как играет, — сказал я, чувствуя на лице своем отвратительную кривую усмешку. — Через десять лет я стану ни на что не годен. А через двадцать лет мне будет на все наплевать.

Он ничего не сказал, пожал плечами и принялся набивать трубку. Мы молчали.

Да, конечно, он хотел мне помочь. Нарисовать какую-то перспективу, доказать, что я не такой уж трус, а он — никакой не герой. Что мы просто два ученых и нам предложена тема, только по объективным обстоятельствам он может сейчас заняться этой темой, а я — нет. Но легко мне не стало. Потому что он уедет на Памир и будет там возиться с вайнгартеновской ревертазой, с Захаровыми федингами, со своей заумной математикой и со всем прочим, а в него будут лупить шаровыми молниями, насылать на него привидения, приводить к нему обмороженных альпинистов, в особенности альпинисток, обрушивать на него лавины, коверкать вокруг него пространство и время, и в конце концов они таки ухайдакают его там. Или не ухайдакают.

И, может быть, он установит закономерности появления шаровых молний и нашествий обмороженных альпинисток... А может быть, вообще ничего этого не будет, а будет он тихо корпеть над нашими каракулями и искать, где, в какой точке пересекаются выводы из теории М-полостей и выводы из количественного анализа культурного влияния США на Японию, и это, наверно, будет очень странная точка пересечения, и вполне возможно, что в этой точке он обнаружит ключик к пониманию всей этой зловещей механики, а может быть, и ключик к управлению ею... А я останусь дома, встречу завтра Бобку с тещей, и мы все вместе пойдем покупать книжные полки.

— Угробят они тебя там, — сказал я безнадежно.

— Не обязательно угробят, — сказал он. — И потом, ведь я там буду не один... и не только там... и не только я...

Мы смотрели друг другу в глаза, и за толстыми стеклами очков его не было ни напряжения, ни натужного бесстрашия, ни пылающего самоотречения — одно только рыжее спокойствие и рыжая уверенность в том, что все должно быть именно так и только так.

И он ничего не говорил больше, но мне казалось, что

он говорит. Торопиться некуда, говорит он. До конца света еще миллиард лет, говорит он. Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать, понимать и не сдаваться. И еще мне казалось, что он говорит: «Он умел бумагу мариать под треск свечи! Ему было за что умирать у Черной речки...» И раздавалось у меня в мозгу его удовлетворенное уханье, словно уханье уэллсовского марсианина.

И я опустил глаза. Я сидел скорчившись, прижимая к животу обеими руками свою белую папку, и повторял про себя — в десятый раз, в двадцатый раз повторял про себя: «...с тех пор все тянутся передо мной глухие кривые окольные тропы...»

1974 г.

Повесть о дружбе и недружбе

маленькая повесть



Ровно в девятнадцать ноль-ноль тридцать первого декабря прошлого года Андрей Т. лежал в постели и с покорной горечью размышлял о прошлом, настоящем и будущем. Как легко подсчитать, до Нового года оставалось всего пять часов, но никаких радостей это обстоятельство Андрею Т. не сулило, ибо он не просто лежал (смешно думать, что ему вдруг захотелось в последние часы Старого года повалиться под одеялом), а соблюдал постельный режим: горло его было завязано и болело.

Андрей Т. лежал в постели и с покорной горечью раздумывал о том, какой он все-таки невезучий человек. Весь его огромный опыт, накопленный за четырнадцать лет жизни, свидетельствовал об этом с прямо-таки болезненной несомненностью.

Например, стоило человеку по какой-либо причине (пусть даже неуважительной, не в этом дело) не выучить географии, как его неумолимо вызывали отвечать — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Стоило человеку забраться в стол к старшему брату-студенту (совершенно случайно, ничего дурного не имея в виду), как там оказывалась наводящая изумление японская электронная машинка, которая тут же незамедлительно выскакивала из рук и с треском падала на пол. Опять же с вытекающими последствиями. Стоило человеку проесть с трудом обретенный рубль на мороженом (сливочный, шоколадный и фруктовый шарик в соответствующем сиропе), как буквально в двух шагах от кафе обнаруживался книгоноша, распродающий последние экземпляры «Зарубежного детектива».

Да, удачи не было. Удача кончилась три года назад, когда человеку подарили ко дню рождения лотерейный билет и он выиграл на этот билет будильник.

Однако даже невезенье должно иметь какие-то пределы. Заболеть ангиной за несколько часов до Нового года — это уже не просто невезенье. Это уже судьба. Рок.

Закон бутерброда, сказал папа. Очень может быть. Папа нередко высказывает вполне здравые мысли. Насчет закона бутерброда он впервые высказался еще на заре времен, года три назад. Андрей Т. решил тогда, что бутерброд в данном случае является именем крупного немецкого ученого и пишется через

два «т». Он даже вписал этого Буттерброда в кроссворд вместо Гайзенберга, чем повергнул старшего брата в неопишное и оскорбительное веселье. Много воды утекло с тех пор и много буттербродов вывалилось из рук на пол, на тротуар и просто на сырую землю, прежде чем Великий Закон утвердился в сознании Андрея Т. во всей своей непреклонной определенности: буттерброд всегда падает маслом (ветчиной, сыром, вареньем) вниз, и нет от этого спасенья.

Нет от этого спасенья.

Если человек дал Милке Пономаревой списать контрольную, человеку ставят «банан» за то, что он списал контрольную у Милки.

Если человек тихо и никому не мешая пристроился к телевизору насладиться одним из семнадцати мгновений весны, человека поднимают, напяливают на него смиренный парадный костюм и ведут на именины к бабушке Варе, которая не держит телевизора из принципа.

И уж если человек, изнемогший от географии и литературы, взлелеял в душе чистую мечту провести праздник Нового года и заслуженные каникулы в Грибановской караулке — все, пиши пропало, человека поражает фолликулярная ангина, и пусть он еще спасибо скажет, что это не чума, не проказа и не стригущий лишай...

В девятнадцать ноль пять с целью выяснить, не изменилось ли положение к лучшему, Андрей Т. произвел экспериментальный глоток всухую. Положение не изменилось, горло болело. Зря, выходит, поедал он отвратительные горькие порошки, полоскал многострадальные голосовые связки мерзкими растворами, терпел на шее колючую шерстяную повязку. Может быть, маме следовало послушаться бабушку Варю и обложить шею очищенными селедками? В глубине души Андрей Т. знал, что и эта крайняя и варварская мера не привела бы ни к чему. Пропала новогодняя ночь, пропали каникулы, пропало все то, ради чего он жил и работал последний месяц второй четверти. Сознать это было столь невыносимо, что Андрей Т. повернулся на спину и разрешил себе испустить негромкий стон. Это был стон мужественного человека, попавшего в западню. Стон обреченного звездолетчика, падающего в своем разбитом корабле в черные пучины пространств, откуда не возвращаются. Словом, это был душераздирающий стон.

А папа и мама находились уже, вероятно, на месте, в окрестностях Грибановской караулки, где так удивитель-

но отсвечивают в отблесках костра пушистые сугробы, где отягощенные снегом лапы огромных елей и сосен отбрасывают таинственные тени, где можно рыть тоннели в снегу, носиться по лесу, издавая воинственные кличи, а потом, забравшись на печку, слушать смех и споры взрослых и песни старшего брата-студента под гитару...

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что скоропостижная ангина у Андрея Т. едва не нарушила эту традиционную семейную вылазку. Попервоначально мама решительно высказалась в том смысле, что раз так, то она, мама, останется с Андрюшенькой и ни в какую Грибановскую караулку не поедет. Сейчас же, не желая уступать ей в великодушии, в том же смысле высказался и папа. И даже брат-студент, совершенно лишенный родственных чувств, особенно когда это касалось малокалиберной винтовки, двенадцатикратного бинокля и упоминавшейся уже японской вычислительной машинки, и тот вызвался провести новогоднюю ночь «у скорбного одра», как он выразился, имея в виду, вероятно, постель больного. Положение спас дедушка. Узнав в последнюю минуту о неприятности, он явился и выгнал всех из дому, после чего подмигнул Андрею Т. и устроился в соседней комнате шелестеть газетами и мурлыкать под нос «Ой на горах тай жнецы жнут...». Авторитетный человек дедушка, подполковник в отставке и депутат, но многого не понимает.

В девятнадцать ноль восемь Андрей Т. произвел второй экспериментальный глоток всухую. Положение осталось прежним. Тогда Андрей Т. спустил ноги с кровати, нашарил тапочки и потащился в ванную полоскать предательское горло раствором календулы в теплой воде. Задрав голову и уставив в потолок бессмысленный взгляд, клокоча и булькая, он продолжал размышлять. Собственно, что такое мужество? Мужество — это когда человек не сдаётся. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Когда у человека ангина, бороться и искать невозможно и остается одно: не сдаваться. Например, можно послушать приемник. Можно тщательно и со вкусом перелистать альбом с марками. Есть новенький сборник научной фантастики. Есть старенький томик «Трех мушкетеров». На худой конец есть кот Мурзила, которого давно пора потренировать на вратаря. Нет, мужественный человек, даже больной до беспомощности, всегда найдет себе применение. Кстати, дедушка до сих пор не обучен играть в «балду».

Мир немного посветлел. Андрей Т. поставил пустой стакан на полку и вышел в прихожую. А выйдя в прихожую, он увидел на столике под зеркалом телефон. А увидев телефон, он остановился как громом пораженный. Просто непостижимо, что такая простая вещь не пришла ему в голову раньше. Старый верный друг Генка — вот кто ему нужен! Конечно, он тоже ничем не поможет, но с ним можно говорить как равный с равным, сдержанно-мужественно посетовать на судьбу и услышать в ответ сдержанно-мужественные слова утешения и участия. Андрей Т. схватил трубку и набрал номер.

Подошел сам Генка-Абрикос, шумно выразил радость и спросил, как там у них в Грибановской караулке. Андрей Т. ответил, что ни в какой он не в Грибановской караулке, а дома, и сдержанно-мужественным голосом поведал другу о своей фолликулярной ангине и о своем одиночестве. После этого Генка-Абрикос тридцать секунд молчал, соображая, и вдруг сказал:

— Не тушуйся, старик. Не пропадем. Ровно в девять буду у тебя. Погоняем в автодром и вообще.

У Андрея Т. на миг даже сперло дыхание.

— Что? — спросил он растерянно.

— Жди меня ровно в девять, — сдержанно-мужественным тоном произнес друг Генка по прозвищу Абрикос. — Привет.

И в трубке запищали короткие гудки.

Мир не просто посветлел. Мир засиял. Андрей Т. представил себе, как Генка вваливается в эту вот дверь — огромный, толстощекий, с автодромом под мышкой и пахнувший праздничными мандаринами и морозом, и как он бубнит, раздеваясь: «Не отпускали нипочем, а я им говорю: а ну вас к лешему совсем, говорю, там Андрюха лежит бездыханный, а вы меня держите...» Да. Генка. Верный друг. Абрикос. Андрей Т. осторожно передохнул, положил трубку и помигал, потому что у него подозрительно защипало глаза. Друг. Да.

Он вернулся в постель и забрался под одеяло. Собственно, особенно удивляться или умиляться здесь нечего. Настоящая мужская дружба превыше всего. Сам Андрей Т. тоже не колебался бы ни минуты, а уж Генка и подавно. Он ведь человек действия, Генка-Абрикос, он идет на помощь другу, не задумываясь. Как-то весенним вечером компания недорезанных басмачей из соседней школы окружила Андрея на темной окраине парка Победы и после краткого выяснения, кто есть кто, принялась

не больно, но унизительно лупить его сумками со спортивным барахлом. И тут появился Генка-Абрикос. Он ворвался в круг, разя направо и налево своими чудовищными граблями, и противник пришел в замешательство. Правда, в конце концов обработали их обоих основательно, но отступили они хоть и в беспорядке, однако с честью. Такое не забывается...

И Андрей Т. весело крикнул:

— Дедушка! Иди сюда, мне одному скучно!..

Было девятнадцать часов двадцать одна минута.

В двадцать сорок семь, когда Андрей Т., рассеянно вертя в пальцах плененную ладью, раздумывал над очередным ходом, дедушка в кресле расслабился, поник седой головой и негромко захрапел. Андрей Т. поглядел на него, откинулся на подушки и стал ждать. Несомненно, Генка-Абрикос должен был явиться с минуты на минуту.

В двадцать один тридцать четыре Андрей Т. поднялся и на цыпочках направился в ванную. Друга Генки все еще не было. Покончив с раствором календулы, Андрей Т. в задумчивости поглядел на телефон, но сдержался и снова вернулся в постель. «Мало ли что...» — туманно подумалось ему.

В двадцать один пятьдесят три Андрей Т. отшвырнул сборник научной фантастики и сел, обхватив колени руками. Дедушка спал в кресле напротив, закинув голову и явственно похрапывая. Кот Мурзила в позе Багиры, Черной Пантеры, предавался дреме на бездействующем телевизоре. На табуретке возле кровати безмолвствовал Андреев любимец и мученик, радиоприемник второго класса «Спидола» — он же Спиха, он же Спиридон, он же Спидлец этакий, в зависимости от состояния эфира и настроения. А Геннадий М. по прозвищу Абрикос так и не пришел.

Андрей Т. мрачно нахмурился. Ему было неудобно, неприятно, тревожно. Саднило горло. Свет в комнате то притухал, то разгорался до ослепительного блеска. Чтобы рассеяться, Андрей взял Спиху и повернул верньер до щелчка. Зашуршала несущая частота, пробилась какая-то неясная музыка. И вдруг послышался знакомый голос. Явственный, хотя и слегка придушенный голос Генки-Абрикоса отчетливо произнес:

— Андрюха... Андрюха... Ты меня слышишь?.. Андрюха... Пропадаю, старик... На помощь...

Андрей Т. распрямился, как стальная пружина. Он в

смятении огляделся. Он затряс головой. Он сделал глоток всухую и не почувствовал боли. Сомнений не было. Шуршала несущая частота, и Спидлец монотонно раз за разом повторял голосом Генки-Абрикоса:

— Ты меня слышишь?.. Андрюха... Андрюха... На помощь, старик, пропадаю... Андрюха... Ты меня слышишь?..

Не надо скрывать: Андрей Т. растерялся. Да и кто бы не растерялся на его месте? Каким это таким образом Генку-Абрикоса вдруг занесло в мировой эфир? Что с ним случилось? Где он находится? Не сводя глаз со шкалы диапазонов, Андрей Т. робко осведомился:

— Генка, ты где?

Спиридон все продолжал взывать к нему о помощи голосом Генки-Абрикоса, но тут что-то произошло со шкалой диапазонов. Она озарилась зеленоватым мерцающим сиянием и превратилась в дисплей, как на японской вычислительной машинке старшего брата, а по дисплею побежали справа налево светящиеся слова. Андрей читал, обмирая: **ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ НЕОБХОДИМО УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ ХОД НА КУХНЕ У ХОЛОДИЛЬНИКА ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ НЕОБХОДИМО УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ ХОД НА КУХНЕ У ХОЛОДИЛЬНИКА ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СПАСТИ...**

Дзынь! Все исчезло, погасли бегущие слова, шкала снова стала шкалой, и монотонный голос Генки-Абрикоса оборвался на полуслове.

— Так! — громко произнес Андрей Т. — Вот оно, значит, что!

Собственно, он по-прежнему понимал мало. Ясно было только, что старый верный друг Генка попал в какую-то непостижимую беду, что поспеть к нему на помощь требуется до полуночи и... Что это там было насчет какого-то хода у холодильника? Никакого хода у холодильника нет, а есть там по сторонам холодильника два белых кухонных шкафчика. И если даже ход этот есть, то вести он должен в лучшем случае прямо в морозное вечернее пространство на высоте пятого этажа. Да, было о чем подумать и было что взвесить, и Андрей Т. принялся обдумывать и взвешивать, как вдруг Спиха тихонько, но необыкновенно явственно сыграл начальные такты старой славной песенки:

К другу на помощь! Вызволить друга
Из кабалы и тюрьмы!..

И Андрея Т. мгновенно бросило в жар. Генка-Абрикос не обдумывал и не взвешивал тогда весной в темных аллеях парка Победы. Не обдумывал и не взвешивал, когда узнал о фолликулярной ангине и одиночестве два часа назад... Андрей Т. взглянул на светящийся циферблат над головой. Черные стрелки показывали двадцать два часа одиннадцать минут. Андрей Т. огляделся. Дедушка мирно похрапывал в своем кресле, покойно сложив на животе руки. Кот Мурзила на телевизоре, не поднимая головы, медленно распахнул свои глазища, сверкнувшие зеленым. Андрей Т. решительно спустил ноги с кровати.

Стараясь двигаться по возможности бесшумно, он облачился в тренировочный костюм, весьма кстати висевший тут же на спинке стула, и пробрался в прихожую. Несомненно, предстояла экспедиция, и подготовиться следовало тщательно. Андрей Т. натянул шерстяные носки и обулся в зимние ботинки. Затем он надел лыжную куртку, застегнул «молнию» до повязки на горле и подхватил в качестве оружия складной металлический штатив для фотоаппарата, тяжелый и прикладистый, как дубина былинного витязя. Прикидывая боевой штатив в правой руке, он не без удивления обнаружил в левой любимую «Спидолу». Это было довольно странно: откуда взялся приемник в левой руке, которой он только что застегивал «молнию»? И коли уж на то пошло, откуда здесь взялся этот штатив? Это же не наш штатив, у нас нет штатива, у нас никогда не было никакого штатива... Но времени удивляться и размышлять не было, настала минута действия. Двадцать первая минута одиннадцатого.

Ход у холодильника Андрей Т. увидел прямо с порога кухни. Оказывается, кухонный шкафчик справа от холодильника примыкал к нему не вплотную, а отстоял от него сантиметров на сорок, и в стене между ними красовалась прямоугольная зияющая дыра в рост невысокого человека. И дыра эта являла вид настолько непривлекательный, что Андрей Т. в нерешительности остановился. Ему представились скользкие выщербленные ступени, ведущие в зловонное подземелье, ржавые крючья в стенах, норовящие угодить в глаз, и еще какие-то серые, мохнатые, копошащиеся, с горящими красноватыми глазками...

Андрей Т. никогда не был трусом. Просто иногда он ратовал за разумную осторожность. Вот и сейчас он отчетливо понял, что минута действия временно прекра-

тила течение свое и уступила место минуте здравого смысла. Перед нами как будто подземелье? Отлично. В таком случае, не следует ли заняться сначала изготовлением смоляного факела? Не следует ли сменить зимние ботинки на болотные, скажем, сапоги? И вообще, не пора ли вовлечь в события дедушку, боевого офицера, имеющего, кстати, опыт преследования врага в тоннелях берлинского метро? Или еще лучше — позвонить замечательному человеку, классному руководителю Константину Павловичу, бывшему танкисту и кавалеру ордена Славы...

Известно, что есть лишь один способ делать дело и множество способов от дела уклоняться, так что трудно сказать, как бы все обернулось в дальнейшем, но тут Спиха, Спидлец этакий, вновь тихонько проиграл начальные такты славной мушкетерской песенки. И Андрея Т. вновь бросило в жар. С пронзительной откровенностью признался он самому себе, что и сапоги болотные резиновые, и факелы смоляные коптящие, и всякие иные причиндалы, могущие еще прийти ему в голову, есть не что иное, как чушь несусветная и отговорки. Что стыдно ему, здоровенному (пусть даже и слегка больному) парню прятаться за спину ветеранов Великой Войны. И что вообще топтаться без толку между холодильником и кухонным шкафчиком в то время, как друг Генка погибает и ждет помощи, попросту постыдно. И он ринулся вперед и нырнул в зияющую дыру.

Он был приятно разочарован. Не оказалось там ни осклизлых ступеней, ни ржавых крючьев, ни снующих крыс. Оказался там длинный коридор казенного вида, тускло освещенный пыльными лампами под жестяными абажурами с отбитой эмалью. Пахло канцелярией, на оштукатуренных стенах мотались под сквозняком прищипленные бумажки с выцветшими машинописными текстами. Бросался в глаза странный призыв: «Тов. пенсионеры! Просьба не курить, не сорить и не шуметь!» Справа и слева вдоль коридора тянулись ряды обшарпанных дверей с темными пятнами возле ручек, и каждую дверь украшала надпись, как правило грозная и в повелительном наклонении: «Не стучать!», «Не зевать по сторонам!», «Не сметь!» и даже «Миновать быстро и не оглядываться!»

Андрей Т. шел медленно, машинально читая надписи и думал, за какой дверью надо искать Генку, и вдруг ему пришло в голову, что ведь совершенно непонятно, куда

ведет этот коридор, — по всем расчетам он должен был с самого начала пронизать стену дома, пройти над улицей и вонзиться в балконы кинотеатра «Космос». Озадаченный этой мыслью, он даже остановился и тут же обнаружил, что коридор кончился. Впереди был тупик, и в тупике были две двери — последние. Надпись на левой двери гласила с вызовом: «Для смелых». Надпись на правой двери снисходительно ухмылялась: «Для не очень».

Андрей Т. сдвинул брови и погрузился в самоанализ.

Скромность требовала признать, что со смелостью у нас обстоит не так чтобы очень. Правда, в первой четверти Андрей Т. взобрался по пожарной лестнице до пятого этажа. Но по возвращении на твердую почву у него так тряслись руки и ноги, что взыскательные наблюдатели это заметили, и пришлось соврать, будто на него напал приступ застарелой болезни Паркинсона (за многими делами он так и не удосужился выяснить, есть ли такая болезнь на самом деле, и если есть, то болеют ли ею люди). Словом, скромность утверждала, что избрать следует правую дверь, и Андрей Т. послушался. Он решительно отворил дверь с надписью «Для не очень».

Так. За дверью была знакомая комната. В знакомом кресле похрапывал знакомый дедушка, на знакомом телевизоре жмурился знакомый кот, со знакомой кровати свешивалось знакомое одеяло.

Андрей Т. решительно закрыл дверь. Скромность, конечно, скромностью, но не такой же ценой! Впрочем, не беда, ничего не потеряно. И в конце концов, избрав сначала правую дверь, он поступил по крайней мере честно, а как известно, «честность — это больше чем смелость, это мужество!» (из запоздалой речи бабушки Вари по поводу сокрытия двойки по поведению за совершение некоего смелого поступка на уроке по рисованию). Что ж, придется быть не только честным, но и смелым, вот и все. Андрей Т. перешел к левой двери; стиснул зубы покрепче и толчком отворил ее.

Ничего особенного. Открылся тоннель с кирпичными стенами, низкий, сыроватый, но вполне опрятный и тихий. Цементный пол, на полу виднеются следы, оставшиеся, видимо, еще с тех времен, когда цемент не схватился. Гм. Странные следы. Не Генкины. Гм. Похоже, здесь проходила лошадь. Копыта. Гм.

Андрей Т. продвигался по тоннелю с некоторой опаской, стараясь жаться к стенам, подальше от странных

следов. Он был готов ко всему, но ничего пока не происходило. Мало-помалу он приободрился, он уже и вправду ощущал себя не только мужественным, но и смелым. Спиридон, кажется, тоже пришел в хорошее настроение. Во всяком случае, он принялся напевать вполголоса: «Наши жены — пушки заряжены, вот кто наши жены...»

Внезапно стены тоннеля раздалились, вспыхнул яркий свет множества ламп дневного света, засверкал и заискрился белый и черный кафель. Андрей Т. остановился и зажмурил глаза от слепящего блеска. Когда же он разжмурился, то увидел, что стоит на самом краю плавательного бассейна.

Да, это был самый обыкновенный плавательный бассейн, точно такой же, в каком Андрей Т. некогда сдавал нормы ГТО, выложенный кафелем, шириною метров в десять и метров пятьдесят в длину.

Ясно было, что дальнейший путь к бедствующему Генке-Абрикосу лежит на противоположной стороне бассейна через широкий дверной проем, темнеющий за легкой пеленой струйчатого пара. Ясно было также, что обойти бассейн невозможно, потому что кромка пола между его боковыми краями и стенами по-дурацки узкая и вдобавок наклонена градусов этак на сорок пять, с альпинистскими шипами не удержишься. «Придется вплавь или вброд», — подумал с неудовольствием Андрей Т. и тут только обнаружил, что в бассейне нет ни капли воды.

Это было как нельзя более кстати. Пожалуй, даже слишком. Если судьба бросает под ноги заведомо смелому человеку сухие бассейны, то надлежит смотреть в оба. Андрей Т. посмотрел в оба, и то, что он увидел, очень ему не понравилось. По всему пространству бассейна на чистом сухом кафеле были разбросаны какие-то заскорузлые тряпки и иные предметы столь же неопрятной сущности. Андрей Т. разглядел продранный шерстяной носок, старую футболку с номером, обтрепанные брюки, вывернутый наизнанку тулуп, ржавый велосипедный насос и череп. При виде черепа сердце Андрея Т. подскочило к горлу. Генкин! Но он тут же вздохнул с облегчением: череп был коровий, из их школьного зоологического кабинета.

Несколько секунд Андрей Т. колебался, хотя отлично понимал, что бассейна этого ему не миновать. Он поднял глаза. Черные стрелки на светящемся циферблате пока-

зывали двадцать два часа тридцать семь минут. Время поджимало. Андрей Т. поколебался еще три секунды и решительно прыгнул на кафельное дно.

Оказавшись в бассейне, он торопливо зашагал к противоположному краю, который вдруг словно бы отодвинулся куда-то в невероятную даль. Сначала он шагал просто торопливо, потом зашагал быстро, потом очень быстро и наконец пустился бегом во все лопатки.

Нет, не зря коварная судьба устроила этот бассейн на его пути! И подозрительные тряпки с черепами оказались в этом бассейне, надо думать, не случайно! Не успел Андрей Т. пробежать и половины расстояния до края, как в уши его ударил глухой клокочущий рев. Со всех четырех сторон сразу из каких-то невидимых труб хлынули в бассейн свирепые потоки мутной вспененной воды, исходящей паром как бы от сдерживаемого бешенства.

Отступать было бессмысленно, это Андрей Т. понял сразу. Оставалось наступать. И, вспомнив свои былые успехи на стометровке, он рванул вперед с таким рвением, как будто твердо поставил себе перекрыть все олимпийские рекорды Валерия Борзова. Возможно даже, что он и перекрыл бы эти рекорды, но он не успел. Мутные волны набросились на него, ударили по ногам и окатили с головой.

— Ай-яй-яй-яй-я-а-ай! — взвыл в ужасе Спиха латиноамериканским голосом.

— Вр-р-решь! — прорычал Андрей Т.

Мутные пенистые валы тщились опрокинуть и утопить его, но он неудержимо рвался вперед, похожий теперь уже не на Валерия Борзова, а на скоростной скутер, идущий на редане.

Потом дно ушло у него из-под ног, он бросил на произвол судьбы боевой штатив, поднял Спиридона выше над головой и поплыл. Он отчаянно работал ногами и отчаянно загребал правой рукой, он ничего не видел сквозь бурлящую пену и клубящийся пар, в ушах стоял рев волн, прорезаемый отчаянным свистом Спиридона, а он все загребал правой и отработывал ногами, загребал и отработывал, загребал и отработывал целую вечность, пока не врезался в противоположную стенку бассейна с такой силой, что загудело во всем теле от травмированной макушки до самых пяток.

Через минуту он стоял наверху, на сухом полу, выложенном черным и белым кафелем. Он стоял и пошатывался от пережитых волнений, с него текло, он все еще

держал своего Спиридона высоко над головой и с тупым интересом смотрел, как вода в бассейне, по-прежнему пенясь и исходя паром, всплескивается, закручивается в воронки и со скворчанием уходит в невидимые трубы. И вот уже обнажилось дно, и снова появилось на свет неопрятное тряпье вперемежку с ржавым хламом, только теперь среди всех этих старых штанов и костей сиротливо блеснул под лампами дневного света боевой штатив для фотоаппарата.

— Всего не спасешь, верно? — произнес незнакомый голос.

Тут только Андрей Т. обнаружил рядом с собой некоего дядю. Был этот дядя в комбинезоне с ляжками на голое загорелое тело, отличался изрядным ростом и чем-то очень напоминал соседа по лестничной площадке по прозвищу Конь Кобылыч. Голос у него был низкий и приятный, и смотрел он на Андрея Т. ласково и приветливо.

— Хорошо еще, что сам жив остался, — продолжал он. — А ну, раздевайся, давай обсушимся, да и подзаправиться не мешает...

Он в два счета освободил Андрея от мокрой одежды, быстро и ловко развесил все на горячих трубах парового отопления и набросил Андрею на голые плечи огромное теплое мохнатое полотенце.

— Смелчак, смелчак... — приговаривал он при этом. — Если можно так выразиться, рыцарь без страха и упрека... Молодец, ничего не скажешь...

Он усадил Андрея за уютный столик у стены, быстро и ловко выставил на скатерть большой кипящий чайник, пузатый заварочный чайник и цветастую чашку с блюдцем, затем присел к столику и сам.

— В здешних палестинах так нельзя, — говорил он с ласковой укоризною. — Здесь головой надобно работать, головой. А вы все ногами норовите, ногами. Вот и хватили шилом патоки. Не-ет, не зная броду, не суйся в воду. А то ведь дурная голова покоя ногам не даст, нипочем не даст. Уж поверьте мне, кривой-то дорожкой ближе напрямик.

Андрей Т. слушал и давался диву, а между тем уже отхлебывал из цветастой чашки крепкий чай с молоком и поедал нечто белое, пухлое, очень вкусное, в обычной жизни почти не бывающее, надо полагать — калач.

— Вы, мой огурчик, вступили в дело опасное и безнадежное, — продолжал новоявленный Конь Кобылыч. —

Вы и понятия не имеете, куда вас несет. Вот миновали вы воду. Хорошо. Даже превосходно. А огонь? А медные трубы? Об этом вы подумали, луковка моя сахарная? Положим, что вам своей головы не жаль. Ну, а о маме вы подумали? Подумали о мамочке о своей? Не подумали. По глазам вижу, что не подумали, капуста вы моя белокочанная! А об отце?

Все тот же огромный четырнадцатилетний опыт подсказывал Андрею, что подобные аргументы старших следует переносить молча и с наивозможно виноватым видом. Тем не менее Андрей Т. поставил чашку и произнес с достоинством:

— Собственно, я ведь...

— Не подумали! — гаркнул Конь Кобылыч и подлил ему горячего из чайника и молочника. — Об отце вы тоже не подумали!

— Но ведь Генка...

Конь Кобылыч воздел руки над головой.

— Ну, разумеется — Генка! — с горестной усмешкой воскликнул он. — Генка — прежде всего! Юбер аллес, если можно так выразиться. А мать пусть рвет на себе волосы и валяется в беспамятстве! А отец пусть скрипит зубами от горя и слепнет от скупых мужских слез! Пусть! Главное, конечно, — это Генка!

Тут Спиридон, стоявший до того тихонько на краю стола, внезапно запел:

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг,
А так...

Конь Кобылыч протянул руку, щелкнул верньером и поставил Спиридона под стол.

— Генка — только о нем мы и думаем днем и ночью, — горестно продолжал он. — Для него мы совершаем геройские подвиги вместо того, чтобы лишний раз взять в руки учебник по литературе. Дурака Генку спасти — вот это подвиг и ура, это не то что постараться на твердую четверку по литературе выползти... Как же — Генка!

Андрей Т. насупился. Конь Кобылыч при всем своем гостеприимстве и прочих приятных качествах был пустой болтун и больше ничего. Андрея так и подмывало вернуться к нему спиной и засвистеть маршик из «Моста через реку Квай». Все, что он говорил о родителях и о Генке, было глупо и несправедливо. Есть вещи, которые

нельзя не делать несмотря ни на что. Например, люди идут сражаться за Родину. Или погибают, спасая женщин и детей. Или летят в Космос. Да мало ли еще? И нечего приплетать сюда родителей и тем более тройки по литературе. И нечего выключать Спиридона.

Андрей Т. решительно отодвинул чашку и встал.

— Спасибо, — сказал он. — Мне пора.

Конь Кобылыч приятно улыбнулся.

— Подкрепились? — осведомился он умильно.

— Подкрепился. Спасибо, — отвечивал Андрей Т.

— Пообсохли?

— Пообсох. Спасибо.

— Самочувствие нормальное?

— Нормальное.

— Ну, будем одеваться, когда так.

Андрей Т. принялся одеваться. Ему хотелось поскорее уйти, и ему была неприятна близость Коня Кобылыча, а тот вертелся вокруг и помогал натягивать, зашнуровывать, застегивать и одергивать. Когда они застегнули последнюю «молнию» (на лыжной куртке, до повязки на горле), он отступил на шаг, любовался и сказал:

— Вот и ладненько. А теперь домой, к мамочке.

«Фиг тебе — к мамочке!» — злорадно подумал Андрей Т. Он достал из-под стола Спиридона и взглянул на светящийся циферблат на стене. Двадцать три ноль три.

— До свидания, — сказал он и направился к дверному проему.

— Куда же вы? — вскричал Конь Кобылыч. — Вам не туда! Вам обратно!

— Туда, туда, — успокоительно сказал ему Андрей Т., не останавливаясь. — Туда и не мимо!

— А как же мама? — вопил вслед Конь Кобылыч. — А медные трубы? Вы забыли про медные трубы!

Но Андрей Т. больше не откликнулся. Он на ходу повернул верньер до щелчка, и Спидлец немедленно взвыл: «Мы с милым расставались, клялись в любви своей...»

Сразу за порогом широкого дверного проема оказался тускло освещенный зал с зеркальным паркетом и с воздухом столь необыкновенно сложного состава, что уже на двадцати шагах ничего нельзя было различить за какой-то бесцветной дымкой. Однако сразу с порога же имела место уходящая по паркету дорожка черного дерева, и Андрей Т. понял, что опасность заблудиться ему не грозит. Он решительно зашагал по черным полированным

квадратикам, стараясь отогнать расслабляющие воспоминания о своем подвиге в бассейне и о сладком чае с молоком и калачом. Он полагал, что главные испытания еще впереди и к ним нужно быть морально готовым. Вскоре он достиг своего: слова Коня Кобылыча о медных трубах (а кстати и об огне), вначале с пренебрежением забытые им, не шли больше у него из головы.

И вот в ту самую минуту, когда зловещие слова эти пустили особенно прочные корни в сознании Андрея, черная дорожка под его ногами вдруг раздвоилась. Две совершенно одинаковые черные дорожки поуже уходили в бесцветную дымку вправо и влево под углом в две трети «пи». Причем поперек правой дорожки было большими белыми буквами написано «Для умных», а поперек левой — «Для не слишком».

Заложив руки со Спиридоном за спину, Андрей Т. стоял на распутье, и горькая мудрая усмешка стыла на его хорошо очерченных губах. Легко справившись с мальчишеским желанием выкрикнуть в пространство что-либо обидное и погрозить (в пространство же) кулаком, он произнес короткий внутренний монолог:

— Не очень-то вы балуете нас разнообразием, господа! Выражаясь вульгарным жаргоном Пашки Дробатона, второй раз хохма — это уже не хохма. Нас опять ставят перед бесчестным выбором: либо забудь о скромности, либо отправляйся домой, к мамочке. Не выйдет, господа! Как говорит мой старший брат-студент, тривиально и лежит на поверхности. Легко видеть. Прости меня, моя скромность.

Криво усмехаясь (большое искусство, освоенное в свое время ценой двухчасового безобразного кривляния перед зеркалом в прихожей), Андрей Т. двинулся по Дороге для умных. Впрочем, насилие, учиненное им над собственной скромностью, не очень угнетало его. Гораздо важнее было то, что никаких новых бассейнов со свирепыми водами и вообще никаких болезнетворных физических воздействий ожидать в ближайшем будущем, по-видимому, не приходилось. Ум есть ум, господа, если мне и дадут, то скорее всего по мозгам, а уж это я как-нибудь переживу.

Дорога для умных оказалась на удивление короткой. Упиралась она, естественно, в обыкновенную дверь. Не тратя ни минуты драгоценного времени и все еще храня на хорошо очерченных губах кривую усмешку, Андрей Т. взялся за ручку и потянул.

Андрей Т. остолбенел. За дверью была все та же знакомая комната. В знакомом кресле храпел во все заворотки знакомый дедушка, на знакомом телевизоре валялся знакомый кот Мурзила, со знакомой кровати свешивалось знакомое одеяло. Андрей Т. тихонько закрыл дверь и тупо уставился на нее в упор. Вот, значит, что вы считаете умом. Умному, значит, дорога домой, в постельку. Ну, это мы тоже проходили. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». А Генке, значит, там пропадать у вас? Нет уж, дудки! Андрей Т. произнес в пространство несколько обидных слов, показал (в пространство же) сдвоенный кукиш и, повернувшись спиной к бесполезной двери, рысцой пустился обратно к развилке.

Дорога для не слишком умных оказалась значительно длиннее, и Андрей Т. уже начал беспокоиться, когда впереди в белесой дымке возникло и замаячило какое-то мерцающее голубоватое пятно. Еще минута хода на рысях, и он неожиданно для себя чуть ли не носом уперся в прямоугольное матовое окно, вделанное в стену. Окно мерцало голубым неоновым огнем, а на матовом стекле было написано по вертикали большими красными буквами «ВХОД», причем рядом с надписью была изображена большая красная стрела, указующая в небо.

Это был поистине странный указатель, но Андрей Т. так и не успел как следует удивиться, потому что сразу обнаружил рядом нечто вроде лестницы. Собственно, это и была лестница, только не из ступенек, а из вделанных в стену металлических скоб, покрытых зеленой масляной краской. Подобную лестницу Андрей Т. видел во время школьной экскурсии на шефский завод: там она (лестница, конечно, а не экскурсия) вела на самую верхотуру гигантской заводской трубы. Здесь лестница вела в белесую дымку над головой и далее неведомо куда, потому что снизу были видны только первые шесть скоб.

Андрей Т. бросил взгляд на светящийся циферблат — ничего себе, уже четверть двенадцатого! — и стал искать, куда поставить Спиридона, ибо ясно было, что на этой, с позволения сказать, лестнице понадобятся все четыре конечности, а может быть, даже и зубы. Он уже решил было засунуть приемник в случившийся неподалеку чудовищный сервант без стекол и без полок, но тут Спидлец вдруг затянул трясущимся тенором старинный душераздирающий романс:

— Не уходи! Побудь со мной еще минутку!..

Андрей Т. в смущении остановился.

— Ты что это? — спросил он неискренне.

— Не уходи! Мне без тебя так будет жутко!.. — с рыданием в голосе объяснил Спиридон.

Сердце Андрея дрогнуло.

— Ну, ладно, ладно тебе... — пробормотал он и принялся запихивать чувствительный аппарат за пазуху.

Спиридон уже вполголоса, но по-прежнему с рыданием и истерическим надрывом сообщил: «И чтоб вернуть тебя, я буду плакать дни и ночи...» — после чего замолк, а Андрей Т. поплевал на ладони, крикнул для основательности и начал подъем.

Первые скобы он преодолел легко и даже не без лихости — пол был еще виден, а в случае чего можно было бы просто спрыгнуть вниз. На десятой скобе пол исчез из виду, пришлось остановиться и перевести дух. К пятнадцатой скобе все вокруг заволочло сплошной белесой пеленой, и вдобавок возникло ощущение, будто стена начинает загибаться внутрь зала наподобие этакого свода. Девятнадцатая скоба шаталась, как молочный зуб, — именно здесь Андрей Т. смалодушничал и подумал, что следовало бы, пожалуй, вернуться вниз и все досконально, тщательно обдумать и взвесить. Однако как раз в этот момент угревшийся за пазухой Спиридон хрипло провозгласил, что «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Андрей Т. устыдился и сейчас же взял одним рывком еще полдюжины скоб. Дальше он не считал. Ему стало не до счета. У него зверски занули плечи и начали трястись ноги. Несомненно, это был приступ болезни Паркинсона, явившейся из мира выдумок и пустых фантазий, чтобы наказать Андрея за самонадеянность. О мои руки! О мои ноги! Все-таки подсунули мне болезнетворное воздействие, подлецы! Но тут ведь главное что? Бороться и искать, найти и не сдаваться. Не сдаваться? Ни в коем случае! Даже если ты болен, все равно чем — фолликулярной ангиной или болезнью Паркинсона. Какие там могут быть болезни, если погибает мой лучший друг Генка по прозвищу Абрикос? Держись, Генка! — твердил про себя Андрей Т. и цеплялся за ледяные скобы. Я иду, Генка! — рычал он и карабкался по влажным скобам. Вр-р-решь, не возьмешь! — хрипел он и повисал на липких скобах, обвившись вокруг них подобно некоему тропическому удаву.

Но все на свете имеет конец, и в одну поистине прекрасную минуту Андрей Т. обнаружил, что больше не цепляется, не карабкается и не висит, а блаженствует,

сидя на твердом полу и прислонившись спиной к твердой стене. Плечи еще ныли, но не очень сильно. Ноги еще дрожали, но служить не отказывались. Андрей Т. обследовал ладони. Ладони в общем были целы и невредимы, хотя и горели, как будто он целый вечер тренировал подъем разгибом на перекладине. Следовало ожидать появления водяных пузырей, но от этого еще никто не умирал.

Андрей Т. встал. Он был убежден, что Генка-Абрикос находится где-то поблизости. Но Генки не было. Была большая комната, освещенная крайне скудно.

Собственно, комната вообще не была освещена. В ней, как говорится, царил тьма, но во тьме этой в великом множестве мигали, загорались и гасли крошечные круглые окна с лампочками, и в их слабом переменчивом свете можно было рассмотреть, что вся она заставлена сплошными рядами громоздких угловатых то ли шкафов, то ли ящиков. Тянуло теплом и даже жаром, пахло странно, а впрочем, скорее приятно. И было полно звуков. Какой-то длинный шелест. Низкое монотонное гудение. Резкий хлесткий щелчок. Снова гудение. Снова шелест. Андрей Т. посмотрел, принялся, послушал и робко воззвал:

— Генка! Эй, Генка! Ты здесь?

Еще не успело увязнуть в жарком пахучем воздухе его последнее слово, как комната разразилась целым шквалом новых огней и звуков. Вспыхнули и замигали новые мириады круглых лампочек, в крошечной тьме под потолком побежали справа налево беспорядочные толпы светящихся цифр, шелест покрылся непрерывным звонким стрекотанием, а хлесткие щелчки забили часто и напористо, как выстрелы в «Великолепной семерке».

Ошеломленный Андрей Т. втянул голову в плечи и попятился, но тут комната успокоилась. Торжественный, превосходно поставленный голос объявил:

— Посторонний объект обнаружен, исследован и отождествлен как Желаящий Пройти...

Одновременно на невидимом дисплее в темноте под потолком побежали справа налево светящиеся слова:

— **ПОСТОРОННИЙ ОБЪЕКТ ОБНАРУЖЕН ИССЛЕДОВАН ОТОЖДЕСТВЛЕН КАК ЖЕЛАЮЩИЙ ПРОЙТИ...**

— Процедура представления начинается, — продолжал Голос, и на дисплее побежали произносимые им

фразы без знаков препинания. — Представляюсь, имею честь представиться: Всемогущий Электронный Думатель, Решатель и Отгадыватель, сокращенно ВЭДРО. С кем имею честь?

— Собственно... — нетвердо проговорил Андрей Т. — Видите ли... Я... Андрей. Меня зовут Андрей. Я школьник.

Снова шквал огней и звуков. Голос безмолвствовал, но на дисплее, стремительно катясь друг за другом, загорелись слова:

— АНДРЕЙ ИМЯ ОСМЫСЛЕНО ШКОЛЬНИК
УЧАЩИЙСЯ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОСМЫСЛЕНО КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ КОНЕЦ...

Андрей Т. поклонился, шаркнул ногой и сказал:

— Собственно, мне к Генке нужно. Я очень тороплюсь. Как мне к Генке пройти?

Голос торжественно ответил:

— Желающий Пройти должен успешно выдержать два этапа испытания. Первый этап: я задаю вопросы. Второй этап: я даю ответы. Доложите готовность к испытанию.

Даже в лучшие времена предложение держать испытания никогда не вызывало у Андрея никаких положительных эмоций. Теперь же он так и взвился от злости.

— Какое еще испытание? — заорал он. — Какое может быть испытание, когда Генка-Абрикос там пропадает? Да провалитесь вы с вашим испытанием, и без вас обойдусь!

С этими словами он очертя голову устремился в проход между рядами шкафов-ящичков. Но ему пришлось тут же остановиться, потому что он увидел в конце прохода низкие дубовые ворота. На воротах висел массивный ржавый замок, у ворот дремал на табурете то ли сторож, то ли вахтер в ватнике, у ног же вахтера лежал устрашающего вида пес. Мощная голова его покоилась на лапах, но треугольные уши стояли торчком, а желтые глаза бесстрастно взирали прямо в лицо Андрею.

— Понятно, — уныло сказал Андрей Т., повернулся и пошел из прохода.

— Доложите готовность к испытанию, — повторил Голос как ни в чем не бывало.

— Готов, — буркнул Андрей Т.

Голос объявил:

— Процедура ввода информации в школьника Анд-

рея начинается. Ввод информации. Первый этап. Я задаю три вопроса. Один вопрос из наук логических, один вопрос из наук гуманитарных, один вопрос из наук физикотехнических. Если школьник Андрей отвечает на все три вопроса правильно, конец первого этапа. Доложите осмысление информации о первом этапе.

— А если неправильно? — вырвалось у Андрея.

Никакого ответа не последовало, на дисплее пронесся бесконечный ряд светящихся семерок, и где-то со скрипом приоткрылась дверь. За дверью, разумеется, была знакомая комната со знакомым дедушкой, знакомым котом и знакомым одеялом.

— Мне все понятно, — мрачно пробормотал Андрей Т.

Дверь со скрипом затворилась, а на дисплее побежали слова:

— **ВСЕ ПОНЯТНО ИНФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТОМ ОСМЫСЛЕНА ОСМЫСЛЕНА ПЕРВЫЙ ЭТАП НАЧИНАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПЕРВЫЙ...**

— Первый вопрос формулируется! — провозгласил ВЭДРО. — Дано: столб и улитка. Высота столба десять метров. За день улитка поднимается по столбу на шесть метров, за ночь спускается на пять метров. Сколько суток потребуется улитке, чтобы достигнуть вершины столба? На размышление сто двадцать секунд. Размышление начинается!

На дисплее вспыхнуло число 120 и сейчас же сменилось числом 119. Потом пошли 118, 117, 116... Андрей Т. быстро произвел расчет: за день плюс шесть, за ночь минус пять, всего за сутки плюс один. Высота столба десять метров. Значит, легко видеть... Он уже открыл было рот, но спохватился. Слишком уж легко было видеть. Не может быть, чтобы задачка решалась так просто...

...100, 99, 98, 97...

Это проклятое Ведро ловит на какой-то чепухе. Не выйдет! Мы до городской олимпиады доходили, нас голыми руками не возьмешь!

...81, 80, 79, 78...

Правда, на городской олимпиаде мы таки ни одной задачки не решили, но все-таки... Тьфу ты, что за ерунда лезет в голову! Значит, за первые сутки один метр, за вторые два...

...63, 62, 61, 60...

Меньше минуты осталось! Ай-яй-яй... Э... Э! Ведь в

последний день она сразу залезет на шесть метров вверх до самой верхушки, и спускаться ей уже не придется! Значит...

— Четыре с половиной суток! — радостно закричал Андрей Т.

На дисплее число 41 погасло, и побежали слова:

— ОТВЕТ ЧЕТЫРЕ ПЯТЬ ДЕСЯТЫХ СУТОК
ОСМЫСЛЕНО ВЕРНО ВЕРНО ВЕРНО ОСМЫСЛЕНО
ВЕРНО...

Андрей Т. ликовал. Вот так-то! Нас на кривой не объедешь! Так будет со всяким, кто покусится!

— Второй вопрос формулируется! — объявил ВЭДРО. — Дано: произведение Юрия Михайловича Лермонтова «Герой нашего времени». Требуется имя Печорина. Как звали Печорина. Имя. На размышление двести секунд. Размышление начинается.

...200, 199, 198, 197...

От ликования Андрея не осталось и следа. Волна слепого ужаса, черной паники окатила его. Это хуже, лихорадочно думал он. Это гораздо хуже! Как же его звали-то? Печорин... Грушницкий... Они ведь там все только по фамилиям... Княжна Мэри... Или только по именам, без фамилий... Еще там был какой-то капитан... штабс-капитан... Иван... Иван...

...146, 145, 144, 143...

С этими фамилиями мне всегда не везло... Тогда еще историк взял да и спросил меня: «Какая фамилия у Петра Первого?» А я ляпнул сдуру: «Великий!..» Беда! Что делать-то? Ведь выставят сейчас, как пить дать выставят...

...119, 118, 117, 116...

Постой-ка... А, все равно терять нечего. Андрей Т. спросил противным сварливым голосом:

— А что это у вас Лермонтов Юрий Михайловичем заделался, когда он всегда был Михаил Юрьевич?

На дисплее число 103 вдруг застыло в неподвижности. Комната бешено застрекотала и загудела, и разразилось такое хлесткое щелканье, словно принялся работать кнутами целый полк пастухов. На дисплее побежали длинные очереди бессмысленных семерок, погасли и сменились словами:

— ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ НЕ НЕ НЕ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ НЕ НЕ НЕ ВТОРОЙ ВОПРОС
НЕ КОРРЕКТЕН НЕ НЕ НЕ ВТОРОЙ ВОПРОС ОТ-
МЕНЯЕТСЯ БЕЗ ЗАМЕНЫ БЕЗ БЕЗ БЕЗ СВОЙ МАГ-
НИТНОЙ ЛЕНТЫ СВОЙ МАГНИТНОЙ ЛЕНТЫ...

Ага! Андрей Т. снова воспрянул духом. Заело! И без замены! Попалось Ведро. «Сбой магнитной ленты» — это было Андрею знакомо. Не зря же папа занимается в своем СКБ конструированием электронно-вычислительных машин, а мама в своем НИИ на этих машинах работает. Опять эти сбои замучили, жалуется, бывало, мама, а папа неодобрительно ворчит и советует переходить на машину ЕС-1020, где можно легко обходиться без всяких магнитных лент...

Звуковой кавардак в комнате внезапно стих, и ВЭДРО по-прежнему торжественно и важно произнес:

— Третий вопрос формулируется! Дано: гиперболоид инженера Гарина. Требуется изложить принцип его действия. На размышление двести сорок секунд. Размышление начинается.

На дисплее вспыхнуло число 240, а Андрей Т. озадаченно закусил ноготь.

Книгу он знал хорошо, а некоторые места из нее знал даже наизусть. Но вот как раз то место, где Гарин объясняет Зое устройство аппарата, он как-то не любил. Вернее, не очень любил. Читал, конечно, и не один раз, и схему разглядывал, аккуратный такой чертежик... Теперь бы вспомнить только. Тепловой луч. Инфракрасный луч. «Первый удар луча пришелся по заводской трубе...» И дальше: «Луч гиперболоида бешено плясал среди этого разрушения...»

...221, 220, 219, 218...

Спокойствие. Главное — спокойствие. Что мы там имеем? «Луч из дула аппарата чиркнул поверх двери — посыпались осколки дерева». Еще: «Пенсне все сваливалось с мокрого носа Роллинга, но он мужественно стоял и смотрел, как за горизонтом выросли дымные грибы и все восемь линейных кораблей американской эскадры взлетели на воздух...» Не то, но все равно прекрасно. Мокрый нос Роллинга... Ключ мне нужен, ключ, а не мокрый нос!

...187, 186, 185, 184...

«То-то! Идея аппарата проста до глупости...» Это я знаю, что она проста... «В аппарате билось, гудело пламя...» Это я тоже знаю. О чем это он тогда с Зоей?.. Пирамидки. Гиперболоид из шамонита. Так я и не собрался узнать, что такое этот шамонит... Стоп! Гиперболоид вращения, выточенный из шамонита! Пирамидки! Микрометрический винт! Гиперболическое зеркало! Ура!

...153, 152, 151, 150...

Теперь сформулируем. Спокойненько сформулируем, не спеша. Да, тут Ведро опять маху дало. Просчиталось Ведро. Не учло нынешний уровень. У нас все эти гиперболоиды, фотонные ракеты и прочие машины времени от зубов отскакивают, мы их как орешки шелкаем, они нам что братья родные!

Андрей Т. с шумом выдохнул воздух. дождался, пока на дисплее появилось число 100 (для ровного счета), и принялся со вкусом и обстоятельно описывать принцип действия и устройства аппарата для получения инфракрасных лучей большой мощности, известного под названием «гиперболоид инженера Гарина».

Он увлекся. Он говорил с выражением. Он декламировал излюбленные отрывки. Он щедро показывал руками и даже пытался расхаживать взад и вперед в тесноте между шкафами-ящиками. И дивное дело! — по мере того, как он рассказывал, все медленнее мигали круглые лампочки, все тише делались шумы, угасали запахи, и становилось как будто все прохладнее. Когда же он с особенным наслаждением и во всех подробностях описал бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками для установки пирамидок из смеси алюминия и окиси железа (термит) с твердым маслом и желтым фосфором, ВЭДРО замер и затих окончательно. Возможно, заснул, а то и просто застыл с разинутым от изумления ртом.

Андрей Т. подождал немного и сказал:

— Ну?

На дисплее появилась и погасла одинокая семерка. Затем не понеслись, обгоняя друг дружку, не побежали чинно, а побрели вразнобой на дисплее светящиеся слова:

— ТРЕТИЙ ВОПРОС ОТВЕТ ВЕРЕН ВЕРЕН ВЕРЕН ОТВЕТ ВЕРЕН ГРАНИЦА ВЕРНОСТИ РЕАЛЬНОСТЬ ГИПЕРБОЛОИДА МИКРОМЕТРИЧНОСТЬ ВИНТА ЖЕЛТИЗНА ФОСФОРА ОСМЫСЛЕНО ВЕРНО ВЕРНО ВЕРНО ОСМЫСЛЕНО...

Читая по складам эту бредятину, Андрей Т. ликовал и злорадствовал. Обалдело Ведро! То-то же, знай наших! Видно, даже попрощаться не придется...

И опять преждевременно было его ликование. Вновь вспыхнули и замигали россыпи круглых лампочек, вновь вокруг зашелестело, застрекотало, защелкало, и ВЭДРО, как ни в чем не бывало, бодро объявил:

— Конец первого этапа. Второй этап начинается. Школьник Андрей задает мне три любых вопроса, я отвечаю на них правильно, конец второго этапа, конец

испытания. Школьник Андрей возвращается домой, к мамочке. Доложите осмысление информации о втором этапе.

У школьника Андрея отвис подбородок.

— Это как так — к мамочке? — ошеломленно произнес он.

На дисплее побежала надпись:

— БЕЗ ОТВЕТА ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ БЕЗ ОТВЕТА БЕЗ БЕЗ БЕЗ...

— Это как так — к мамочке! — возопил возмущенный Андрей Т. — Мне не надо к мамочке! Мне не надо домой! Мне надо к Генке! Меня Генка ждет на подмогу! Это нечестно! Я на все вопросы ответил!

ВЭДРО снисходительно прогудел:

— Дополнительная информация, разъяснение. Даже тот Желающий Пройти, кто успешно выдержал первый этап испытания, пропускается только в том случае, если я не сумею, не смогу, окажусь не в состоянии правильно ответить хотя бы на один вопрос из трех вопросов, заданных им мне на втором этапе. Поскольку вероятность такого случая теоретически исчезающе мала, а практически равна нулю, второй этап испытания рассматривается как формальная процедура, предшествующая возвращению Желающего Пройти восвояси. Доложите осмысление дополнительной информации.

— Осмыслил, — мрачно сказал Андрей Т. Он чуть не плакал от обиды. — Ну, а если я все-таки задам такой вопрос, что вы не ответите?

— Невозможно, — высокомерно отозвался ВЭДРО. — Я всемогущ. Во всем, что касается вопросов, ответов, загадок, задач, проблем, теорий, гипотез, придумок и задумок, я всемогущ.

— А все-таки?

— Никаких «все-таки» быть не может. Я всемогущ.

Боритесь и искать, найти и не сдаваться!

— Мало ли что всемогущ, — тоном Неверующего Фомы возразил Андрей Т. — А если всемогущ, то вот, пожалуйста. Первый вопрос: как мне отсюда попасть к Генке?

Ответ упал подобно удару сабли:

— Никак.

А на дисплее побежало:

— ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОДВЕРГНУТ ОТВЕТУ НЕЙТРАЛИЗОВАН ОТВЕТ ВЕРЕН ВЕРЕН ВЕРЕН ОТВЕТ ВЕРЕН...

Андрей Т. в отчаянии закусил губу. Не вышло... Он кое-что смыслил в электронных машинах. Если у этого Ведра достаточно обширная память (стоит только посмотреть на эти шкафы-сундуки) и приличное быстродействие, то его ведь и в самом деле ничем не проймешь. То есть наверняка есть на свете загадка, которую не знает даже эта железная скотина, но пока додумываешься до этой загадки — состаришься. А вопросов всего три... даже два уже только...

— Бросьте вы это, молодой человек, — произнес у него над ухом странно знакомый голос.

Он обернулся и увидел рядом давешнего то ли сторожа, то ли вахтера в ватнике.

— Разве его одолеешь? — продолжал сторож-вахтер, безнадежно махнув рукой. — Он же здесь для того и поставлен, чтобы Желających Пройти заворачивать. Его пронять никакой возможности нет. Здесь ведь как? Хоть рыбы не есть, зато и в воду не лезть. А вы все о друге хлопчете, о Генке своем. Друг с тобой, знаете ли, как рыба с водой: ты на дно, а он на берег. Да и это бы ничего, но только здесь вам не отломится, нет. Не ступай, собака, в волчий след — оглянется, съест.

Тут только, к своему огромному изумлению, Андрей Т. узнал в вахтере Коня Кобылыча. Правда, со времени их последнего свидания Конь Кобылыч как будто слегка поусох и съезжился, но это был, несомненно, он, беспардонный болтун и оппортунист.

— Так что послушайтесь доброго совета, — бубнил Конь Кобылыч, — заканчивайте здесь. Ну, задайте ему для проформы вопросики попроще... дважды семь там... или, скажем, куда девается земля, когда в ней дырка... он вам ответит, распрощаетесь вы по-доброму и — домой, в постельку, к мамочке...

— Сгиньте вы! — дрожа от ярости, просипел Андрей Т.

И Конь Кобылыч сгинул.

Вопрос, вопрос, мучился Андрей Т. Где же мне взять вопрос? Может, дать ему доказать какую-нибудь теорему? Из тех, о которых галдит старший брат-студент со своими лохматыми приятелями. Как ее... проблему Гольбаха, например, или эту... о бесконечном количестве пар... Нет, не годится. Во-первых, а вдруг докажет? А я ведь даже проверить не сумею, правильно или нет. Гм... Нет, умными вопросами машину не испугаешь. Умными... Тут все дело в том, что правильно поставленный вопрос уже

содержит в себе половину ответа (из очень давней речи папы по поводу страданий над забытой ныне арифметической задачей). А неправильно поставленный? Что, если вопрос поставить неправильно? Гм... Как бы это его поставить...

— Почему у кошки пять ног? — выпалил Андрей Т.

ВЭДРО не снизошел до ответа голосом. На дисплее побежали слова.

— ВОПРОС НЕ ВОПРОС НЕКОРРЕКТЕН СОДЕРЖИТ ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЛОЖНУЮ ОТВЕРГАЕТСЯ ОТВЕРГАЕТСЯ ОТВЕРГАЕТСЯ...

Честно говоря, Андрей Т. ожидал чего-то вроде этого, но немедленно изобразил негодование.

— Как это так — отвергается? — вскричал он. — Нечестно! Сами же говорили, что всемогущий! А раз всемогущий, должны на любой вопрос...

— Разъясню! — веско провозгласил ВЭДРО. — Дополнительная информация. Всемогущий Электронный Думатель, Решатель и Отгадыватель отвечает верно, правильно на любой корректно поставленный вопрос. Он отвергает вопросы некорректные, то есть содержащие заведомо ложную информацию, типа: «Почему у привидений короткая стрижка?» Он не отвечает на вопросы, имеющие эмоциональную подоплеку, типа: «Почему да отчего на глазах слезинка?» Он оставляет без внимания вопросы, содержащие неопределенность, типа: «В чем смысл жизни?» Он игнорирует риторические вопросы типа: «Иван Иванович, вы ли это?» Восклицание: «Нечестно!» — отменяется. Заявление: «Сами же говорили, что всемогущий!» — подтверждается.

— Все равно --- нечестно, — проворчал Андрей Т.

Он понял, что дело дрянь. Вторая попытка обвести вокруг пальца хитроумное Ведро провалилась тоже. Ну, и с чем же мы теперь остались? Задачи ему давать бессмысленно. Если и есть на свете задачи, которых ему не решить, то я их не знаю и придумать не сумею. Дурацкие вопросы он отменяет. И прямо скажем, правильно делает. Я бы на его месте тоже отменял. Поэтому остается... что? Вернуться к себе и лечь в постельку. Я буду в постельке нежить свою ангину, а Генка будет гибнуть и пропадать. Очень мило.

Все горе ведь в чем? Всемогущий. Значит, все может. Все задачи. Все вопросы. Все загадки. Все теоремы...

Постой-постой! Кто-то что-то мне про это говорил. То ли мне, то ли при мне... Неважно. Что же это было?

Ага. Что со словом «все» должно быть связано какое-нибудь исключение, а иначе получается парадокс... Парадокс! Ну, держись, Ведро! Всемогуший? Я тебе покажу всемогущество, ты у меня попляшешь. Сейчас... Сейчас... Ага! Только надо сначала его подготовить. И Андрей Т. вкрадчиво осведомился:

— А можно, я спрошу просто так, не в порядке? Я не все понимаю и хотел бы уяснить...

— Разъяснение? — весело рявкнул ВЭДРО. — Готов!

— Значит, вы можете ответить на любой корректный вопрос...

— Да.

— И можете решить любую задачу...

— Да!

— И можете придумать любую задачу и любой вопрос...

— Да!

— Любой-любой? Любую-любую?

— Да! Да! Да! Всемогуш! Думаю, придумываю, решаю! Думаю, загадываю, отгадываю! Всемогуш!

— Прекрасно, — произнес Андрей Т., задыхаясь от возбуждения. — Отлично. От скромности вы не умрете.

Хвастливое Ведро секунду молчало, а затем объявило высокомерно:

— От скромности не умирают. Скромность не смертельна. Кроме того, я вообще бессмертен.

— С чем вас и поздравляю, — сказал Андрей Т. — А теперь разрешите вопросик уже в порядке.

— В рамках второго этапа испытания?

— Да. В рамках.

— Готов!

— Вопросик, — проговорил Андрей Т. и изо всех сил стиснул кулаки, чтобы не трястись. — Такой, значит, вопросик. Дано: вы можете придумать любой вопрос. Требуется ответить: можете ли вы придумать такой корректный вопрос, на который сами же ответить не сможете?

ВЭДРО сейчас же гаркнул:

— Да!

На дисплее справа налево понеслись светящиеся слова:

— ВТОРОЙ ВОПРОС ПОДВЕРГНУТ ОТВЕТУ НЕЙТРАЛИЗОВАН ОТВЕТ ВЕРЕН ВЕРЕН ВЕ...

И в ту же секунду ВЭДРО столь же горделиво и уверенно гаркнул:

— Нет!

И немедленно тоном ниже:

— Да.

И тут же почти уже робко:

— Нет...

На дисплее началась каша. Натыкаясь друг на друга и болезненно дергаясь, то пускаясь вскачь, то едва ползя, двигались там такие примерно строки:

— НЕЙТРАЛИЗДОТВЕТ 7777 НЕТ ОТВЕТРГНУТ-
ВОПР ДА 777 ДНЕТНДА ВЕРНЕВЕРВЕТ НГУЖ

Андрей Т. рыдал от счастья. Можно было представить себе, что сейчас творится в электронных кишках этого самодовольного идиота! Анализируя начало коварного вопроса, Ведро обнаруживало ключевое выражение «можете ли» и по своему всемогуществу немедленно отвечало «да». Но через долю секунды в анализатор поступало выражение прямо противоположное: «сами же... не сможете», и приходилось все по тому же всемогуществу отвечать «нет». И не было этому конца.

ВЭДРО отчаянно боролся с этой логической икотой.

— Да! — хрипел он. — Днет! Нда! Данетданеда!
Днднет! Ндет! Нечестно! Дандн!..

Включились и беспорядочно замигали все круглые лампочки, сколько их было. Во всех шкафах-сундуках бешено хлестали перематываемые магнитные ленты. Панически гудела, набирая обороты вентиляторов, система охлаждения. А на дисплее уныло, словно осенние мухи, ползали вокруг странного слова «БНДЭЩ» покосившиеся семерки...

— Ндюк!.. — из последних сил выкрикивал ВЭДРО. — Амндгу!..

Потом лязгнул ржавый замок, и распахнулись настежь низкие дубовые ворота, пропуская в комнату поток радостного солнечного света и свежего воздуха. Протрусила и скрылась поджавшая хвост овчарка. И прошел между рядами шкафов-ящиков с деловым видом Конь Кобылыч, в черном рабочем халате и в очках с мощной оправой, похожий на физика-теоретика из какого-то кинофильма. Он удалился в дальний угол комнаты, чем-то там щелкнул, и ВЭДРО, прощально гукнув, смолк. Наступила тишина.

— Опять тебя, родимого, зациклило, — произнес Конь Кобылыч с состраданием. — Ума много, а толку мало... Эхе-хе-хе-хе!..

Андрей Т. спохватился и взглянул на светящийся ци-

ферблат. А взглянув, не поверил своим глазам. Черные стрелки показывали двадцать три часа двадцать одну минуту! Всего пять минут прошло с тех пор, как он начал подъем по скобяной лестнице!

— А чего тут удивительного, — донесся до него голос Коня Кобылыча. — Записывали вас на большой скорости, а пускали на нормальной...

Андрей Т. не стал спрашивать, что это означает. Придерживая за пазухой Спиху, он поспешно вышел наружу.

Он стоял в самом центре площади, посыпанной чистеньким красноватым песком, круглой и совершенно ровной, как пол в зале с белесой дымкой. Вовсю светило солнце, и это было странно в такой близости от новогодней полуночи, хотя в то же время казалось и вполне естественным, как и несколько Лун в различных фазах, разбросанных по разным участкам голубого неба. Площадь правильным кольцом окружали стоящие друг к другу впритык хорошенькие разноцветные павильоны, причем над входом в каждый павильон красовалась художественно выполненная вывеска.

— ФИЛУМЕНИСТЫ, — читал Андрей Т., медленно поворачиваясь на пятках, — ФИЛОКАРТИСТЫ, НУМИЗМАТЫ, БОНИСТЫ...

Он нимало не сомневался, что уж теперь-то бедствующий Генка пребывает где-то совсем поблизости, он даже как будто бы слышал уже и голос его, по-прежнему взывающий о помощи, он просто знал, что отсюда до Генки рукой подать, но неизвестно было, в какую сторону подавать эту руку. Вспыхнула надежда на справочное бюро, и вот среди множества художественно выполненных вывесок он искал вывеску справочного бюро.

Но очень скоро ему стало ясно, что такой вывески он здесь не найдет. Не место здесь было справочному бюро. Не могло здесь быть и милиции, и газетного киоска, и зеленой лавки. Здесь были только учреждения (возможно, клубы?), где лелеют все мыслимые хобби, страсти, страстишки и увлечения человека. Были павильоны для вполне понятных АВИАМОДЕЛИСТОВ и для смутно знакомых ТИФФОЗИ, и для вовсе непонятных ГУРМАНОВ. Были для МЕЛОМАНОВ, были для БИБЛИОФИЛОВ.

Андрей Т. уже ощутил подступающее отчаяние, когда взгляд его остановился на вывеске ФИЛАТЕЛИСТЫ. И

ему сразу стало легче и веселее. Филателисты — это все-таки нечто близкое, это не какие-нибудь тиффози или бонисты. Андрей Т. сам был филателист, а филателист филателисту не волк, не алкоголик какой-нибудь. Филателист всегда объяснит филателисту, как добраться до страждущего друга. Лучше справочного бюро объяснит. И Андрей Т. со всех ног припустил через площадь к яично-желтому павильончику под вывеской ФИЛАТЕЛИСТЫ.

Конечно, филателистом он был еще молодым, не очень опытным. Многие тайны этого почтенного хобби еще оставались для него за семью печатями, однако основные законы филателии были ему уже знакомы. Прилежное изучение журнала «Филателия СССР», ежегодника «Советский коллекционер», а также измусоленного, давно утратившего обложку французского каталога Ивера принесло свои плоды. Во всяком случае, главное он знал: а) самая красивая марка — это еще не самая ценная; б) самая ценная марка — не обязательно самая интересная; в) простое обрезание у марки зубцов не превращает ее в редкую беззубцовую разновидность.

В павильоне Андрея обступила тишина, прохлада и приятная полутьма. Вдоль стен высились застекленные шкафы, стеллажи и витрины, уставленные альбомами и кляссерами. Альбомы и кляссеры были в приятном беспорядке разбросаны по поверхности длинного стола посередине. Альбомы и кляссеры громоздились на табуретах и стульях. Десятки и сотни альбомов и кляссеров! Может быть, тысячи!.. Андрей Т. даже не представлял себе, что такое может быть, хотя и знал, конечно, из литературы, что за последние полтора века в мире выпущено около миллиона марок...

Не помня себя, он приблизился к столу и раскрыл наугад один из больших кляссеров. Кровь ударила в лицо, закружилась голова, его бросило в жар: кляссер был набит «цеппелинами». И не подумайте, здесь были далеко не только марки, посвященные межконтинентальным перелетам дирижабля «Граф Цеппелин», ничего подобного! Здесь были собраны все марки всех стран с изображениями дирижаблей — именно так собрал бы их сам Андрей Т., если бы был он не школьником восьмого класса, а небольшим государством с развитой промышленностью и со статьей бюджета, предусматривающей пополнение и углубление государственных коллекций.

Здесь были «цеппелины» Италии и «цеппелины» Лихтенштейна, «цеппелины» Парагвая и редчайшие «цеппелины» США, знаменитые немецкие «Поляр Фарт» и «Зюд-америка Фарт», здесь были великолепные советские серии, посвященные дирижаблестроению, и все разновидности «Малыгина», и ленинградские конверты, доставленные дирижаблем ЛЦ-127 из Ленинграда в бухту Тихую, а оттуда ледоколом «Малыгин» в Архангельск, со всеми сопроводительными штампами, штемпелями и отметками...

Андрей Т. восседал в удобном высоком кресле, и в одной руке у него была большая филателистическая лупа, а пальцы другой сжимали специальный, удобно изогнутый филателистический пинцет, и настольная лампа с козырьком заливала страницы кляссера ярким матовым светом, и он листал и рассматривал, рассматривал и изучал, изучал и смаковал, и мир стал тесным, теплым и необыкновенно уютным — не было в этом мире ничего, кроме круга света и красоты марок, сверкавших, словно драгоценные камни.

Впрочем, был в этом мире еще Комментатор. Но он скромно оставался в тени, за границей яркого круга, и он был услужлив, ненавязчив и полезен. Не надо было шарить по страницам новенького наисовременнейшего Ивера — страница с искомой серией раскрывалась как бы сама собой, и только мелькала на мгновение ловкая смуглая рука. Не надо было копаться в горах справочной литературы — негромкий доброжелательный голос без задержек сообщал все самое интересное о каждой марке, о каждом конверте, о каждом спецгашении. Не надо было тянуться за очередным кляссером — он сам бесшумно выскакивал из темноты, направляемый и раскрываемый все той же ловкой смуглой рукой.

— Беззубцовые «цеппелины»! — восклицал потрясенный Андрей, и мягкий доброжелательный голос немедленно подхватывал:

— Совершенно верно. Причем обратите внимание — угловые экземпляры, огромные поля...

— И без наклеек!

— В идеальном состоянии.

— Не фальшивки?

— Ни в коем случае. Взгляните в лупу. Видите? Растровая сетка — квадраты, между тем как у фальшивок растровая сетка — точки...

Но вот наступил момент, когда «цеппелины» ис-

черпались, и тогда Комментатор предложил мягким голосом:

— Может быть, вас интересует тема «Космос»?

— Ну... это же просто раскрашенная бумага... — неуверенно возразил Андрей Т., повторяя заявление кого-то из собратьев-филателистов.

— В каком-то смысле, безусловно, да, — согласился Комментатор. — Торговцы марками ловко используют популярность этой темы для обдывания своих сомнительных делишек... И все-таки не откажитесь взглянуть.

Да, здесь было на что взглянуть! Яркие, словно тропические бабочки, серии Экваториальной Гвинеи... Потрясающие воображение стереоскопические блоки Бутана... Тяжелые, словно медали, чеканные марки молодых африканских республик, выполненные на золотой фольге... пиршество красок, буйство фантазии... Здесь был даже один из знаменитых сувенирных листков с изображением Юрия Гагарина, побывавших с космонавтом Георгием Гречко на борту «Салюта»! Все автографы всех космонавтов! Марки «Лунной почты»!..

— А вот взгляните-ка на этот конверт... — говорил и показывал всезнающий и доброжелательный Комментатор. — А вот обратите внимание: редкая типографская ошибка в дате — 1999 вместо 1969...

Альбомы и кляссеры сменялись кляссерами и альбомами, они следовали один за другим непрерывным и неиссякаемым потоком, и вот постепенно какое-то смутное беспокойство начало овладевать Андреем.

Почему все темнее становилось вокруг, и все ярче разгорался манящий круг света, в котором возникали все новые сокровища? Почему пинцет как будто бы сам собой тянулся к очередному шедевру, а лупа словно бы так и ловчилась, чтобы получше увеличить и выявить тонкий нюанс? И почему все никак не удавалось разглядеть в сгущающемся сумраке доброжелательного и всезнающего Комментатора?.. И Спиридон, Спидлец, старый верный Спиха! Как это ты очутился там, на самом далеком шкафу в самом темном углу? Что вообще происходит?

Генка!

Андрей Т. положил лупу и пинцет и рывком отодвинулся от стола вместе с креслом.

— Извините, — пробормотал он. — Я очень вам благодарен, конечно...

— Вы еще не видели самого интересного, — мягко остановил его Комментатор. — Классику! Вы ведь зна-

ете, что такое классика, не правда ли? Старая Германия, Черный Пенни в листах, Британские колонии...

— Все это, конечно, страшно интересно, — виновато пробормотал Андрей Т. и встал. — Но тут такое дело... Я очень спешу... И кстати, не могли бы вы мне сказать...

— Вы не понимаете, — проникновенно и внушительно произнес Комментатор. — Мне следовало еще раньше объяснить вам... Это не рядовой просмотр, молодой человек. Это ДАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР! Для пятидесятитысячного посетителя! Вам разрешается выбрать себе любую марку! Такое выпадает раз в жизни...

Андрей Т. впервые повернулся к нему лицом к лицу.

— Дело в том... — начал он и остановился, разинув рот.

Ну конечно же, это опять был Конь Кобылыч! Он совершенно уже усох, он сделался настоящим карликом, черным карликом с ослепительно-белой манишкой и ослепительно-белыми манжетами, но это несомненно был тот самый Конь Кобылыч!

— По... послушайте... — заикаясь, проговорил Андрей Т. и отступил на шаг.

— Да! — нестерпимым голосом взвизгнул Комментатор Конь Кобылыч. — Да, это я! Но какое это имеет значение? А это вы видели?

Рука его, сверкнув манжетой, шестиметровой молнией метнулась во тьму, выхватила из нее и грохнула на стол в круг света плоский металлический ящик с четырьмя секретными замками разных систем.

— Это вы должны увидеть, молодой человек... — сипел Конь Кобылыч, торопливо нажимая клавиши, набирая цифры на миниатюрном телефонном диске, чем-то шелкая, клацая и стрекоча. — Это мало кто видел, а вы сейчас увидите... И может быть, не только увидите... Как пятидесятитысячному посетителю... Ваше право... Конечно, придется выполнить целый ряд формальностей... Вот, прошу вас!

Крышка стального ящика откинулась: На черном бархате под плитой броневое стекло в отсветах лампы лежала ОНА.

Единственная. Неповторимая. Уникальная. Фантастически знаменитая.

— Розовая Гвиана! — благоговейно прошептал Андрей Т.

— Она! — сверкая глазами, подтвердил Конь Кобылыч.

— Но ведь ее нет даже в Британской Королевской Коллекции!

— А у нас есть!

— Обалдеть можно... — жалобно простонал Андрей Т.

И наступила Тишина Почтительного Созерцания.

Нет, лучше скажем так. Указанная Тишина попыталась наступить, но у нее ничего не получилось.

Вмешался забытый Спиридон. Вмешался негромко, но самым решительным образом. Он запел незамысловатую песенку, от которой у Андрея всегда почему-то бежали мурашки по спине и становилось грустно и весело одновременно. Это была песенка о Веселом Барабанщике, всего лишь о барабанщике, но Спиридон пел ее от души, и получалось как-то так, что дело не только в том, что Веселый Барабанщик в руки палочки кленовые берет. Главное, оказывается, в том, что мир огромен и сложен, и дел в этом мире у человека невпроворот, что жизнь коротка, а Вселенная вечна, и смешно тратить свои лучшие годы на ерунду, а любая марка, даже самая знаменитая, есть всего-навсего кусочек раскрашенной бумаги, и стоит она никак не больше, чем пачка других раскрашенных кусочков бумаги, которую предложат за нее на распродаже...

Но взглядишь — и ты увидишь,
как Веселый Барабанщик
С барабаном вдоль по улице идет... —

пел Спиридон, и Андрей, сдерживая накапливающие слезы, слушал его и давал себе слово больше никогда, никогда...

Почтительное Созерцание не состоялось. Даже не бросив на Розовую Гвиану прощального взгляда, Андрей Т. молча двинулся вдоль стола в самый темный угол, чтобы взять Спиху в свои хозяйские руки и прижать к своей хозяйской груди. Он уже подошел к шкафу, когда за спиной его раздался нечеловеческий каркающий звук. Он обернулся, и в то же мгновение Конь Кобылыч выхватил из-под мышки лазерный пистолет. Ослепительный луч просек темноту над головой Андрея и вонзился прямо в грудь транзисторному менестрелю.

Андрей Т. задохнулся от ужаса, а Спиридон жалобно пискнул на полуслове и замолк. Посередине шкалы диапазонов у него тлело, остывая на глазах, раскаленное вишневое пятно.

— Это подло! — закричал Андрей Т. Он сорвал Спи-

ридоны со шкафа и спрятал за спину. — За что? Что он вам сделал?

Конь Кобылыч стоял на другом конце стола и смотрел на него, выставив вперед отвратительную физиономию.

— Иди! — просипел он. — Иди и сдохни!

— Скотина вы, — сказал Андрей Т. — Такой приемник загубили, такого певуна...

Ему и самому было немножко странно, что он не испытывает никакого страха перед этим фантастическим мерзавцем с фантастическим оружием. Ему было только горько за Спиху, тревожно за Генку и досадно за потерянное время. Но зато он знал теперь, куда идти: шкаф медленно повернулся на невидимой оси и открыл проход в промозглую ржавую тьму.

Место было совершенно непонятное. Андрей Т. шагал по железным решетчатым галереям и время от времени спускался по крутым железным же трапам. Решетки галерей и ступеньки трапов были ржавые и мокрые. Справа тянулась мокрая шершавая стена. Слева тянулись мокрые ржавые железные перила. За перилами была непроглядная пропасть, и насколько хватало глаз, ничего больше не было. Сверху, сквозь переплетения балочных и решетчатых конструкций, тоже несомненно железных, ржавых и мокрых, сочился жиденький ржавый свет. Все. Сначала Андрей Т. решил, что попал в какую-то необычную шахту, потом подумал о внутренностях старого океанского лайнера, потом перестал думать об этом вообще.

В стене справа изредка попадались мокрые ржавые железные двери с разнообразно-однообразными надписями типа: «Пожарный выход». Или: «Выход здесь». Или «Входа нет. Выход». Или даже: «А вот и выход». Один разок из чистого любопытства Андрей Т. приоткрыл дверь с надписью «Самый простой выход из» и полюбовался спящим дедушкой, после чего закрыл дверь поплотнее, вытер руку о штаны и пошел дальше, более не останавливаясь. Впрочем, чем дальше он шел, тем чаще стали попадаться двери либо заставленные штабелями пустых ящиков, либо заваленные какими-то швабрами и лопатами, либо просто забитые крест-накрест досками. Возможно, это свидетельствовало о том, что противник уже отказался от попыток остановить Андрея Т. путем запугивания, дезинформации и подкупа. Если это так, то теперь Андрею предстоял открытый бой.

Тут была одна трудность: у него не было собственного опыта настоящих боев. Участия в случайных кампаниях после уроков в качестве сражателя или сражаемого считать за опыт в нынешних обстоятельствах, очевидно, не стоило. Правда, на первый взгляд он мог бы опереться, с одной стороны, на боевой опыт дедушки-подполковника, а с другой — на обширный материал, вычитанный в батальной литературе и высмотренный в кино. Однако, если судить по дедушкиным рассказам, наука побеждать сводилась главным образом к науке обеспечивать свои войска в достаточных количествах боепитанием и пищевым довольствием, что опять-таки мало подходило к обстоятельствам. А из литературы и кино Андрею как на грех ничего сейчас не вспоминалось, кроме отчетливой, но довольно бесполезной фразы: «Наступать! Наступать! Они уже выдыхаются!»

Одним словом, как ни верти, наиболее разумным представлялось следующее: приостановить стремительное продвижение, попытаться собрать информацию о противнике, спокойно оценить обстановку и тогда уже действовать в соответствии. И он стал охотно замедлять шаги и через минуту остановился, прижимая локтем к боку навеки умолкшего Спиридона, и вдруг увидел перед собой Генку.

— Генка... — прошептал Андрей Т., не веря глазам.

Абрикос был совершенно таким же, каким он видел его в последний раз, когда они прощались после школы «до следующего года», — в распахнутой настежь кожаной куртке, с голубой сумкой Аэрофлота через плечо, со снежинками в волосах на непокрытой голове, и решительно не похоже было, что он терпит какое-то бедствие.

— Генка! — заорал Андрей Т. вне себя от радости. — Ура! Бежим!

— Я не Генка, — виновато произнес Генка.

Андрей Т. заморгал. Он увидел, что да, это, пожалуй, действительно не Генка. Вернее, не совсем Генка. Во-первых, настоящий Генка никогда не говорил виновато, просто не умел. Во-вторых (и это показалось Андрею главным), этот Генка просвечивал насквозь. Правда, не очень сильно, а так, слегка. Читать сквозь него газету было бы, наверное, затруднительно, но вот смотреть телевизор, например...

— А... а кто же ты... вы? — растерянно спросил Андрей Т.

— Я — Напоминание, — ответил прозрачный Генка и смущенно усмехнулся.

Это смущение было легко и понять, и простить. Действительно, смешно и неловко называть себя Напоминанием, если ты огромен, как танк, имеешь толстые румяные щеки, густые и кудрявые (оч-чень поповские!) волосы до плеч и пусть тщательно скрываемый, но вполне различимый прыщ на лбу. Но вот чего нельзя было простить, так это бьющего в глаза намека, который был несомненно заложен в столь лирическом имени.

— Напоминание? — проговорил Андрей Т., ощетиниваясь. — А кому же, интересно, это напоминание?

— Как это — кому? Тебе, конечно, — с дурной наивностью призрака ответил Генка-Напоминание.

— Ах, мне! — Андрей Т. понизил голос до шипения. — И кто же это просил тебя мне что-нибудь напоминать?

— Никто не просил.

— А если никто не просил, так чего же ты лезешь со своими напоминаниями?

— А ты чего?

— Чего — я чего?

— Чего ты тут затормозил? Испугался?

— Я испугался?

— Ты.

— Я?

— Ты.

— Я испугался?

— Я не знаю, испугался ты или не испугался, — пробормотал Генка-Напоминание, делаясь от неловкости еще прозрачнее. — Я только вижу, что ты затормозил, а времени до полуночи осталось всего ничего, вот я и...

— А тебя просили? — разразился Андрей Т. — Тебя просили напоминать? Без тебя, думаешь, не помнят? Я в напоминаниях не нуждаюсь! Я без напоминаний сто лет обходился и еще сто лет обойдусь! Мне твои напоминания...

Тут он обнаружил, что разговаривает сам с собой, и замолчал, остывая. Шмыгнул носом и поправил Спиридона под мышкой. Покосился на темную пропасть за ржавыми перилами. Еще раз шмыгнул носом. Покосился на то место, где только что маячило Напоминание. И, не давая себе больше ни секунды на раздумья, ринулся вниз по гремящим железным ступенькам.

Он ураганом несся по дребезжащим решетчатым галереям, он обвалом ссыпался по гудящим трапам, он перемахивал через какие-то ящики и мешки, он проскальзы-

вал под какими-то нависающими фермами, он был ловок, стремителен, могуч, упруг, гибок и неудержим. Не было ему преград ни в море, ни (тем более) на суше. Не были ему страшны ни льды, ни (смешно сказать!) неведомые хозяева этого ржаво-железного балагана. Даешь Генку! Была ясная цель, была стальная решимость этой цели достигнуть, и он не нуждался ни в каких позорных напоминаниях. Жаль, конечно, что нет в руках ракетного ружья или штурмового автомата, или, на худой конец, хотя бы боевого штатива, но ведь главное оружие — решиться!..

И вот он оказался на самой нижней галерее над самым последним трапом, и странная, наводящая оторопь сцена открылась перед ним.

Действие происходило на дне гигантской, метров пятьдесят диаметром, кастрюли с низкими, в лошадиный рост, железными стенками. На самой середине кастрюли возвышался Генка-Абрикос. Он стоял в знакомой до боли позе, расставив ноги, заложив руки за спину и угрюмо набычившись, как сотни раз стоял у доски, когда до такой степени не знал урока, что не мог даже пользоваться подсказками. Но Андрей Т. лишь мельком оглядел его, привычно отметив натренированным глазом и попорченную прическу, и подбитый глаз, и ссадины на костяшках. Все это было, конечно, очень интересно, однако по-настоящему внимание Андрея с первого же взгляда целиком поглотила удивительная публика, вольно расположившаяся у стены в левой части кастрюли на множестве кресел, стульев, диванов, кушеток и прочих седалищ. В течение первых секунд невероятная пестрота красок и форм в этой массе народа не давала Андрею сосредоточиться, и только постепенно обрел он способность выделять из нее отдельные фигуры.

Была там омерзительного вида старуха в сером штопаном балахоне, который вздымался у нее на спине двумя острыми горбами разной величины. Физиономия у нее тоже была серая, нос загибался ястребиным клювом, правый глаз горел кровавым огнем наподобие катафота, а на месте левого тускло отсвечивал большой шарикоподшипник, подбородка же у нее не было вовсе — торчали у нее там, на месте подбородка, растопыренные желтые зубы. Словом, это была такая старуха, что от нее надлежало бежать со всех ног, немедленно, стремительно и в бесконечность...

Был там страхолюдный толстяк в бесформенном костюме в красно-белую шашечку, распространившийся на четыре стула и половину тахты. Лицо его общими очертаниями и цветом, а также выразительностью походило на небезызвестный первый блин, да вдобавок и не просто первый, а самый первый из всех блинов. Впрочем, при всей своей устрашающей наружности, толстяк этот был, наверное, не из опасных противников, ибо все свои силы без остатка употреблял на то, чтобы не расползтись и не расплыться по полу...

И был там удивительный мужчина, похожий на покосившуюся вешалку для одежды. Он единственный из всей компании стоял, подпертый костылем спереди и двумя костылями по бокам, а на нем висело расстегнутое пальто горохового цвета, из-под которого виднелись: висающий до полу засаленный шелковый шарф, свободно болтающиеся полосатые брюки и шерстяной полосатый свитер, не содержащий внутри себя, как казалось, ничего, кроме некоторого количества слегка спертго воздуха. Сдвинутая вперед и набок широкополая шляпа скрывала почти все лицо его, так что видеть можно было только его узкий, лаково поблескивающий подбородок и торчащую далеко вперед узкую, лаково поблескивающую трубку.

И был еще там попсовый — нет, не просто попсовый, а прямо-таки забойный молодой человек с длинными прямыми волосами, с одутловатым прыщавым лицом и с глазами столь красными и воспаленными, что они тут же вызвали воспоминание об уэллсовском Спящем, который проснулся, о куриной лапше, забытой на несколько дней на подоконнике в самое жаркое время года. Помещался он в массивном кожаном кресле, развалившись поперек на манер Пауля Дрейка, покачивая ногой, перекинутой через подлокотник и облаченной в задубевший от грязи клеш сверхъестественной ширины, копая в носу и то и дело поднося к свисавшей с губы сигарете роскошную зажигалку «ронсон»...

И еще был там могучего телосложения хмырь без шеи, в пятнистой лиловой майке, замшевых штанишках выше колен и кедах на босу ногу, с бледной безволосой кожей, испещренной затейливой татуировкой, и с колоссальной щетинистой челюстью, которая непрерывно и весьма энергично двигалась. Словно перетирала попадавшие в ротовую полость булыжники. Глаз и лба у этого гина почти что не было, во всяком случае, чтобы их

заметить, требовалась известная сосредоточенность, зато у него были колоссальные, под стать челюсти, виллоподобные длани, и ими он в рассеянности сгибал и разгибал железный дворницкий лом...

Всего их там было не менее двух десятков, нехороших и разных, и все они поразительно различались друг от друга формами и расцветками, словно бы принадлежали к различным зоологическим семействам, и в то же время в чем-то были схожи — наверное, в том, что самим обликом своим и повадками дружно и нагло бросали вызов распространенному мнению, будто бы в человеке все должно быть прекрасно, а потому, несомненно, составляли то неопределенное сообщество, которое принято называть дурной, или неподходящей, компанией. И странное дело, хотя каждый из них являл мерзопакость совершенно бредовую, однако у Андрея, остолбенело их разглядывавшего, шевелилось в глубине души ощущение, что они ему не совсем незнакомы, что где-то он их или таких же уже видывал — то ли на репродукциях картин знаменитых художников, то ли на иллюстрациях к книгам знаменитых писателей, а может быть, и в натуре, живьем, во плоти...

Вцепившись в мокрое железо перил, Андрей Т. понемногу приходил в себя, оцепенение от первого шокового удара отпустило его, и он разом ощутил волны ледяного зловония, поднимавшиеся из гигантской кастрюли, услышал голоса, гулко раздававшиеся в этой железной бочке, и понял, что тут происходит.

Происходил допрос. Неподходящая компания допрашивала пленника, а пленником был не кто иной, как старый верный друг Генка по прозвищу Абрикос.

— Так что же, юноша, — произнес Удивительный Мужчина, подпертый костылями, — так и будем все время молчать?

— Он полагает, что мы тут собрались играть с ним в молчанку! — пропыхтел Самый Первый Блин и рассмеялся собственной шутке, от чего весь пошел волнами, как плохо застывший студень.

— В молчанку унд в гляделку, — добавил Красноглазый Юноша, поигрывая «ронсоном».

— Уж полночь близится, а толку нет и нет — брезгливо проговорил Недобитый Фашист в мундире без пуговиц и на деревянной ноге. — Сколько можно уговаривать эгого молодчика? Обед проуговаривали. Дали проуговаривали...

— Дайте его мне, — свистящим шепотом предложил Хмырь с Челюстью, не переставая жевать.

— Помолчите, коллеги, — сказал Удивительный Мужчина, выбросил из трубки кольцо синего дыма и снова обратился к Генке: — Как мне кажется, вы, юноша, все еще не осознали, что выхода у вас нет и говорить вам все равно придется...

— А он будет отвечать, — дребезжащим голосом проворковала Двугорбая Старуха. — Это он с вами, скверными дядьками и тетками, не хочет разговаривать, а мне он все расскажет. Ведь правда, моя лапочка? Ведь ты расскажешь милой доброй старушке-бабушке, как формулируется закон Бойля — Мариотта?

В ответ на этот странный и неожиданный вопрос Генка только едва заметно повел плечом, и тогда в дело вступила Эстрадная Халтурщица, располагавшаяся с ногами на диване и горстями жвавшая шоколадную карамель из расставленных вокруг нее коробок. Утерев ладонью пасть, измазанную шоколадом и губной помадой, она решительно заявила:

— Если уж на то пошло, гораздо интереснее было бы выяснить схему промышленного производства серной кислоты. Да и лабораторная схема не помешала бы...

— Пусть он мне насчет квадратных уравнений все обскажет, не то я из него кишки вытяну и на барабан намотаю... — просвистел Хмырь с Челюстью, не переставая жевать.

— Позвольте, позвольте! — взревел Человек-Ишак, вскакивая и опрокидывая при этом свою табуретку. — Я ведь так ничего и не услышал о строении инфузории! И еще, мне так и не сказали, почему при смачивании лица одеколоном мы ощущаем охлаждение...

— Не смей без очереди! — рывкнул Недобитый Фашист и треснул деревяшкой об пол.

Тут почтенная компания чудовищ словно взорвалась. Разом разверзлись все два десятка глоток, угрозы, проклятия и призывы к тишине и порядку смешались в сплошной нечленораздельный гам, железные стены гигантской кастрюли загудели, и затряслась даже решетка галереи, на которой стоял Андрей Т. Уже Недобитый Фашист схватился врукопашную с Человеком-Ишаком, уже Двугорбая Старуха вцепилась с яростью в патлы Эстрадной Халтурщицы, уже Хмырь с Челюстью (не переставая жевать) с угрожающим видом поднял над головой лом... Но вот Красноглазый Юноша, так и не

покинувший своего кресла, отделил от губы сигарету, сунул в рот два пальца и издал оглушительный свист, от которого у Андрея засвербило в ушах. И столпотворение в кастрюле мгновенно утихло.

— Продолжайте, — сказал Красноглазый Удивительному Мужчине.

Тот выпустил в гнусный воздух кастрюли два синих дымовых кольца и вытянул в сторону Генки длиннющий костлявый палец.

— Отвечайте, юноша, и не медлите, — произнес он. — Какие страны играют ведущую роль в мировом производстве хлопчатобумажных тканей?

Генка молчал.

— Каков удельный вес США в производстве электроэнергии развитых капиталистических стран?

Генка едва заметно повел плечом.

— Какое минеральное сырье из стран Южной Азии вывозится на мировой рынок?

Генка был недвижим.

Кто бы они ни были, эти жуткие инквизиторы-экзаменаторы — диверсанты ли, разведчики из другого мира или служители неведомого культа, — с Генкой им не повезло. Во-первых, Генка был прирожденным троечником и ничего этого (из физики, математики, биологии и тем более из экономической географии) не знал и знать не хотел. Но самое главное — он был из тех, кто никогда никому и ничего не уступает. Особенно если его припирают к стенке. Андрей Т. сам был свидетелем того, как Генку в метро приперла к стенке почтенная пожилая женщина, увешанная сумками и кошелками. Генка проехал восемь остановок, в том числе и ту, где им нужно было выходить. Он краснел, бледнел, читал газету, в которую были завернуты его ботинки с коньками, даже притворялся мертвым, но места своего так и не уступил... Да, этой банде уродов следовало бы схватить кого-нибудь послабее духом и покрепче знаниями.

— А скажи мне, малтшик, — вкрадчиво произнес Недобитый Фашист, — какими характеристиками отличается танк Т-34 от танка Т-6 «Тигр»?

Это он попал в яблочко. Генка на всю школу славился великолепным знанием танковой, артиллерийской, авиационной и ракетной техники, как отечественной, так и иностранной, как современной, так и давно прошедших эпох. Неужели?.. Генка есть Генка. Он едва заметно повел плечом и сплюнул в сторону. Между уродами прошло движение.

— Однако же, юноша, — проговорил Удивительный Мужчина, — вы воображаете, что наше терпение безгранично. Создается впечатление, что вы ошибочно принимаете нашу выдержку и спокойствие за мягкотелость и нерешительность. Но перед вами не тюфяки какие-нибудь, не рохли и не слабонервные интеллигенты! Вы сами отлично знаете, что мы умеем получать сведения, в которых мы нуждаемся. Так попробуйте напрячь свое убогое воображение и представить себе, что станется с вами, когда после полуночи у нас будут развязаны руки!

Двугорбая Старуха облизнулась. Самый Первый Блин плотоядно потер руки. Эстрадная Халтурщица хихикнула. Хмырь с Челюстью сломал лом и с лязгом швырнул обломки на железный пол.

Андрей Т. взглянул на светящийся циферблат. Черные стрелки показывали без пяти минут новогоднюю полночь. Он переступил с ноги на ногу, и вдруг что-то лязгнуло под его ногой. Он поглядел. Шпага. Мокрая, ржавая, холодная, как все здесь. Но — шпага. Оружие. Сила! Только силу можно было противопоставить этому купающемуся в зловонии амфитеатру разбойников. У Алексея Толстого сказано как-то не так, и вообще никакой здесь не амфитеатр, но это как раз не важно. Андрей Т. обтер рукоять шпаги полой куртки.

— Надо полагать, — говорил Удивительный Мужчина, — вы все еще надеетесь на помощь вашего приятеля Андрея Т. Напрасно. Полночь близится, близится время Крайних Воздействий, близится ужасное для вас испытание, юноша, а тем временем! — Удивительный Мужчина возвысил голос. — А тем временем ваш так называемый друг мирно сидит себе в окружении любимых своих марок, смакует свое любимое фруктовое мороженое и о вас думать забыл!

— Врешь! — взревел Андрей Т. и вскочил на железные перила.

— Врешь! — вскричал он и одним прыжком приземлился на самой середине железной кастрюли рядом с Генкой. — Выходите! Выходите! Выходите все! На меня! На одного!

К другу на помощь! Вызволить друга
Из кабалы и тюрьмы!.. —

хрипло зашел вдруг оживший Спиридон.

На Андрея, расставив чудовищные лапы, шел Хмырь с Челюстью. За ним, отставая на шаг, выдвигались,

ухмыляясь и переглядываясь, Недобитый Фашист и Красноглазый Юноша. Андрей Т. мрачно усмехнулся и сделал глубокий выпад...

Прекрасное новогоднее солнце било сквозь морозное окно.

— Пришел твой, — сказал дедушка.

— Который час? — хриплым со сна голосом спросил Андрей Т.

— Начало одиннадцатого, — сказал дедушка и удалился.

Приблизился Генка-Абрикос, совершенно красный с мороза, со снежинками в волосах и без автодрома. Он уселся на табурет и стал смотреть на Андрея жалкими виноватыми глазами. Многословные и несвязные объяснения его сводились к тому, что вырваться от Кузи оказалось невозможно, а потом Славка принес новые диски, а потом Кузин папан приготовил шербет, а потом забарахлил магнитофон, а потом пришла Милка... Ну, разумеется! Милка. Так бы и сказал с самого начала...

— Знаешь, Абрикос, — сказал Андрей Т., прерывая на самой середине все эти малодостоверные объяснения, — хочу тебе подарок сделать. Новогодний. Бери мою коллекцию марок.

— Ну?! — воскликнул восхищенный и виноватый Генка.

В передней послышались шаги и голоса. Это вернулись родители, сбежавшие из Грибановской караулки, потому что не в силах оказались выдержать видения любимого Андрюшеньки, распростертого на ложе фолликулярной ангины.

Генка-Абрикос бубнил что-то благодарное и виноватое, а Андрей Т. лежал на спине, обеими руками держа Спиху, Спиридона, Спидлеца этакого, глядел на его страшную сквозную рану — круглую дыру с оплавленными краями — и слушал.

Будет полдень, суматохою пропавший,
Звон трамваев и людской водоворот,
Но прислушайся — услышишь,
как Веселый Барабанщик
С барабаном вдоль по улице идет...—

негромко пел Спиридон, и эта песенка, как всегда, была уместной, и от нее тихонечко и сладко щемило сердце.

Публикации

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Повесть

- 1972 -- в журнале «Аврора», №№ 7 — 10
1980 в книге «Незначенные встречи», Москва
1984, 1985 в книге «За миллиард лет до конца света», Москва
1988 в книге «Повести», Ленинград
1989 - в книге «Отель «У Погибшего Альпиниста»; «Пикник на обочине», Москва; в книге «Посещение», Москва

ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ

Повесть

- 1974 — в журнале «Аврора», №№ 11, 12, Ленинград
1976 -- в книге «Незримый мост», Ленинград
1979 — в книге «Понедельник начинается в субботу», Москва
1985 -- в книге «Стажеры», Москва
1987 --- в книге «Понедельник начинается в субботу», Фрунзе

ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА СВЕТА

Рукопись, обнаруженная при странных обстоятельствах

- 1976 — в журнале «Знание — сила», №№ 9 — 12, № 1 за 1977 год
1984, 1985 --- в книге «За миллиард лет до конца света», Москва
1988 - в книге «Повести», Ленинград
1989 -- в книге «Избранное. Т.2»; в книге «Избранное», Москва
1990 --- в книге «Избранное», в книге «Сочинения. Т.2», Москва
1991 -- в книге «Град обреченный», Москва

ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ И НЕДРУЖБЕ

Маленькая повесть

- 1980 — в сборнике «Мир приключений», Москва

Составил А. Л. Керзин

Содержание

- 5 ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ. Повесть**
- 153 ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ.**
Повесть
- 241 ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО КОНЦА**
СВЕТА.
Рукопись, обнаруженная при странных об-
стоятельствах
- 353 ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ И НЕ-**
ДРУЖБЕ.
Маленькая повесть
- 398 Публикации**

Аркадий Натанович Стругацкий
Борис Натанович Стругацкий

ПОВЕСТИ

Собрание сочинений, т. 7

Редактор Я. Л. Нагинская
Художественный редактор А. М. Драговой
Технический редактор Л. Е. Синенко
Корректоры Т. В. Калинина, Н. М. Пушина

С 87 Стругацкий А., Стругацкий Б.

Пикник на обочине. Парень из преисподней. За миллиард лет до конца света. Повесть о дружбе и недружбе: Повести. — М.: Текст, 1992. — 399 с.

ISBN 5-85950-021-1

Сдано в набор 22.11.91. Подписано в печать 20.02.92.
Формат 84x108^{1/32} Бумага тип. №2. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная. Усл. печ. л.21.0.

Усл. кр.-отт. 22.26. Уч.-изд. л. 23.19.

Тираж 225000 экз. Заказ № 1361 С 5.

Издательство «Текст»

125190 Москва, А-190, а/я 89

Литературно-издательская студия «РИФ»

101000 Москва, Чистопрудный бульвар, 12-а

Набор и диапозитивы изготовлены
в типографии издательства «Новости»
Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

Отпечатано с готовых диапозитивов

в типографии издательства

„Самарский Дом печати“

443080 г. Самара, пр. К. Маркса, 201.



Извне Путь на Амальтею Стажеры
Полдень, XXII век Далекая Радуга
Попытка к бегству
Трудно быть богом Хищные вещи века
Понедельник начинается в субботу
Сказка о Тройке
Улитка на склоне Второе нашествие марсиан
Отель «У Погибшего Альпиниста»
Обитаемый остров Малыш
Пикник на обочине Парень из преисподней
За миллиард лет до конца света
Повесть о дружбе и недружбе
Град обреченный Хромая судьба
Жук в муравейнике
Волны гасят ветер Отягощенные злом

